Анри Труайя

Николай Гоголь

Annotation

Николай Гоголь – один из самобытнейших русских писателей, слава которого вышла далеко за пределы отечественного культурного пространства. И в то же время нет более загадочной фигуры в русской литературе, чем Гоголь. О его жизни и смерти существует больше мифов, чем о любом другом литераторе. Отчего Гоголь никогда не был женат? Почему у него никогда не было собственного дома? Зачем он сжег второй том «Мертвых душ»? И, конечно же, самая большая загадка – это ужасная тайна его смертельной болезни и смерти…

Знаменитый французский писатель Анри Труайя в своей книге пытается разобраться в секретах Гоголя, выяснить правду о его творчестве, жизни и смерти.

Анри Труайя
Николай Гоголь

Часть I

Глава I
Детство

Когда Мария Ивановна Гоголь-Яновская почувствовала, что она в тягости, изначальная ее радость была тут же омрачена страхом. После двух выкидышей, едва не стоивших ей жизни, она очень опасалась, как бы в очередной раз роды не завершились мертворожденным ребенком. Беспокоился за нее и ее муж, Василий Афанасьевич, окруживший жену трепетным вниманием. Чтобы застраховаться от возможного несчастья, они решили, что если родится сын, то назовут его Николаем в честь чудотворного святителя Николая, чей чудотворный образ особо почитался в близлежащем селе Диканька и отсюда получил название Диканьский. Ожидая торжественное событие, они ежедневно заказывали требы в местном храме, а по счастливому событию дали обет отслужить благодарственный молебен. В доме перед иконой святителя Николая на протяжении всего 1808 года всегда была зажжена лампада. С тех пор с наступлением сумерек ее мерцание представляло для супружеской пары период бесконечного, волнительного ожидания, проходившего в хлопотах приготовления и заступнических молитвах.

Их ничем не приметное, скромное и благонравное хозяйство находилось в местечке Васильевка, которое относилось к административному ведению Полтавы, расположенной в центральной части Украины. Низенький деревянный домик с выступающей колоннадой, садом, прудом и двориком, где гоготали гуси, сушились на солнце ломти тонко нарезанных яблок и груш и где коротали время праздные, простосердечные домочадцы. Имение составляло тысячу десятин земли, а также почти две сотни крепостных, которые использовались для сельскохозяйственных работ в поле. Что еще необходимо для счастья, если всюду над головой светит яркое солнце?

Сам Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский являлся потомком древнего украинского рода, получившего дворянский титул во времена, когда гнет польского правления на Украине в XVII веке несколько ослаб. Один из его предков, Остап Гоголь, отличился как казачий атаман, участвуя в 1655 году в сражениях на стороне гетмана Петра Дорошенко. Дед Василия Афанасьевича Демьян служил священником. Его отец Афанасий Демьянович, получив православное воспитание в семье, обучался сначала в Полтавской семинарии, а затем в Киевской Духовной

академии. Перед принятием священнического сана он обвенчался Татьяной Семеновной, урожденной Лизогуб. Она также была представительницей очень древнего и очень уважаемого казачьего рода, владевшего небольшим имением Васильевка. Это имение досталось Афанасию Демьяновичу в качестве приданого.[1] Именно там в 1777 году появился на свет Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский. Единственный сын, он, следуя семейной традиции, обучался в Полтавской семинарии. Но, несмотря на это, избрал «мирскую карьеру» и состоял в почтовом ведомстве по «делам сверх комплекта». Спустя несколько лет вышел в отставку в чине коллежского асессора, вернулся в деревню и стал помогать родителям управлять хозяйством.

На самом же деле он не имел достаточных навыков, чтобы оказать им какую-либо практическую помощь. Он получил хорошее образование, знал латынь, был ценителем хорошей музыки, много читал, хорошо знал историю, мог по случаю написать стихи и даже пьески на малороссийском языке. Его произведения отличали глубокое знание народных украинских нравов. Можно было с уверенностью утверждать, что их автор – весельчак, любитель розыгрышей и пирушек. Но в глубине своей души он все же оставался мечтателем, деликатным и даже несколько апатичным человеком. Тщедушного телосложения и импульсивный по характеру, он, плывя по волнам бытия, не поддавался искушению навязать свою волю другим ни идеями, ни действиями. Будучи большим любителем природы, он обустраивал в саду маленькие беседки, шалашики, давал поэтические названия садовым аллейкам. Одну из них он назвал Долиной Спокойствия. Птицы, в изобилии населявшие это местечко, пользовались здесь исключительным правом. Так, в угоду им была категорически запрещена стирка белья в пруду. Считалось, что шум стиральных колотушек может потревожить голубей и соседствующих с ними соловьев. Романтическим настроениям Василия Афанасьевича находилось свое объяснение: он был влюблен в Марию Ивановну. По ее уверениям, эта история началась с чудесного сновидения. Однажды ночью Царица Небесная снизошла во сне к Василию Афанасьевичу, которому в то время исполнилось только лишь тринадцать лет, указала ему на незнакомую игравшую подле него девочку и произнесла: «Ты женишься на ней, вот твоя избранница».

Спустя некоторое время Василий Афанасьевич был приглашен вместе с родителями в гости к соседям. У них он увидел семимесячную девочку, которую держала на руках кормилица. Черты личика этой малышки были так схожи с той, которую он увидел во сне, что с этого мгновенья он осознал представшее явью предначертанием своей судьбы. Ей было

угодно, чтобы он дождался, пока предмет его интереса, повзрослев, ответит на его чувства. Дочь помещика Косьяровского звали Марией. Она воспитывалась у своей тетки Анны Матвеевны Трощинской. В течение целых десяти лет Василий Афанасьевич чувствовал себя счастливым, свято сохраняя свою тайну, внимательно наблюдая за взрослением и духовным развитием своей будущей невесты. Он довольно часто приходил в ее дом, очарованно слушал ее детскую болтовню, одаривал подарками, строил вместе с ней из игральных карт замки, играл в куклы. Ее добрая тетка всегда поражалась тому, как молодой человек может с такой трогательной серьезностью общаться с ребенком, находя в этом удовольствие. «Я испытывала взаимные чувства по отношению к нему, но оставалась спокойной, – писала Мария Ивановна. – Он спрашивал меня иногда: не скучно ли мне с ним, не надоедает ли мне с ним, и я ему отвечала, что его общение мне приятно. Он был всегда любезен и предупредителен со мной в течение всего моего юного возраста».[2]

В один из дней Мария Ивановна прогуливалась в сопровождении нескольких нянечек на берегу реки Псел и услышала доносившиеся ветром с другого берега гармоничные аккорды инструментального оркестра. Поблизости от этого места проживали только Гоголи. Каким образом в это время могла звучать эта утренняя серенада? Скрываясь в зарослях рощи, музыканты играли все более и более красивые арии. Сердце Марии Ивановны переполнялось счастьем, она, как завороженная, стояла, не в силах стронуться с места. Но становилось поздно, и нянечки все-таки уговорили ее пойти домой. Однако музыка все продолжала следовать за ней до самого дома. Мелодия то приближалась, то снова удалялась от нее, полностью захватив ее воображение и витая вокруг. Дома она рассказала об этом странном приключении своей тете, которая, улыбнувшись, ответила: «Какая удача, что ты пошла прогуляться именно в то время, когда сама природа и музыка сошлись вместе, чтобы провести время! И все-таки ты не должна далеко отходить от дома».

В ту пору ей не исполнилось еще и четырнадцати лет, а Василию Афанасьевичу было уже двадцать семь, и он окончательно перебрался жить в Васильевку. Однажды он отважился спросить ее, любит ли она его. Растерявшись, она, сама не осознавая почему, ответила ему, что любит его точно так же, как и весь остальной окружающий мир, и тут же быстро удалилась из зала, оставив его в полной растерянности. Совсем расстроенный, Василий Афанасьевич поделился об этом разговоре с ее теткой Анной Матвеевной, рассказав ей о постигшем его разочаровании, а также о дальнейших своих планах. Энергичная женщина без промедления

взялась урегулировать эту проблему. Она уверила Василия Афанасьевича, что Мария совсем к нему не равнодушна. В подтверждение тому она заметила, что, как только он уезжал куда-либо, бедняжка не находила себе места и пребывала в меланхолии. Мария еще так молода и сторонится мужчин, уверяла она его, но со временем станет замечательной супругой. Приободрив молодого человека, Анна Матвеевна, принялась обрабатывать свою племянницу. Все, что нашлась ответить бедная девочка в свою защиту, это сказать, что если она выйдет замуж, то растеряет своих подружек. Услышав этот детский довод, тетка в три слова поставила точку в их дискуссии. Обескураженная и обласканная, совсем еще юная девочка неожиданно обрела в своем сердце возлюбленного. Родители, искушенные в подобных делах, тут же дали свое согласие и благословили их брак. Вскоре Мария вместе со всеми подключилась к предсвадебной суете. «Мой жених приезжал достаточно часто, – писала Мария Ивановна. – Когда ему не удавалось прийти, он писал мне письма. Не вскрывая их, я отдавала отцу. Прочитав письма, папа улыбался и говорил: „Видно, что он начитался много романов!“ И в самом деле, эти письма были наполнены нежными выражениями. Мой отец мне диктовал ответы на них. Я всегда носила с собой все послания моего жениха».[3]

Свадьба состоялась в доме тети в Ересках. Однако сразу после одного дня празднования молодой муж вынужден был уехать к себе домой, так как, по общему мнению родителей, Мария Ивановна была еще слишком юной для того, чтобы оставаться наедине с мужчиной. Посовещавшись, они решили, что через год будет видно… Супруга согласилась на разлуку с послушанием, супруг – с отчаянием. Но уже к исходу месяца и один, и другая были так несчастны друг без друга, что растроганные родители согласились изменить свое решение.

Утопая в слезах, благословениях и советах Мария Ивановна села в повозку, которая увезла ее в Васильевку. Спустя час она была в своем новом доме. Отец и мать Василия Афанасьевича ждали невестку на пороге с традиционным хлебом и солью. «Они приняли меня как своего собственного ребенка, – писала Мария Ивановна. – Моя сноха одевала меня по своему собственному вкусу, в старинные платья, сохранившиеся со времен ее молодости. Мой муж не хотел, чтобы я возобновила свою учебу. Он не говорил на иностранных языках, кроме латинского, и не хотел, чтобы я стала более образованной, чем он. Мы всегда вместе читали книги только на русском языке, когда нам выдавалось свободное время и когда мы оставались одни. Но это случалось не часто. Я никогда не посещала собраний, не была на балах, находя свое счастье только в

семейном кругу. Мы не расставались ни на один день. И когда он выезжал с инспекционной поездкой по своим угодьям, он брал меня с собой в коляску. И если я была вынуждена оставаться дома, я испытывала страх за него, мне казалось, что больше я его никогда не увижу».[4]

Василий Афанасьевич имел привычку возвращаться домой раньше установленного срока, чтобы хоть как-то сократить жене время его ожидания. В единственный раз, когда он возвратился домой с небольшим запозданием, она так сильно переволновалась, что заболела лихорадкой и была вынуждена слечь в постель на несколько дней. Однако на эти неразумные волнения наслаивались и более очевидные причины для беспокойства. Хозяйство в Васильевке, несмотря на богатую и плодородную почву этой местности, не в состоянии было обеспечить достаточным продовольствием все свое население.

Фруктовые деревья прогибались под тяжестью груш, слив и вишни; поля приносили богатый урожай обильной и золотой пшеницы; стада коров паслись на лугах, поросших сочной травой. Но, подсчитав свою бухгалтерию, Василий Афанасьевич всякий раз обнаруживал, что расходы превосходят все поступления. В растерянности от состояния дел им предпринимались попытки организовывать Васильевские ярмарки, на которых продавалось спиртное или же деньги просто одалживались у благодушных соседей с тем, чтобы выйти из затруднительного положения и лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Мария Ивановна, которая еще только вчера играла в куклы, сегодня уже вовсю занималась домашними делами, распекала прислугу и восхищала мужа своей значимостью и красотой. Очень быстро из вежливой и скованной девочки она превратилась в белокожую молодую даму, с черными глазами, смотревшими из-под густых и изогнутых ресниц, правильными чертами лица, четко вырисованным ртом и решительными жестами. Рождение одного за другим двух мертворожденных детей в течение первых лет замужества основательно истрепало ее нервы. Вновь забеременев, она с беспокойством воспринимала все свои малейшие недомогания.

На этот раз она не хотела рожать дома. На семейном совете было решено, что она отправится в Сорочинск, маленький близлежащий городок, где лекарскими делами заправлял известный во всей округе врач Михаил Трахимовский. Роды прошли в небольшой комнате с глинобитным полом во флигеле для приезжих больных. 20 марта 1809 года она произвела на свет мальчика Николая. В Сорочинском церковном журнале

регистрации под 25 номером произведена запись о его рождении и крещении.[5]

Придя в себя, Мария Ивановна, сначала очень переживавшая за исход родов, тут же обеспокоилась здоровьем своего сына. Он выглядел хилым, бледным, болезненным. И она все время опасалась его потерять. Это смутная тревога была навеяна двумя дорого стоившими ей исходами предыдущих попыток. В ее сознании он вдруг представал перед ней то умершим, то гением, покоряющим своим талантом весь мир. Для того чтобы избежать опасности его утраты, она задумала построить в Васильевке церковь. Исполнитель этого проекта согласился даже на отсрочку оплаты за свою работу. С целью сбора средств на строительство церкви были проданы семейные драгоценности, заказаны богато украшенные покровы, однако здоровье маленького Николая все никак не улучшалось. Он перенес нервный кризис и с трудом дышал. Кроме того, врач определил у него и золотуху. Его бледный цвет лица всегда чуть окрашивался на солнце или во время игры. Из ушей подтекал гной. Сто раз на дню Мария Ивановна дотрагивалась до него рукой, чтобы удостовериться, жарко ему или холодно, часто пеленала его, укутывала, обнимала, крестила лобик. Ребенок рос в атмосфере безоговорочного обожания, превращаясь в некого домашнего идола. На его исключительное положение в семье не повлияло ни рождение его сестры Марии в 1811 году, ни – его брата Ивана в 1812 году. Он был старшим и имел у окружавших его родственников свои сокровенные позиции. Все в доме вращалось вокруг него и было подчинено его интересам.

«Я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне, – писал он позже своей матери. – Никого особенно не любил, выключая только Вас, и то потому, что сама натура вдохнула это чувство».[6]

Бесспорно, из всего небольшого состава семьи, которые составляли его окружение, его мать выделялась по сравнению с остальными наибольшей жизнедеятельностью, наибольшей активностью, наибольшим вниманием и наибольшей обеспокоенностью. Свою глубокую набожность она распространила и на некоторых домочадцев. Подолгу молилась на коленях перед иконами, очень рано привела Николая в церковь. Поначалу он испытывал там, среди взрослых людей, только скуку, с отвращением перенося запах ладана. «Стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного рвения дьячков».[7] Он крестился, потому что видел, что так делают все. Его сознание оставалось в безвольном витании среди святых

образов. Но однажды, присмотревшись к росписи, изображавшей рай и ад, он попросил мать рассказать ему о Страшном суде. Все услышанное так впечатлило его, что всю последующую ночь ему снились одни кошмары. Он несколько раз просыпался в холодном поту и крича от страха. Видение вечного огня повторялось у него длительное время. Ему было достаточно подумать об этом, как он тут же начинал трепетать от страха. «…Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли», – писал он.[8] Начиная с этого момента, маленький Николай возлюбил церковь и стал посещать ее каждое воскресенье со смешанным чувством обожания и страха. Все, чем бы он ни занимался в повседневной жизни, давалось ему легко и радостно. Когда его отец выезжал проследить, как идут работы на полях, он брал с собой Николая и Ивана. Пение кос, срезавших спелую пшеницу, загорелые лица жнецов, песни девушек, вязавших снопы, – воспоминания об этих днях он сохранил на всю жизнь, как о самой прекрасной летней поре, проведенной в Малороссии.

В «Сорочинской ярмарке», описывая один из таких дней, он пишет: «На небе ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи… Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов, широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»

Возвращаясь с этих поездок, он принимался рассказывать обо всем увиденном своим близким, те с умилением слушали его, восхищаясь его наблюдательностью и богатому словарному запасу. Отец Николая лишь изредка делал небольшие добавления в рассказы сына, которые касались в основном его бесед с крестьянами. В то время это был пухленький, улыбчивый и ласковый ребенок. Он свободно говорил на русском и на украинском языках, но все же предпочитал использовать русский язык для серьезных тем, а украинский – для ежедневного общения.

Третьей персоной в семейной иерархии была его бабушка Татьяна

Семеновна (Лизогуб). Она осталась вдовой уже вскоре после свадьбы Василия Афанасьевича и проживала в примыкающем к дому крыле, в помещении из двух комнат. Никоше нравилось приходить в ее владение, заваленное коробочками, бутылочками и всякими другими безделушками. У нее было сморщенное и рыхлое, как губка, лицо. Конечно же, она рассказывала своему внуку о былых славных временах, когда запорожские казаки образовали независимое объединение – «Сечь», имевшую своих собственных предводителей и подчинявшихся только Польше. Одним из последних героев этой эпопеи был Остап Гоголь, суровый предок, который и оставил потомкам свое имя. После подчинения «запорожцев» России и выхода указа Екатерины II, «Сечь» была упразднена, последний гетман казнен за измену, а история запорожского казачества передавалась как легенда. Татьяна Семеновна знала много песен, народных сказок. Некоторые из них наводили такой ужас на маленького Никошу, что он не всегда даже осмеливался их слушать. Эта мистическая настроенность, эта предрасположенность к страху воздействовали на него внезапно, с такой силой, что он боялся и тени любой опасности, появлявшейся в его воспаленном воображении. Однажды в пятилетнем возрасте, когда его отец и мать вышли по делам, он ощутил ужас, увидев в окне сгущающиеся сумерки. «Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов… Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. „Киса, киса“, – пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на воде разбежались – водворились полный покой и тишина, – мне вдруг стало ужасно жалко „кисы“. Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека…»[9]

В глубокой тишине ему мерещилось, что он слышал загробные голоса, которые взывали к нему, леденя душу. «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, – писал Гоголь в „Старосветских помещиках“, – который простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует

неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

К счастью, эта «страшная сердечная пустыня» была им, скорее всего, быстро позабыта, а не устранена каким-либо волевым усилием. После галлюцинаций желание играть восстанавливалось достаточно быстро, и Николай, как обычный ребенок, развлекался со своим братом Иваном и сестрой Марией.

Одним из любимых его занятий в детстве было еще и садоводство. «Весна приближается, – писал он своей матери в 1827 году, – время самое веселое, когда весело можем провесть его. Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Это-то время было обширный круг моего действия. Живо помню, как, бывало, с лопатою в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкою…»

Дом Гоголей всегда был дружелюбным, гостеприимным и теплым. Друзья наведывали родителей в любое время года. В маленьких низеньких комнатах стояли печи, возвышавшиеся до потолка, множество сундучков, высокая и массивная мебель. Повсюду скрипели двери. Девушки, одетые в полосатые юбки, сновали и галдели в девичьей. Во всей красе проявлялись изобилие, неспешность и непритязательность уклада прежней жизни помещиков. С крепостными в Васильевке обращались благодушно, но в то же время и не приветствовалось, чтобы они стремились стать вольными людьми. Правда, никто ни среди них, ни среди хозяев и не помышлял посягать на крепостное право. В порядке вещей был тот уклад, когда некоторые отдельные личности были свободными, имели своих подневольных. Все это воспринималось так же естественно, как и различие в росте, в цвете волос. Бог, по их разумению, не возжелал, чтобы все они были равными по своему социальному положению. Христианин же не мог восставать против подобного неравенства. Мария Ивановна управляла своей прислугой так же, как связкой ключей, заткнутой за пояс своей юбки.

Ими во всех уголках ее большого хозяйства необходимо было открывать и закрывать двери погребов. Заботы по приготовлению разнообразной снеди отнимали львиную долю времени ведения семейного хозяйства. На кухне что-то постоянно кипело, варилось, производилась засолка, засушка фруктов и овощей. Кладовая была забита до отказа заготовленными впрок яствами, с запасами которых можно было выдержать многомесячную осаду. Подобное небольшое имение Гоголь описывает в «Старосветских помещиках»: «…ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении».

Иногда Гоголи покидали свое убежище в Васильевке, отправляясь с кратким визитом к кому-нибудь из местных помещиков. Наиболее важным среди тех, к кому они наиболее часто и охотно наведывались, был дальний родственник Марии Ивановны, «благодетель и попечитель» семьи Дмитрий Прокопьевич Трощинский. Этот сановный вельможа, отставной министр, обосновался царьком в своем поместье под названием Кибинцы. Этот человек, «умевший извлекать свою выгоду из ничего», ухитрился сделать себе карьеру, дослужившись до ранга государственного секретаря при Екатерине II. После восшествия на престол Павла I он стал сенатором, при правлении Александра I вновь снискал к себе расположение, бросившись молодому императору в объятия со словами: «Будьте моей путеводной звездой», стал членом государственного совета и главным директором почт. В 1802 году получил назначение на пост министра уделов и отслужил несколько лет. Затем, в 1806 году, сославшись на возраст и усталость, оставил столицу и возвратился в свое имение. Полтавское дворянство выбрало его губернским предводителем. С 1814 по 1817 г. он министр юстиции. Последние годы жизни он провел в Кибинцах. Богатый, праздный и всеми уважаемый, Д. П. Трощинский не переносил одиночества. По словам его современников, дом Трощинского всегда был заполнен гостями и в любое время года наплывом приезжающих и потоком отъезжающих напоминал огромный караван-сарай. Никому и никогда не было отказано в гостеприимстве. Его широкой натуре каждый день требовались все новые развлечения. Он имел в своем распоряжении труппу артистов и оркестр, в которых участвовали его крепостные, а также

несколько шутов. Рассказывали, что однажды утром в Кибинцах появился никому не известный офицер артиллерии и предложил организовать в этом селе фейерверк. Восхищенный столь необычной затеей, Д. П. Трощинский три года содержал этого человека при себе.

Гоголи по-родственному принимали приглашения Трощинского и часто наведывались к нему. Путешествие в Кибинцы, составлявшее не более сорока верст по сельской дороге, всегда наполняло маленького Николая живым энтузиазмом. Проезжая в своей коляске по аллее Кибинцев, они уже издали слышали мелодичные звуки оркестра. Вскоре между двумя рядами деревьев появлялся деревянный двухэтажный дом, построенный как дворец. Внутри – впечатляющее великолепие, которое невольно заставляло затаить дыхание: повсюду картины, уникальная мебель, бронзовые и фарфоровые статуи, широкие канапе, старинное оружие, коллекции монет, табакерок и мягкие пушистые ковры, при хождении по которым колыхались ворсинки. Бесчисленная челядь сновала в прихожей. В саду расположились несколько флигелей для почетных гостей. В одном из них предоставлялись комнаты для Гоголей. Д. П. Трощинский выделял им также в пользование прислугу, экипаж и доктора. Спешно переодевшись, они шли в зал, где задолго до обеда собиралась разношерстная толпа приглашенных лиц. Все тихо томились в ожидании хозяина. Наконец появлялся хозяин в парадном мундире при всех своих отличиях и регалиях. Старый, заметно одряхлевший, с орлиным носом и твердым взглядом, он со скучающим и высокомерным видом взирал на окружающих.

Во время обеда гости, чтоб как-то развлечь хозяина, устраивали розыгрыши, загадывали шарады, рядились в маски. Веселье продолжалось и после застолья. Наиболее важное значение придавалось постановке театральных представлений, к которым Д. П. Трощинский имел особое пристрастие. Для этих целей в парке был сооружен специальный домашний театр. Василию Афанасьевичу Гоголю было поручено заниматься устроительством спектаклей, исполняемых, как правило, на малороссийском языке, участвуя в них и как режиссер, и как актер. Он был в одном лице не только постановщиком, но и автором нескольких пьес, которые писал на заказ. Роли актеров исполнялись домашней прислугой, а перевод осуществлялся кем-либо из приглашенных гостей. Василий Афанасьевич и его супруга, как правило, сами распределяли все роли. Маленький Николай с неподдельной радостью присутствовал на репетициях. Он гордился своим отцом, который сам создал все то, что разыгрывалось на сцене, и от души смеялся над историями о лукавых

женщинах и веселых крестьянах.[10]

Сидя в первом ряду среди зрителей, Д. П. Трощинский внимательно наблюдал за спектаклем в бинокль. Появление на его лице улыбки актеры и зрители воспринимали как одобрение, близкое к признательности.

Помимо театральных представлений, старика развлекали выходки его шутов Романа Ивановича и Варфоломея, которые на потеху всем постоянно передразнивали друг друга. Варфоломей – бывший священник, расстриженный из-за умопомешательства, был главной мишенью для насмешек. Потехи ради его бороду приклеивали сургучом к столу, и все присутствующие издевались над ним, глядя, как он ее отрывает по волоску, строя при этом ужасные гримасы… Он был настолько неопрятен, что его кормили отдельно ото всех за ширмой. Еще одно развлечение, которым всегда забавлялись в Кибинцах, была игра в бочку. Заполнив огромную бочку водой, хозяин дома небрежно бросал туда горсть золотых червонцев и призывал охотников достать их со дна. Если кому-либо из них удавалось собрать все монеты за один раз, то он мог оставить их себе. Если же это не удавалось, то монеты возвращались и в игру вступал очередной желающий испытать свое счастье. Принимали участие в этом посмешище и некоторые приглашенные лица, которые, как есть, во всем одеянии, погружались в воду, выставляя себя некоторым подобием шутов и тем самым удостаиваясь благосклонной гримасы со стороны бывшего министра, наблюдавшего за всем происходящим с балкона своего дома.[11] Обычно Д. П. Трощинский был не особенно приветлив в обращении со своими гостями, мало разговаривал с ними и любил раскладывать в их присутствии гранд-пасьянс.

Но Гоголи по отношению к себе пользовались его исключительным расположением. Д. П. Трощинский ценил добродушие, веселый нрав, порядочность Василия Афанасьевича и часто прибегал к его услугам в управлении своим огромным хозяйством. Войдя в близкое доверие своего дальнего родственника, Василий Афанасьевич организовывал его развлечения, контролировал бухгалтерские дела. Однако и, со своей стороны, он знал, что может в любой трудный момент своей жизни прибегнуть к помощи Трощинского. Не получая достаточного дохода от своего хозяйства, Василию Афанасьевичу необходимо было заручиться его поддержкой, и он направлялся в Кибинцы, чтобы быть там постоянно на виду. «Мы с мужем моим, которого Д. П. Трощинский очень любил, жили безвыездно у него; нельзя проситься домой: в последнее время сердился до болезни, когда узнавал о помышлении нашем ехать домой, и гостям было

трудно уезжать, чтобы его не тревожить; и когда начиналось провожание гостей, то старик бывал очень не в духе; и ненадолго оставалось в доме без больших собраний, – скоро опять съезжались. В эти промежутки двери анфиладой отворялись, играла музыка, иногда целый оркестр, иногда квартеты…»[12]

Покидая старого, желчного и необычного хозяина, маленький Николай увозил с собой неописуемые впечатления от всего увиденного, смешанного с фарсом, музыкой, смехом, светом и раболепством. Внешний вид его родной Васильевки значительно отличался от Кибиниц. Здесь все казалось ему более скромным, убогим, но тем не менее совсем родным. Возвращаясь после путешествия к своей привычной жизни, он грезил о театре и очень сожалел, что так молод и не может выйти на сцену.

Желая хоть как-то реализовать свое стремление стать артистом, он пытался сочинять стихи, которые с гордостью читал перед домашними. Кроме того, он еще рисовал и даже организовал выставку своих картин. К Николаю был приставлен семинарист, который взялся обучить его и младшего брата Ивана всему, что знал сам. Но результаты этих занятий были настолько незначительны, что родители Николая вынуждены были отправить своих детей учиться в Полтавскую гимназию.

В 1819 году в возрасте десяти лет Николай очутился в среде незнакомых для него сверстников. Привыкший дома быть в центре внимания и обожания, он вдруг потерялся в массе детей, которым было совершенно безразлично, что он слаб здоровьем и наделен от природы большими способностями. Но как же так получилось, что, несмотря на свой талант, он не стал первым учеником в классе? Был ли он настолько гениальным, как его представляли? Влияло ли на его успеваемость отношение к нему учителей?

«Ваканции быстро приближаются, – писал он своим родителям, – я не успел еще окончить всего: следовательно, нужно заняться ваканциями, чтобы поспеть с честью во второй класс. Учитель математики мне необходим. Если вы случайно будете проезжать через Полтаву, я уверен, что вы все устроите для моего благополучия. Я целую ваши бесценные руки и чту за честь быть вашим послушным сыном. С сыновьим уважением, Николай Гоголь-Яновский».[13]

Николай рассчитывал на радостные каникулы, но они оказались для него прискорбными. После непродолжительной болезни скоропостижно умирает его брат Иван. Горе родителей было безутешным. Самого же его, весьма опечаленного случившимся, отправляют обратно в гимназию. Дома,

находясь на каникулах, он твердо решил про себя, что больше уже никогда не вернется в свой класс. Но отец и мать после долгих уговоров сумели-таки найти доводы к его закрытому сердечку, убедив Николая, что не смогут самостоятельно дать ему надлежащее образование и что ему крайне необходимо пройти обучение в начальном образовательном учреждении. К их счастью, как раз в это время в Нежине открылась классическая гимназия, основанная князем Безбородко. Программа преподавания в ней была составлена на достаточно высоком уровне, и она выгодно отличалась от той, по которой Николаю пришлось обучаться в Полтавской гимназии. Но была, к их сожалению, и одна серьезная загвоздка. Оплата за обучение и пансион составляла одну тысячу рублей в год.[14] Эта сумма гораздо превосходила возможности Гоголей, и они вынуждены были обратиться в этой связи за поддержкой к Д. П. Трощинскому, который, со своей стороны, ходатайствовал об определении Николая в число воспитанников, находящихся на иждивении гимназии.

Глава II
Нежинская гимназия

Тяжелая желтая коляска, запряженная шестью лошадьми, остановилась перед парадной площадкой Нежинской гимназии высших наук. Ученики, заглушая звонок, кубарем слетели вниз, чтобы посмотреть на «новенького». Человек ли это или ночная птица? Озябший, хилый, съежившийся, он был одет не соответственно сезону. Его маленькое и заостренное лицо выглядывало из-под вороха одежды словно головка воробушка. Отец и слуга раздели малыша. Вокруг него шушукались, произнося фамилию, толкались и давились от смеха. А он только боязливо озирался направо и налево. «Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен, – писал товарищ Гоголя по гимназии В. И. Любич-Романович. – Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. Глаза его были обрамлены красным золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя…» С первого раза Николай Гоголь почувствовал себя потерявшимся в среде, даже еще более враждебной, чем была в Полтавской гимназии. Сможет ли он пребывать среди этих враждебно настроенных товарищей и суровых преподавателей? Сдав вступительные экзамены, он, тем не менее, не был зачислен в отделение, где учились лучшие ученики, а включен во второе. Воспитанники этого класса не очень-то утруждали себя учебой, усаживались за последние парты, вполуха прислушивались к тому, что им рассказывали на занятиях. Обычно они убивали время, занимаясь «художествами» в своих школьных тетрадях. Несомненно, что в Нежинской гимназии Гоголя недолюбливали. Сразу после отъезда отца он подвергнулся испытанию. Судьба как будто специально предала его на растерзание дикарям. Конечно, его старый слуга всегда находился рядом с ним, чтобы в случае чего утешить. Но даже самый лучший слуга не в состоянии помочь своему барину преодолеть его невзгоды. К счастью, летние каникулы были уже не за горами. Шла весна 1821 года. Николай Гоголь решил, стиснув зубы, дотерпеть до срока своего освобождения.

Несколько счастливых недель во время каникул быстро пролетели в Васильевке. Мысль о предстоящем в августе возвращении в класс глубоким отчаянием томила его душу. Ему, как воздуха, недоставало дома

и семьи. Что же такое предпринять чтобы убедить родителей забрать его оттуда? Если сказать им, что ему наскучило в Нежине и что учеба не интересует его, то он лишится их расположения и наслушается пустых советов. Единственный способ их разжалобить – это сослаться на плохое здоровье и убедить в нежелательности отпускать сына в таком состоянии далеко от себя. Он не мог себе и представить, чтобы мать отнеслась безразлично к тому, что он в гимназии испытывает горькие муки. Если уж он несчастлив, то и она не имеет права на другое состояние. Со смешанным чувством искренности, находчивости, умиления и расчета двенадцатилетний Николай Гоголь пишет 14 августа 1821 года: «Мои дорогие, если бы вы находились здесь сейчас, когда я пишу это письмо, то вы бы увидели, что сталось с вашим ребенком!.. Прежде каникул писал я, что мне здесь хорошо, а теперь напротив того. Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются, и сам не знаю, отчего, а особливо, когда вспомню об вас, то градом так и льются… Добрый мой Семен так старается обо мне, что не прошло ни одной ночи, чтобы он не увещевал меня не плакать об вас, и часто просиживал по целой ночи надо мною. Уже его просил, чтоб он пошел спать, но никак не мог его принудить…

P.S. Пока здесь находится только половина из прибывших учеников!»

Последней ремаркой Николай Гоголь дает понять своим родителям, что они слишком рано отправили его в гимназию. Он полагал, что они обеспокоятся тем, что он написал о своих делах, и начнут предпринимать усилия, чтобы ему помочь. Возможно, они даже напишут письмо директору гимназии с просьбой провести его медицинское обследование. Опасаясь, что он все же слишком далеко зашел в своих жалобах, Николай Гоголь тут же подкорректировал тональность своего письма:

«Приехавши в Нежин, на другой день стала у меня болеть грудь. Ночью так у меня болела грудь, что я не мог свободно дышать. Поутру стало лучше, но грудь моя все-таки болела, и потому я опасался, чтоб не было чего худого, и притом мне было очень грустно в разлуке с вами. Но теперь, слава Богу, все прошло, и я здоров и весел».[15]

Родители, конечно, понимали, что им следует ожидать от сына любых жалоб. И они знали, что их сын склонен к преувеличениям. Но вдали от него они меньше всего ожидали, что с целью повлиять на них он будет ссылаться на всякого рода болезни. Вскоре Николай все же свыкся со своим новым положением «отшельника».

Здание гимназии князя Безбородко представляло собой строение новофламандского стиля. Украшенное с фасада колоннами, оно

возвышалось в центре огромного парка, по которому протекала небольшая речушка. Тысячи птиц гнездились в кустарниках, которыми поросли ее берега. С наступлением рассвета их пение пробуждало воспитанников гимназии, которым приходилось подниматься в половине шестого утра. Полузаспанные дети поспешно умывались и строем направлялись в церковь, чтобы отслужить молебен перед ученьем, и затем шли в столовую выпить утреннего чаю. Уроки начинались в девять часов утра и следовали один за другим до пяти часов вечера с перерывом на обед. В восемь часов ужинали, а в девять, после вечерней молитвы, повсюду гасился свет. Это была самая лучшая пора для воспитанников гимназии, которые любили прогуляться по парку. Частенько, когда позволяла погода, они устраивались в тени деревьев, учили уроки и готовили домашнее задание. Обучение, разумеется, проходило на русском языке, который на Украине, как и в других российских окраинах, считался официальным языком. Малороссийский язык считался диалектом, и на нем, от случая к случаю, общались между собой или разговаривали для собственного удовольствия. Николаю Гоголю нравились непередаваемо сочный местный говор, национальные одеяния, песни, танцы, казацкие сказки, составлявшие фольклор его родной провинции. Он часто вынуждал преподавателя переспрашивать, поскольку смесь украинского языка и польских выражений проскальзывала как в его письменных работах, так и в устной речи.[16] Возможно ли стать русским, не забыв, что являешься украинцем?

Поспешно созданная по волеизъявлению князя Безбородко гимназия представляла собой претенциозное образовательное заведение с достаточно сложной, неупорядоченной и неукомплектованной программой обучения. Классы назывались «музеями». Цикл обучения был рассчитан на девять лет. Программа обучения включала в себя преподавание Закона божьего, литературы, русского, латинского, греческого, немецкого, французского языков, физики, математики, политических дисциплин, географии, истории, военного искусства, рисования, танцев и т. д. Преподавательский состав представлял собой разношерстный коллектив, в котором самая тупая педантичность котировалась выше, чем осторожный либерализм. Ученики также были выходцами из разных сословий и разного происхождения. Те, кто представлял «клан аристократов», верховодили над теми, кто принадлежал к менее знатным фамилиям.

«Насмешки наши над Гоголем, – писал В. И. Любич-Романович, – усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у

него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей – конфет и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал, не переставая, даже и в классах, во время занятий».

Очевидно, что В. И. Любич-Романович с явной неприязнью относился к Николаю Гоголю. Менее суровыми по отношению к нему были другие воспитанники Нежинской гимназии, которые крутились вокруг своего товарища, как вокруг диковинного зверушки, пытаясь понять его. Диапазон их чувств по отношению к нему разнился от гадливого презрения и осторожности до приятельских отношений и полной симпатии. На самом же деле Николай Гоголь всем своим чахлым видом и замкнутостью сам оставлял мало поводов для поддержания с ним дружбы. Если же его просили рассказать о себе, то он всякий раз уклонялся от вопроса или же говорил неправду. Его собеседники порой с удивлением обнаруживали, что за историей, которую он им прежде рассказывал, кроется совсем иная истина. Все полагали, что тем самым он пытался напустить на себя ореол таинственности. Он чувствовал себя свободно только до той степени, в которой его существование было избавлено от других. Утаивая свои секреты от других, он и сам лишался побудительной энергии для своей жизни. Товарищи прозвали его между собой «*таинственный карла*». Он озадачивал их не только своей удаленностью, но и своей острой наблюдательностью и язвительными насмешками. Этот невзрачный блондин с продолговатым, заостренным носом и впалой грудью, как никто другой, мог выставить на посмешище и учителей и учеников. И не дай было Бог попасться ему на язык. Он с абсолютной точностью имитировал ужимки одних, наделял язвительными прозвищами других, сочинял сатирические эпиграммы на третьих. Надзиратель третьего отделения немец Зельднер, похожий на длинную жердь, с вытянутым вперед лицом и глуповатым выражением безжизненных глаз, как-то раз услышал из уст воспитанников четверостишие, сочиненное, без сомнения, Николаем Гоголем, в котором он сравнивал Зельднера с поросячьей мордой, поставленной на журавлиные ножки. Своего товарища Бороздина Николай Гоголь удостоил акростихом только из-за его привычки делать себе низкую стрижку волос. Он довел до слез одноклассника М. А. Риттера, изо дня в день с абсолютно серьезным видом повторяя ему одну и ту же фразу: «Знаешь, Риттер, давно я наблюдал за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычьи глаза».

Его неистощимая склонность к шутовству отрицательно сказывалась на учебе, вынуждая некоторых преподавателей сурово осуждать «таинственного карла». Классный журнал, заведенный на пансионеров,

имел многочисленные замечания, которые отражали и поведение Гоголя-Яновского. «13-го декабря (такие-то) и Яновский за дурные слова стояли в углу; 19-го декабря, Прокоповича и Яновского за леность без обеда и в угле, пока не выучат свои уроки. Того же числа, Яновского за упрямство и леность особенно – без чаю. 20-го декабря (такие-то) и Яновский – на хлеб и воду во время обеда. Того же числа, Н. Яновский, за то, что он занимался во время класса священника с игрушками, был без чаю».

«Жаль, что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то и с другими может поравняться, что и доказывает его отличные способности», – писал директор гимназии родителям Николая Гоголя.

Время летело быстро. Оно было наполнено монотонным ходом лекций, подготовкой домашнего задания, отбыванием дисциплинарного наказания и развлечениями. Ребенок быстро подрастал. Приходилось удлинять рукава его школьной формы. Исполнилось четырнадцать, затем пятнадцать лет… Однажды, когда над ним нависла реальная угроза получить порку за свою недисциплинированность (телесное наказание было введено в гимназии как исключительная мера), он до того искусно притворился сумасшедшим, что все были убеждены, что с ним случился истерический припадок. Пронзительно закричав, испуская слюну и дрыгая ногами, он настолько взволновал директора, что тот был вынужден распорядиться отвезти его в больницу в сопровождении одновременно четырех инвалидов, которые присматривали за ним. В гимназии больше никогда не говорили об этом наказании. «Поправился» Николай Гоголь через несколько недель, хотя, возможно, что в этой болезни не было и половины притворства. Вызвав к себе жалость, Николай Гоголь тем не менее не оставил свои проделки. Начинавшись с комедиантства, его первое состояние трансформировалось затем в разновидность нервного потрясения, а его глубокая меланхолия всегда сменялась внезапным порывом безудержного смеха. По прошествии некоторого времени он начинал хвастаться перед своими товарищами, что здорово одурачил всех. «Вы знаете, – писал он своей матери, – какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучие желание веселости (разумеется, не буйной)».[17] Он также писал своему другу: «Я начинаю с сетований, но сейчас я чувствую себя весело».[18] Николай Гоголь с пристрастием маньяка предавался жонглированию своим настроением, извращению юмора, обращая черное в розовое. Он не нуждался в конкретной мотивации своих переходов от радости к унынию. А когда имел подлинное

основание для разочарования, то старался оставаться бесстрастным.

Уже в течение четырех лет у его отца, Василия Афанасьевича, случались проявления ипохондрических приступов, и он предчувствовал, что находится на краю могилы. В начале 1825 года он серьезно заболел, постоянно отхаркивался кровью и по этой причине поехал в Кибинцы, чтобы немного подлечиться под наблюдением врача Трощинского. Мария Ивановна была на последнем месяце беременности и не могла сопровождать его в этой поездке. Она со дня на день ожидала возвращения мужа. Но он больше не вернулся. Поняв, что он скончался вдали от нее, Мария Ивановна испытала такой сильный шок, что чуть не потеряла разум. И все же ей было необходимо восстановить свои силы. Будучи не в состоянии написать об этой трагедии сыну, она просила директора гимназии подготовить его к этой ужасной новости. Потрясенный смертью отца, Николай Гоголь порывается выброситься из окна. Не достаточно ли было потерять нежно любимого им брата? И вот теперь Бог отнял у него отца.

Почему же все беды выпали на него, тогда как вокруг него другие его товарищи не подвергались подобным испытаниям? Мысль о смерти, как о черной и холодной дыре, сильно пугала его и все более доминировала в его сознании. Отныне, в шестнадцать лет, он остался единственным мужчиной в семье, и это осознание своей ответственности еще больше возвышало в нем чувство собственной значимости. Его главной заботой в то время было утешение матери, глубокая скорбь которой могла отрицательно сказаться на ее здоровье. Чтобы вернуть ее к жизни, он располагал только своим пером. Необходимо было написать ей письмо по какому-либо важному и наиболее подходящему поводу, в котором каждая фраза могла бы затронуть ее сердце. Чтобы разжалобить ее и как можно мягче вывести ее из траурного состояния, он решил сыграть на ее отношении к самому себе. В этот момент он очень сожалел, что не является писателем, поэтому не может выразить все те мысли, которые громоздились в голове. Однако, по мере того, как он готовился к своей задаче, спокойствие овладело им. Литература творит подлинные чудеса! Его печаль постепенно растворилась в процессе обдумывания подходящих слов для утешения своей матери. 23 апреля 1825 года он пишет ей:

«Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, сперва был поражен ужасно сим известием; однако же не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего; и к вечеру

приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга, и всего, что есть милее, что есть драгоценнее? Так, я имею вас и еще не оставлен судьбою».

Уже на следующий день 24 апреля было отправлено новое обращение к матери: «Сделайте милость, не печальтесь, пожалейте нас, несчастных сирот, которых все благополучие зависит от вас. Пожалейте, говорю, не расстраивайте нашего последнего счастия»

Прошло несколько недель, однако ответ от матери запаздывал, и тогда Николай Гоголь прибегнул к своему обычному методу: угрозе совершить что-то страшное: «Я вам говорю, что ежели я вас не увижу, я не знаю тогда на что решусь. Ежели же не получу ответа на это письмо, то сие молчание будет самый ужасный для меня признак. Тогда-то я прибегну к отчаянию, и оно-то даст мне средство, как избавиться от сей мрачной неизвестности.

Теперь вы видите, что от одного вашего слова зависит счастие или несчастие вашего сына».[19]

«Слово» наконец-то приходит, и Николай испытывает некоторое облегчение. Поскольку контакт между ним и матерью был восстановлен, он понимает, что она спасена. Для этого ей достаточно было убедиться, что потеря мужа еще больше сблизила ее с сыном. Увидев его во время наступивших каникул, она с восхищением отметила, как он возмужал, перенеся это горе, и какую благородную душу он преподнес ей в подарок. Пройдя сквозь сложную трансформацию, он мужественно перенес свой траур.

«Я вас скоро увижу, и восхищаюсь каждый день сею мыслью, и теперь собираюсь привезти вам какой-нибудь подарок. Но знаю, что вам не может быть подарка лучшего, как привезть вам сердце доброе, пылающие к вам самою нежною любовью… Но смею вам сказать, что я приобрел уже довольно и других качеств, которые, я думаю, вы сами увидите; можно сказать, обработал-таки свои понятия, которые сделались гораздо проницательнее, дальновиднее».[20]

В этих пространных, риторических тирадах имелась и доля истины.

Возраст, горе, жизнь в обществе действенно закалили Николая Гоголя. Во время летних месяцев в Васильевке он радовался общению с матерью, бабушкой, сестрами и был счастлив от того, что ощущал себя их покровителем. Возвратившись после каникул, он узнал, что гимназию стали без опаски, как раньше, называть лицеем. Его мать окончательно оправилась от горя и безо всяких осложнений произвела на свет младшую дочь, Ольгу. А Николай так и остался единственным сыном в семье, всегда окруженный женщинами. И это положение удваивало его энергию. С другой стороны, несмотря на свой неуживчивый характер, он сумел сойтись с некоторыми своими товарищами, так же, как и он, страстно влюбленными в литературу. В числе его лучших друзей был умный, воспитанный, рассудительный и ироничный Александр Данилевский, который был старше Николая на два года, с ним он познакомился еще в Полтавской гимназии. К той же группе принадлежал Нестор Кукольник;[21] первый ученик в классе Евгений Гребенка;[22] Константин Базили;[23] Николай Прокопович;[24] Василий Любич-Романовский.[25] Охочие до чтения, эти юноши не могли удовлетвориться скудными запасами лицейской библиотеки. «Благодетель» Д. П. Трощинский помог пополнить ее некоторыми томами из своей личной библиотеки, которые в основном составляли книги на французском языке. Иногда Николай Гоголь покупал книги на деньги, выделенные на карманные расходы.

«Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем, чтобы иметь хотя малейшую возможность поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде и видеть и чувствовать прекрасное. Для него-то я с трудом величайшим собираю все годовое свое жалование, откладывая малую часть на нужнейшие издержки. За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я 40 рублей; деньги, весьма немаловажные по моему состоянию; но я награжден с излишком и теперь несколько часов в день провожу с величайшей приятностью. Не забываю также и русских, и выписываю, что только выходит самого отличного. Разумеется, что я ограничиваюсь одним только чем-либо: в целые полгода я не приобрел более одной книжки, и это меня крушит черезвычайно. Иногда читаю объявление о выходе в свет творения прекрасного: сильно бьется сердце, – и с тяжким вздохом роняю из рук газетный листок объявления, вспомня невозможность иметь его. Мечтание достать его смущает сон мой, и в это время получению денег я радуюсь более самого жаркого корыстолюбца. Не знаю, что бы было со мною, ежели бы я еще не мог чувствовать от этого радости: я бы умер от тоски и

скуки».[26]

Постепенно молодые люди стали приобретать книги и журналы в складчину. Дела шли успешно, и настала необходимость определить библиотекаря. Им единодушно избрали Николая. К этим своим обязанностям Гоголь относился со всей щепетильностью, требуя, чтобы выдаваемые им книги читались в его присутствии, чтобы страницы не были испачканы или подвернуты. Перед тем как выдать книгу, он требовал надеть на пальцы специальные бумажные наперстки. Было удивительно ожидать от мальчика, который так пренебрежительно относился к своей собственной персоне, такого трепетного отношения к книгам. И все это потому, что литература представлялась в его глазах сакральным явлением. Неопрятный по отношению к себе, он в то же время не мог вынести, если на полях страницы появлялось пятно или был испорчен переплет книги. Его должность библиотекаря предоставляла ему определенные преимущества по сравнению с другими. Он увлекся литературой и стремился как можно больше знать о современных авторах. Но, к его великому сожалению, в определенной им учебной программе о них ничего не упоминалось. Чопорный и совсем недалекий преподаватель литературы, П. И. Никольский, отдавал дань высокого уважения писателям прошлого века, и в то же время с презрением отзывался о таких представителях новой волны литераторов, как А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и К. Н. Батюшков. Но это были именно те, кто уже занимал умы пансионеров. В то время были опубликованы первые главы романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Молва об этом произведении докатилась до самых удаленных провинций страны. Воодушевленный музыкальным языком этого произведения, совершенство которого не поддавалось анализу, Николай Гоголь переписывает в тетрадь отрывки из «Евгения Онегина», а также «Цыган», «Полтаву», «Братьев-разбойников». Чтобы хоть как-то отыграться за своих кумиров, Николай Гоголь подверг своего учителя П. И. Никольского публичному осмеянию. Передразнивая преподавателя, он стал цитировать одно из своих наиболее любимых произведений «Пророк». Читая так, словно он и есть Никольский, Николай Гоголь состроил гримасы и, войдя в раж, критиковал каждую отдельную строчку. Без тени смущения он важно декларировал с кафедры: «Значит, ты считаешь, что Пушкин не мог писать неподобающе? Так вот же доказательство тому, что я говорил!»[27] И продолжал попрекать Пушкина за «не возвышенность» в мышлении и «тривиальность» языка. Все эти нападки со стороны преподавателя на современных авторов, напротив, послужили только

укреплению пристрастия Николая Гоголя к своему кумиру в поэзии. До сих пор он считал себя одаренным исключительно в изобразительном искусстве; но теперь все чаще стал задавался вопросом, не посвятить ли себя еще и литературе. И он, кто во время уроков за спинами своих товарищей занимался рисованием, вдруг пристрастился к сочинительству стихов. В письмах к матери он все меньше и меньше упоминал о своих картинах, которые намеревался нарисовать, а все больше и больше о стихах, сочинение которых занимало его теперь всего целиком.

«Я посчитал важным направить папе кое-что из моих сочинений и рисунков, но…небу было не угодно, чтобы он их увидел», – писал он 24 апреля 1825 года.

А 10 сентября следующего года: «Вы меня просите привести к Новому году мои последние стихи. Времени до этого достаточно много, но я постараюсь кое-что приготовить».

23 ноября 1826 года с гордостью объявляет матери: «Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете: новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный».

Его голова просто фонтанировала идеями. Ему были приемлемы все стихотворные стили. Одно за другим подряд он написал: эпические стихи «Россия под игом татар», романтическую драму в подражание Шекспиру «Разбойники», сатирический рассказ о жителях Нежина «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». Это сочинение он разделил на следующие отделы: «1) Освещения церкви на греческом кладбище; 2) Выбор в греческий магистрат; 3) Всеедная ярмарка; 4) Обед у предводителя (дворянства) П***; 5) Роспуск и съезд студентов». К тому времени им были написаны стихи, высмеивающие по тому или иному случаю и пансионеров, и преподавателей. Однако Николай Гоголь, как и его сотоварищи по литературному «кружку», все более и более обращал свои взоры к сентиментальному жанру.

«Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде, – писал Николай Гоголь в Авторской исповеди. – Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками; хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили умение замечать те особенности, которые ускользают от

внимания других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не передразнить, но угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление».

Воспылав духом соперничества, молодые люди целыми днями сочиняли стихи, а по воскресеньям собирались вместе, чтобы выставить свои произведения на суд товарищей по перу. Критика и восхваления всегда были безапелляционными. Впервые Гоголь испробовал себя в прозе, написав небольшую вещь, которая называлась «Братья Твердославичи, славянская повесть». Кружок разнес ее беспощадно. Было принято решение предать ее уничтожению. «Гоголь не противился и не возражал, – писал Любич-Романович. – Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь. – „В стихах упражняйся, – дружески посоветовал ему тогда Базили, – а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно“.[28]

Но, несмотря на это предсказание, Николай Гоголь продолжал упорствовать на своем.[29] Его друзья также увлеклись этим занятием. Все они нуждались в творческой разрядке. С этой целью ими создавались рукописные журналы „Звезда“, „Рассвет Севера“, „Метеор литературы“, „Навоз Парнасский“, где публиковались их литературные произведения. Николай Гоголь являлся редактором некоторых из единичных экземпляров этих изданий. В них он размещал свои стихи, прозу, иллюстрации и рисунки. Читателями издаваемых журналов были все пансионеры их класса. Эти издания ходили по рукам и зачитывались вслух. Успех от этих прочтений разделялся между их организаторами и членами классной группы. С самого раннего детства Николай Гоголь испытывал большое пристрастие к театру. Возвращаясь в Нежин, он часто вспоминал о комедийных спектаклях, поставленных его отцом в Кибинцах. В лицее, при желании, также могли бы найтись и зрители, и исполнители различных ролей. К его удивлению, простодушный директор лицея после некоторых колебаний все же решился разрешить проведение спектаклей. И Николай Гоголь в пылу воодушевления взял на себя роли и актера, и режиссера-постановщика, и декоратора.

Под его непосредственным руководством пансионеры сами изготовляли костюмы и возводили декорации. В письмах к своим родителям они обращались с просьбой прислать им необходимые для

проведения театрального действа материю и другие аксессуары: „Пришлите мне полотна и других пособий для театра… Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, – сколько можно, даже хоть и один“.[30]

Театральные представления проходили в одном из рекреационных залов (музеев), где обычно проходили перемены. Он был переустроен в театральное помещение со сценой, занавесом, рядами стульев и скамеек, размещающих многочисленную публику. Большую ее часть составляли одетые в серую униформу лицеисты, проживающие по соседству помещики, местное чиновничество, родственники учащихся и военные, дислоцированные в Нежинской дивизии. На этой сцене были поставлены такие пьесы, как трагедия „Эдип в Афинах“ Озерова, „Недоросль“ Фонвизина, „Урок сыновьям“ Крылова, несколько комедий отца Гоголя, а также ряд водевилей, переведенных с французского языка…

Николай Гоголь настолько неподражаемо и искусно исполнял свои роли, что каждый раз, когда он выходил на сцену, публика начинала безудержно смеяться. Его товарищи падали со стульев, видя, как он изображает разбитого беззубого брюзжащего старика или исполняет роль крикливой кумушки. „Видал я пьесу Фонвизина „Недоросль“ и в Москве и в Петербурге, – писал Базили, – но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь“. Один из других его друзей Иван Пащенко в своих воспоминаниях отмечал: „Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл…“ На самом деле эта игра требовала смены всего себя, полного перевоплощения, и она так соответствовала внутренней натуре Николая Гоголя, что его застенчивость в жизни на сцене при свете рамп обращалась в уверенность. Переодетый, он не боялся никого. Его всегда встречали аплодисментами, которыми доставляли ему двойное наслаждение, поскольку они воздавались и его собственной нескладной внешности.

Наиболее удачным сезоном был, несомненно, весь 1827 год. Первого февраля восемнадцатилетний Николай Гоголь пишет своей матери: „Я не знаю, когда лучше проводил время, как не теперь, – даже досадую на скорый полет его… Театр наш готов совершенно, а с ним вместе – сколько удовольствий“.

А после праздников он направляет победную реляцию своему другу Высоцкому: „Четыре дня сряду был у нас театр; играли превосходно все. –

Все бывшие из посетителей, людей бывалых, говорили, что ни на одном провинциальном театре не удавалось видеть такого прекрасного спектакля. – Декорации (четыре перемены) сделаны были мастерски и даже великолепно. Прекрасный ландшафт на занавес довершал прелесть, освещение залы было блистательное. Музыка также отличилась; наших было десять человек, но они приятно заменили большой оркестр и были устроены в самом выходном, в громком месте. Разыграли четыре увертюры Россини, две Моцарта, одну Вебера, одну сочинения Севрюгина (лицейского учителя пения) и друг. Пьесы, предоставленные нами, были следующие: „Недоросль“, соч. Фонвизина, „Неудачный примиритель“, комедия Я. Княжина, „Береговое право“ Коцебу и вдобавок еще одну французскую, соч. Флориана, и еще не насытились: к светлому празднику заготовляем еще несколько пьес“.[31]

Это безудержное пристрастие к театру и к поэзии пришлось по вкусу не всем преподавателям. Если некоторые из них, в том числе директор лицея К. В. Шапалинский, молодой инспектор, преподаватель римского права Н. Г. Белоусов были сторонниками этого вида увлечения, то другие, в лице профессора права М. В. Билевича, видели в этом угрозу установленной в лицее дисциплине, а также моральному воспитанию его воспитанников. Будучи не в состоянии запретить проведение театральных представлений, М. В. Билевич воспринимал это как личную неудачу и продолжал настаивать на сохранении старых традиций, требуя от слабодушных коллег „ограничить пристрастия их учеников“.

Тогда еще свежи были события 14 декабря 1825 года. Восстание декабристов было утоплено в крови, но оно всколыхнуло общественное сознание в России. Несмотря на то, что заговорщики, среди которых фигурировали наиболее известные русские аристократические фамилии, были повешены или сосланы в Сибирь, новый царь Николай I предпринял все меры по укреплению своей власти и потребовал от своих подданных пресекать любую подрывную деятельность, представляющую угрозу верности трону. И если пансионеры Нежинского лицея не говорили между собой о далеких политических событиях, то преподаватели не могли оставить их без внимания, интерпретируя их каждый на свой манер.

Ярый реакционер М. В. Билевич усматривал в своем коллеге Белоусове закамуфлированного либерала. Противодействуя театральным „вольностям“, он стремился навязать свои порядки во всех сферах жизни лицея. Строча рапорт за рапортом в конференцию гимназии, он обвинил нескольких воспитанников лицея, среди которых был и Гоголь-Яновский, в том, что они вызывающе ведут себя и сочиняют поэмы, проповедующие

бунтарское настроение. „Некоторые воспитанники пансиона, – писал Н. Г. Белоусов 25 октября 1826 года, – скрываясь от начальства, пишут стихи, не показывающие чистой нравственности, и читают книги, неприличные для их возраста, держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных“.

Единственной причиной возникновения подобного непорядка, развращавшего воспитанников лицея, являлась, по его мнению, несоответствующая система преподавания естественного права, которая осуществлялась со стороны младшего профессора права Н. Г. Белоусова. На заседании педагогического совета он обвинил Н. Г. Белоусова в прочтении лекций по записям, следовавшим духу „опасной философии Канта“, „…хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартини“. Не утверждает ли Н. Г. Белоусов, что человек рождается свободным и что он имеет не только обязанности, но и права? Что в таком случае делать с прародительской практикой крепостничества? Можем ли мы требовать служения императору, проповедуя независимость человеческого духа? Куда движется Россия и куда пойдет мир, если продолжать сеять семена бунта в молодые головы, – риторически возмущался М. В. Билевич.

Директор гимназии К. В. Шапалинский, предпринимая всевозможные увертки, пытался замять это дело, но М. В. Билевич упрямо настаивал на своем. Через год К. В. Шапалинского сменил новый директор Д. Е. Ясновский, который сразу же ополчился против преподавателя естественного права Н. Г. Белоусова. По „делу свободомыслия“ в Нежине на него была заведена административная бумага. Педагогический совет тщательно одну за одной перепроверил все записи пансионеров. Среди вещественных доказательств обвинения были приведены и тетради Николая Гоголя. В них также обнаружили вызывающие беспокойство фразы. Николай Гоголь был вызван на допрос в качестве свидетеля. Он пытался спасти Н. Г. Белоусова, сводя на нет обвинения против своего преподавателя. Но даже симпатия, которую учащиеся проявляли к Н. Г. Белоусову, вызывала у проверяющих подозрение. За спиной лицеистов они усматривали надвигающееся пугало Французской революции. Им чудилось, что в ящиках или по крайней мере в головах учащихся несомненно имелись памфлеты против существующего режима. Не зарождается ли таким образом в России новое тайное сообщество? И они стремились без всякого промедления принять меры по изничтожению этой угрозы. Директор лицея К. В. Шаплинский вместе с преподавателями И. Я. Ландражиным и Ф. О. Зингером открыто поддержали Н. Г. Белоусова,

опровергая утверждения М. В. Белевича по поводу злоумышленного влияния на молодежь. Рапорт по данному разбирательству был направлен министру народного просвещения.[32]

Несмотря на то, что эти события касались лишь преподавательской среды, отрицательные последствия этих разборок отрицательно сказались и на отношении воспитанников лицея к своим занятиям. Николай Гоголь учил свои уроки без увлечения и не вникая в их содержание. И грамматика, и синтаксис вызывали у него только одно отвращение. Писал он интуитивно с непростительными ошибками, подражая вычурному тону некоторых прозаиков того времени. Весь сентиментальный пафос его был положен в угоду моде и заимствован из „Бедной Лизы“ Карамзина и использовался им даже при написании писем и выполнении домашних заданий. Только его сердце могло быть определителем и стиля, и содержания его каракулей. Это своеобразие манеры его письма объяснялось, прежде всего, его тяготением к редким словам и сравнительным прилагательным.

„Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжею походкою, никогда не знавшего латинского языка, – писал его преподаватель латыни И. Г. Кулжинский. – Он учился у меня три года (латинскому языку) и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хрестоматии при латинской грамматике Кошанского: *Universus mundus plerumque distribuitur in duas partes, coelum et terram*…“ Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу, не обращая внимания ни на *coelum*, ни на *terram*. Принудительных средств у меня не было никаких, кроме аттестации в месячных ведомостях. Я писал нули да единицы, а Гоголь три года все оставался на латинском синтаксисе и дальше Корнелия Непота не заехал в латинскую словесность – с этим и кончил курс.

Неудобно признаться, что не только у меня, но и у других товарищей моих он, право, ничему не научился. Школа приучила его только к некоторой логической формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обязан. Это был талант, не узнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе. Между тогдашними наставниками Гоголя были такие, которые могли бы приголубить и прилелеять его талант, но он никому не сказался своим настоящим именем. Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потрудился даже научиться

русскому правописанию. Жаль, что не угадали его.

А кто знает? Может быть, и к лучшему».[33]

Тот же Кулжинский пишет: «Это была *terra rudis et inculta* (почва невозделанная и необработанная). Чтоб грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из гимназии, не обинуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжений глаголов ни на одном языке».[34]

Как бы то ни было, а по мере того, как его учеба продвигалась вперед, Николай Гоголь все меньше и меньше думал о школьных развлечениях и все больше о взрослой жизни, которая ожидала его за дверьми гимназии. С тех пор, как умер его отец, он все охотней брал на себя роль попечителя и советника в семейных делах. Из одного письма в другое он настаивал, чтобы его мать держала его в малейшей подробности по текущим делам, и он предостерегал ее по поводу злого умысла людей, которым она доверяет защищать свои интересы.

«Прошу вас, чтобы извещать меня обо всем, что вы намерены предпринять и что делается касательно хозяйственного устройства… Особливо извещайте меня касательно построек, новых заведений и проч., и ежели нужно будет фасад и план, то известите меня немедленно, и уже фасад будет непременно хорош, а главное, – издержки будут самые малые. И фасад, и план будет тщательно нарисован и по первой же почте без замедления прислан…»[35]

И еще:

«Уведомите меня, когда у нас начнут курить водку и что по тогдашним ценам будет стоить ведро. Успешно ли у нас винокурение и приносит ли доход».[36]

Или же:

«Поставили ли вы ветрянную мельницу, которую предполагали».[37]

Николай Гоголь не пренебрегал финансовыми затруднениями матери. Порой ему было нелегко просить ее о деньгах, но он надеялся взамен порадовать ее своими успехами по возвращении домой.

«Я теперь совершенный затворник в своих занятиях, – писал он матери 15 декабря 1827 года. – Целый день, с утра до вечера, ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего. Нужно стараться вознаградить его, и в короткие эти полгода я хочу произвести и произведу (я всегда достигал своих намерений) вдвое более, нежели во все время моего здесь пребывания, нежели в целые шесть лет. Мало я имею к тому пособий, особливо при

большом недостатке в нашем состоянии. На первый только случай, к новому году только, мне нужно, по крайней мере, выслать 60 рублей на учебные для меня книги, при которых я еще буду терпеть недостаток; но при неусыпности, при моем железном терпении, я надеюсь положить с ними начало, по крайней мере, которого уже невозможно было бы сдвинуть, начало великого, предначертанного мною здания. Все это время я занимаюсь языками. Успех, слава богу, венчает мои ожидания. Но это еще ничто в сравнении с предполагаемым: в остальные полгода я положил себе за непременное – окончить совершенно изучение трех языков».

Всегда эти несбыточные планы на будущее! Позже он будет сурово корить себя за апатичность и упущенное время, но в любом случае он был убежден в своем будущем успехе. Свои же ошибки и слабости он также рассматривал как залог будущего успеха. Может быть, он нуждался в точке опоры на самом низу, чтобы использовать ее для стремительного восхождения вверх? Его кроткость представлялась для него не чем иным, как аспектом страдания, но в то же время подпитывающим его тщеславие. Он шел по долине, но уже видел перед собой вершину горы. Но как же осуществится это его звездное восхождение? Пока он не знал этого и целиком отдавался работе. И только Господь Бог предусмотрел возможность выведения его из тени забвения. Переждав противоречивые проявления его характера, Бог скинул с него покров неопределенности на ближайшее будущее. Гоголь был горд тем, что имел перед собой ясную цель и был особенно счастлив, оттого что теперь может объявить об этом своей матери.

«Я утерял целые шесть лет даром, нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще… Если я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе… Но времени для меня впереди еще много; силы и старание имею… Я больше испытал горя и нужд, нежели вы думаете… Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кроткости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом – угрюмый, заносчивый до чрезвычайности, у иных умен, у других глуп. Как угодно почитайте меня,

но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу. Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я от них получил, останутся на веки неизгладимыми, и они верная порука моего счастия. Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло во мне обратилось в добро. Это непременная истина, что ежели кто порядочно пообтерся, ежели кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет счастливейший…»

Несомненно, что написавший эти строчки накануне своего 19-летия, Николай Гоголь был твердо убежден в том, что он уже достаточно прожил и много настрадался. Его развившийся темперамент и увлеченность поэзией настраивали его на возвышенный настрой. До его сознания еще не доходило, что лицей – это лишь передняя комната остального мира и что мнимые испытания, перенесенные им, ничто в сравнении с тем, что его ожидает за стенами альма-матер. Он же полагал, что уже прочувствовал на своей шкуре все вероломство людей и испытал все перипетии судьбы. Столько раз все это было доказательством особого внимания Всемогущего по отношению к нему. Чем больше он был притесняем, тем больше уверенным в своей богоизбранности. Впрочем, в этой возвышенной позиции была и доля чистосердечия. Являясь от природы болезненно чувствительным, он не мог не быть ранимым из-за проделок своих товарищей и наказаний преподавателей. Безобидные насмешки, которыми обмениваются обычные дети и которые не воспринимались ими всерьез, мучили его ночи напролет. Он знал, что некоторые из его сотоварищей считают его уродом, маленьким, тщедушным, безобразным, непричесанным и неопрятным. Осознание своей ущербности унижало его, но вместе с тем и стимулировало к тому, чтобы возвыситься до удачи и достоинства. В то же время его несвойственная другим острая наблюдательность позволяла ему замечать непривлекательные черты своих товарищей и скудость своего окружения. Как говорится, между глазом и объектом внимания может находиться и волк. В его восприятии других искажались лица, носы становились длиннее, недостатки приобретали чудовищные размеры. Иной преподаватель виделся ему со свиным рылом, а сотоварищ с мордочкой ласки. Сам того не желая, Николай Гоголь вдруг оказывался за решеткой зверинца. Таким образом, едко высмеивая

окружающих, он мстил всем тем, кто до этого осмелился хоть как-то его унизить.

Пришло время, когда его лучшие друзья стали покидать лицей. В 1826 году Герасим Высоцкий закончил курс и в тот же год поступил на службу в Санкт-Петербурге. Николай Гоголь теперь тоже мечтал об административной карьере. Не вспоминая более о своих мечтах стать или великим писателем, или знаменитым художником, он внезапно возжелал сделаться крупным государственным деятелем. Не правда ли, это наилучший способ служить на благо человечества? Закрыв глаза, он уже представлял себя на вершине славы, сенатором, министром, неким Д. П. Трощинским, окруженным толпой просителей, излучающим свою благосклонность.

Если бы молодых людей в Нежине было не так уж и много, то они бы не стремились уезжать оттуда в другие места России. В Санкт-Петербург же стремилась попасть вся общественная элита. Жизнь в столице наверняка стоила двух провинциальных. Николай Гоголь, обосновывая свое намерение устроиться в столице, по своему обыкновению, решил сослаться на волю Всевышнего. Неестественная сила подталкивала его в спину, а душа его покойного отца указывала на этот путь. 24 марта 1827 года он писал матери: «(Мой папинька, друг, благодетель, утешитель)…не знаю, как назвать этого небесного ангела, это чистое высокое существо, которое одушевляет меня в моем трудном пути, живит, дает дар чувствовать самого себя и часто в минуты горя небесным пламенем входит в меня, рассветляет сгустившиеся думы. В сие время сладостно мне быть с ним, я заглядываю в него, т. е. в себя, как в сердце друга. Испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного: на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных, и дотоле нерешительный, не уверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания, и душа моя будто видит этого неземного ангела, твердо и непреклонно все указующего в мету жадного искания… Через год вступлю я в службу государственную».

Подготовив свою мать к мысли о том, что он вскоре должен ее покинуть, Николай Гоголь ищет возможность переговорить по этому поводу со своим дядей Петром Петровичем Косяровским. Предвидя возможное колебание со стороны матери, он пытается заручиться поддержкой некоторых авторитетных родственников, которые могли бы закрепить стремление амбициозного, молодого человека, предпочитавшего вместо возвращения на родину своих предков, в Васильевку, отправиться в Санкт-Петербург и сделать карьеру в министерстве.

«Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я уже издавна. Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проступал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом, – быть в мире и не означить своего существования – это было бы для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокие мои начертания? или неизвестность зароет их в мрачной туче своей?.. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, – не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных. Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами, – оттого ли, что вы, может быть, принимали во мне более других участия, или по связи близкого родства, этого не скажу; что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет неуклонно держится одной цели…»

В тот период, когда Николай Гоголь писал эти строчки, он действительно искренне увлекся юридическими вопросами. На самом же деле его познания в области права равнялись приблизительно нулю, поскольку до этого он особо не утруждал себя их освоением. Лишь после того как задумался о различных перспективах возможной карьеры, он засел за изучение юридических наук, обнаружив вдруг, что они так же подходят ему, как хорошо подобранные перчатки. Сразу же в силу свойственного ему характера он вообразил, что уже в течение долгого времени готовил

себя к этой благородной деятельности. Николай Гоголь прочитал множество книг, чтобы подготовить себя к будущему служению. Принявшись за изучение юридических наук, он хотел тем самым продемонстрировать искренность своих помыслов перед дядей, а также и перед самим собой. С пером в руке он нередко воображал себя в мантии судьи. В письме к дяде, запечатанном конверте, таилась его зародившаяся мечта. Позднее он более никогда не делал и намека на свое желание служить в органах государственного правосудия. Конечно, он немного лукавил, когда утверждал, что никому не открывался до сих пор о своем стремлении стать служащим. Об этом он не рассказывал только своей матери, хотя периодически обсуждал этот вопрос со своими товарищами по лицею. И прежде всего о своих планах сделать карьеру на административном поприще Николай поделился со своим главным доверенным лицом и близким другом Высоцким.

«Часто среди занятий удовольствие (они иногда посещают и не совсем забыли записного их поклонника) мысленно перескакиваю в Петербург: сижу с тобой в комнате, брожу с тобою по бульварам, любуюсь Невою, морем. Короче, *я* делаюсь *ты*… Об одном только молю я Бога, об одном думаю: чтобы скорее нам сблизиться. Кстати, ты еще о много чем не известил меня касательно жизни петербургской: каковы там цены, в чем именно дороговизна, все это с нетерпением хочу я узнать и заранее сообразоваться с своими предположениями. Каковы там квартиры? что нужно платить в год за две или три хорошенькие комнаты, в какой части города дороже, где дешевле, что стоит в год протопление их и проч. и проч. Да, и позабыл было совсем: как значительны жалованья и сколько ты получаешь? Сколько часов ты бываешь в присутствии и когда возвращаешься домой?»

Высоцкий напрасно старался пригасить энтузиазм Николая Гоголя, обрисовав ему все сложности жизни в Санкт-Петербурге. Но он не желал воспринимать никакие доводы. В его представлении столица, по сравнению с Нежиным, сияла светом далекого бриллианта, светом мудрой интеллигенции, богатства и власти. Со всей очевидностью убежденный, что судьбой ему предопределено удивлять мир своими добродетелями и трудами, он не мог более пребывать в заурядной среде провинциалов. Ежедневной, невзрачной похлебке он предпочел смесь из пламени и льда.

«Уединясь совершенно от всех, – писал он еще Высоцкому 26 июня 1827 года, – не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине… никогда еще экзамен для

меня не был так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен в чуть движусь. Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначения человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться… Из них не исключаются и дорогие наставники наши… Только будто ли меня ожидают (в Санкт-Петербурге)… Тем более что я внесен уже в ваш круг. Мое имя, я думаю, помнится между вами… Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, в той веселой комнатке окнами на Неву, так как всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире… Не знаю, может ли что удержать меня ехать в Петербург, хотя ты порядком пугнул и пристращал меня необыкновенною дороговизною, особливо съестных припасов…»

Представления о петербургской жизни до такой степени изменили облик Николая Гоголя, что он, молодой человек, к которому нежинские гимназисты относились с пренебрежением за его неопрятность, переродился вдруг в настоящего денди. В своей серой лицейской униформе он уже чувствовал себя не по себе. А без ладно скроенной одежды – не способным к достижению социального преуспевания.

«Нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? – писал он в том же письме. – Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакого росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже. Но об этом после, а теперь – главное – узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выставь в письме, чтобы я мог знать, сколько нужно послать тебе денег. А сукно-то, я думаю, здесь купить, оттого что ты говоришь – в Петербурге дорого. Сделай милость, извести меня как можно поскорее, и я уже приготовлю все так, чтобы по получении письма твоего сейчас все тебе и отправить, потому что мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье… Какой-то у вас модный цвет на

фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется».

Немного спустя, он пишет своей матери:

«На днях получил я письмо из Петербурга, письмо касательно пошитья там фрака. Лучший портной с сукном своим (первого сорту) с подкладкою, с пуговицами и вообще со всем, требует 120 рублей. Не смея теперь (зная ваши не слишком благоприятные обстоятельства) просить вас об этом, я буду ждать, когда вам можно будет собрать такую сумму».[38]

Эти ничтожные хлопоты, связанные с приобретением туалетов, сменялись у Николая Гоголя со столь настойчивыми порывами души, что грудь его, казалось, распирало от нетерпения скорее перейти к новой жизни. Ему хотелось взлететь и подниматься все выше и выше, удивить мир и, в конце концов, удостоиться улыбки Бога. Во всех малейших событиях своей жизни он усматривал Божью волю. Грубый окрик в классе, плохая отметка, насморк, пропущенная буква расценивались им как сверхъестественное внимание. Его мучили необъяснимые предчувствия, заставлявшие повиноваться Божественной воле. Проявляясь иногда и в не совсем приятной форме, они, тем не менее, подвигали его к достижению совершенства и, без сомнения, были для него даже необходимым оком вечности, поскольку там находились и брат, и отец. Эта покорность воле Провидения не мешала ему в то же время выказывать Богу пожелания скорейшего достижения материального преуспевания. Служить государству для него означало то же, что и служить Богу. А служить Богу – предохранить себя от риска там, на небесах. Кануть «не оставив следа», как иголка в стоге сена – было бы самой худшей карой для Николая Гоголя. Пусть же, сохранится, по крайней мере, хотя бы имя. Как истинный христианин, он должен был бы спокойно относиться к уходу в бездну небытия и, во всяком случае, не проявлять беспокойства по поводу своей репутации, оставленной после себя на земле. Поэтому набожность Николая Гоголя в этом смысле пока была чисто формальной. Он всегда помнил ужасную картину, которую его мать некогда обрисовала ему о Судном дне. Это детское впечатление он всегда живо ощущал в себе. Его любовь к Богу была прежде всего страхом перед смертью. Стоя на коленях и осеняя себя крестным знамением, он творил молитву не столько из религиозного рвения, сколько для безопасности. В своем сознании он трансформировал религию в выгодное для себя начало. Он удовлетворился тем ее восприятием, какое получил сам, и советовал матери применить тот же метод воспитания и к своей младшей сестре Ольге. Чем больше юная

девочка будет бояться картины, изображающий ад, тем более правильно она будет вести себя в жизни.

Сам же он в данный момент с опасением думал о предстоящих выпускных экзаменах, хотя и готовился к ним на скорую руку. Его великолепная память позволяла ему довольствоваться обрывками знаний, выхваченными из разных книг. Однако, к своему сожалению, он прекрасно осознавал, что не в силах выучить иностранный язык всего за несколько недель. Он едва говорил на ломаном немецком языке, французские книги читал со словарем. Экзаменующие благосклонно отнеслись к его пробелам. Николай Гоголь получил хорошие оценки по всем предметам, кроме математики. Во всяком случае, он был утвержден в праве на чин 14-го класса при поступлении на гражданскую службу.[39]

Возможно, что на присвоение ему невысокого квалификационного чина сказалась его симпатия, проявленная по отношению к либеральному профессору Белоусову, поскольку ученики, проявившие себя менее прилежно, удостоились более высоких чинов. Но для него все это было не так уж и значимо. Важнее – то, что учеба в лицее осталась позади. Наконец-то он мог расстаться с опостылевшей ему серой ученической формой. По словам его преподавателей, первое, что он сделал, – сразу же облачился в гражданский костюм. «Окончив курс наук, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках.

Такая подкладка почиталась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку».[40]

Перед тем как отбыть из Нежина, он попрощался со своими товарищами и преподавателями и с облегчением взобрался в повозку, присланную матерью. На этот раз, полагал он, впереди его ожидают каникулы, которые продлятся всю жизнь.

Прибыв в Васильевку в один из солнечных дней 1828 года, Николай Гоголь бросается в объятия матери. Она рыдает от радости, не в силах наглядеться на сына, так быстро вдали от нее ставшего почти взрослым человеком. Над верхней его губой уже проглядывался первый пушок усов. Ровный, как след ножа, пробор разделял его светлые волосы. Чуть влажные, с уклончивым взглядом глаза излучали иронический блеск. Для Марии Ивановны он был самым красивым, самым умным, самым чутким существом, которое когда-либо жило на свете. Его малейшие замечания

удостаивались самого чуткого внимания. Не иссякали бесконечные похвалы Марии Ивановны, которая восхищалась его картинами и стихами. И при всем при этом он все же собирался оставить ее, чтобы обосноваться в Санкт-Петербурге! Не станет ли отъезд сына вторым вдовством для нее? Отчаявшись отговорить его, она старается привлечь на свою сторону всех членов семьи и друзей. Мария Ивановна всячески воздействует на сына с тем, чтобы он переменил свое решение.

Сам же Николай Гоголь со всей полнотой погрузился в прелести васильевской жизни. Визиты соседей, импровизации, посещения ярмарки, проходившей в соседнем селении, пикники, обустройство сада, долгие вечера при лампе, – все эти приятные особенности сельской жизни находили благотворный отклик в его душе после скученности, шума, дурацкой дисциплины и холодной атмосферы гимназии. Ему нравилось находиться в компании четырех своих сестер, старшей из которых было семнадцать лет, младшей едва исполнилось три года. С не меньшим удовольствием он общался и со своей бабушкой Лизогуб, которая рассказывала ему о далеком прошлом свободной Украины. Предупредительность матери по отношению к нему не могла не тронуть его. К тому же она все время баловала его деликатесами домашней кухни. Но, несмотря на все эти ухищрения, он по-прежнему оставался непреклонным в своем решении. На Троицу он собрался в дорогу, чтобы направиться в столицу. Он отдавал себе отчет, что для этого ему придется перешагнуть через поток слез своих родственников. Положение усугублялось еще и тем, что в то же время его дядя П. П. Косьяровский известил их о своем намерении покинуть Украину и основаться в Луге. Для Марии Ивановны это был тяжелый момент, – необходимо было перенести внезапный отъезд двух мужчин, составлявших опору ее семьи. Полный апломба, девятнадцатилетний Николай Гоголь написал 8 сентября 1828 года своему дяде П. П. Косьяровскому письмо, в котором известил его о принятом им решении:

«Неужели вы в состоянии оставить тех, которые так вас любят?.. Я прошу вас, я умоляю, заклинаю и родством, и приязнию, и всем, что только может подвигнуть ваше доброе сердце, не оставьте нас, отмените свое грозное намерение и, совершивши свое достойное дело, приезжайте в Васильевку, будьте ангел-утешитель нашей матери».

И как бы между прочим в том же письме он сообщает П. П. Косяровскому, что принял решение уехать в Санкт-Петербург и что это решение уже ничто не сможет изменить. Все, чего ему удалось достичь до сих пор, осуществилось во многом благодаря дяде, самостоятельно он был

бы не в силах или бы не смог всего этого реализовать.

«Я еду в Петербург непременно в начале зимы, а оттуда бог знает, куда меня занесет; весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху ни духу несколько лет, и, признаюсь, меня самого берет охота ворочаться когда-либо домой, особливо бывши несколько раз свидетель, как эта необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке, как эти беспокойства убийственно разрушают ее здоровье, и все для того, чтобы доставить нам и удовлетворить даже прихотям нашим… Кто же в это время моего отсутствия может заставить ее быть спокойною, когда прибавляется ей еще новая печаль, беспрестанные заботы и часто печальные мысли на счет отсутствующего».

Николай Гоголь подсчитал, что на первое время ему для поездки в столицу понадобится тысяча рублей. Это была огромная по тем временам сумма, а Мария Ивановна всегда расстраивалась, когда речь заходила о деньгах. Но, поскольку он продолжал настаивать на отъезде, она собрала необходимую сумму. Чтобы хоть как-то возместить ее затраты, Гоголь был готов предоставить матери доверенность на управление своей частью наследства. Ни дом, ни сад, ни пруды, которые составляли его долю, не перевешивали его стремления уехать из деревни. Не теряя времени, он занялся подготовкой необходимых бумаг. И не стал ожидать, пока судьба сама соблаговолит сделать ему подарок. Заодно он помогал сестрам устроить свою жизнь. А что, если он не преуспеет на административном поприще? Ну что же, тогда он попробует свои силы в другой деятельности. «Вы еще не знаете всех моих достоинств, – писал он своему дяде. – Я знаю кое-какие ремесла: хороший портной, недурно раскрашиваю альфрескою живописью, работаю на кухне, много кой-чего разумею из поваренного искусства: вы думаете, что я шучу, – спросите нарочно у маменьки. А что еще более, за что я всегда благодарю бога, это свою настойчивость и терпение, которыми я прежде мало обладал: теперь ничего из начатого мною я не оставлю, пока совершенно не окончу. Итак, хлеб у меня будет всегда».

Перечисляя все эти профессии, освоить которые Николай Гоголь был готов для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, он совсем не упомянул о писательском труде. Однако еще никогда он столько не писал, сколько занимался этим в Васильевке.

Прежде всего ему очень не терпелось докончить идиллию в стихах «Ганц Кухельгартен», начатую еще в Нежине. Сюжет ее был перенят им из произведения Восса «Луиза», переведенного Терьяевым в 1820 году. Стиль написания он позаимствовал у А. С. Пушкина и В. А. Жуковского. Однако,

несмотря на все старания, перо его оставалось тяжеловесным, стихи вязли и в целом, производили скучное впечатление. В фабуле этой идиллии, с одной стороны, воспевалась патриархальная благостность некой немецкой семьи, счастье которой составляла ангельская девушка Луиза, возлюбленная Ганца. С другой стороны, описывались терзания представленного под романтическим соусом мечтательного юноши Ганца, который терзался в поиске смысла своего существования.

В волненьях сердца своего
Искал он думою неясной,
Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною и страстной,
Как будто мир хотел обнять.

Смесь гетевского Вертера, пушкинского Ленского и шатобриановского Рене, Ганц воплощает в себе в равной степени и многочисленные черты, свойственные его духовному отцу. Во всяком случае, личные озабоченности Николая Гоголя переполняют его произведение. Все, что он писал в своих письмах матери, дяде Косьяровскому, своему другу Высоцкому он повторяет стихами в своей поэме. Как и сам Николай, его герой Ганц испытывает потребность бежать из семейного круга своего существования и в удалении совершить великое деяние, «с тем, чтобы оставить след своего пребывания на земле»:

Все решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславью в жертву?
При жизни быть для миру мертву?

Презрение Николая Гоголя к жалким людишкам Нежина проявляется Ганцом Кухельгартеном ко всему остальному миру:

Как ядовито их дыханье!
Как ложно сердца трепетанье!

Как их коварна голова!
Как пустозвучны их слова!

А радость Ганца Кухельгартена по поводу идеи переиначить отчий дом является не чем иным, как радостью самого Николая Гоголя по поводу окончания лицея:

Так в заточенье школьник ждет,
Когда желанный срок придет.
Лета к концу его ученья —
Он полон дум и упоенья,
Мечты воздушные ведет:
Он независимый, он вольный,
Собой и миром всем довольный,
Но, расставаяся с семьей
Своих товарищей, душой
Делил с кем шалость, труд, покой, —
И размышляет он, и стонет,
И с невыразною тоской
Слезу невольную уронит.

Если лирические части «Ганца Кухельгартена» не отличаются оригинальностью, то некоторые описания выделяются своим дерзновением по сравнению с остальным содержанием поэмы. Вдохновленный реализмом А. С. Пушкина, Николай Гоголь не стесняется говорить об убранстве розовой комнаты, о вскипающем кофейнике, об аппетитном сыре на свежей корке хлеба, о петухе, фланирующем среди кур во дворе…

Создается впечатление, что все эти наблюдения взяты из самой жизни и им не требуется каких-либо дополнений. Однако автор придает им меньшее значение, чем основному сюжетному повествованию. Искусство, по его мнению, может быть только добродетельным. Он перемешивал в своем творчестве сентиментальность и высокопарность.

Накануне отъезда в холодную и туманную столицу России он написал еще одну поэму под названием «Италия», в которой превозносит сладость средиземноморской жизни, вспоминает о Рафаэле, и клянется себе в том, что однажды, когда ему выпадет возможность, он посетит этот «оазис» в «пустыне мира». Затем он перерабатывает написанную в лицее статью,

озаглавленную «Женщина». Это размышления, представляющие собой безумный гимн существу, «божественные черты которого отражают вечность». Воспарив на своих юношеских чувствах, он говорит о женщине с таким ярким красноречием, с каким об этом не говорил никто. Абстрагируясь от головокружительной пропасти полового различия, не смея даже вообразить, что между двумя настолько различными существами возможен контакт, он возводит женщину на пьедестал и любуется ею на расстоянии: «Она это поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее действительности…» Что касается любви, то это «… – прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где все родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца – вечного бога, своих братьев – дотоле невыразимые землею чувства и явления – что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности…» И вот сама так вдохновляющая героиня: «Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амврозии, свободно удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не трогала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными взорами, и полуприкрывавшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, – казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лилися сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгала всю душу…»

Покоренный скульптурной красотой, порожденной его воображением, Николай Гоголь не оставлял мысли увидеть ее во сне. Испытываемое восхищение придуманной им женщиной занимало его чувства. И если бы он повстречал ее в реальной жизни, то из-за страха наверняка потерял бы сознание или, по крайней мере, бежал бы прочь. Не упустил ли он женщину своей мечты в Санкт-Петербурге? Его кровь стыла только от одной мысли легкого соприкосновения с мечтой, в то время как его

товарищи по лицею не скрывали своих отношений с девушками. Но сам он не мог мечтать о женщине, как о неком блюде, хотя и был чрезмерным гурманом. Он очень любил пирожное с кремом или фаршированную индейку и мог пойти на дальнее расстояние, чтобы полакомиться пирогами с маком. Однако никогда не испытывал желания заниматься любовными утехами. Самое прекрасное, по его представлению, надо было еще заслужить у Бога. В назначенный Всевышним час он вступит на свою, ему предначертанную дорогу. Предупреждающее знамение даст знать ему об этом, и он более не будет ведать сомнений.

По мере того как уходило время, Мария Ивановна проявляла все больше беспокойства из-за отъезда сына в столицу. И когда он казался ей уже настроенным на отъезд, она отговаривала его в слезах, жалуясь на плохое финансовое состояние семьи. 23 сентября 1828 года она пишет:

«Никоша мой спешит определиться на службу, и я думаю, что уж не могу удержать его более хотя бы до конца октября». Но она удержала его по разным предлогом до середины декабря. Со временем она смогла постепенно собрать необходимые средства и взять рекомендательное письмо, подписанное дряхлой рукой Д. П. Трощинского на имя влиятельного чиновника министерства внутренних дел Л. И. Кутузова. Мария Ивановна немного успокоилась, поскольку с этими бумагами Никоша должен был повсюду найти помощь и получить необходимую протекцию. Гоголь решает выехать в Санкт-Петербург вдвоем со своим старым однокашником по Нежинскому лицею Александром Данилевским, который жил в верстах тридцати от Васильевки. Вместе с ним Николай Гоголь намеревался поступить в школу младших офицеров охраны. Друзьям, которые пожелали ему благополучного пути, он серьезно отвечает: «До свидания, Вы никогда более не будете говорить обо мне и не услышите обо мне ничего, кроме хорошего». Несмотря на то, что Новый год был уже близко, Гоголь отказался встретить его в кругу семьи, он очень спешил вступить в свою взрослую жизнь. Уже похолодало. Легкий снег покрыл дороги. Данилевский подъехал в крытой повозке. Прислуга принялась загружать вещи Гоголя.

Глава III
Первые шаги в Санкт-Петербурге

Целых три недели понадобились Николаю Гоголю для того, чтобы зимой добраться из Васильевки в Санкт-Петербург. Он выбрал самый длинный путь, который пролегал через Чернигов, Могилев и Витебск, но минуя Москву. Он сознательно не захотел заезжать в этот город, не желая смешивать свои первые впечатления от ожидаемой встречей со столицей с другими. Лютый холод стоял на дворе. На перегонах станционные смотрители с недовольством выдавали свежих лошадей. Путешественники обслуживались не по очередности их прибытия, а в зависимости от чиновничьего статуса и служебного предписания. Никогда еще Николай Гоголь не ощущал себя таким униженным перед важными персонами, которые то и дело дефилировали у него перед носом, вынуждая его ожидать, поскольку он являлся всего лишь «коллежским регистратором» 14-го класса. Чтобы хоть как-то скрасить трудности поездки и перенесенные унижения, молодые люди до самого въезда в Санкт-Петербург вели жаркую беседу. Повозка их лихо катилась по ухабам и сугробам. Навстречу запряженным лошадям со свистом несся порывистый ветер. Одна за другой, бесконечно сменялись бледно-синие равнины, за далью простиралась даль, проплывали мимо деревушки, погребенные под белым панцирем снега. Один за другим сменялись станционные пункты с неистребимым запахом сапог, сена и гудрона. Иногда Николаю Гоголю казалось, что эта бесконечная дорога через просторы России не закончится никогда и что он снова возвращается домой, не увидев ничего, кроме бесконечного снега. Однако наименования двух последних остановок вселили-таки в него утраченную надежду. Конечная цель их путешествия неуклонно приближалась, и однажды вечером созвездием огней показался Санкт-Петербург. Завороженные увиденным, Данилевский и Гоголь приказали кучеру остановиться, сошли с саней и приподнялись на цыпочках, восторженно созерцая возникший перед их глазами мираж из льда, камня и огней. Адмиралтейская игла гордо возвышалась над городом их мечты. У черно-белого шлагбаума они увидели инвалида, стоявшего на своем посту. На дворе был лютый холод. Яким, слуга Николая Гоголя, здоровенный двадцатисемилетний детина, упросил своего хозяина подняться в карету. Заняв свои места в экипаже, оба друга приготовились к встрече с новыми впечатлениями. Шлагбаум, покачиваясь, медленно

приподнялся, и экипаж рысью проскочил в город..

«Боже мой! Стук, гром, блеск, – писал Николай Гоголь в „Ночи перед Рождеством“, – по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто поднимались из земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег летел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш».

Их восхищение городом продлилось не так уж долго. Друзья остановились сначала в небогатом квартале на Гороховой улице у Семеновского моста в III-й Адмиралтейской части, где им было заказано недорогое помещение. Проснувшись следующим утром на месте ночлега «в смешной маленькой каморке с видом на Неву» и открыв глаза, Гоголь обнаружил себя в грязной, заледенелой мансарде, окно которой выходило на желтую запачканную стену противоположного дома. По дороге он простудился и вынужден был оставаться в постели под присмотром Якима, который поил его горячим чаем и ставил банки. Данилевский на целый день исчез в городе и возвратился только вечером, наполненный впечатлениями от увиденного и встреч с петербуржцами. Раздосадованный Гоголь решает сменить место своего проживания и вместе с Данилевским переезжает в небольшую квартиру из двух комнат. Позже он разъезжается со своим другом и устраивается с Якимом в более удобной квартире на Большой Мещанской улице в доме каретного мастера Яхима.

Его квартира была расположена в удалении от красивых набережных столицы, освещенных площадей, мраморных дворцов. На Большой Мещанской проживали в основном незнатные люди: бедные ремесленники, служащие невысокого ранга – вся серая, незащищенная, раболепная, одинокая и обеспокоенная масса людей. Дом с желтым фасадом имел крытый вход, а за ним – замусоренный всевозможными отбросами двор. Все мастерские выбрасывали туда свои отходы. «Дом, в котором обретаюсь я, – пишет Николай Гоголь матери 30 апреля 1829 г., – содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками».

Если внешний вид этого рабочего квартала говорил об

ограниченности и нищете, то достаточно было пройтись по центру города, чтобы убедиться в обратном. От роскоши сверкающих витрин, обилия кафе, где просиживала элегантная публика, театров, украшенных яркими афишами, от несметных соблазнов, предлагаемых вокруг, у безденежного прохожего могла легко вскружиться голова. В провинции, вдали от больших и богатых поместий, бедность переносилась с достоинством. Здесь же она выглядела как болезнь, и на каждом углу портила вам кровь. Совсем близко представленные удовольствия и постоянная их недоступность создавали в мозгу дьявольскую навязчивость. Все это, как на перманентном пиру, действовало на пустой желудок и вызывало слюноотделение. Время от времени, уступая соблазнам, случалось совершать незапланированные расходы, из-за которых в последующие дни обычно появлялись причины для самоукора.

И конечно, прибыв в Санкт-Петербург, Николаю Гоголю в первую очередь необходимо было приодеться. Жизнь в столице была достаточно дорогой: «…покупка фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей».

Но, несмотря на то что он был одет по последней моде, Николай Гоголь еще не чувствовал себя на одной ноге со столичными жителями. Здесь все казалось ему подогнанным под одну модель. Окружающие его люди выглядели, как толпа безликих существ, занятых своими делами. Все они были подчинены адской, бюрократической машине, лишены каких-либо чувств и казались какими-то усредненными.

«Скажу еще, что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы», – писал он своей матери 3 января 1829 года. А несколько недель спустя: «Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или Москву. Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские в свою очередь объиностранились и сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что,

поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размашками рук».[41]

Глубокую антипатию к административной службе Николай Гоголь начал ощущать сразу: еще не имея ни места, ни должности, а только лишь еще выйдя на прогулку по улицам города. По невзрачному лицу любого прохожего он безошибочно видел и кучу ожидавших его дел, и пальцы, перепачканные чернилами, и клубок служебных интриг, и раболепное поведение перед начальством. Неужели все это ожидает и его тоже? На подобные мысли его наводила ситуация, складывающаяся с его определением на службу. Уезжая из своей провинции, Николай Гоголь прихватил с собой несколько рекомендательных писем, которые должны были открыть перед ним все двери. Особенно он рассчитывал на письмо Д. П. Трощинского к Л. И. Кутузову. Последний, одного жеста руки которого было бы достаточно для определения будущего Гоголя, был болен. Благоразумие подсказывало ему, что будет лучше дождаться его выздоровления, чем понапрасну терять время в приемных других второстепенных благодетелей. Кутузов, поправившись, и в самом деле принял молодого человека. Весьма учтиво обращаясь с ним на «ты», он заверил его, что посмотрит, как помочь молодому человеку, но не стал конкретизировать своего обещания и на том распрощался. Другие сановники, сидя за письменными столами из красного дерева с бронзовыми украшениями, также отделывались уклончивыми обещаниями. Выходило так, что во всем административном омуте единственное место, на которое Гоголь мог реально рассчитывать, – это должность переписчика. Но именно данное предложение вызывало у него наибольшее раздражение.

«Мне предлагают место с 1000 рублей жалования в год. Но за эту цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, на что это похоже? в день иметь свободного времени не более, как два часа, а прочее время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и проч… Итак, я стою в раздумьи на жизненном пути, ожидая решения еще некоторым моим ожиданиям».[42]

Высокомерно отказываясь от столь бесславного занятия, Николай Гоголь не упускает ни малейшей возможности попросить свою мать оказать ему финансовую помощь. Сначала он выражает ей свою стоическую готовность перенести все превратности судьбы ради служения своему идеалу:

«Я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, все это пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда».[43] Но тут же жалуется на невозможность прожить на 120 рублей в месяц: «Я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно и, несмотря на это, все по расчету, менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц».[44] То вдруг напрямую просит срочно выслать денег: «Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более, дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь, тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей».[45]

Мария Ивановна, безумно обеспокоенная тем, что ее сын может умереть от голода и холода в большом, враждебном городе, принялась налево и направо одалживать суммы в залог земельных угодий, продала медную утварь, используемую для винокурения, и направила ему деньги, приложив к ним свое увещевательное письмо.

Сам же Николай Гоголь уже не ощущал себя в Санкт-Петербурге одиноким и заброшенным. Он разыскал нескольких своих старых товарищей по Нежинской гимназии, таких же, как и он, скудно обустроенных и малообеспеченных, но полных надежд на будущее. Кроме Александра Данилевского, который был принят в школу гвардейских подпрапорщиков и имел свободное время по воскресеньям, он виделся с Аполлоном Мокрицким, обучавшимся в Академии художеств, с двумя братьями Николаем и Василием Прокоповичами, Иваном Пащенко, Евгением Гребенкой, Нестором Кукольником, Василием Любич-Романовичем. Они собирались то у одного, то у другого, и каждый из них, в зависимости от роли хозяина или гостя, готовил малороссийские блюда, напоминавшие им далекую покинутую родину. Николай Гоголь, без сожаления оставивший Васильевку, теперь с ностальгией тосковал о мирном быте провинциальной жизни, о простых нравах крестьян и особенно о звездном небе Украины. Рассказы его бабушки, матери и старых домашних слуг часто виделись ему во снах. Может быть, стоило бы их записать и на этом заработать немного денег? Похоже, что его пристрастие к легендам и украинским песням продолжало оставаться для него актуальным и в столице. Во всяком случае, размышлял Гоголь, все это будет полезно записать на бумаге. Приняв такое решение, он пишет матери: «Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и поэтому я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень-очень нужно. В следующем

письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиан; главным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками.

Вторая статья: название точное и верное платья носимого до времен гетманских… Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей… Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».[46]

На самом деле он пока еще не знал, где и как использует этот фольклорный материал, о котором с таким воодушевлением запрашивал своих родных: то ли в виде сказок, то ли в виде этнографических заметок. В тот момент он его мысли были заняты главным образом тем, как опубликовать привезенные с собой две поэмы: небольшое стихотворение «Италия» и более объемное – «Ганц Кюхельгартен».

Поскольку сразу стать крупным государственным деятелем, благодетелем человечества было невозможно, а находиться на службе с утра до позднего вечера, не отходя от стола, заваленного казенными бумагами, глубоко неинтересно и постыло, ему необходимо было найти какое-то иное применение своим талантам. Делать деньги из своих стихов? В этом нет ничего постыдного! Но к кому обратиться? Он желал быть поддержанным только А. С. Пушкиным, своим кумиром. Рискнув дерзнуть, он отправился к поэту домой. Подойдя к дверям его дома, Николай Гоголь сразу оробел. Тогда он решил заглянуть в кондитерскую и выпить там рюмочку ликера для храбрости. После этого он решается пойти на приступ. На звонок вышел лакей. Открыв дверь, он сказал, что хозяин не может его принять. «Он отдыхает», – сказал слуга. «Ну, конечно же, Пушкин работал всю ночь!», – нервно пробормотал Николай Гоголь. «Ну, как же! – пробубнил слуга. – Они всю ночь играли в карты!» И Николай Гоголь, сникнув, ретировался. Более он никогда не осмеливался предпринять подобный демарш. Для начала он слишком высоко замахнулся. Отправив стихи «Италия» в журнал «Сын Отечества», он скромно попросил его редактора Фаддея Булгарина опубликовать их без упоминания автора. Фаддей Булгарин, являвшийся платным

осведомителем полиции, презирал многих своих собратьев по перу, но в то же время пользовался доверием властей. Он удовлетворил просьбу анонимного корреспондента. А 23 марта 1829 года Николай Гоголь, которому на днях исполнилось двадцать лет, уже мог впервые прочитать свои стихи, напечатанные черным по белому в брошюре, изданной в сотне экземпляров. Внизу текста было обозначено: «Без подписи». Никто в прессе не обратил на них внимания, но молодой человек испытал огромную гордость. Легкость, с которой «Италия» вышла в свет, создала иллюзию, что и для «Ганца Кюхельгартена» тоже не будет проблем. На этот раз он решил издаваться самостоятельно. Почти все деньги, которые выслала ему мать, ушли на книгоиздание. Однако в последний момент перед предоставлением текста в печать, его стали обуревать различные сомнения. Он сотни раз перечитывал содержание поэмы, изменял некоторые строчки, исправлял пунктуацию, предвкушал предстоящую славу, но временами неожиданно сникал, предчувствуя возможный провал. Должен ли он выпускать поэму под своим именем, подставляясь в таком случае под критику завистливых журналистов? Не имело ли смысла еще поработать и создать безупречное произведение, которое можно было бы подписать своим именем? Постоянно общаясь со своими друзьями, он, тем не менее, не открылся им в своих намерениях и не пожелал воспользоваться их советами. Никто из них и не ведал о его планах издать «Ганца Кюхельгартена». Все это объяснялось не его робостью, а желанием напустить на себя некую таинственность. Ах, как сладостно было это состояние! Под псевдонимом В. Алов он с осторожностью и лукавством написал предисловие к своей «Идиллии в восемнадцати картинах»: «Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствах, ни о недостатке его и представляя это просвещенной публике, скажем только, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного персонажа. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности способствовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». Разрешение цензуры было получено 7 мая 1829 года, и вскоре Николай Гоголь держал в руках первые экземпляры своего произведения. Он восторженно смотрел на это чудо: настоящая книга, не рукописная, а четко отпечатанная на новой бумаге, с фамилией автора на синей обложке и обозначением цены: пять рублей. Кто знает, может быть, среди сотни тысяч неизвестных читателей найдутся те, кто согласится

заплатить эту сумму и оплакать романтическую судьбу героя поэмы? Возможно, станет так, что и сам Пушкин прочтет «Ганца Кюхельгартена» и, очарованный музыкой этих стихов, потребует познакомить его с загадочным Аловым? Подобного рода фантазии настолько разжигали его безумное воображение, что он порой был вынужден брать себя в руки, чтобы и в самом деле не уверовать, что уже является самым близким другом поэта. Терзаемый нетерпением, он время от времени приходил к продавцу, чтобы осведомиться, как идет продажа его книги. Увы! Дни бежали, а стопочка брошюр на полках так и не убавлялась. От Пушкина нет ничего. Пресса тоже молчала. Казалось, что отзывы о «Ганце Кюхельгартене» канули камнем в воду. Однако вскоре критики начали просыпаться. Один из них, Н. Полевой, к авторитетному мнению которого прислушивались многие, написал в своем журнале «Московский телеграф» следующее: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на В. Алова не было предназначено для печати, но важные для одного автора причины побудили его переменить свое мнение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии».

В «Северной пчеле» появился еще один отзыв: «В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом».

Николай Гоголь остро воспринял эти замечания, которые представлялись для него веским поводом для тяжелого переживания. Что стоили теперь насмешки его товарищей по Нежинской гимназии по сравнению с тем, что испытал сегодня? Ах, как он мудро поступил, что выпустил эту поэму под псевдонимом. Хорошо еще, что совсем немногие из его окружения станут свидетелями его провала. Ближайшие друзья его и не догадывались, что они бок о бок общаются с несчастным Аловым. Тот, кто хотел пленить самого Пушкина, совсем вдруг сник, низко пав с высоты. Теперь он был совсем не в состоянии возражать своим критикам. Хотя он все еще пытался дать обоснование каждой строчке, но ни один стих «Ганца Кюхельгартена» уже не казался ему теперь достойным упоминания. Как же пережить этот провал? Радикальное решение не заставило себя ждать. На дворе стоял разгар июля. Санкт-Петербург задыхался от несносной жары, солоноватый запах проникал во все открытые окна. Николай Гоголь взял извозчика и в сопровождении своего слуги Якима проехался по книжным лавкам, чтобы изъять оттуда оставшиеся экземпляры «Ганца Кюхельгартена». Со смешанным чувством

ярости и скорби он свалил связанные пакеты в кузов повозки. Естественно, что в этот момент он меньше всего хотел выслушивать расспросы относительно тяготившего его груза. В это время он снимал квартиру вместе с Николаем Прокоповичем в доме Зверькова у Кукушкина моста, а в ней всегда собирались их общие друзья. Ему необходимо было найти уединенное местечко, удаленное от любопытных взглядов. В голове возникла идея снять временно комнату в гостинице на Вознесенской улице. Там вместе с Якимом он разжег в печке огонь и бросил в топку все новенькие книжки, одну за другой, до последнего экземпляра. Страницы загорались неторопливо, коробились, чернели и дымились. И, наконец, возгорелись ярким пламенем. Это горели не только иллюзии автора, это в божественном костре перерождалась его душа. Он еще долго находился под впечатлением этого момента своей жизни. Когда с книгами было покончено, он испытал облегчение, смешанное с легкой грустью.

Возвратившись к себе, он ни словом не обмолвился о содеянном. Но жизнь показалась ему теперь пустой и одинокой. Что же предпринять после столь чувствительной неудачи? И он, подобно своему герою Ганцу Кюхельгартену, уже через несколько недель вдруг решает уехать за границу, чтобы наконец раскрыться под небом далекой чужбины. В письме своей матери, написанном 22 мая, он подготавливает почву для обоснования своего отъезда. Как всегда, он расставил вехи, предваряющие его замысел, и как бы отказываясь от него, в то же время придумывает неординарные ходы, оправдывающие его намерение. На этот раз для того, чтобы предотвратить упреки Марии Ивановны в непоследовательности своих действий, он придумал таинственного друга, готового взять на себя расходы по путешествию:

«Это путешествие, сопряженное обыкновенно с величайшими издержками, мне ничего не стоило, все бы за меня было заплачено, и малейшие мои нужды во время пути долженствовали быть удовлетворяемы. Но вообразите мое несчастье, нужно же этому случиться. Великодушный друг мой, доставлявший мне все это, скоропостижно умер, его намерения и мои предположения лопнули. И я теперь испытываю величайший яд горести, но она не от неудачи, а от того, что я имел одно существо, к которому истинно привязался было навсегда, и небу угодно было лишить меня его».

Похоронив мистический персонаж, порожденный его пером, Николай Гоголь по меньшей мере признался, что идея отъезда и связанные с этим расходы ложатся и на этот раз, как и всегда, на разумение его матери. Теперь она знает, что заграница влечет ее сына и что он будет нуждаться в

деньгах, чтобы оттуда вернуться. Ну что ж, коли в Санкт-Петербурге была только проза, может быть, поэзия расцветет где-то вне его? Безусловно, Николай Гоголь существовал в отрыве от земных проблем, он все еще находился в грезах чувственного восприятия прекрасного. Америка, рассуждал он, страна первооткрывателей и созидателей. Девственная земля. Вот именно то, что ему так необходимо! Но ведь она находится на другом конце света! Желательно было бы обойтись наименьшими затратами. Вот Германия, к примеру, это нежность и романтика. Но ведь и туда невозможно добраться при отсутствии денег. Мария Ивановна обеспечивала его достаточной с точки зрения расходов в Васильевке суммой, но она предназначалась лишь для оплаты его проживания в Санкт-Петербурге. И вот, неожиданно, эти деньги свалились на него как с неба. Николай Гоголь воспринял это как Божественное благословение его намерения. Не этим ли объяснялся его абсурдный поступок, когда вместо вложения их в кассу Опекунского Совета, он использует эти средства для осуществления своей поездки за границу. Опекунский Совет мог и подождать, а он – нет. Получив деньги ассигнациями, он помышляет о Любеке. Да, но почему именно о Любеке? Об этом, пожалуй, не знал даже он. Ему просто понравилось это звучное, как звон колокольчика, наименование. Он отправится туда, чтобы наконец покончить с созерцанием своей жизни. Он колеблется и не решается сразу известить мать о своем близком отъезде и растрате денег, которые она ему выделила для проживания. День ото дня он придумывает все новые доводы для своего оправдания. Так, для того чтобы заручиться ее согласием, он решил направить Марии Ивановне доверенность на право распоряжаться принадлежащим ему частью имения или право заложить его по ее усмотрению. Купив гербовый листок бумаги, он пишет:

«Любезнейшая родительница! Руководствуясь чувствами сыновей к Вам любви, я ничем не могу доказать их более, как во время отсутствия моего утвердить благосостояние Ваше на прочном основании». Согласно детальной инструкции, Марии Ивановне вверялось распоряжаться всем недвижимым имуществом и крепостными, принадлежавшими ее сыну. Документ датирован 23 июля 1829 года и заверен подписью «Вам преданнейший сын, 14-го класса Николай Гоголь-Яновский». На следующий день 24 июля 1829 года он сел за стол, чтобы написать свое объяснение. Какие же доводы должен был он привести, чтобы оправдать необходимость этого шага? Прежде всего, конечно, представить свой поступок как повеление воли Всевышнего. Это именно тот довод, которому Мария Ивановна не сможет не внять:

«Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего; но как ужасно это наказание! Безумный! Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворил меня в жажду ненасытимую бездейственною рассеяностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеевать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно… Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва стающим себя содержать прилично, и не иметь силы принесть на копейку добра человечеству… Несмотря на это все, я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы то ни стало; но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, безо всякой протекции, легко получали то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо мною промысел Божий? не явно ли наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный. Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего».

Разматывая этот моток мистической спекуляции, Николай Гоголь почувствовал себя немного более уверенным в своем оправдании. И тем не менее по прочтении написанного приведенный аргумент показался ему недостаточно весомым. Ему требовалась другая, более весомая мотивация, оправдывающая его бегство. В своем предыдущем письме он выдумал персонаж в лице благородного друга, умершего в расцвете сил. На этот раз к нему пришла идея сослаться на любовь к женщине необыкновенной красоты и крайне недоступной. После Бога она одна из его ангелов-хранителей. На самом же деле со дня приезда в Санкт-Петербург у него совершенно не было никаких амурных романов. У него и в помыслах не было никакого к этому стремления. Одно лишь прикосновение этих длинноволосых созданий с бархатной улыбкой заставляло его цепенеть. Однако его перо опускает подробности своих отношений со своей возлюбленной, он действительно представляется влюбленным, но все же больше пишет о деталях своего головокружительного чувства, которое он испытывает с невыносимым страданием в груди. С пылом, энтузиазмом и отчаянием опишет он своей матери в том же письме:

«Наконец… какое ужасное наказание! Ядовитие и жесточе его для

меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать… Маменька, дражайшая маменька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уж не тем заняты, и теперь, при напоминании, невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее… нет, не назову ее… она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение – некстати для нее. – Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. – Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронизающие душу; но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. Правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была… я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз – вот бывало одно-единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!»

Когда Мария Ивановна получила это поэтическое послание, в котором утверждалось, что сам Всевышний, с одной стороны, фатальная женщина, с другой, совместными усилиями побудили ее Никошу покинуть Санкт-Петербург, первое, что ей пришло на ум: не лишился ли он разума? Однако концовка письма, где говорилось о денежных проблемах, тут же отметала такого рода мысли.

«Итак, – пишет Николай Гоголь, – я решился. Но к чему, как

приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся; но вдруг получаю следуемые в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов; узнал, что просрочка длится на четыре месяца после сроку, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут. Поступок решительный, безрассудный; но что же было мне делать?.. Все деньги, следуемые в опекунский совет, оставил я себе и теперь могу решительно сказать: больше от вас не требую… Не огорчайтесь, дорогая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их на век. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных.

Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек. Это небольшой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру…»

Конец письма расплылся в потоках слез Марии Ивановны. Ее деньги были уже безвозвратно потеряны, а ее сын все дальше и дальше удалялся от нее в неведомые края. Ее сердце сразу же защемило в тревоге, в голове причудились тысячи опасностей, подстерегающие сына на судне, уносившем его к берегам далекой Германии.

Море было неспокойным. Пароход трещал и болтался под натиском высоких зеленных волн. Окатанный брызгами Николай Гоголь ходил по палубе, пошатываясь и борясь против накатывающих позывов тошноты. Накануне он покинул своих друзей, не объясняя им своих намерений. Никто из них не понимал причин его бегства. В целях экономии он не взял с собой в поездку даже своего слугу. Яким остался ожидать его в квартире. От сильной качки страдали все пассажиры. Матросы жевали табак и плевались. После двух дней плавания наконец показались берега Швеции и остров Борнгольм с его обнаженными скалами и зеленными долинами берегов. Еще через четыре дня, прошедших между небом и водой, ранним

туманным утром показался порт Любека. В первый момент, сойдя с парохода, Николай Гоголь был поражен шумом и оживленным движением на причале. Придя в себя, он степенно осмотрел город, подивился на высокие, узкие дома, покрытые красной черепицей и с чисто убранными дворами. Он с любопытством заходил в переполненные яствами магазины, на постоялые дворы, где здоровенные розовощекие немцы пили пиво. Смотрел на молодых крестьянок в цветных корсажах, важно расхаживающих по улицам, а также на шведских, английских, американских путешественников, которые встречались ему за общим обеденным столом.

Но больше всего его поразил древний возраст старинных памятников. По сравнению с Санкт-Петербургом, время основания которого насчитывало всего один век, любой фасад здесь казался ему богатым и древним. С особыми эмоциями вошел он в готический собор, украшенный разнообразными каменными изразцами и освещенный необычным светом витражей. Не являлась ли эта изощренная архитектура способом выражения человеком своих религиозных чувств? А монументальные часы, которые в полдень открывали дверцы, и в них по кругу проходила вся процессия, состоящая из двенадцати апостолов? А картины немецких и итальянских мастеров? Среди этих шедевров живописи Николай Гоголь, который имел пристрастие к живописи еще во времена своей учебы в Нежине, вновь вообразил себя художником. Очень быстро, однако, его любопытство притупилось. Ужасное чувство одиночества вдруг объяло его. Он задался вопросом: что он приехал искать в стране, на языке которой даже не говорит. Строчки из поэмы «Ганца Кюхельгартена» всплыли у него в памяти:

Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлет,
Души он тяжкий ропот внемлет;
Ему и горестно и жаль,
Зачем он путь сюда направил.

Так же, как и его герой, он бежал из мира, чтобы оказаться лицом к лицу наедине с собой. Больше всего, вне всяких сомнений, он огорчил свою мать. Со дня отъезда он все время думал лишь о том, как искупить свою вину перед ней и что написать ей в письме. Теперь он уже забыл и о «предписании Всевышнего», и о женщине с «лицом поразительного

блистания», на которые он сослался, мотивируя свой поступок. На этот раз он объяснял свой отъезд только болезнью.

«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемнадцати верстах от Любека».

На самом деле он посетил Травемунд, но провел там только три дня, не помышляя о курсе лечения, о котором упоминал в письме. Николай Гоголь проследовал через этот городок, направляясь в Гамбург. Вернулся он в Любек еще более праздный и дезориентированный. Там его уже поджидало гневное письмо матери. В нем она не только требовала как можно скорее вернуться в Санкт-Петербург, но еще и в обидной манере интерпретировала причины, которые он привел ей по поводу своего отъезда за границу. Сведя вместе две истории – о заболевании и о любовной страсти, она сделала заключение, что ее сын заразился венерической болезнью от персоны, которая окрутила его своей красотой. Это заключение повергло Николая Гоголя в глубокий ужас. Его ложь обернулась против него же самого.

«Как вы могли, маменька, подумать даже, что я – добыча разврата, что нахожусь на последней ступени унижения человечества! Наконец решились приписать мне болезнь, при мысли о которой всегда трепетали от ужаса даже самые мысли мои, – писал он своей матери. – Как вы могли подумать, чтобы сын таких ангелов-родителей мог быть чудовищем, в котором не осталось ни одной черты добродетели… Но я готов дать ответ перед лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома. Но я не могу никаким образом понять, из чего вы заключили, что я должен быть болен непременно этою болезнью. В письме моем я ничего, кажется, не сказал такого, что могло бы именно означить эту самую болезнь».[47]

Забыв, что обосновал свой отъезд необходимостью лечения сильной золотушной сыпи, выступившей на лице и руках, невозмутимо продолжил:

«Мне кажется, я вам писал про мою грудную болезнь, от которой я насилу мог дышать, которая, к счастью, теперь меня оставила. Ах, если бы вы знали ужасное мое положение! Ни одной ночи я не спал спокойно, ни один сон мой не наполнен был сладкими мечтами. Везде носились передо

мною бедствия и печали, и беспокойства, в которые я ввергнул вас».

На этот раз в его мыслях были и планы посетить отчий дом. Впрочем, ресурсы для осуществления этого плана у него уже поистощились. В день отбытия он еще раз прошелся по сумрачному и сдержанному Любеку, поднялся на судно и отплыл обратно.

Однажды вечером, возвращаясь домой, Николай Прокопович столкнулся на улице с Якимом, бежавшим с радостным видом к булочнику: хозяин вернулся! И в самом деле, Прокопович увидел своего друга, сидевшего с угрюмым и усталым лицом в комнате, уставленной багажом. На все вопросы, с которыми Прокопович кинулся к Николаю Гоголю, путешественник отвечал однообразно и уклончиво. Со всей очевидностью было заметно, что он не желал рассказывать о своей авантюре в Германии. Прокопович и другие друзья Гоголя оставили его в покое. Эпизод с поездкой в Любек так и остался для всех тайной. Этого, без сомнения, только и хотел ее главный участник.

Глава IV
Деятельность

Снова Санкт-Петербург: шум, дождь, холод, нехватка денег. Как заплатить сумму, предназначенную Опекунскому совету? Если заложенное имущество не будет оплачено вовремя, собственность в Васильевке могла быть продана с молотка. Пиком несчастья, постигшего в этот период семью, была смерть ее назначенного покровителя Дмитрия Прокопьевича Трощинского, скончавшегося в июне месяце. Его племянник и наследник Андрей Андреевич Трощинский был полной противоположностью своего дяди. Отчаявшись в связи со сложностью своего положения, Мария Ивановна написала ему в Санкт-Петербург, где Андрей Андреевич Трощинский находился по своим делам, и умоляла его о помощи. Он пригласил Николая Гоголя к себе, резко отругал его, но тем не менее оплатил до последней копейки все долги. Он даже дал своему молодому родственнику немного денег и милостиво подарил ему зимнее пальто. Что касается будущего, то, по наставлению А. А. Трощинского, Николаю Гоголю необходимо было серьезно зарекомендовать себя, но ни в коем случае не на поприще искусства. И он заверил Николая Гоголя, что посодействует ему подыскать подходящую чиновническую должность. Несмотря на это, а может быть, и вопреки тому, о чем просил его дядя, Николай Гоголь внезапно испытал страстное желание испробовать свои силы в театре. Опасение завершить свою жизнь в шкуре бумагомарателя подхлестнуло его дерзость. В его памяти были еще свежи воспоминания о головокружительном успехе, выпавшем на его долю как артиста в Нежинском лицее. И было бы преступлением оставить без реализации талант, отпущенный Богом. Он сразу же вообразил себя знаменитым артистом, таким же популярным, как Гаррик, Тальма или И. А. Дмитриевский.

В одно серое дождливое утро он направился на Английскую набережную, домой к директору Императорского театра, князю Сергею Сергеевичу Гагарину. По этому случаю он облачился в свой лучший костюм. Но внезапная зубная боль, постигшая его в самый последний момент, вынудила его обвязать воспаленную щеку черным носовым платком. Князь, подумал он, достаточно воспитанный человек, чтобы не обратить внимания на подобную деталь при знакомстве. На пороге дома его встретил личный секретарь Гагарина, молодой человек по имени

Мундт, который принял визитера и спросил, имеет ли он к князю какую-либо просьбу.

«Да, я желаю поступить в театр как актер», – твердо ответил Николай Гоголь.

Мундт попросил его подождать, поскольку князь пока еще занимался своим туалетом. Николай Гоголь сел у окна и сквозь стекло рассматривал Неву, протекающую подле дома. Время от времени он морщился и прикладывал руку к щеке.

«У вас, кажется, болит зуб, – сказал ему Мундт. – Не хотите ли одеколону»?

«Благодарю вас, – пробормотал Николай Гоголь, – это пройдет так…»

Немного спустя Мундт открыл поспешно, одну за другой, двери, пропуская просителя в директорский кабинет. Почти религиозное чувство почтения охватило вдруг Николая Гоголя, когда он увидел представшую перед ним важную персону с гладко выбритым и холодным лицом, окаймленным пышными бакенбардами. Рассказывали, что Гагарин, великий постановщик балета, с презрением относился к русским пьесам, а при разговоре с собеседником часто путал Вальтера Скотта и Вольтера. Тем не менее одного его слова было достаточно, чтобы определить карьеру любому артисту. По-видимому, ему самому нравилось наводить робость на своих собеседников. За его спиной Мундт наблюдал следующую сцену.

«Что вам угодно?» – спросил князь.

Николай Гоголь, держа шапку на животе, собрался духом и промолвил:

«Я желал бы поступить на сцену и просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы».

«Ваша фамилия?»

«Гоголь-Яновский».

«Из какого звания?»

«Дворянин».

«Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить».

«Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня, мне кажется, что я не гожусь для нее, к тому же я чувствую призвание к театру».

«Играли вы когда-нибудь?»

«Никогда, Ваше сиятельство»

«Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант».

«Может быть, во мне какой-нибудь талант».

«Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?»

«Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы – на драматические роли».

Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:

«Ну, г. Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело!»[48]

Он тут же дал указания Мундту о том, чтобы инспектор русской труппы А. И. Храповицкий испытал Николая Гоголя и в ближайшие дни доложил.

Аудиенция состоялась утром в Большом театре. Сам А. И. Храповицкий был большим поклонником классической декламации. Он принял Николая Гоголя в своем кабинете, где также находились и некоторые актеры труппы. Перед присутствующими специалистами неофит потерял последние остатки своей уверенности. Поскольку Николай Гоголь не подготовил заранее никакого текста, то Храповицкий предложил ему почитать монолог Ореста из «Андромахи» Расини в переводе Хвостова. Уткнувшись носом в брошюру, Николай Гоголь с таким робким и вялым тоном читал тяжеловесные стихи Хвостова, что Храповицкий только морщился и прерывал его через каждые две минуты. За трагедией последовал комедийный отрывок из «Школы стариков». Но и его прочтением новичок совершенно не порадовал своих слушателей. Свой приговор Гоголь явственно увидел в глазах ареопага. Неужели он действительно не обладает никаким талантом, или петербургская атмосфера его так парализовала? Храповицкий обмолвился для вежливости в адрес Николая Гоголя тремя дежурными фразами. До этого, несколькими месяцами ранее, Николай Гоголь также неудачно попытался представить для постановки две комедии своего отца, написанные на украинском языке: «Собака-овца» и «Пароссийский роман». Невзирая на это, он твердо решил, что чего бы ему ни стоило, но он все-таки осуществит свою мечту о театре. Единственный предмет, необходимый для этого, был письменный стол.

Андрей Андреевич Трощинский не бросал слов попусту. 15 ноября 1829 года Николай Гоголь получил место в министерстве внутренних дел в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий с более чем скромным жалованием – пятьсот рублей в год. Таким образом, он влился в серую толпу мелких служащих. Взвесив все за и против, он предпочел не отказываться от этого предложения, решил его бесперспективному варианту возвращения в семью и проведения остатка своих дней в Васильевке. В связи с этим он пишет своей матери:

«Взявши свое место в сравнении с местами, которые занимают другие, я тотчас вижу, что занимаемое мною место есть еще не самое худшее, что многие, весьма даже многие захотели бы иметь его, что мне только стоит удвоить количество терпения, и я могу надеяться получить повышение; но зато эти многие получают достаточное количество для своего содержания из дому, а мне должно жить одним жалованием. Теперь посудите сами, сокративши все возможные издержки, включая только самые необходимейшие для продолжения жизни, никого никогда у себя не принимая, не выходя никогда почти ни на какие увеселения и спектакли, отказавшись от любимого мною развлечения – от театра, и за всем тем я никаким образом не могу издерживать менее ста рублей в месяц: сумма, с которою бы никто из молодых людей не решился жить в Петербурге… Хорошо, что я еще имел все это время такого редкого благодетеля, как Андрей Андреевич. До сих пор я жил одним его вспомоществованием. Доказательством моей бережливости служит то, что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое сделал по приезде своем в Петербург из дому, и потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также немало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели. Деньги, которые я выпрашивал у Андрея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, потому что они все выходили на содержание, а много я просить не осмеливался, потому что заметил, что я становлюсь уже ему в тягость. Он мне несколько раз уже говорил, что помогает мне до того времени, только пока вы поправитесь немного состоянием. И вы не поверите, чего мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах. Теперь, в добавку, он располагает ехать в мае месяце совсем из Петербурга. Что мне делать в таком случае? Теперь остается спросить вас, маменька: в состоянии ли вы выдавать мне в месяц каждый по сто рублей?»

Написав эту цифру, рука Николая Гоголя замерла на время, повиснув без движения над бумагой. Не слишком ли он перебрал в своей просьбе? Может, будет достаточно и восьмидесяти рублей… Ничего ж не стоит дописать в письме еще одно или два слова в свое оправдание. И он снова принимается сочинять историю, в сущности меняющую первоначальное изложение. Небылицы одна за другой исходят из-под его пера. И хотел он этого или нет, но они представлялись более правдоподобными, чем сама действительность:

«В самое это время, когда я хотел оканчивать письмо мое к вам,

посетил меня начальник мой по службе с не совсем дурной новостью, что жалованья мне прибавляют еще двадцать рублей в месяц. Итак, я снова спрашиваю вас, маменька, можете ли вы мне выслать по восемьдесят рублей в месяц…»[49]

И как бы в обоснование своего «рэкета» он приводит табличку его доходов и расходов за январь месяц 1830 года:

Январь.

Приход. Расход. Получено жалования

За квартиру – 25 р.

м. Январь – 30 р.

На стол – 25 р.

От Андрея Андреевича

На дрова – 7 р.

полученных осталось – 50 р.

На сахар, чай и хлеб – 20 р.

Выручил за статью, переведенную с французского: О торговле русских в конце XVI и начале XVII века для Северного Архива – 20 р.

На свечи – 3 р.

Водовозу – 2 р.

За перчатки заплачено – 3 р.

Прачке – 5 р.

На содержание человека – 10 р.

Итого – 100 р.

За два носовых платка – 2 р. 50 к.

На мелкие издержки, как-то: извозчикам, цирюльникам и проч.

Потреблено – 5 р.

На подтяжки – 4 р.

Итого – 111 р. 50 к.

В баню – 1 р. 50 к.

А в добавление, чтобы приукрасить трагичность ситуации, он с нарочитой небрежностью добавляет следующие строки:

«Извените, что так дурно и неразборчиво пишу. Рука у меня обвязана и разрезана разбитым стеклом, боль мешает мне более писать».

А Мария Ивановна в очередной раз с причитанием, уступала просьбам своей душеньки, идя на поводу своего несносного и беспокойного Никоши. Однако вскоре положение Николая Гоголя изменилось к лучшему. 10 апреля 1830 года его зачисляют в Департамент земельных уделов на вакансию писца с окладом шестьсот рублей в месяц. 3 июня 1830 года ему присвоили чин коллежского регистратора, а 22 июля того же года он назначен помощником столоначальника с жалованием семьсот пятьдесят рублей. Это не было ни фортуной, ни даже везением, просто он нашел смелость сказать себе, что в конце концов он не может жить вечно за счет других.

Квартиру Николай Гоголь снимал совместно со своими друзьями Н. Прокоповичем и И. Пащенко. Это облегчало его расходы и хоть как-то скрашивало дни. Три комнаты, по одной на каждого, а Яким ночевал в стенном шкафу. В девять часов утра Гоголь уже находился на рабочем месте и впрягался в исполнение своих скучных обязанностей: сшивку листов, копирование ведомостей, переписывание доклада, подчеркивание заголовков. Облокотившись на стол, он наблюдал за коллегами. Молодые и старые, тучные и худые, волосатые и лысые, они все имели усталый вид и страшно боялись получить замечание от начальника. Годы жесткой дисциплины пригнули их позвоночники, нивелировали характер и занизили амбиции. Зарывшись за ворохом бумаг и чернильных приборов, они не видели ничего дальше кончика своего пера. Когда начальник спрашивал их мнение по какому-либо служебному вопросу, они и не думали его высказать, а с беспокойством старались угадать, какого ответа от них хотят получить. Это было царство раболепия, низкопоклонничества, карьерных интриг, низменных интересов и чванливости. По утрам в воскресенье все они выходили на церковную службу, так, чтобы обязательно быть замеченными начальниками. В воскресенье после полудня – напивались. В понедельник вновь приступали за работу с тяжелой головой. Единственным желанием их было опохмелиться. В этом департаменте возможность получить взятку выпадала достаточно редко. Для того, чтобы перехватить немного дополнительных денег, необходимо было крутиться и вступать в контакты с людьми. Николай Гоголь писал матери:

«Вы говорите, почтеннейшая маминька, что многие приехавшие в Петербург, сначала не имевшие ничего, жившие одним жалованием, приобретали себе впоследствии довольно значительное состояние

единственно стараниями и прилежанием по службе… Но вспомните, к какому времени это относится… Тогда, особливо в царствование блаженной памяти Екатерины и Павла, сенат, губернские правления, казенные палаты были самые наживные места. Теперь взятки господ служащих в них гораздо ограничены; если и случаются какие-нибудь, то слишком незначительны и едва могут служить только небольшою помощью к поддержанию скудного их существования».[50]

Непосредственный начальник Николая Гоголя, Владимир Иванович Панаев был некогда поэтом-любителем, автором нескольких «идиллий», которые пользовались определенными положительными отзывами. Но на службе он представлялся строгим сухим чиновником, пунктуальным и педантичным, противником всего, что исходит от воображения. Возможно, он относился к тому сорту людей, кто изменил своему первому призванию? Никогда не задумываясь об этом, Николай Гоголь только от одного общения со своим начальником покрывался «гусиной кожей». Вместе с тем, с ним тоже происходило нечто удивительное: складывалось впечатление, что он, испытывая презрение к недалекому человеческому роду на работе, в то же время самообогащается, благодаря контактам с этими людьми. Он, наблюдая за сотнями смиренных и неприглядных персонажей, углублял свои знания об образе ничтожных людишек, коллекционировал выражения их лиц, нервные движения, реплики и гримасы.

Наконец наступало три часа пополудни. Все приходило в движение, дела закрывались в шкафы, весь народ устремлялся на выход. Николай Гоголь, наспех пообедав, бежал в Академию художеств. Улицы были заполнены большим количеством людей. Высокого и небольшого ранга чиновники выходили из своих департаментов. В этой пестрой толпе было что-то завораживающее: коллежский регистратор в ней мог идти рядом, бок об бок, с титулярным советником. Живую пирамиду иерархии невозможно было даже себе вообразить. Конечно, ее основа состояла из таких людей, как Николай Гоголь, а саму вершину венчал другой Николай – царь всего народа и хозяин всего, что существовало в России. Академия художеств находилась на Васильевском острове. Николай Гоголь перешел Дворцовый мост и прошел вдоль строгого фасада Университета. С противоположной стороны реки высилось огромное здание Исаакиевского собора и бронзовый монумент всадника, установленного на гранитном постаменте. Дворец Академии – величественное двухэтажное здание, своими многочисленными дверьми беспрестанно поглощало визитеров. Николай Гоголь прошел через парадный вестибюль и проскользнул в класс

рисунка с натуры. Там он пристроился за мольбертом и старался, держа его на руках, воспроизвести позу модели – полуобнаженного, крупного парня, сидевшего на высоком табурете. Преподаватели Академии Егоров и Шебуев прохаживались между сосредоточенными студентами и поправляли их эскизы. Занятия продолжались с пяти до семи часов вечера. В течение всего этого времени Николай Гоголь забывал о своих чиновничьих обязанностях и мог воображать себя художником. Вечером, выходя из Академии художеств, он видел, как в туманном мареве города светились масляные фонари. Он шел к себе, чтобы быстренько пообедать и затем пойти на встречу с друзьями, старыми однокашниками по Нежинской гимназии. Украинская атмосфера, царившая в их компании, способствовала тому, что он все больше и больше приобщался к малороссийскому фольклору. Николай Гоголь постоянно обращался к матери и старшей сестре с просьбами как можно подробней описывать ему все, что они могли знать и увидеть. Он заносил в специально заведенную тетрадь все детали народного фольклора, которые он получал от них: обычаи, легенды, поговорки, песни, описание своеобразия украинских традиций. Не всегда, правда, то, что они присылали ему, соответствовало его вкусу. После того, как тетрадь набухла от содержимого, ее владелец почувствовал себя обладателем ценного сокровища. Но будет ли это им когда-либо использовано? Не растратит ли он этот богатый материал на поспешное или недостойное применение? Просвещенная публика Санкт-Петербурга, казалось, любила полакомиться комическими, приключенческими и острыми сюжетами украинских историй. Она читала и положительно отзывалась о таких произведениях, как «Кочубей» Аладина, «Гайдуки» Сомова, «Казацкая шапка» Кулжинского, сказки Олина и Луганского и т. д… Возможно, уже тогда Николаю Гоголю пришла в голову мысль испробовать свои силы в том же литературном жанре. Правда, его первые контакты с литературной средой были не совсем вдохновляющими. К тому времени он сделал лишь несколько переводов с французского, которые были приняты, но не напечатаны.[51]

Затем в феврале-марте 1830 года в мужском журнале «Отечественные записки» была опубликована его повесть на украинском языке «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала…».[52] Однако редактор журнала, малоизвестный журналист П. П. Свиньин, так переработал текст повести, что Николай Гоголь зарекся впредь давать ему хотя бы строчку из написанной им прозы. Несколькими месяцами позже в декабре 1830 года в альманахе «Северные цветы» была опубликована глава из его

исторического неоконченного романа «Гетман»,[53] подписанного условным обозначением – «оооо». Идея столь необычной подписи возникла у него из написания имени и фамилии – Николай Гоголь-Яновский, в составе которых содержалось четыре буквы «о». Первого января 1831 года в «Литературной газете» появилась глава из малороссийской повести: «Страшный кабан». Она называлась «Хозяин» и была подписана псевдонимом П. Глечик. Одновременно с ней была опубликована статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии», под псевдонимом Г. Янов. Несмотря на то, что ранее у него вышло несколько текстов под своей фамилией, тем не менее Николай Гоголь все еще не решался до конца снять с себя маску. К этому шагу его, без сомнения, подвигнул Антон Антонович Дельвиг, одновременно являвшийся издателем альманахов «Литературной газеты» и журнала «Северные цветы». Он-то и вселил в Гоголя уверенность в собственные силы. С большой опаской молодой автор отдал в «Литературную газету» свою небольшую статью «Женщина», которая была написана им еще в лицее. Впервые он решился на то, чтобы увидеть под текстом свою настоящую фамилию, в напечатанном виде.

Какая чудная фамилия! В переводе на русский язык слово «гоголь» означает маленькую водяную птичку гагару, имеющую неброское оперение, удлиненный хохолок, заостренный клюв. Она хорошо плавает, плохо летает и неспособна ходить. На самом же деле Николай Гоголь и впрямь все больше и больше походил на эту птичку. Во всяком случае, он не пожелал дописывать вторую часть своей фамилии. Урожденный как Гоголь-Яновский, он претендовал быть представленным сокращенно только как Гоголь. В первый раз публично представ перед общественностью под собственным именем, он с волнением ожидал последующего результата. Сама же статья Гоголя представляла собой в большей степени детское, высокопарное разглагольствование, которое скорее всего не было бы удостоено внимания, если бы автор не пользовался симпатией, проявляемой к нему со стороны издателя «Литературной газеты».

Антон Дельвиг, друг А. С. Пушкина и В. А. Жуковского, одно время сам писавший стихи, был образованным сердечным человеком, обладавшим тонким вкусом. Крупного телосложения, тучный, высоколобый, носивший на носу очки в черной оправе, он принимал гостей в домашней одежде, расположившись на диване, весь заваленный книгами и рукописями. Его леность стала притчей во языцех, на самом же деле он страдал болезнью сердца и оттого ему было предписано ограничение

физических усилий.

Завидев Антона Дельвига, Гоголь каждый раз с почтением и завистью отмечал про себя, что этот страдающий одышкой, доброжелательный человек является близким родственником пушкинской семьи, что его рука пожимала руку самого великого поэта, что вот эти уста, которые разговаривают сейчас с ним, намедни вели беседу с самим Пушкиным. Сидя за небольшим столом хозяина, Гоголь воображал себя приближенным к небесному светилу и уже обласканным его лучами. Несомненно, что фигура Пушкина незримо находилась между ними. Того самого, недостигаемого А. С. Пушкина, который из-за опальных стихов был сослан некогда Александром I в свое родовое имение, того самого, который при Николае I получил возможность возвратиться в столицу, но, обидевшись на нее, отдал предпочтение Москве, того самого Пушкина, который опубликовал сразу такие произведения, как «Полтава», VII главу поэмы «Евгений Онегин», «Борис Годунов», того самого Пушкина, о котором говорили, что он работает как «ангел», удалившись в Болдино, того самого Пушкина, который повидал столько завлекающих юбок, того самого, по примеру которого Гоголь тоже подумывал жениться на красивенькой москвичке… Интерес, который этот молодой человек с длинным носом питал к Пушкину в частности и к литературе вообще, особо подогревался в результате его общения с Антоном Дельвигом. Без сомнения, Николай Гоголь удостоился у него более достойного для него места, чем та невнятная должность писаря, которую он получил в Департаменте земных уделов. Здесь же, в Санкт-Петербурге, находился еще один добрый покровитель невезучих литераторов, тоже поэт и тоже друг Пушкина – Василий Андреевич Жуковский. От одного произнесения этого имени Гоголь приходил в волнение. Еще с лицейских времен он боготворил Жуковского, как своего второго кумира, который всего немного отстоял от Пушкина. Гоголь знал наизусть большое количество его стихотворений. И вот, какая удача – Антон Дельвиг сам предложил ему встретиться с Жуковским!

В. А. Жуковский, пользовавшийся официальным почетом, был наставником наследника трона Александра Николаевича. Он пользовался особым уважением царских особ, получал жалованье в двадцать пять тысяч рублей в год и проживал в Шепелевском дворце. И именно туда направился Антон Дельвиг, сопровождаемый своим молодым сотрудником. Представленный романтичному певцу «Светланы», Гоголь ощутил себя еще более незначительным, еще более уязвимым. У Жуковского были бледно-матовое лицо, раскосые с восточным разрезом

глаза, черноокий взгляд и снисходительная улыбка. Сотни раз Пушкин и другие прибегали к его помощи, чтобы успокоить гнев царя или добиться смягчения со стороны цензуры. Жуковский сердечно принял своих визитеров, проявил интерес к участи своего нового собрата и предложил отрекомендовать его Петру Александровичу Плетневу, еще одному другу Пушкина, который, по его словам, мог подыскать интересное предложение для Гоголя. Годы спустя Гоголь, вспоминая этот первый разговор с Жуковским, напишет ему:

«Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство… И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а все прочие вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба».[54]

Жуковский был человеком слова. Он сам представил Гоголя П. А. Плетневу. Последний пристроил его на время учителем истории в Институте благородных девиц. Сам Плетнев был одновременно и поэтом, и критиком, и преподавателем литературы, а с Жуковским его связывали глубокие узы дружбы. И конечно, он не мог отказать в чем-либо В. А. Жуковскому, невзирая на то, что Гоголь к тому времени не имел достаточно необходимых заслуг. Если не считать того, что он опубликовал статью о преподавании географии и имел некоторые данные для педагогической деятельности. Гоголю подыскали возможности для проведения частных уроков в некоторых петербургских домах и место в Институте благородных девиц. Вселяющие надежду планы были омрачены внезапной кончиной А. А. Дельвига, наступившей 14 января 1831 года в результате перенесенной простуды.[55]

Несмотря на то что вдохновитель всех начинаний Гоголя был потерян, В. А. Жуковский и П. А. Плетнев продолжили свое покровительство их протеже. Посовещавшись с ними, Гоголь опубликовал в «Литературной газете» хвалебную статью, посвященную «Борису Годунову» Пушкина: «Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне молнию огненных звуков, священный холод

разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из своего беспредельного лона…»

Чтение этой галиматьи, усыпанной множеством восклицательных знаков, не могло вызвать у Пушкина ничего, кроме улыбки. И все-таки Гоголь был абсолютно искренен в выражении своих чувств. Просто, войдя в раж, он обычно терял чувство меры.

6 февраля 1831 года начальница Смольного института благородных девиц Л. К. Вистингаузен направила представление в вышестоящие инстанции, извещая о том, что некий господин Гоголь, служащий ныне в Департаменте уделов, изъявил готовность преподавать историю пансионеркам младших классов с жалованием по четыреста рублей в год. «Так как г. инспектор классов (П. А. Плетнев), рекомендовавший сего чиновника, свидетельствует о его способностях и благонадежности, то не благоугодно ли будет вашему превосходительству исходатайствовать высочайшее соизволение на принятие г. Гоголя в институт учителем истории?» Тремя днями позже 9 февраля Ее императорское величество, покровительница Института, поставила резолюцию, допускающую г. Гоголя к преподаванию. И уже 10 февраля Гоголь написал матери о своих делах. Следуя обыкновению, в письме он приукрасил трудности, с которыми ему якобы пришлось столкнуться, и успехи, которых он добился. Превратности судьбы, с которыми стольким писателям приходилось сталкиваться в начале своего пути, представлялись в его глазах своеобразным страданием, переносить которое они были вынуждены на протяжении всей истории человечества. Чтобы хоть как-то отыграться в этом, он старался приободриться самыми редкими лучами солнца, пробивавшимися сквозь облака. Он рассуждал либо категорией катастрофы, либо триумфа:

«Как благодарю я Всевышнюю десницу за те неприятности и неудачи, которые довелось испытать мне. Ни на какие драгоценности в мире не променял бы их. Чего не изведал я в то короткое время? Иному во всю жизнь не случалось иметь такого разнообразия… Зато какая теперь тишина в моем сердце! неугасимо горит во мне стремление – польза. Мне любо, когда не я ищу, но моего ищут знакомства».

Гоголь заступил в свою должность в Смольном институте 10 марта 1831 года, а 1 апреля того же года был повышен в чиновничьей иерархии с 14-го до 9-го класса и в одно мгновение стал «титулярным советником». Такое везение быстро вскружило ему голову. Реальность в его рассудке легко смешалась с вымыслом. Это уже не П. А. Плетнев устроил ему место, а сама императрица его отметила и возвысила. В следующем письме

он пишет матери:

«Я было вздумал захворать геморроидами и почел ее бог знает какою опасною болезнию. Но после узнал, что нет в Петербурге ни одного человека, который бы не имел ее. Доктора советовали мне меньше сидеть на одном месте. Этому случаю я душевно был рад: оставить через то ничтожную мою службу, ничтожную, я полагаю, для меня, потому, что иной, бог знает, за какое благополучие почел бы занять оставленное мною место. Но путь у меня другой, дорога прямее, и в душе более силы идти твердым шагом. Я мог бы остаться теперь без места, если бы не показал уже несколько себя. Государыня приказала читать мне в находящемся в ее ведении Институте благородных девиц… Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаю теперь 6, между тем как жалование даже немного более… Но между тем занятия мои, которые еще большую принесут мне известность, совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке: для них теперь времени много… Я теперь, более нежели когда-либо, тружусь, и более нежели когда-либо весел».[56]

Это веселое настроение объяснялось еще и тем, что он прочитал письмо, которое П. А. Плетнев написал А. С. Пушкину несколько неделями ранее:

«Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то хорошее. Ты, может быть, заметил в „Северных цветах“ отрывок из исторического романа, с подписью „оооо“, также в „Литературной газете“ – „Мысли о преподавании географии“, статью „Женщина“ и главу из малороссийской повести „Учитель“. Их написал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел в учителя. В. А. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает».[57]

Новый преподаватель Патриотического института очень серьезно было подошел к началу своей деятельности, но вскоре ему наскучило излагать краткое представление об истории перед цветником девиц в коричневых форменных платьях. Он позволял себе приходить на занятия без подготовки, чем нередко вызывал недоуменную реакцию у воспитанниц. Чтобы хоть как-то помочь ему в улучшении материального состояния, П. А. Плетнев порекомендовал Николая Гоголя в качестве репетитора в дома знатных семей к Балабиным, Лонгиным и Васильчиковым… Дети очень любили этого смешного преподавателя с

птичьим профилем. Сын Лонгиных (Михаил Николаевич) вспоминал, что в тот период Гоголь выглядел худым, невысокого роста молодым человеком. У него был «искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшийся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо». Одет он был неряшливо, подбородок упирался в широкий галстук. Его учеников затрудняло произношение сдвоенной фамилии, и они называли его господином Яновским. Однако он всегда возражал против подобного обращения. «Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали».[58] Николай Гоголь понемногу обучал своих учеников грамматике русского языка, естествознанию, истории, географии, используя ту базу знаний, которую приобрел еще в Нежинском лицее. Но большую часть учебного времени у него уходила на рассказы всевозможных украинских побасенок, которые веселили его учеников, вызывая неудержимый смех. Возвращаясь к себе, он тут же принимался за перо. Теперь он был уже наверняка убежден, что его ждет великое будущее. Из своего тетрадного «чулана» он извлек полдюжины забавных и фантастических рассказов. Какое же название дать этому сборнику? Может быть «Малороссийские сказки, или Вечера на хуторе близ Диканьки»? И стоит ли ставить под этим произведением свою фамилию? Для того чтобы не компрометировать свое положение преподавателя Патриотического Института, П. А. Плетнев советует ему все же воспользоваться псевдонимом. Из всех возможных вариантов Николай Гоголь выбирал «Пасичник Рудый Панько». Однако пока еще он не был сам доволен тем, что получилось. Каждая страница рукописи им неоднократно перечитывалась, просматривалась, исправлялась, переделывалась. Когда же часть текста ему представлялась завершенной, он посылал Якима отнести ее переписчику.

В мае месяце на Санкт-Петербург накатила волна жары. Огромные белые облака возлетели высоко в небо. Горожане устремились уехать в свои загородные дома, расположенные в зеленой зоне Царского Села, Павловска, Красного села, Гатчины в непосредственной близости от столицы. Неожиданно пришла весть о том, что в город приехали Пушкин и его молодая супруга, которые сняли номера в гостинице «Демута». Стало известно также, что через несколько дней они уезжают из Санкт-Петербурга в Царское Село, где они будут снимать дом у Китаевых. Гоголю было крайне необходимо увидеться с ними до их отъезда. В этих целях Плетнев организовал у себя званый вечер в честь поэта. Душой вечера была их общая знакомая Александра Осиповна Россет, которая

также с симпатией относилась к Гоголю. Эта маленькая двадцатидвухлетняя красивая жизнерадостная брюнетка, дочь французского эмигранта, являлась придворной фрейлиной императрицы. Увлеченная искусством, поэзией и политикой, с пылким взглядом и живой речью, она воспламеняла и молодых, и пожилых, с ней считались лучшие умы России, принимая ее в свое общество, пользуясь ее влиянием при дворе в своих интересах. В. А. Жуковский шутя называл ее «небесным чертенком». Поговаривали, что наследный князь Михаил Павлович и сам император Николай I не были равнодушны к ее очарованию. Несмотря на то что она была в этот вечер во всем своем великолепии, Гоголь едва замечал ее. Он также не обращал внимания на очень красивую, несколько равнодушную и очень юную супругу Пушкина – Наталью Николаевну. Зато он не сводил взгляда с небольшого человека со смуглым лицом, утолщенной нижней губой, искрящимися умными глазами и светло-шатеновыми бакенбардами на щеках. Пушкин был одет во фрак с широким галстуком, концы которого свисали на белую рубашку. В руках он держал бокал. В тех самых руках, которые создали «Евгения Онегина»!

Плетнев представил двух молодых людей друг другу. Пушкин с самого начала выглядел дружелюбно. «Как Пушкин добр, он занимается приручением строптивого хохла», – писала Александра Осиповна Россет в своем дневнике. И еще: «Я заметила, что он весь светился, когда Пушкин ему что-то говорил». Конечно же, Пушкин и Гоголь не имели возможности откровенно поговорить друг с другом на этой светской вечеринке. Они лишь обменялись накоротке несколькими банальными словами, выразив пожелание непременно увидеться, обменялись улыбками и рукопожатиями… Гоголь возвратился к себе вдохновленный. Наконец-то он познал блаженство. Такие значительные фигуры, как В. А. Жуковский и А. С. Пушкин, приняли его в круг своих друзей. А что же будет, когда он опубликует «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Наступило лето, город опустел. В это время в Санкт-Петербурге участились случаи заболевания холерой. В районах, где проживал простой люд, часто умирали. То там, то здесь возникали стихийные сходки мужчин и женщин, которые выкрикивали угрозы в адрес докторов и аптекарей, якобы отравляющих народ. На улицах города патрулировали жандармы. Для острастки были арестованы несколько бунтовщиков. На рынках почти не было продуктов. Съестные запасы казались подозрительными. «Обыкновенный и самый действительный способ лечения состоит в том, что больному дают как можно побольше пить теплого молока, и чем оно горячее, тем лучше. Кроме того, многие вылечиваются, принимая белок

яйца с прованским маслом. Над некоторыми же, особливо имеющими крепкое сложение и хороший желудок (следовательно, это полезно для многих сурового сложения крестьян), оказывает очень хорошее действие ложка воды с солью».[59]

Двор на долгое время обосновался в Царском Селе. Был отдан приказ оградить Санкт-Петербург санитарным кордоном с тем, чтобы ни один человек не мог ни въехать, ни выехать из города. К счастью, друзья Гоголя выхлопотали для него место наставника в доме княжны А. И. Васильчиковой в Павловске. Он поспешно съехал туда, поскольку столица была наполовину преобразована в санитарный лагерь.

Павловск, одно из облюбованных знатными петербуржцами мест, находился в двух верстах от императорской резиденции Царского Села. Там же остановились А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и А. О. Россет. Дом княжны Васильчиковой кишел от домочадцев, приглашенных и прихлебателей. Естественно, что там же собралась группка маленьких старушек-приживалок, которые годами праздно обитали в этом доме. Все эти многочисленные приживалки пользовались покровительством их благодетельницы, жили в этом доме, там же и столовались. Вероятно, знатность семьи определялась и количеством прилипал, которых она содержала при себе.

Каждое утро Гоголь пытался обучать чтению долговязого и слабоумного ребенка – сына княжны. Держа его на коленях, он показывал ему пальцем картинки, нарисованные в книге, и говорил: «Вот это, Васенька, барашек – бе…е…е, а вот это корова – му…у…му…у, а вот это собачка – гау…ау…ау…».[60]

Васенька прилежно повторял за ним все подряд. И Гоголь терпеливо начинал все сначала. Закончив уроки, он тут же принимался за свои рукописи.

Иногда он также заходил к одной из приживалок княжны Васильчиковой, старушке Александре Степановне. В комнатке с низким потолком, мебелированной диваном и несколькими креслами, круглым столом, укрытым красной хлопчатой скатертью, под большим зеленным абажуром, восседали вокруг Александры Степановны ее подружки, такие же пожилые, как и она сама, морщинистые, сгорбленные, они постоянно были заняты вязанием чулок. Старушки приглашали Гоголя почитать им то, что он сочинил. В один из вечеров он, как обычно, занял свое место перед публикой и приготовился к чтению. В это время в комнату вошел племянник княжны молодой граф В. А. Соллогуб и попросил разрешения

поприсутствовать. Молодой человек, одетый в форменный сюртук студента университета Дерпта, приосанился и несколько свысока заметил, что и сам пишет стихи, и интересуется русской словесностью:

«Я развалился в кресле и стал его слушать; старушки опять зашевелили своими спицами. С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, слушал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое чтение. Читал он про украинскую ночь: „Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!..“ Он придавал читаемому особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он всегда встряхивал ниспадавшими ему на лоб волосами… И вдруг он воскликнул: „Да гопак не так танцуется!..“ Приживалки же, сочтя, что чтец действительно обращается к ним, в свою очередь всполошились: „Отчего не так?“ Гоголь улыбнулся и продолжил чтение монолога пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен. Когда он кончил, я бросился ему на шею и заплакал. Молодого этого человека звали Николай Васильевич Гоголь».

С таким же успехом Гоголь читал отрывки из своих рассказов и у Александры Осиповны Россет. «Он мне казался нескладным, застенчивым и грустным», – отмечала она в своем дневнике. Между тем сам он был покорен грацией этой молодой особы, ее миловидностью и непосредственностью. Она, по его представлению, в отличие от других представительниц ее пола, не была какой-то озабоченной и суетной. Перед ней он мог говорить все и без всякого опасения.

Он уже чувствовал, что влюбляется в нее. Нет, конечно, не в физическом смысле. Какой ужас! Только сердцем и только душой… К тому же она в скором времени должна была выйти замуж за молодого дипломата Н. М. Смирнова. Император уже дал им свое благословение. Смирнов был богат, но интеллектом не отличался. А. С. Пушкин, со своей стороны, рассматривал заключение этого брака как простое проявление глупости. Не питал ли он также нежных чувств к госпоже фрейлин императрицы?

Гоголь часто прогуливался по аллеям Павловска и доходил до Царского Села. Императорский парк с его раскидистой тенью деревьев,

зелеными, бархатистыми лужайками, мраморными статуями, озером с лебедями, мостами, ложными развалинами, старинным дворцом в стиле рококо весьма благоприятствовал философским размышлениям. Но все же не эти красоты притягивали сюда нашего путника. Прохаживаясь по парку, он выжидал, главным образом, невысокого молодого человека в цилиндре и с тростью в руке, бодро прогуливающегося по дорожке.

Увидев Пушкина, он уже считал, что день проведен не напрасно. Искренняя симпатия установилась между этими людьми. Частенько к ним присоединялся и В. А. Жуковский. Они обсуждали написанные ими произведения, говорили о своих планах. Александра Осиповна Россет писала в своем дневнике: «Жуковский рад тому, что захватил строптивого Хохла… Я предложила Пушкину пожурить бедного Хохла, если он и дальше будет оставаться таким печальным в Северной Пальмире, появляясь всегда в виде нездорового солнца. Пушкин ответил, что лето на Севере – это карикатура зимы на Юге. Досадуя на Гоголя за его робость и дикость, они все же перестали перестраивать его под свой лад…»

Гоголь был так горд тем, что добился дружбы с Пушкиным, что сразу же сообщил об этом всем своим друзьям. Не принимают ли они его за хвастуна, – думал он? Всегда склонный к изворотливым решениям, он предпринимает неординарный ход. Посетовав Пушкину, что не имеет постоянного адреса в Санкт-Петербурге, он просит разрешения воспользоваться для получения своей корреспонденции его адресом. Немного удивившись, Пушкин дает на то согласие. 21 июля 1831 года в послесловии письма, в контексте которого не было ни строчки упоминания об отношениях с Пушкиным, Гоголь вдруг с напускной небрежностью сообщает матери: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так: Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н. В. Гоголю». Тремя днями спустя он вновь упоминает о своей рекомендации: «Помните ли вы адрес? на имя Пушкина в Царское Село».

К середине августа он с сожалением покидает Павловск, возвращаясь в Санкт-Петербург, где он ожидает сигнальный экземпляр первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». По совету П. А. Плетнева он отдал это произведение в типографию на Большой Морской улице. В нетерпении он шел туда понаблюдать, как идет работа. Ах, если бы его новый друг Пушкин мог быть рядом с ним. Гоголь пишет ему в Царское Село, чтобы поделиться своей радостью: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я проснулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать и прыскать себе в руку, отворившись к стенке. Это

меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до черезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву*. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни».[61]

Эпизод с наборщиками, умиравшими со смеху, не правда ли – это выдумка Гоголя для того, чтобы лучше подготовить свое вхождение в мир литературы? Возможно, его удивила чья-либо улыбка при входе в типографию и в голове тут же родилась подобная идея. Свое письмо он завершил выражениями добрых пожеланий госпоже Пушкиной, но при этом по недосмотру назвал ее Надеждой Николаевной. В ответ ему Пушкин пишет: «Ваша Надежда Николаевна, то есть моя Наталия Николаевна, благодарит вас за добрые пожелания» и добавляет: «Я поздравляю вас с первым триумфом: весельем наборщиков и объяснениями метранпажа».

Санкт-Петербург стоял еще полупустой, но эпидемия холеры приутихла. Было дождливо и ветрено, ранняя осень проявляла свои признаки. Кое-где стало уже подтапливать. Улицы, дворы Мещанского квартала оказались под невысоким слоем воды. Дождь шел почти непрерывно. А что, как не плохая погода, побуждает к чтению? Рассуждая таким образом, Гоголь полагал, что подобная погода содействует созданию наилучших условий для представления свету его «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Как только в его руки поступил первый пробный экземпляр, он тут же отправил его Пушкину для окончательного решения. Пушкин не отрываясь прочел это произведение и выразил свое полное восхищение:

«Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“, – писал он в конце августа 1831 года Воейкову, редактору Литературного приложения к „Русскому инвалиду“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались „Вечера“, то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор объяснял их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю с истинно веселою книгою».

Наконец, в начале сентября 1831 года Санкт-Петербург вновь оживился и преобразился. Вышла в свет книга, озаглавленная «Вечера на хуторе близ Диканьки, повести, изданные пасечником Рудым Паньком».

Гоголь посетил книжные лавки, чтобы осведомиться о комиссионных, которые причитались за каждый проданный том, оформил свои отношения с типографией и стал ожидать. Первые отклики были только хвалебными, и он направил экземпляр книги с посвящением своей матери. 19 сентября он писал ей: «Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни; надеюсь, что и вам также принесет она сколько нибудь удовольствия, и тогда я уже буду счастлив. Будьте здоровы и веселы и считайте все дни не иначе как именинами, в которые должны находиться всегда в веселом расположении духа».

И тут же он обращается с просьбой к своей старшей сестре Марии прислать ему новые записи малороссийских сказок и песен для второй части тома «Вечеров»:

«Ты помнишь, милая, ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно».[62]

Его так все это интересовало, что он просил Марию купить для него старые украинские костюмы:

«Я помню очень хорошо, что один раз в церкве нашей мы все видели одну девушку в старинном платье. Она, верно, продаст его. Если встретите где-нибудь у мужика странную шапку или платье, отличающееся чем-нибудь необыкновенным, хотя бы даже оно было изорванное – приобретайте!.. Все это складывайте в один сундук или чемодан, и при случае, когда встретится оказия, можете переслать ко мне».[63]

Сейчас он был уже полностью уверен, что найдет свой истинный путь. Как он полагал, для осуществления своего будущего ему было необходимо еще более преумножить усилий. Известность обязательно его приведет к фортуне. Почему же мать все еще продолжает беспокоиться за него? Тем более что он даже не просит у нее денег и сам обещает оказать ей свою помощь. Чтобы хоть как-то сменить настроение матери, он направляет ей в Васильевку небольшие подарки в виде дамской сумочки и перчаток, а также браслет и пряжку для пояса для своей сестры Марии. В письме он просит их подсказать: какой цвет подойдет больше к их лицу и какой размер обуви они носят. «Это не мешает знать на всякий случай, особливо когда случатся у меня лишние деньги».[64]

И еще:

«Теперь Он (Бог) подвигнул Андрея Андреевича помочь вам. На следующий год, может быть, доставит мне это благополучие. Итак, вы

видите, что нам должно быть бодрыми, деятельными, вместе трудиться и веселиться».[65]

В марте месяце 1832 года в книжных лавках появился второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки», публичный успех которых еще более расширил известность автора. «Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба», – писал он своему другу Данилевскому на Кавказ.[66]

Что касается критики, то ее мнения разделились. Молодой Белинский тогда еще не имел возможности публиковаться в журнале, но он выражал свое восхищение устно каждому встречному: «Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности».[67]

Н. И. Надеждин написал в «Телескопе»: «До сих пор никто не смог представить нравы Украины так живо и так замечательно, как это сделал бравый пасечник Рудый Панько». Высшее духовенство отнеслось к этому произведению неодобрительно. Н. А. Полевой, защитник романтизма Гюго и Вальтера Скотта, обратился в «Московском телеграфе» к автору со следующими словами: «Все ваши повести являются настолько непоследовательными, что, несмотря на смачные детали, наглядно проявляющие народные традиции, трудно все же уловить смысл этой истории. Желая придать вашему тексту малороссийский дух, вы настолько запутали язык, что просто невозможно что-либо понять из ваших примечаний». В. А. Ушаков в «Северной пчеле» упрекал Гоголя за его «неопределенные, неполные и не дерзкие» описания. О. И. Сеньковский в «Библиотеке для чтения» утверждал, что две части составляют один монотонный ансамбль, что они написаны некорректным языком, в котором просматривается вульгарность и что этот литературный жанр посвящен публике «с уровнем еще ниже, чем у Павла Кока».

Но А. С. Пушкин предупредил своего собрата, что эти колоритные повести оскорбят некоторые так называемые рафинированные умы. В действительности, говорил он, рассказчик должен выслушать голоса тех, кому нравятся эти истории, и не слушать голоса тех, кто сделали своей профессией вскрытие трупов. Но с такой ли безмятежной иронией воспринял нападки прессы Гоголь, который очень остро пережил критику при публикации «Ганца Кюхельгартена»? Не случайно и то, что его литературные недоброжелатели были из числа тех, кто не признавал и самого Пушкина. И все же частично порицания, идущие с самого низу, представляли для него большую ценность, чем некоторые комплименты. Проходя из одной книжной лавки в другую, он вспоминал то недалекое

время, когда с грустью созерцал, как непроданные брошюры с его поэмой лежали на торговых полках. Какие же резкие изменения в его жизни произошли теперь! Сейчас книготорговцы встречали его широкой улыбкой. Он видел, как стопки «Вечеров» таяли изо дня в день. Первый тираж, составлявший тысячу двести экземпляров, был распродан за несколько недель. Внутренне понимая, что это его произведение получилось неплохим, он ради того, чтобы угодить Богу, ставит перед собой еще более высокую цель.

Глава V
Вечера на хуторе близ Диканьки

Когда Гоголь рассказывал о причинах, которые его побуждали написать эту книгу, он признавал, что принял это решение прежде всего потому, что ему нужны были деньги и что он видел в писательстве способ прибавить какой-то доход к своему жалованью чиновника. Этим же он руководствовался при выборе сюжетов и жанра произведения. Поскольку региональная украинская литература была в моде и он располагал, благодаря своей семье и происхождению, многочисленными неизданными фольклорными сведениями, ему нужно было эксплуатировать именно эту золотую жилу, не обращая внимания на другие темы. Тем не менее с самого начала своей работы над «Вечерами…» энтузиазм художника брал верх над расчетами коммерсанта. Он полагал, что упорством можно достичь выполнения задачи и впоследствии замечал, что наилучшие моменты его жизни были те, когда он обретал своих персонажей. Чувствовавший себя потерянным и одиноким в холодном и негостеприимном Санкт-Петербурге, он вызывал в воображении щедрую землю Украины, купающуюся в солнечном свете, поселян, праздных людей и шутников, весь этот мир здоровья, легкости и сказочных преданий. В «Авторской исповеди» Гоголь пишет:

«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала».

Безусловно, восемь повестей, которые составляют «Вечера…», изобилуют комическими моментами, но они содержат также страницы, наводящие ужас, похожие на галлюцинации, которые отнюдь не используются автором только для развлечения публики, автор здесь вовсе не склонен развлекаться. Кажется, что жизнерадостное представление одного отрывка существует не более чем для того, чтобы оттенить тревогу, мрачность, которой Гоголь одаривает нас – и, одновременно, себя самого –

в следующем пассаже. Следуя шаг за шагом за своими героями, он испытывает необходимость веселиться, как ребенок, который смеясь прогоняет ночные страхи. Чем более силен страх, тем звонче звучит смех. И именно эта смесь суеверного страха и деревенской радости жизни придает общий вкус целому.

Почти все главные герои «Вечеров…» выписаны густыми мазками, жирными и сочными красками. Здесь и колоритные, живописные и поучающие молодежь старые казаки, и молодые парни, беззастенчиво разглядывающие девушек, и жены, которые, возвращаясь домой с ярмарки, командуют и обманывают своих мужей, а также поповны, дьяки, колдуньи, пьяницы, простаки, скоморохи, черти. Черт, между прочим, наравне со всеми остальными также относится к числу обитателей деревни. Он, в их представлении, скроен из того же сукна, но просто обладает большими возможностями, да еще душа черта обращена в сторону зла. В некоторых случаях его можно одурачить; в других – он сам руководит вами и ездит на вас верхом. В этом случае милое незатейливое колдовство, легкая чертовщинка, перерастают в борьбу не на жизнь, а на смерть между христианской верой и темными силами. Если некоторые повести, такие как «Сорочинская ярмарка», «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место», есть не что иное, как живописное развлекательное чтение, то «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» отмечены уже вступлением в борьбу отрицательных сил, сил зла. Гораздо более сверхъестественными в проявлении безумия кажутся сюжеты повестей «Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть».

В «Вечере накануне Ивана Купала» бедняк Петрусь, который влюблен в красавицу Пидорку, не может жениться на ней за неимением денег. Тогда он заключает договор с дьяволом: он получит клад, если принесет в жертву ребенка во время колдовского обряда. Но ребенок, которого приносит ему колдунья, оказывается не кем иным, как братом его нареченной невесты. Петрусь хочет взбунтоваться, отказаться от выполнения договора, но притягательность золота оказывается сильнее. Во имя любви к Пидорке он перерезает горло маленькому мальчику; уродливые чудовища разражаются смехом, кружась вокруг него; колдунья пьет свежую кровь, лакая ее словно волчица; убийца, ставший богачом, женится на юной девушке, но они уже не смогут жить спокойно до конца дней своих.

Еще более устрашающей является повествование «Страшной мести», главной фигурой которой является старый колдун, изменник родины, убийца жены, зятя и внука. Он к тому же влюблен в свою собственную дочь, которую в конце концов тоже убивает. Найдя отшельника, божьего

человека, колдун просит его помолиться за свою проклятую душу. Но буквы священной книги окропляются кровью, святой человек в ужасе отказывается просить перед Богом за такого ужасного грешника, тогда колдун убивает и старца. От начала до конца эта повесть представляет собой не что иное, как описание нескончаемой борьбы, коварства, вещих снов, колдовства, появления высохших трупов, выходящих из своих могил с протяжными стонами: «Душно мне! душно!» Здесь зло безгранично. Под внешней видимостью установленного природой порядка вещей подспудно бурлят силы первозданного хаоса.

Но если автор чувствует себя способным совместить бурлеск с кошмаром, то он не представляет для себя возможным отдаться полету фантазии, которая не опирается на реальность. Более того, чем иррациональнее его рассказ, тем больше он испытывает необходимость подпитывать течение сюжета деталями из жизни. Перед тем как начать свою работу над повестями, Гоголь скрупулезно изучает всякого рода исследования, посвященные Украине, книги Котляревского, Квитки-Основьяненко, Артемовского-Гулака; он придирчиво разбирает лингвистические и этнографические статьи, посвященные южным областям; он усиленно разбирается в жизнерадостных комедиях своего отца; он просматривает трактаты по колдовству; он собирает справочный материал в своей «Записной книжке», занося в нее крупицы информации, предоставленные матерью и сестрой; он расспрашивает их о старинной одежде, внимательно изучает присланные ими старые платья, шапки, платки. Обилие точных фактов, предметов, которые можно было пощупать руками, придавало ему чувство уверенности, в том, что касалось достоверности его поэтического вымысла. Но даже если он и не использовал некоторые из этих документов и материалов, они все равно подспудно способствовали укреплению почвы у него под ногами. Изобретать сюжет из ничего для него было равносильно тому, чтобы броситься в пропасть. При одной этой мысли тоска сжимала его сердце. Быстро, быстро, еще информации, еще материалов! Он не умел изобретать факты сам. Настоящую жизнь он не мог воспринимать четко иначе, чем глазами других людей. В «Исповеди автора» он отмечает:

«Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных».

То же самое с сюжетами его рассказов – он их не придумывал. Он брал их из фольклорной традиции и развивал в своей собственной манере. Ему предлагалась общая канва рассказа, и мы теперь можем видеть, какой

царской вышивкой он ее украшал!

Его работа над необработанным материалом отличается необычайной сложностью и тщательностью. Будто вооруженный увеличительным стеклом, он выделял одну деталь – лицо, одеяние, черту характера, – которая резко выдвигалась на первый план. Описывая ее с фотографической точностью, он доводил ее таким образом до галлюцинаторного искажения, видимой деформации. Чем больше он старался быть точным, тем больше отдалялся от истины и достоверности. И его вкус к совмещениям, сопоставлениям лишь подчеркивал этот разрыв. Когда он оседлывал метафору, она уносила его за тысячи верст. Некоторые метафоры были смешными и трогательными. Другие нарушали очарование повести. Но это было неважно, поскольку ничего так не устраивало Гоголя, как возможность сойти с главной дороги, чтобы побродить по затерянным тропкам.

Несмотря на то что в его «Вечерах…» ощущается стремление смешать разные стили и материи, именно «реализм» этого произведения удивляет и привлекает первых читателей. Выверенность и тщательность описаний кажется им доказательством подлинности происходящего. Читая «побасенки» пасечника Рудого Панька, они в целом сохраняют ощущение, что являются свидетелями невероятных историй и одновременно описания реальных, документально подтвержденных нравов и обычаев Украины.

Украина, какой описывает ее автор, является, впрочем, слишком приглаженной, умиротворенной. Поглощенный живописанием крестьянского быта и его фантасмагориями, автор безмятежно игнорирует существование крепостного права. Издержки самодержавия его нисколько не волнуют. Нищета крестьянина – это не его дело. Книга заканчивается, а в ней так и не прослеживается никаких социальных проблем.

Что касается «грубости» в некоторых местах его произведений, так раздражавшей многих критиков, то кажется, что Гоголь прибегал к ней для противопоставления всей той поэзии, которую он в себе имел. Это объясняется еще и двойственностью автора: он не просто ставил рядом тоску, уныние и смех, реальное и сверхъестественное, он еще и сопроводил все это деталями, тем более реалистичными и яркими, чем более лиричными были чувства, которые он испытывал и передавал в своем тексте. Подтверждением тому является поэтическое описание природы, которое, вдруг оказавшись в начале главы, звучит как истинная поэма в прозе, заблудившаяся внутри фарса:

«Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и

покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»[68]

Тем самым он как бы отмечает, что картина украинской ночи служит не только украшению любовной сцены, что можно было бы предположить, но и оттеняет поведение сельского пьяницы, который, заикаясь, подмигивая и шатаясь, пытается танцевать «гопак».

В действительности, когда речь идет о том, чтобы отобразить зрелищную красоту природы, Гоголь, подстегиваемый вдохновением, часто не соблюдает меру между соотношением поэзии и сухой риторики. Так, описывая деревенский пруд, ночь, он пишет: «Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи».[69]

Или вот так им изображается река:

«…река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, – она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами».[70]

А вот и Днепр, бушующий во время грозы:

«Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами».[71]

Но более всего многословным, пространным, чересчур

загромождающим текст словами автор проявляет себя в описании женских персонажей. Параска из «Сорочинской ярмарки» – «хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками».

Другая молодая казачка: «…полненькие щеки казачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись Божьею росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей;…ротик…кажись на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни…».[72] Ганна в «Майской ночи…»: «в полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи…» Оксана в «Ночи перед Рождеством» любуется своим отражением в зеркале и вздыхает: «Разве черные брови и очи мои… так хороши, что уже равных им нет и на свете?»

Все эти очаровательные поселянки неизменных семнадцати лет, с черными, как ночь, очами, губами красными как кораллы и жемчужными зубами практически одинаковы. Эти женские персонажи были чрезвычайно идеализированы автором, мало общавшимся с женщинами. Они казались ему холодными, безжизненными существами, красивыми, как драгоценности, но не по-хорошему, а по-колдовски. Из-за них молодые парни готовы пойти на все. Их речь также условна, как и у механических раскрашенных кукол. Только старики в «Вечерах…» имеют жизнеподобные лица и выражаются как настоящие украинские крестьяне. Один из них говорит о женщинах: «Господи Боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»[73]

Эта нелестная фраза может послужить девизом предпоследней повести сборника: «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Эта повесть, в отличие от других, ни деревенская, ни фантастическая. Четкость стиля и беспечная ирония наблюдений автора делают эту повесть как бы введением в мир маленьких людей, в мир их обыденных драм, в которых явно демонстрируются все странности их жизни. Через эту повесть, возможно, впервые, автор показывает нам ничтожность некоторых жизней, которые, тем не менее, тоже угодны Богу. Он обращается в своем творчестве к существу серому, нелепому и безликому. Фактически перед ним противоположность персонажа. Все здесь впалое, вместо того, чтобы

быть выпуклым. В его поле зрения человек второго сорта. Он один и не герой. Повесть рассказывает о мучениях поручика в отставке, ставшего помещиком. Тетушка хочет силой его женить на дородной белокурой девице, живущей по соседству. Иван Федорович – слабак и мечтатель. Его тетушка, Василиса Кашпоровна, женщина крепкая и решительная, внушающая ему уважение: «Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей (Василисе Кашпоровне) носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками… тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты». Иван Федорович испытывает уважение к этой внушительной женщине, но тем не менее он представлен юной девице, которой его предназначают. И той же ночью ему снится кошмарное видение:

«То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит вместо одинокой – двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону – стоит третья жена. Назад – еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком – и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу – и там сидит жена… То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: „Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек“. Он к ней – но тетушка уже не тетушка, а колокольня. „Кто это тащит меня?“ – жалобно проговорил Иван Федорович. „Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол“. – „Нет, я не колокол, я Иван Федорович!“ – кричал он. „Да, ты колокол“, – говорил, проходя мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. „Какой прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки“. Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. „Нет, – говорит жид, – это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука…“»

Не представляется ли кошмар Ивана Федоровича, эта комическая перестановка, показателем тоски, уныния автора перед лицом персон женского пола? Было бы довольно рискованно это утверждать. Но бесспорно, феномен женской сущности, женской личности – его парализует. В какой бы степени ни была бы женщина молода и красива, он

не умеет ни описать ее в повествовании, ни подступиться к ней в жизни. Однако никто среди современников не заметил в то время чопорной походки молодых влюбленных пар в «Вечерах…». И действительно, пикантность, «перченость» других персонажей – кумушек, дьяков, колдунов, чертей, винокуров, сотников – сменяется пресным рагу из идиллических поселян. Читателям, необременительно присутствующим на этой опере-балете в красочных костюмах, все происходящее доставляло и достаточно бурное веселье, и сильный испуг. Местный колорит выплескивается из каждой щели. Каждое имя собственное представляло собой нечто искрящееся юмором. В одном из отрывков можно было даже ощутить вкус украинской кухни, попробовать маковые плюшки и ватрушки с творогом. Шероховатый тяжелый слог, царапающий слух словечками из местных наречий, забавные уменьшительные слова, малороссийские поговорки – вот самая главная причина успеха этой книги. Разумеется, есть и слишком длинные фразы, недостоверные повороты сюжета, перегруженность эпитетами, ложный лиризм, недостоверные психологические характеристики, но эти неловкости необъяснимо, но прибавляют книге привлекательности и шарма.

Поощренный хорошим приемом читателей, должен ли был Гоголь стать национальным писателем и дать читающей публике новые «Вечера на хуторе близ Диканьки» до полного истощения фольклорных ресурсов Украины? Искушение было велико. Но два месяца спустя после выхода в печать «Вечеров…» Пушкин публикует свои «Повести Белкина», представляющие шедевр строгости стиля, воздержанности и стремительности повествования. Фразы короткие, рваные, нервные. Словарь лаконичный. Без метафор. Рассказ мчится от глагола к глаголу. Автор никогда не является читателю и ничего не объясняет в поведении своих персонажей. Видимые лишь снаружи, внешне, они не открываются нам иначе, как через свои действия. В то время как у Гоголя все было субъективно и лирично, у Пушкина все было объективно и реалистично.

В противоположность «Вечерам…» «Повести Белкина» разочаровали публику, которая приняла их простоту за убогость, незатейливость. Сам же Гоголь был восхищен и очарован. Как отмечалось им не раз, Пушкин дал ему урок. Безусловно, Гоголь не изменил ни жанру, ни своему стилю. Его манера повествования была согласована с биением пульса в его артериях, с жаром его крови. Однако, если бы персонажи украинских парубков не были столь колоритны, заинтересован ли бы был он сохранить свой стиль в персонажах менее экстравагантных, чем веселые малые, парубки Украины?

Все время, вопрошая себя, он раздумывал о своем литературном

будущем и искренне наслаждался своей новой известностью и славой. Не было тогда никого, кто бы знал, что под псевдонимом «Рудой Панько» скрывается некий Гоголь.

«…впредь, – писал он своей матери от 6 февраля 1832 года, – прошу вас адресовать мне просто Гоголю, потому что кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность. Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского…»

В пятницу, 19 февраля 1832 года он принял участие вместе с другими столичными литераторами в обеде, который дал издатель и книготорговец А. Ф. Смирдин, чтобы отпраздновать открытие своего нового магазина на Невском проспекте. Стол был установлен в большом зале, стены которого были сплошь уставлены книгами. Обед на восемнадцать персон. Все собрались к шести часам. Там были А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч… Первый тост, как это и положено, был провозглашен за императора, далее последовало «Ура!». Затем выпили шампанского за здоровье И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, потом остальных. В один из моментов А. С. Пушкин увидел, что двое его личных врагов, Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, сидят, один по правую, а другой по левую сторону от цензора В. Н. Семенова, заметил вскользь поверх стола: «О! Семенов, ты здесь как Христос на Голгофе». Последовал взрыв смеха. Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч нахмурились. Но инцидент был быстро забыт.[74] Кушая и выпивая среди знаменитых собратьев, Гоголь должен был щипать себя, чтобы убедиться, что не спит. Он вернулся к себе очень поздно, взбудораженный, с кипящим разумом и с радостью в сердце.

Несмотря на первые деньги, которые он получил за «Вечера на хуторе…» – книготорговцы платили ему по нескольку рублей с каждого проданного тома и сохраняли себе разницу в цене, – его материальная ситуация не сильно улучшилась. Он жил около Кукушкиного моста, в неуютной мансарде, продуваемой всеми ветрами. Как и прежде, ему приходилось собирать друзей вокруг украинского ужина, приготовленного Якимом. Один из его гостей отметил в своем дневнике: «Был на вечере у Гоголя-Яновского,[75] автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, „Повестей пасечника Рудого Панька“. Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружностью. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие. У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанники Нежинской гимназии».[76]

Чтобы эти дружеские братские вечеринки были в полной мере

удавшимися, требовалось присутствие в узком кругу лучшего друга Гоголя Данилевского.

Но Данилевский все еще задерживался на Кавказе.[77] Влюбленный в очаровательную Эмилию Александровну Клингенберг, он с таким жаром и пафосом описал свою страсть в письме, что Гоголь, сам, однако, расположенный к напыщенности, урезонивал его в своих ответах. И в то же время Гоголь, никогда не знавший, не испытавший проявлений подобного рода чувств, стал ради своего корреспондента, ради друга анализировать, изучать характеристики настоящей, истинной любви.

«Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака, писал он Данилевскому – но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Но вторая часть, или лучше сказать, самая книга – потому что первая только предуведомление к ней – спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными… Любовь до брака – стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь – это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан».[78]

Немного позже он признается, исповедуется тому же А. Данилевскому: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье… И потому-то к спасенью моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть».[79]

Как раз начало 1832 года было отмечено для Гоголя двумя женитьбами: вышла замуж его знакомая Александра Осиповна Россет, «небесный, безгрешный чертенок», которая стала женой богатого и заурядного Н. М. Смирнова; и другая – его старшей сестры Марии, которая вышла замуж за некоего П. О. Трушковского, по происхождению поляка, по профессии землемера, у которого состояние было более чем скромное. Первый из этих браков огорчил его меньше, ибо он питал чисто платоническое чувство нежности к блистательной девице с осанкой императрицы; второй его встревожил, ибо он чувствовал себя в душе главой семьи.

Мария Ивановна, которая мечтала о хорошей партии для своей

дочери, не скрывала своего разочарования. Гоголь же был, напротив, того мнения, что истинное богатство человека находится у него в голове. С высоты своего опыта он давал в письмах своей матери и молодой невесте советы по экономии и домашнему хозяйству. Для начала нужно сократить до необходимого минимума расходы на церемонию бракосочетания, на свадьбу. «Я всегда был врагом этих торжеств и этих свадебных приемов, – пишет он. – Если б я решил жениться, моя жена не показывалась бы никому в течение по меньшей мере двух недель».[80]

Ему поручили закупить простыни и носовые платки для приданого. Бесполезная трата! «Жених, судя по тому, что вы мне про него рассказывали в своих письмах, человек неглупый: он не придаст никакого значения таким пустякам… Напомните моей сестре, что она должна показывать, доказывать большую экономию и отказываться от большинства удовольствий для себя самой. Она по доброй воле выбрала свою судьбу!» Наконец, собрав немного денег, которые он сэкономил, Гоголь послал пятьсот рублей на первые расходы для будущего хозяйства. Огромная сумма для его положения. Он испытывал тщеславное удовольствие, выставляя напоказ такое огромное количество денег перед глазами своей семьи. Своей матери, которая его подгоняла, принуждала отдать визит управляющему Государственного заемного банка А. А. Фролову-Багрееву, персоне влиятельной, «который может быть ему полезен», но он ответил с высокомерием: «Вы продолжаете, я вижу, считать меня за нищего, просящего милостыню, которому всякий человек, имеющий некоторое имя и сколько-нибудь знакомств, является в состоянии сделать много хорошего. Я прошу вас об этом не беспокоиться. Мой путь правилен всегда, и я признаю, что я не знаю что хорошего может мне сделать некий человек, чего я бы сам не мог. Я не жду ничего и ни на кого, кроме Бога, не надеюсь».[81]

Это было бахвальство, потому что в это время он разыскивал охотно, охотно искал общества людей, которые бы помогли ему подтвердить его зарождающуюся известность, молодую славу. Впрочем, двумя месяцами ранее этот враг всякой протекции в свете писал с гордостью матери, которая жаловалась на нерегулярность получения писем, на плохую работу почты:

«Скажите начальнику почты в Полтаве, что на днях я встретил князя Голицына, который мне жаловался на плохую работу почты. Он незамедлительно отправил мои замечания Булгакову, начальнику департамента почты. Но я ходатайствовал перед Булгаковым о том, чтобы

он не требовал объяснений у отделения почты в Полтаве, поскольку вы не дали сами себе объяснений на этот счет».[82]

Таким образом, гордый своими знакомствами, но все время притворяясь, что он их презирает, жаждущий земной славы, делая вид, что не дышит ничем, кроме духа благочестия, он разрывался между противоречиями своей натуры и лгал другим людям, надеясь одурачить свои собственные выдумки.

Глава VI
Мертвые времена

В Санкт-Петербург еле-еле приползает холодная и угрюмая весна. Страдающий от недостатка солнца, Гоголь с ностальгией грезит об Украине. Внезапно он решает отправиться в Васильевку на лето. По пути он смог бы остановиться в Москве, где «Вечера…» снискали яркий успех, и там завязать полезные знакомства. Нельзя пренебрегать никакой опорой, никаким альянсом, думал он в начале литературной карьеры. Сторонники в каждом большом городе, и будущее обеспечено! Он просит об отпуске в Смольном институте и ближе к концу июня 1832 года в компании с Якимом собирается в дорогу.

Путешествие в почтовой карете под проливным дождем его измотало. Москва встретила его колокольным звоном. Грудь переполняли чувства, он видел проплывающие церкви, дворцы, Красную площадь, стены Кремля с зубцами в виде ласточкиных хвостов. Все здесь ему казалось более варварским и более веселым, жизнерадостным, чем благородная архитектура столицы. Сама толпа на улицах здесь, казалось, дышала воздухом счастья и свободы, удивительно русская в своей цветастости, своем многоголосом шуме и разнообразии. Доведенный до изнеможения и продрогший, он остановился в гостинице и сказался больным. Но мысль обо всех тех людях, которые его ожидали с доброжелательностью, оказалась сильнее, чем его боязнь простудиться. Возбуждение овладело им, как если бы он был за кулисами перед выходом на сцену.

Первым его встретил известный историк и журналист М. П. Погодин, давний директор «Московского вестника». Грузный, толстогубый, с повадками медведя, Погодин взял его под свое покровительство. Они говорили об истоках, истории Украины, и Гоголь объяснял, какой успех он снискал у воспитанниц Института, замещая сухую хронологию на живое воскрешение в памяти прошлого, исторических событий. Если послушать его, речь шла не о чем ином, как о новой концепции истории. Он представил свой метод преподавания с такой уверенностью, что его собеседник, хоть и был с ним согласен, с ним заодно, но слушал, разинув рот. Однако, когда М. П. Погодин выразил желание увидеть какие-нибудь тетради учеников, чтобы отдать себе отчет в том, каким образом юные девицы усваивают знания, Гоголь, смешавшись, обошел проблему, изменил тему разговора.

Немного погодя они вместе отправились к писателю, поэту и театральному критику Сергею Тимофеевичу Аксакову,[83] который жил в Афанасьевском переулке, недалеко от Арбата. Придя в гости неожиданно, они застали Аксакова в домашней одежде, с картами в руках в кругу друзей. Все головы повернулись в их сторону. «Вот Николай Васильевич Гоголь!» – провозгласил М. П. Погодин торжественным тоном. Это был момент неловкости. Сын Аксакова, Константин, большой почитатель «Вечеров…», бросился к Гоголю и осыпал его комплиментами, в то время как сам Аксаков, после короткого извинения, отвернулся, чтобы закончить партию. Доиграв, хозяин дома заметил гостю украдкой: «Нынче, – описывал он внешность Гоголя, – внешне он выглядел неавантажно: челка до середины черепа, волосы, стриженные коротко у висков, нет ни бороды, ни усов, воротничок рубашки слишком жесткий и высокий, все это придает ему вид маленького украинского хитреца, пройдохи. Его одежда, манера поведения имеют претензию на элегантность. Я вспоминаю, что он носил полосатый жилет кричащего цвета, перечеркнутый толстой цепью». После ухода Гоголя представленные персоны пришли к согласию и признали, что он произвел на них «впечатление неблагоприятное и антипатическое».

Даже молодой Константин Аксаков, который встретил Гоголя с энтузиазмом, с прискорбием признал «его речи надменны, презрительны и немного неприветливы».[84]

«Несколько дней спустя, рано утром, Гоголь завернул к С. Т. Аксакову, который обещал ему представить его Загоскину, автору исторических романов, очень ценимых в то время. В этот раз, чтобы молодой писатель чувствовал себя непринужденно, Аксаков говорит ему, в свою очередь, все хорошее, что он думает о „Вечерах…“ Но Гоголь остается холоден. „Вообще, – отмечал С. Т. Аксаков, – в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества“. По просьбе Гоголя они пошли пешком по направлению к дому Загоскина. По дороге Гоголь, вздыхая и еле волоча ноги, жаловался, что стал добычей различных неизлечимых заболеваний. „Смотря на него с изумленными и недоверчивыми глазами, потому что казался здоровым, я спросил его, – пишет С. Т. Аксаков: – Да чем же вы больны?“ Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете так однообразно, гладко, прилично и пусто, что…

…даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и произнес, что „это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его“. Я был озадачен, особенно потому, что никак не ожидал услышать это от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее».[85]

М. Н. Загоскин встретил Гоголя с лучащейся радостью, трижды заключил его в объятия, отвесил ему несколько дружеских тумаков по спине, подтверждая свое искреннее расположение, свою дружбу; и не переводя дыхания, приступил к рассказам о себе самом, своих исторических изысканиях в архивах, о своих путешествиях, своих проектах, своих лекциях, о своей коллекции табакерок и шкатулок.

Оглушенные гости скоро вынуждены были отступить. Но Гоголь еще не показал своей интеллектуальной значимости во всей полноте. Он видел еще Ивана Ивановича Дмитриева, «патриарха русской поэзии», маленького сухого старичка, элегантного и обходительного, и кроме того, актера М. С. Щепкина, сторонника «антитеатрального театра».

Михаил Семенович Щепкин, ранее домашний крепостной слуга князей Волькенштейнов, которому позволили его хозяева сделать несколько этюдов, спектаклей, затем поставить их на сцене в Курске и Полтаве. После спектакля он переодевался в свою ливрею и подавал на стол своим хозяевам. Однако благодаря своим успехам, в качестве комедийного актера, он, в возрасте тридцати лет, благодаря открытому ручательству генерал-губернатора Репнина, смог выкупить свою свободу за 10 тысяч рублей.

С тех пор он снискал успех на самых крупных сценах России. Гоголь имел возможность посмотреть его игру и поаплодировать ему в Санкт-Петербурге.

Какая удача, если этот человек, всеми обожаемый, согласится представить одну из его пьес! Естественно, Гоголь пока не написал ни одной, но это может произойти на днях. Именно сейчас он приступает ко всем приготовлениям. К тому же, счастливое совпадение, Щепкин – малоросс, как и он!

Однажды вечером актер, который давал обед на 25 персон, заметил возле оставленной открытой двери в обеденный зал тщедушного молодого человека, который вел перепалку с лакеями в передней. Внезапно неизвестный перескочил через порог и воодушевленно пропел первый куплет украинской песни. Затем он представился. Это был его земляк – Николай Гоголь. М. С. Щепкин, который читал «Вечера на хуторе…», развеселился и пригласил своего нового знакомого присесть. Между ними состоялась шумная и веселая беседа. Тут же за столом, угощая вином, хозяин дома посоветовал своему гостю написать что-нибудь для театра. Гоголь не возражал. Без сомнения, его, всегда такого робкого, и самого удивила та смелость, которая внезапно проявилась в нем, в этом доме, куда он не был заранее приглашен. Не явилось ли все это становлением его репутации, которая придала ему подобный апломб? Иногда создавалось впечатление, что кто-то другой находится на его месте. Во всяком случае, он не зря потерял время в Москве. Сколько новых друзей всего за десять дней!

Он отправился в Васильевку с ощущением благодарности по отношению к древней столице царей, которая его так хорошо встретила. По сравнению с Санкт-Петербургом, современным городом, жестоким, холодным, европейским, разрезанным широкими прямоугольными проспектами, набитым чиновниками всех рангов, которым покровительствовал вездесущий царь, Москва врезалась в его память как город древней старины, зажиточных купцов, добродушных баринов, пестрого незнатного люда, патриархальных традиций и замечательной кухни.

Дождь сопровождал его всю первую половину его путешествия. От раза к разу почтовики, почтмейстеры ворчали, говоря одни и те же слова: «Лошадей нет. Нужно подождать!» Чтобы провести время, убить время, он распекал Якима или читал «Клариссу Гарлоу» Ричардсона, сидя на лавке в общем зале. Наконец запрягают! И он вновь устремлялся в грязь, к толчкам, тряске и позвякиваниям колокольчиков.

Время от времени путешественник высовывал голову из-за занавеси в карете и глядел на небо сквозь лорнет. «Мне надоело, – пишет он И. И. Дмитриеву, – это серое небо, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мной по пятам от самого Петербурга до Москвы».[86] Низкорослые деревянные города следуют друг за другом на протяжении всей дороги: Подольск, Тула, Орел, Курск. Температура постепенно смягчается, небо становится более синим, предвещая приближение Украины.

17 июля Гоголь, почувствовав недомогание в области желудка, остановился в Полтаве, чтобы проконсультироваться у тамошних врачей, которые, однако, высказали ему противоположные мнения о причине этих недомоганий. Окончательно убедившись в их некомпетентности относительно своих недомоганий, он решает лечиться собственными средствами, как сам считает нужным. Последний этап путешествия пролегал посреди необъятной степи, затем через городок Миргород, с его маленькими белеными домиками, немощеными улицами, кучами соломы, палисадниками и лужами. На следующий день он оказался в Васильевке, среди своих.

Встреча была, как он того и ожидал, трогательной до слез. Его мать, которая располнела, нисколько не потеряв при этом своей живости, не сводила с него любящего взгляда. Его бабушка многократно осеняла себя и его крестным знамением, чтобы возблагодарить Господа, вернувшего ей ее внука целым и невредимым. Его старшая сестра, вышедшая замуж в апреле, сияя от счастья, висла на руке своего молодого супруга Трушковского, красивого и милого, но не очень смелого молодого человека, который работал в Полтаве, а квартировался в Васильевке в целях экономии. Другие его сестры – Анна (одиннадцать лет), Елизавета (девять лет) и Ольга (семь лет) – так выросли, что он их с трудом узнал. В остальном ничего не изменилось. Двери в старом доме все так же скрипели, тот же запах сушеных яблок доносился из шкафов, стол ломился под теми же соленьями и вареньями, те же мухи и те же пчелы гудели над едой, те же слуги суетились безо всякого дела, в саду те же деревья гнулись под весом своих плодов, а во дворе важно прохаживались те же куры и те же гуси.

Несмотря на все очарование этих семейных декораций, Гоголь с трудом приходил в себя после путешествия. Первые трапезы, очень, согласно обычаю, обильные, только усилили его недомогание. Он был гурманом и не мог устоять перед оладьями со сметаной или маринованными белыми грибами. Внимательный при малейшем урчании в животе, он затем без колебаний комментировал своим близким стадии своего пищеварения, и даже в свежих письмах друзьям.

«Верите ли, что теперь один вид проезжающего экипажа производит во мне дурноту? – писал он Погодину 20 июля 1832 года. – Что значит хилое здоровье!.. Теперешнее состояние моего здоровья совершенно таково, в каком он меня видел. Понос только прекратился, бывает даже запор; иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине; иногда болит голова, немного грудь. Вот все мои припадки. Дни

начались здесь хорошие. Фруктов бездна, но я есть их боюсь…»

И позднее, тому же Погодину:

«…здоровье мое, кажется, немного лучше, хотя я чувствую слегка боль в груди и тяжесть в желудке, может быть, оттого, что никак не могу здесь соблюсть диеты… Проклятая, как нарочно, в этот год, плодовитость Украины соблазняет меня беспрестанно, и бедный мой желудок беспрерывно занимается варением то груш, то яблок».[87]

Жалея своего сына, который потерял в столице аппетит, Мария Ивановна тем не менее очень быстро привлекла его к поддержке своих финансовых забот. Она не уплатила налоги и была должна деньги за половину своей земли. Она не знала, чем платить за образование дочерей. Гоголь выслушивал ее сетования со смешанным чувством грусти и раздражения. Может быть, настанет день, когда он будет зарабатывать достаточно, чтобы финансово поддерживать всю свою семью. Но что делать здесь и сейчас? Обязательно нужно было убедить книготорговцев купить второе издание «Вечеров на хуторе…»

«Много из местных помещиков посылало в Москву и в Петербург, нигде не могли достать ни одного экземпляра! – сообщает он Погодину. Что это за глупый народ книгопродавцы! Неужели они не видят всеобщих требований? Я готов уступить за 3000 р., если не будут давать более. Ведь это приходится менее по три рубли за экземпляр, а продавать по 15 р., итого 12 р. барыша на книжке. Пусть они вдруг продадут только 200 экземпляров, то вырученная сумма за эти экземпляры уже вдруг окупит издержки. Остальное 1000 экземпл. В течение года или двух, верно, разойдутся, особливо когда еще выйдет новое детище. Теперь я бы взял от них только 15 000 р., потому что мне они очень нужны, а остальных я бы мог подождать месяца два или три…»[88]

Обращаясь к Погодину с просьбой довести эту сделку до благополучного конца, Гоголь не питал особых надежд к тому, чтобы увидеть ее завершенной в ближайшие дни. Он займется этим вплотную, вернувшись в Санкт-Петербург. А сейчас единственное, чего он хочет, – это отдохнуть и развеяться в кругу семьи. Он вставал поздно, читал, прогуливался по саду, потом, охваченный внезапной энергией, надевал белый фартук, хватал кисть и горшочки с красками, перекрашивал столовую, гостиную, украшал цоколи и дверные рамы маленькими букетиками и другими безделками.[89] Он также виделся с соседями, расспрашивал крестьян, искал новые сюжеты для рассказов, в духе

«Страшной мести» или «Ивана Федоровича Шпонки и его тетушки». Дорожный блокнот его полнился заметками, новыми впечатлениями, схемами, планами… Он доверялся и важничал перед матерью, которая была очень горда его первыми успехами. Она знала наизусть рассказы из «Вечеров на хуторе…» Он же улыбался с чувством превосходства, говорил, что это, мол, ничего особенного, что в скором времени можно будет видеть, на что он способен. Он охотно говорил о своих дружеских связях с наиболее выдающимися именами русской литературы – Пушкиным, Жуковским, Крыловым, но также с князьями, генералами, знатными дамами, министрами. Например, он ручался, что определит своих сестер, Анну и Елизавету, воспитанницами в Смольный институт и что это ничего не будет ему стоить. Прекрасное образование и ощутимая экономия. Мария Ивановна едва не подпрыгнула от радости. Было решено, что обе девочки уедут в Санкт-Петербург вместе с братом. Но детям нужна горничная. Какая жалость, что Яким не женат! Однако еще не поздно устранить это положение вещей. Спросив мнения сына, Мария Ивановна позвала Якима и без обиняков предложила ему жениться на одной из своих служанок, Матрене, которую она выбрала намеренно – за ее трудолюбие, любовь к порядку и чистоте. Конечно, она не хочет принуждать его к этой женитьбе, сказала она тоном, не допускающим возражений; она только хочет знать его мнение на этот счет. Под сверлящим взглядом хозяйки Яким, смущенно улыбаясь и переминаясь с ноги на ногу, пробормотал: «Мне это все равно-с, а это как вам угодно…»[90] Придя в восторг от такого взаимопонимания, Мария Ивановна приказала подготовить все к свадьбе. Яким обрел нежеланную супругу, а девочки – заплаканную горничную.

Однако вскоре дети слегли, заболев корью. Отъезд пришлось отложить. Потянулся август с его жаркими, сухими, зудящими от комаров днями.

«Я в полном удовольствии, – писал Гоголь И. И. Дмитриеву. – Может быть, нет в мире другого, влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей».[91]

И в другом письме к тому же адресату:

«Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы.

Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики».[92]

Это было в точности мнение Марьи Ивановны, которая уже пробовала, но безуспешно, преуспеть в выращивании табака. Ее зять, Павел Трушковский, подтолкнул ее теперь к тому, чтобы открыть кожевенный завод. Некий специалист австрийского происхождения вызвался поднять завод на ноги и управлять им. Он гарантировал, начиная с первого года, доход в восемь тысяч рублей. Но для этого нужно было нанять двадцать пять рабочих. Гоголь высказал по этому поводу свое мнение, предложив, чтобы начало было более скромным. Его мать, муж сестры и австрийский специалист упрекали его за малодушие. Он уступал им с неохотой. О чем, мол, можно с ними разговаривать? В любом случае, после его отъезда они будут действовать только в своей голове. Анна и Елизавета начали выздоравливать – бледные и исхудавшие после долгих недель в постели. Их усердно кормили, чтобы к ним вернулись силы.

Наконец, 29 сентября, они, плача и всхлипывая, сели со своим братом в старый желтый фамильный экипаж. Яким и Матрена устроились на козлах, рядом с кучером. Марья Ивановна и ее старшая дочь, в легкой коляске, сопровождали путешественников до Полтавы. Там было место окончательной разлуки. После сорока восьми часов, проведенных на постоялом дворе, Гоголь, две его младшие сестры, Яким и Матрена снова отправляются в путь по дороге, ведущей на север, в той же коляске, запряженной взятыми напрокат лошадьми, в то время как Мария и ее мать возвратились в Васильевку.

Багаж покачивался, оси скрипели, как будто они вот-вот сломаются; Гоголь старался развлечь девочек, которые начинали плакать из-за каждого пустяка. Но переезды были длинными; лошадей на станциях не хватало; коляска претерпела множество аварий, после чего, по прибытии в Курск, развалилась окончательно. Нужно было задержаться в этом городке на неделю для того, чтобы ее починить. Гоголь, проявляя свое нетерпение, писал Плетневу:

«Вы счастливы, Петр Алексеевич! Вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытывать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука».[93]

Тем временем девочки, похныкав, начали входить во вкус своей новой жизни. «Дети и не думают о доме, – писал Гоголь своей матери. – Я

удивляюсь, как они так скоро могли забыть. Одна Анна иногда вспоминает, особливо когда иной раз долго придется дожидать лошадей».[94]

Как только коляска была кое-как починена и смазана, путешествие вновь возобновилось на фоне осеннего пейзажа, под безразлично равнодушным небом.

18 октября прибыли в Москву. Желтые листья устилали тротуары. На крестах и куполах церквей восседали сотни ворон. Небо, тяжелое и серое, давило на крыши. Гоголь распорядился закрепить большой зонтик над коляской, для того, чтобы восполнить нехватку откидного верха, совершенно дырявого. Для него не могло быть вопросов относительно того, чтобы покинуть город, не повидавшись с друзьями. Оставив сестер в гостинице с Якимом и Матреной, он помчался к С. Т. Аксакову, М. Н. Загоскину. Он также успел свести знакомство с Михаилом Максимовичем, профессором ботаники в Университете и собирателем украинских преданий, и с Осипом Бодянским, профессором-славистом и страстным украинофилом. Четыре дня разъездов туда-сюда, визитов, волнующих разговоров, и – в путь, в Санкт-Петербург.

Едва приехав в столицу, Гоголь отправляется в Институт – с тем, чтобы внести своих сестер в список воспитанниц. Но директриса, г-жа Л. Ф. Вистенгаузен, маленькая старая горбунья и педантка, принимает его холодно и упрекает в том, что он не подавал признаков жизни в течение четырех месяцев своего отсутствия. К тому же состав учениц уже полон, утверждала она, да и принимают в Институт только офицерских дочерей. После извинений и смущенных объяснений просителя она все же согласилась передать его ходатайство императрице. В этом ходатайстве, датированном 13 ноября 1832 года, в частности отмечалось, что господин Гоголь отказывается получать свой преподавательский гонорар в размере тысяча двести рублей в год, в случае если его сестры смогут быть приняты в учебное заведение.

В ожидании высочайшей резолюции Гоголь, всерьез принимавший свою роль старшего брата, составлял сестрам план чтения, водил их на прогулки, в театр, в зверинец, задаривал их игрушками и лакомствами. Матрена тоже была с ними очень ласкова. Но Яким неожиданно начал пить. Его хозяин заметил это и побил его. «Я Якима больно (*недописано*)», – признавался он в письме к матери.[95] Он становился раздражительным. Все чаще и чаще он поднимал руку на своего слугу и грозился его наказать.

Когда он потерял уже всякую надежду пристроить сестер,

императрица уважила его прошение. Он смог препроводить девочек в Институт, где уже начались занятия. Предварительно Матрена завила им локоны и заставила их надеть форменные платья воспитанниц, из «дамского сукна», шоколадного цвета. Самой же ей было в ту пору тридцать один год. Согласно обычаю, она должна была оставаться около девушек, чтобы прислуживать им. Ночуя и питаясь в заведении, Якима она видела теперь очень редко, на что ни один, ни другая не сетовали сверх меры: господская воля – святое.

Анне и Елизавете казалось очень странным наблюдать своего собственного брата в качестве преподавателя. Когда они видели его важно говорящим с высоты кафедры, у них складывалось впечатление, что он играет роль, в которую сам не верит. А если б он надумал их спросить об этом, они умерли бы от стыда перед шушукающим, ухмыляющимся классом и – в большинстве случаев – избегали отвечать. Он же оставался с ними после занятий, разделяя с ними их полдники и доедая их баночки с вареньем, так как был из них наибольшим сластеной. Однако мало-помалу его посещения Института стали нерегулярными. Один день из двух он сказывался больным. В любом случае, ему не платили. Великодушная директриса оставила девочек, несмотря на отсутствие их брата.

Примерно в это время Гоголь сменил место жительства и обосновался в квартире на Малой Морской улице. Из соображений вкуса и экономии он брал на себя всякие хлопоты по дому, отделывая двери, прибивая полки, перекраивая шторы, с помощью Якима. Крутая и темная лестница, крошечная прихожая и две комнатки с окнами, выходящими во двор. Одна из этих комнат служила одновременно спальней, столовой и гостиной. Другая была рабочим кабинетом, где из мебели стояли диван, один стул, стол, заваленный книгами, и высокий пюпитр. Стены были украшены английскими резцовыми гравюрами – виды Греции, Индии, Персии, которыми Гоголь очень гордился. В этом скромном жилище он принимал, как прежде, своих друзей по Нежинской гимназии, а также и А. С. Пушкина, П. А. Плетнева и некоторых новых знакомых, среди которых был П. В. Анненков, молодой человек, с живым умом и большой любитель литературы. Обыкновенно Гоголь угощал своих друзей крепко заваренным чаем, плюшками и баранками. Но время от времени он устраивал ужины, расходы на которые делились между всеми приглашенными. В этом случае он сам готовил ватрушки, фрикадельки со сметаной или другие украинские блюда, густой запах которых распространялся на всю комнату. Взлохмаченный чуб, пестрый галстук вокруг шеи и фартук на животе – среди своих друзей он выглядел петухом, который хорохорится на пороге

своей кухни.

Шутя, он всем своим друзьям дал прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей. Там были Виктор Гюго, Александр Дюма, Оноре де Бальзак. Один скромный приятель звался София Ге. Что касается П. В. Анненкова, то он был наречен (так никогда и не узнав, почему!) Жюлем Жанненом. Однако Гоголь не особенно жаловал французскую литературу. В целом, французы казались ему людьми легкомысленными, всегда занятыми тем, чтобы сбросить одну политическую власть и сменить ее на другую. Они продемонстрировали это еще раз в июле 1830 года, охотясь на бедного Карла X. Писатели этого народа, полагал Гоголь, не могут быть серьезными. С особым пренебрежением он относился к Мольеру, которого упрекал в слабости интриг и в банальности развязок. Услышав, как Гоголь критикует автора «Мизантропа», А. С. Пушкин, возмущенный, возразил ему, заявив, что гений творца проявляется не в используемых драматических средствах, а в совокупности человечности, вложенной в произведение. В продолжение этого разговора, Гоголь вернулся к Мольеру и открыл для себя его величие. У него было абсолютное доверие к суждению Пушкина. Перед ним одним он ощущал себя порой управляемым и ведомым. Однако что отдаляло его от этого пылкого, смелого и благородного человека, то это пристрастие до карт и до женщин, его сопряженная с риском жизнь. Как мог такой великий поэт до такой степени быть привязанным к земным благам? Каким чудом ясность слога сочеталась у него с такой беспорядочностью жизни? Почему столько людей понимали его и любили? В противоположность Пушкину, Гоголь никогда не доверял порывам своей натуры. Будучи всегда настороже, он пристально всматривался в свое окружение, не открывая себя.

«Можно было бы сказать, что он никогда не открывает душу, – писал П. В. Анненков, – и было бы невозможным найти его разоруженным. Его зоркий глаз постоянно следует за движениями души и характерными реакциями других; он хотел видеть даже то, что он мог бы легко разгадать».

Когда кто-нибудь излагал при нем интересный факт, он застывал с небывалым вниманием. Он становился как всасывающий насос. Так, П. В. Анненков видел у него это выражение интеллектуального аппетита, когда один из приглашенных (без сомнения, врач), говорил о поведении сумасшедших, подчеркивая ту непреклонную логику, с которой они развивают свои наиболее абсурдные идеи. Позже другой приглашенный рассказывал историю скромного служащего канцелярии: этому человеку

удалось, ценой жесткой экономии преподнести самому себе подарок в виде английского охотничьего ружья, о котором он мечтал; однако при первом же своем выезде он его потерял в камышах Финского залива, и это последнее обстоятельство сделало его таким больным, что его коллеги в складчину купили ему новое. П. В. Анненков писал, что все присутствующие посмеялись над этой забавной историей, извлеченной из реального факта; один лишь Гоголь слушал, задумавшись и поникнув головой.

Всегда занятый тем, чтобы найти новые идеи, «могущие быть полезными», он не довольствовался теми, которые ему «доставляли на дом». Он много выходил, посещал гостиные, искал и находил случайные встречи. Его настороженный взгляд, ушки на макушке, интересный галстук видели у Карамзиных, у Жуковского, у Плетнева, у Пушкиных, в ложе актера Сосницкого, у изголовья Александры Осиповны Смирновой, которая с трудом поправлялась. По вечерам, возвращаясь, он устраивался перед своим пюпитром и беспорядочно отмечал все мысли, крутившиеся в его голове. Охотнее всего он использовал большую конторскую книгу записей. Его почерк, мелкий, частый, похожий на женский, перебегал с одного края страницы до другого, не оставляя ни полей, ни пустот. Начертанные бледными чернилами, буквы запутывались; слова сливались; строчки вздымались волнами; микроскопические поправки перегружали и без того с трудом читаемые фразы. План статьи о «скульптуре, живописи и музыке» соседствовал с наброском новеллы о таинственной улице Васильевского острова, освещенной единственным фонарем; первая фраза рассказа – «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге»[96] – была продолжена очерком по Гердеру; собственные мысли сталкивались с заметками из лекций по истории: *варяги, союзы европейских королей с российскими императорами, эпоха Людовика XIV, норманнские завоевания.*

Это разнообразие и эта путаница свидетельствовали о крайнем смятении Гоголя. Он больше не имел четкого представления о том, в каком направлении работать. Успех «Вечеров на хуторе…», вначале доставивший радость, теперь вызывал у него страх. Он видел недостатки этого первого сборника и не мог больше выносить, когда ему его расхваливали. Ему даже казалось, что, упорно восхищаясь вполне посредственным произведением, читатели неявным образом обесценивают то, что он напишет впоследствии. Он имел слишком высокое представление о себе, чтобы принять роль всего лишь развлекателя публики. Рожденный, чтобы нести свет человечеству, он чувствовал, что должен с каждой книгой взбираться

еще на одну ступень, пока не достигнет желаемого Богом совершенства.

«Вы спрашиваете об Вечерах Диканских, – писал он Погодину. Чорт с ними! Я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу… Я даже забыл, что я творец этих Вечеров, и вы только напомнили мне об этом… Да обрекутся они неизвестности! Покамест что-нибудь увесистое, великое, художественное не изыдет из меня.

Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется! Великое не выдумывается! Одним словом, умственный запор».[97]

Эта невозможность задумать произведение, достойное той участи, какую он ему определил, становилась все более тревожащей. Его письма к друзьям были не чем иным, как одной длинной жалобой: «Досада только, что творческая сила меня не посещает до сих пор…»[98]«Не делаю совершено ничего; может быть, из дому вывез с собою лень».[99]«Я так теперь остыл, очерствел, сделался такою прозой, что больше не узнаю себя. Вот скоро будет год, как я ни строчки. Как ни принуждаю себя, нет да и только…»[100]«Пошлет ли всемогущий бог мне вдохновение – не знаю…»[101]

В конце 1832 года, однако, он поверил в то, что нашел свой путь: это была комедия, «Владимир 3-ей степени». Темой, о которой он поведал нескольким друзьям, была мания величия. Чиновник высокого ранга, охваченный желанием получить награду – орден Святого Владимира, который жаловал дворянское достоинство, – подчинил всю свою жизнь этой идее-фикс, сошел с ума и, в конце концов, принял самого себя за крест Владимира третьей степени.

«У Гоголя в голове – замысел комедии, – писал Плетнев Жуковскому в письме от 8 декабря 1832 года. – Я не знаю, разродится ли он этой зимой, но я жду от него в этом жанре незаурядного совершенства. Я всегда бываю поражен в его рассказах тем, как написаны диалоги».

Гоголь же, со своей стороны, писал Погодину в письме от 20 февраля 1833 года:

«Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: Владимир 3-ей степени, и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидивши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без этого она как душа

без тела… Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет невинный, которым даже квартальный не мог обидеться. Но что комедия без правды и злости!»

Спустя несколько дней П. А. Плетнев подтвердил эту новость В. А. Жуковскому: «У Гоголя – все по-прежнему. Его комедия не идет у него из головы. Он хотел бы поместить туда слишком много вещей, столкнулся с продолжающимися трудностями сценического выражения и, с досады, не написал ничего».

В действительности же Гоголь написал несколько сцен «Владимира 3-ей степени» и запрятал их в свои бумаги, среди других проб пера.[102] Также он набросал комедию с «невинным», по первому впечатлению, сюжетом – «Претенденты»; но нашел ее столь бледной, что отложил ее в сторону с намерением переработать ее, когда к нему вернется вдохновение. Затем Гоголь взялся за изложение рассказов «Нос», «Записки сумасшедшего», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», но – без энтузиазма, с ужасным впечатлением, что он повторяется, топчется на месте. Не было ли бы для него лучше отвернуться от театра и от рассказов и посвятить себя истории? Он всегда имел вкус к прошлому. Очертя голову, он всецело отдавался документальным источникам. Временами, однако, его охватывало сожаление о том, что он отказывается от публичных контактов.

«Примусь за Историю, – писал он Погодину, – передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и – история к черту».[103]

Но немного позже исторические штудии вновь стали предметом его рассмотрения. Они были безопасны, в то время как все прочие формы литературы были духовной авантюрой. Можно было ошибиться во всем, сочиняя пьесу или рассказ, но никогда – воскрешая эпоху по источникам, заслуживающим доверия. Что же касается славы, то слава историка ни в чем не уступала таковой романиста или драматурга. Впрочем, сам Пушкин – не впрягся ли и он в историческую работу благодаря своей «Капитанской дочке»?

Поначалу Гоголь помышлял просто об истории Украины. Он собирал документы, наводил справки в архивах, снабжал примечаниями труды летописцев. Но такого рода компилятивная работа вскоре стала ему казаться невыносимо скучной. С напечатанных страниц ему в лицо веял запах тлена. Он не мог решиться на то, чтобы всего лишь комментировать события иссушающим методом «варварских профессоров». Его цель была

другая: оживить исчезнувшие персонажи со всем тем теплом, которое было у них при жизни. И с этой точки зрения хронология фактов имела меньшее значение, нежели гул повседневного существования. Чтобы воскресить минувшие годы, следовало, таким образом, отойти от официальных документов и черпать вдохновение в легендах и народных песнях. И чем больше их познавать – тем больше шансов с точностью воссоздать прежний мир. 9 ноября 1833 года Гоголь писал Максимовичу:

«Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили.

Я очень порадовался, услышав от вас о богатом привосокуплении песен и собрании Ходаковского… Да, я прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни, выключая печатных и сообщенных вам мною. Сделайте милость и пришлите этот экземпляр мне. Я не могу жить без песен… Вы не можете представить как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные: они все дают по новой черте в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы, прошедших людей…»

Еще яснее Гоголь выразил свою мысль в письме филологу-слависту И. И. Срезневскому:

«И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены». [104]

Но, полагая священным свое решение написать живую историю Украины, Гоголь уже спрашивал себя, прав ли он, ограничивая себя такой узкой областью? Он опасался быть включенным в число «местечковых» писателей после публикации «Вечеров…» – не примут ли его теперь, после его работ по Малороссии, за историка, специализирующегося на вопросах казачества? Однако значение такой работы не сможет быть мировым. Чтобы быть верным своему предназначению, он должен составить, в дополнение к истории Украины, всемирную историю. Этот довольно-таки грандиозный проект вызывал у Гоголя некоторое головокружение. Он пошатывался, но – не сомневался в своих силах. Весь вопрос был в конструкции. Ему виделись восемь или девять томов. Возликовав, он изложил министру народного просвещения С. С. Уварову «План преподавания всемирной истории»:

«Всемирная история – такая, какой она должна быть на самом деле, – не есть собрание отдельных историй всех стран и народов: бессвязное, не имеющее ни общего плана, ни совместной цели. Она также не есть нагромождение фактов – сухих и инертных, как это обыкновенно представляется. Ее предмет необъятен: она должна охватывать одним взглядом все человечество и показывать при этом, как оно развивалось и совершенствовалось – начиная со времен своего убогого детства и до наших дней».[105]

И 23 декабря 1833 года он писал А. С. Пушкину:

«Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе, нет. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!»

Намерение Гоголя стать великим историком было столь сильным, что, по совету Максимовича, он внезапно решил добиваться кафедры всемирной истории в Университете Святого Владимира, недавно основанном в Киеве. Конечно, у него не было никакого диплома, познания его были ограниченными, а педагогический опыт – близким к нулю; но в России не хватало преподавателей, и министр народного просвещения закрывал глаза на степени соискателей. Максимович, который преподавал ботанику в Москве, – не возьмет ли он на себя по его, Гоголя, просьбе, преподавание литературы в Киеве? Обосновавшись в «колыбели русских городов», Гоголь вновь его встретит. Вместе они предпримут поиски в архивах, будут упиваться народными песнями и преданиями, придумают новую концепцию истории.

«Туда, туда! в Киев! В древний, в прекрасный Киев! – писал Гоголь Максимовичу. – Он наш, он не их, не правда? Там или вокруг него деялись дела старины нашей… Мне надоел Петербург, или, лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобой киевские кафедры. Много можно будет наделать добра».[106]

Дело оставалось за решением министра. Донесение о преподавании всемирной истории, которое Гоголь ему направил, могло настроить С. С. Уварова только в его пользу. Чтобы снять последние сомнения, следовало подключить к делу всех друзей. Во главе колонны – добрый В. А. Жуковский, наставник наследного великого князя Александра II. Но не стоило пренебрегать и Пушкиным. Он был в доверии у некоторых высших должностных лиц и, кроме того, был лично знаком с С. С. Уваровым. Гоголь послал ему письмо в искусно подобранных выражениях, в надежде,

что тот покажет его министру:

«Если бы был из тех, каких немало у нас на первых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли. Как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском Университете, которое мне предлагали,[107] но тогда был Ливен, человек ума недалекого. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гёте. Не говорю уже о мыслях его по случаю экзаметров, где столько философического познания языка и ума быстрого. – Я уверен, что у нас он более сделает, нежели Гизо во Франции. Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты».[108]

Если Уваров не отдаст предпочтение после подобного умащивания – это приведет в отчаяние всю дипломатию! Но нужно было не торопиться. В сферах высшей администрации решения вызревали всегда медленно. В канун наступления нового года экзальтация Гоголя приняла мистическую окраску. Раз с ним не совершилось ничего великого в 1833 году, значит, Господь приберег ему славу на год 1834-й. Как-то, морозной ночью, согнувшись над своим пюпитром, при слабом свете свечи, он подвел итог двенадцати истекших месяцев: ни одной значительной публикации, отсутствие денег, долги; мать, вынужденная переоборудовать кожевенный завод и отослать обратно «австрийского специалиста», который ее обобрал. В очередной раз заложили Васильевку. И, однако, все это не имело никакого значения перед чувством безмерной надежды, которое возрождалось в нем.

«Великая, торжественная минута… У ног моих шумит мое прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! О, не скрывайся от меня! Пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь передо мною, 1834-й? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди меня тогда! Не дай им овладеть мною!

Таинственный, неизъяснимый 1834-й! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов,

гремящих улиц, кипящей меркантильности, – этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. – Там ли? – О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший со своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу… Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!..»

Этот торжественный призыв, брошенный в ночь с 31 декабря 1833 года на 1 января года 1834, был искренним, несмотря на его высокопарный тон. Будучи во власти сильных эмоций, Гоголь не умел выразить их просто. Как другие проливают слезы, так он проливал слова.

В начале нового года он был настолько уверен в том, что получит страстно желаемую кафедру, что писал Максимовичу:

«В одном письме ты пишешь за Киев. Я думаю ехать. Дела, кажется, мои идут на лад…»[109]

И, хотя история Украины была еще в состоянии замысла плана лекций, 30 января 1834 года в «Северной пчеле» Гоголь издал объявление, изложенное следующим образом:

«Новые книги. Издание „Истории малороссийских казаков“ Н. Гоголя, автора „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. До настоящего времени еще не существовало полной и удовлетворительной истории Малороссии и ее народа… Я решил взять эту задачу на себя… В течение примерно пяти лет я собирал – с большим прилежанием – материалы, имеющие отношение к этому краю… Половина моей книги почти готова, но я откладываю публикацию первых томов, предполагая, что существуют многочисленные источники и документы, мною упущенные, которые должны находиться где-либо во владении частных лиц. И поэтому, обращаясь ко всем, я настоятельно прошу тех, кто имеет у себя какие бы то ни было материалы: хроники, воспоминания, песни, рассказы „бандуристов“, деловые бумаги…, переправить их мне – если не оригиналы, то хотя бы копии… по

следующему адресу…»

Он не должен был получить никакого ответа. Но вот весомая компенсация за его чистую любовь – министр С. С. Уваров опубликовал его «План преподавания всемирной истории» в журнале «Министерства народного просвещения», и императрица пожаловала ему кольцо, украшенное бриллиантами, «в награду за его выдающиеся труды». На этот раз он более не сомневался, что выиграет дело. Он уже готовился с помощью Якима к своему грядущему отъезду. Однако новость сразила его как молния: несмотря на все обещания, некий Владимир Цых, личный кандидат попечителя Киевского Университета, был назначен на кафедру, о которой он, Гоголь, так настойчиво просил. Оглушенный известием, он реагировал на него проклятиями, вопросами, мольбами, обращая их на все четыре стороны света.

«Что ты пишешь про Цыха? – писал он Максимовичу 29 марта 1834 года. – Разве есть какое-нибудь официальное об этом известие? Министр мне обещал непременно это место и требовал даже, чтоб я сейчас подавал просьбу, но я останавливаюсь затем, что мне дают только адъюнкта…»

Спустя несколько дней, Гоголь побудил того же Максимовича написать Е. Ф. Брадке, попечителю Киевского Университета, чтобы попробовать уладить дела:

«Да кстати обо мне: знаешь ли, что представления Брадке чуть ли не больше значат, нежели наших здешних ходатаев. Когда будешь писать к Брадке, намекни ему обо мне вот каким образом: что вы бы, дескать, хорошо сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь…»

И А. С. Пушкину:

«Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жи́ва. При этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть свои ножки, завесть речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно…»[110]

«Совершенно с вами согласен, – ответил в тот же день Пушкин. – Я тотчас же пойду увещевать Уварова, и я поговорю с ним о Вашей смерти. Потом, искусно и незаметно переменив тему, я перейду к бессмертию, которое ожидает его. Кто знает? Может быть, мы и достигнем результата!»

Демарш А. С. Пушкина не возымел немедленных последствий. Министр обещал подумать, изучить досье, вновь рассмотреть вопрос, когда представится новая возможность. Погодин, со своей стороны, предложил Гоголю место ассистента профессора в Московском Университете. Категорический отказ: ассистент кого? ассистент чего? Они полагают, что он может преподавать всемирную историю иначе, чем с высоты настоящей профессорской кафедры? К тому же московский климат годился ему не более, чем климат Санкт-Петербурга. Киев – вот что ему было нужно, Киев с его солнцем и с его студентами. Почему Господь не помогает ему в этом предприятии? В последнее время он писал матери:

«Правили ли вы молебен об успешном ходе фабрики? Если нет, то поручите отцу Ивану отправить молебен, чтобы все дела ваши шли хорошо, а равным образом, чтоб и мои пошли таким чередом, как я думаю!»[111]

Молебен не возымел немедленного действия – ни в том, что касалось кожевенного завода, чья доходность стала практически нулевой, ни в том, что касалось его самого и его удалявшейся мечты о профессорском месте. Должен ли он был заказать его лично, вместо того, чтобы перепоручать это матери? Он был набожен и благочестив, но не особенно посещал церковь. Бог не мог на него сердиться за недостаток усердия.

Отношения Гоголя со Всемогущим были очень свободными. Он был для него неким консультантом по любому поводу, в любое время и в любом месте. Матери, которая упрекала его в нерегулярном посещении церкви, он отвечал резко:

«Я уважаю очень угодников Божиих, но молиться Богу все равно, в каком бы месте вы ни молились. Он вездесущ, стало быть, Он везде слышит молитву, и Ему столько молитва нужна, сколько нужны дела наши».[112]

Уязвленный, он продолжал – весьма нерегулярно – преподавать элементарные начала истории девочкам в Институте. Этим проказницам в светло-коричневой форме; всем этим воробьиным мозгам; и к тому же своим сестрам! Какая насмешка по сравнению с обширной аудиторией, которую он надеялся покорить в Киеве! По его просьбе ему вернули его жалованье в размере тысячи двухсот рублей с 1 января, оставляя при этом сестер Гоголь воспитанницами в учреждении в качестве «особого вознаграждения». Наконец, министр предложил ему читать курс по средневековой истории в Санкт-Петербурге. К сожалению, он и там будет записан как профессор-ассистент, а не как штатный преподаватель. Но

могло ли это сбить с него спесь? Им повезло, что он нуждается в деньгах! Проглотив досаду, он согласился и был введен в должность указом от 24 июля 1834 года. Однако он не признался своим друзьям, каково его настоящее звание. Когда он смирился с необходимостью сообщить им эту новость, слово «ассистент» осталось в чернильнице, тогда как слово «кафедра» естественным образом вышло из-под пера.

«Я на время решился занять здесь кафедру истории, и именно средних веков, – писал он Погодину».[113]

И в письме матери:

«Я теперь только профессор здешнего университета и больше никакой не имею должности, потому что и не имею желания занять и не имею времени…»[114]

Тем не менее Гоголь не отказался от мечты о Киеве. Его перевод туда казался ему даже обеспеченным. Когда министр ознакомится с его успехом у столичных студентов, он не сможет отказать ему в кафедре в университете по его выбору. «Итак, я решился принять предложение остаться на год в здешнем университете, получая тем более прав к занятию в Киеве»,[115] – сообщал он Максимовичу.

Он даже поручил последнему, едва обосновавшемуся в Киеве, найти ему дом для покупки, «если можно, с садиком, где-нибудь на горе, чтобы хоть кусочек Днепра был виден из него». Однако М. А. Максимович, выбитый из колеи своим новым местом жительства и своей новой должностью, спрашивал себя, будет ли он способен преподавать историю литературы – он, который до сих пор занимался ею лишь время от времени, да и то – для собственного удовольствия. Имеет ли он моральное право взять на себя роль учителя перед такой доверчивой юностью? Не лучше ли будет оставаться в пределах своей специальности – ботаники? Эти муки совести, повторявшиеся из письма в письмо, поражали Гоголя, который, со своей стороны, ничего подобного не ощущал.

«Ради бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что все на свете трын-трава. Терпением и хладнокровием все достанешь. Еще просьба: ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцовских могил, не сиди над книгами. Черт возми, если они не служат теперь для тебя к тому только, чтобы отемнить свои мысли. Будь таков, как ты есть, говори свое, и то как можно поменьше. Студенты твои такой глупый будет народ, особливо сначала, что, право, совестно будет для них слишком много трудиться. Но, впрочем, лучше всего ты делай эстетические с ними разборы. Это для них полезнее всего,

скорее разовьет их ум, и тебе будет приятно. Так делают все благоразумные люди. Таким образом поступает и Плетнев, который нашел – и весьма справедливо, – что все теории – совершенный вздор и ни к чему не ведут. Он теперь бросил все прежде читанные лекции и делает с ними в классе эстетические разборы, толкует и наталкивает их морду на хорошее. Он очень удивляется тому, что ты затрудняешься, и советует, со своей стороны, тебе работать прямо с плеча, что придется. Вкус у тебя хорош. Словесность русскую ты знаешь лучше всех педагогов-толмачей; итак, чего тебе больше. Послушай: ради бога, занимайся поменьше этой гнилью…»[116]

Эта «дребедень» – нужно было, однако, чтобы он и сам ею занимался, так как в начале сентября должен был начаться новый учебный год в Университете. Он боялся этих будущих слушателей, тоска в ожидании будущей работы сжимала ему грудь, – совершенно подобная той, которую испытывал Максимович. Сколь захватывающим ему казалось прокладывать широкие дороги сквозь массивы исторических событий, столь же скучным он расценивал опускаться до мелких деталей хронологии. Он чувствовал себя королем в области прожектов и рабом – в исполнении. И поскольку ни его история Украины, ни его всемирная история не вышли еще из фазы зарождения, это его должно было утомлять и в истории Средних веков. И эта обязанность, как нарочно, свалилась ему на голову именно тогда, когда он вновь почувствовал вкус к романной литературе. На протяжении последней весны он закончил несколько рассказов, в числе которых – «Портрет», «Вий», «Тарас Бульба»… Другие сюжеты вертелись у него голове. Но двое или трое римских пап, Чингисхан, Фредерик Барбрусс, Александр Невский преграждали путь воображаемым персонажам.

Глава VII
Профессор-ассистент

Было два часа пополудни, когда Гоголь прошел в аудиторию. Битком набитый зал. Узнав, что автору «Вечеров на хуторе…» было поручено чтение лекций по средневековой истории, студенты других факультетов примкнули к студентам филологического отделения, чтобы послушать вводную лекцию. Все встали в едином порыве, с шумом. Очень бледный, Гоголь неловко приветствовал собравшихся и направился к кафедре. В руках он вертел свою шляпу. От панического страха у него сводило желудок. Он медленно поднялся по ступенькам. Чуть позже вошел ректор, поприветствовал нового профессора-ассистента с началом занятий и затем грузно сел в приготовленное для него кресло.

Гоголь был один перед незнакомыми лицами публики. Юный возраст его аудитории приводил его в смущение. Сотни взглядов были устремлены на него с требовательным любопытством. Кашель стих, ноги перестали двигаться – тишина стала более глубокой. Для большей уверенности Гоголь выучил свою первую лекцию наизусть. После внутренней молитвы он приступил к лекции. Тембр его собственного голоса, звучащего громко и ясно, тотчас его успокоил. Студенты сразу же оказались завоеваны этим бледным человеком невысокого роста и болезненного вида, с пронзительным взглядом. С ними говорил не преподаватель, но – визионер, поэт. Он воскрешал для них смутные времена средневековья, вооруженные толпы Крестовых походов, священную гордость рыцарского сословия, ужасы инквизиции, загадочный труд алхимиков. Ни одного имени, ни одной даты. Зато в изобилии – общие идеи. Своего рода мираж, местами искрометного, а местами – туманного.[117]

По истечении сорока пяти минут оратор умолк перед пораженной аудиторией. Раздался взрыв аплодисментов. Сходя с помоста, он оказался окружен восторженными студентами. В восторге от своего успеха, он сказал им:

«На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом…»

Раззадоренные студенты с нетерпением ждали следующей лекции. В

назначенный день Гоголь прибыл с опозданием, поднялся на кафедру и начал говорить о великом переселении народов. Но на этот раз он не выучил свой текст наизусть и подыскивал фразы, спотыкался о слова с видом замешательства и вялости. «…поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили самим себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию?»[118] После получасового изложения он внезапно смутился, как будто не находя более что сказать, объявил, что должен сократить лекцию, потому что его родители только что вернулись из путешествия и ожидают его дома, и посоветовал молодым людям – если они хотят знать больше деталей – обратиться к некоторым произведениям, чьи названия он им сообщит позже. Во время своего третьего появления, когда они попросили его уточнить некоторые исторические даты, он был не в состоянии им ответить, но пообещал принести в следующий раз полную хронологию. Эту хронологию он попросту переписал в одной из книг, что не укрылось от внимания студентов. Их увлечение новым профессором-ассистентом угасало раз от разу. Они все в меньшем количестве приходили на его лекции. И Гоголь – перед лицом этой малочисленной аудитории – был все менее и менее склонен всерьез готовить свои выступления. Он израсходовал свое знание и свой порыв во вступительной лекции. Теперь он занимался только тем, что перефразировал других историков и разбавлял их соусом. По своей привычке, он часто сказывался больным, иногда – чтобы вообще не приходить, иногда – чтобы сократить свое выступление. «Голова его, по случаю ли боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений. Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон…»[119]

В октябре 1834 года, однако, у Гоголя внезапно возник повод для рвения, потому что А. С. Пушкин и В. А. Жуковский пообещали ему поприсутствовать на одной из его лекций. Для них он составил блестящий обзор по халифу Ал-Мамуну и его времени. Прибыв в Университет, он обнаружил обоих поэтов, смешавшихся с толпой студентов, в зале ожидания. Вместе они зашли в аудиторию. Почетные гости заняли место сбоку, студенты – немногочисленные – опустились на свои скамьи;

а профессор-ассистент в расстроенных чувствах взошел на кафедру, как если бы он поднялся на эшафот.

Начиная с какого-то времени, дисциплина среди слушателей ослабла. Во время лекции болтали, охотно посмеивались. Только бы на этот раз они вели себя спокойно! В противном случае – какой позор перед Пушкиным, перед Жуковским!.. Чудесным образом все прошло хорошо. Текст – документированный и поэтический – свободно лился из уст Гоголя. Великая личность Ал-Мамуна пленяла молодых людей. В конце лекции Пушкин и Жуковский поздравили оратора, который не мог произнести более ни слова и еле держался на ногах.

Но это была единственная вспышка. Начиная со следующего занятия удрученные студенты вновь увидели привычного Гоголя, с его нерешительностью, туманным взглядом, неуверенными жестами и бесконечными возвращениями к «великому переселению народов». Другие преподаватели не питали к нему никакой симпатии и даже считали его самозванцем в этом университете, куда он был принят, говорили они, только по протекции.

Профессор русской словесности А. В. Никитенко отмечал: «Гоголь, Николай Васильевич… Сделался известен публике повестями под названием „Вечера на хуторе…“ Они замечательны по характеристическому, истинно малороссийскому очерку иных характеров и живому, иногда очень забавному рассказу… Талант его чисто Теньеровский… Но там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным… Лишь только начинает он трактовать о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит прямо в гении… Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания… Что же вышло?.. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и очень деликатно объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности».

Отвергнутый преподавателями, брошенный студентами, Гоголь продолжал свое преподавание неохотно, как если бы он отбывал наказание. В письме от 14 декабря 1834 года он писал М. П. Погодину:

«Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художескую отделку, а тем более желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю в даль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы одно студентское существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург».

Среди этого «бесцветного отродья» было, по правде сказать, несколько молодых людей больших достоинств – таких, как будущий историк Т. Н. Грановский и будущий писатель И. С. Тургенев. Последний будет потом вспоминать, с меланхоличным любопытством, усилия, которые предпринимал Гоголь, чтобы заинтересовать свою публику.

«Я был одним из слушателей Гоголя в 1835 году, когда он преподавал историю в Санкт-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, – и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании наших лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, – с совершенно убитой физиономией, – и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами черного шелкового платка».[120]

«Студенты очень быстро поняли, что если их преподаватель заставляет их спрашивать друг друга, то это происходит из страха обнаружить свое собственное невежество в случае, если дискуссию будет вести он сам. „Боится, что Шульгин собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может“, – говорили насмешники, и, нет сомнения, была доля правды в словах их…»[121] И они не знали, должны они жалеть или высмеивать этого странного типа, с тусклыми глазами и перевязанной щекой, который в конечном счете напоминал скорее ученика, чем учителя. Во всяком случае, трудно было поверить, что он писатель. Некоторые даже думали, что их преподаватель и автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

– просто однофамильцы.

Однако литература начинала занимать все большее место в его жизни. Между лекциями в Университете и лекциями в Женском институте он без устали работал для себя. С января 1835 года он занимался публикацией «Арабесок» – два тома, включающие в себя «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», фрагменты украинских рассказов, тексты его лекций по истории и различные статьи. Спустя несколько недель, в марте 1835 года, книготорговцы выставили в витринах другое произведение того же автора, тоже в двух томах, – Миргород, где фигурировали «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Два этих сборника, опубликованные с коротким интервалом, имели умеренный успех, но раскупались мало. Дело в том, что скучные «Арабески», куда вошло всего понемножку, отвлекли читателей от «Миргорода», хотя эта книга, богатая и разнообразная, могла бы им понравиться.

Примерно в то же время Гоголь, переработав и завершив свой рассказ «Нос», предложил его Погодину для журнала «Московский вестник».

Потом, передумав, он решил, что лучше опубликовать его в пушкинском «Современнике», и попросил, чтобы ему отослали обратно рукопись.[122] Он ожидал возражений и был очень удивлен тем, с какой готовностью М. П. Погодин удовлетворил его просьбу: редакционный комитет «Московский вестник» тем временем отклонил текст как «грязный и пошлый». Разочарованный из-за провала своего профессорства и из-за неуспеха «Арабесок», Гоголь вновь ни о чем больше не помышляет, кроме как – бежать из Петербурга.

«Напиши, в каком состоянии у вас весна, – писал Гоголь 22 марта 1835 года – Максимовичу. – Жажду, жажду весны. Чувствуешь ли ты свое счастие? знаешь ли ты его? Ты свидетель ее рождения, впиваешь ее, дышишь ею, и после этого ты еще смеешь говорить, что не с кем тебе перевести душу…»

3 апреля, сгорая от нетерпения, Гоголь обратился к ректору университета с просьбой о четырехмесячном отпуске по причинам слабого здоровья. И 1 мая – после экзаменов, где он имел бледный вид со своим платком вокруг головы, – он отправляется на Кавказ. Разумеется, он не берет с собой ни сестер, ни Якима в эту большую поездку с неопределенными маршрутами. Он намеревался пройти курс водолечения. Но после короткой остановки в Москве он подсчитал, что его ресурсы не позволят ему такое долгое путешествие, и, поменяв Кавказские горы на

украинские степи, вернулся в Васильевку. Оттуда, по-прежнему обеспокоенный своим здоровьем, он продолжил свой путь до Крыма – принимать морские и грязевые ванны. Затем он снова вернулся в Васильевку, чтобы снова погрузиться в атмосферу семейного обожания. Две его последние книги утвердили его матушку в идее того, что он – сверхчеловек. Раздраженный преувеличенными похвалами, которыми она его вознаграждала, Гоголь несколькими неделями раньше писал ей:

«Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением. Как бы это ни было, но это очень странно. Меня, доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл, называть гением! Нет, маминька, этих качеств мало, чтобы составить его, иначе у нас столько гениев, что и не протолпиться. Итак, я вас прошу, маминька, не называйте меня никогда таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь. Не изъявляйте никакого мнения о моих качествах. Скажите только просто, что он добрый сын, и больше ничего не прибавляйте и не повторяйте несколько раз. Это для меня будет лучшая похвала.

Если бы вы знали, как неприятно, как отвратительно слушать, когда родители говорят беспрестанно о своих детях и хвалят их!..»[123]

Эти наставления не смутили Марию Ивановну. Она хорошо знала, что первый отличительный признак гения – это смирение. В присутствии сына она доблестно прилагала все усилия к тому, чтобы держать язык за зубами. Но, едва он отворачивался, она давала выход избытку своей любви. С лучезарной самоуверенностью она утверждала, что он является автором всех пользующихся успехом романов, опубликованных в России. «В обожании сына, – отмечал А. Данилевский, – Марья Ивановна доходила до Геркулесовых Столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие силы».

В Васильевке, как и всегда, Гоголь отдыхал и мечтал. Невозможно писать под этим синим небом!

«Тупая теперь голова сделалась, что мочи нет. Языком ворочаешь так, что унять нельзя, а возьмешься за перо – находит столбняк, – жаловался он Максимовичу…»[124]

И В. А. Жуковскому:

«Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество, так что если бы не жаркое лето, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьев. Но жар вдыхает страшную лень, и только десятая

доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною Вам. Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, кряхтя от дюжей тетради…»[125]

Это обещание вовсе не было легкомысленным: Гоголь только что узнал, что директриса института предполагает взять на его место другого преподавателя. Всячески пренебрегая своей работой в этом заведении, он не мог отказаться по доброй воле от вознаграждения, которое получал взамен. Однако, если бы он смог объяснить В. А. Жуковскому важность своих планов, последний счел бы своим долгом обратиться к императрице – с тем, чтобы Гоголь не был лишен жалованья в тот момент, когда ему нужна свободная голова, чтобы творить.

«А теперь докучаю вам просьбою: вчера я получил извещение из Петербурга о странном происшествии, что место мое в Женском институте долженствует замениться другим господином. Что для меня крайне прискорбно, потому что, как бы то ни было, это место доставляло мне хлеб, и притом мне было очень приятно занимать его, я привык считать чем-то родным и близким… Впрочем, Плетнев мне пишет, что еще о новом учителе будет представление в августе месяце первых чисел и что если императрица не согласится, чтобы мое место отдать новому учителю, то оно останется за мною. И по этому-то поводу я прибегаю к вам, нельзя ли так сделать, чтобы императрица не согласилась. Она добра и, верно, не согласится меня обидеть…»

По-прежнему полагаясь на хорошее расположение императрицы, Гоголь даже думал привезти с собой в Петербург свою младшую сестру, Ольгу, чтобы определить ее в институт вместе с двумя другими. Но ребенок плохо слышал и немножко отставал в развитии. Был риск того, что атмосфера пансиона причинит ей больше вреда, чем пользы. На семейном совете было решено, что лучше оставить ее в деревне, где она будет обучаться – ни шатко ни валко – и, в конце концов, найдет себе мужа.

В конце июля месяца Гоголь вновь отбыл в Санкт-Петербург и по дороге остановился в Киеве, где жил М. А. Максимович. Пять дней бесед, прогулок по святому городу, размышлений перед церковью Андрея Первозванного, что на вершине Андреевского спуска, – и он решает держать путь в Москву, во взятой напрокат коляске. Его друзья А. Данилевский и Н. Пащенко сопровождают его. На почтовых станциях он выставлял себя – шутки ради – за «адъютанта-профессора», что производило впечатление на станционных смотрителей, что, в свою очередь, побуждало их подавать ему лучших лошадей.

Москва ему подготовила, как обычно, горячий прием. Субботним

вечером, у М. П. Погодина, Гоголь перед многочисленными гостями читал свою комедию «Провинциальный жених». (В 1841 году эта комедия получила окончательную редакцию названия – «Женитьба».) Как только он мог укрыться за персонажем, его естественная робость его оставляла. Присутствие публики, более того, подогревало его пыл. Не вставая со стула, он был – по очереди – краснеющей невестой, отважной свахой или нерешительным женихом.

«Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пиесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора».

Госпожа В. А. Нащокина, познакомившаяся с Гоголем у Аксаковых, отмечала, что у него легкий украинский акцент и что в разговоре он «окает». «Он… носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой».[126]

В первые дни сентября Гоголь вернулся в Петербург и приступил – безо всякого энтузиазма – к своим лекциям в университете. Будучи освобожденным – несмотря на вмешательство В. А. Жуковского – от своей должности в институте, он также предполагал скорое окончание своей карьеры профессора-ассистента. Новый министерский циркуляр уточнял, действительно, что отныне, чтобы занять историческую кафедру, нужно быть по крайней мере доктором философии. Коллеги советовали ему подать в отставку, не дожидаясь решения высших инстанций. Он же колебался в том, чтобы вынести самому себе такой приговор. Наконец он отважился на этот шаг.

«Я расплевался с университетом, – писал он Погодину, – и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные мысли волновали меня… Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку!.. Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном и больше ничего, – писал он Погодину».[127]

И действительно, эти последние месяцы 1835 года были для Гоголя исключительно богатыми проектами и работой. Он не только исправил

«Провинциального жениха», написал рассказ «Коляска», взялся за драму, сюжет которой почерпнул из истории средневековой Англии, – Альфреда,[128] но еще и увлекся внезапно сюжетом, о котором как-то упомянул случайно А. С. Пушкин. Речь шла о реальном факте, о котором поэт и сам помышлял рассказать в стихах, в юмористическом стиле. Дело происходило неподалеку от его имения в Михайловском, в Псковской губернии, но его друг, писатель и лексикограф Даль обратил его внимание на аналогичный случай, который укрепил его в убеждении, что в России возможны самые экстравагантные спекуляции.[129] Идея была по меньшей мере хитроумная: в те времена богатство помещиков считалось по числу крепостных мужского пола, записанных на учетных листах для налога на подушную подать. Однако нередко случалось, что крестьяне умирали в период между двумя официальными переписями без того, чтобы быть вычеркнутыми из списков. Поразмыслив над этими обстоятельствами, один находчивый авантюрист выкупил за бесценок души покойных и заложил их по высокой цене – как если бы это были живые люди – в Земельный Кредит, предоставив акт о передаче имущества. Рассказ об этом мошенничестве привел Гоголя в восторг. Он сразу же вообразил мрачную шалость – охота за душами по всей стране. Зигзагообразные путешествия. Запутанная интрига. За каждой дверью – физиономия комичная, кривая, незабываемая. В точности то, что ему нужно. И название нашлось тотчас же: «Мертвые души». При виде такого энтузиазма А. С. Пушкин, улыбаясь, согласился отказаться от своего замысла. В конечном счете, этот сюжет больше годился для этого маленького украинского ловкача, чем для него.

«Он уже давно склонял меня, – писал Гоголь, – приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: „Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это просто грех!“ Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за „Дон-Кихота“, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому».[130]

Со своей стороны, Александра Осиповна Смирнова отметила в своем дневнике: «Пушкин провел четыре часа у Гоголя и ему отдал сюжет романа, который, как и „Дон Кихот“ будет разделен на части. Герой проедет по провинции. Гоголь все себе пометил в блокнотах».[131]

Потеряв голову от благодарности, Гоголь принес трофей в свою мансарду. Он немедленно приступил к работе. Поначалу рассказ продвигался очень быстро. Но, нескольких страниц спустя, начались трудности. Произведение оказалось более глубоким, более сложным, чем Гоголю представлялось вначале. Каждая добавленная линия открывала дорогу новым перспективам. Не могло быть и речи о том, чтобы управиться в несколько дней. Однако он нуждался в деньгах! И быстро! Быть может, Пушкин, который был так открыт, подарит ему другую идею? Ничего не стоило ее у него попросить. И 7 октября 1835 года он ему написал:

> *«Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе… Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь. Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта. Ради бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите Женитьбу. Обнимаю вас, и целую, и желаю обнять скорее лично.*
>
> *Ваш Гоголь*
>
> *Мои ни Арабески, ни Миргород не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве…»*

Коммерческий неуспех «Арабесок» и «Миргорода» был для Гоголя компенсирован похвалами, которыми эти две книги удостоил молодой критик В. Г. Белинский в московском «Телескопе». В то время как

официальные патриархи литературы, подобно Ф. В. Булгарину и О. И. Сенковскому, смотрели на автора свысока и упрекали его в пошлости его описаний и тяжеловесности его стиля, Белинский дерзнул написать: «…со времени выхода в свет „Миргорода“ и „Ревизора“ русская литература приняла совершенно новое направление. Можно сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романтической прозе такой же переворот, как Пушкин в поэзии»… Конечно, В. Г. Белинский – либерал и фрондер – выставлял напоказ свое презрительное отношение к Пушкину, поскольку последний, после долговременных ссылки и бунтарства, вернул себе расположение царя. Но, даже учитывая эти политические обстоятельства, Гоголю было неловко видеть, что человек, обладающий вкусом, предпочел его тому, кого он считал своим учителем. И как раз в тот момент, когда он просил последнего о безвозмездной помощи! Не рассердится ли Пушкин из-за того, что помещен критикой на более низкую ступень, нежели писатель, которого он только что снабдил сюжетом для романа и который просил у него сюжет для пьесы? Все, только не гнев этого ангела с головой, полной идей! Но нет, он слишком велик, слишком великодушен, чтобы дать место зависти к собрату по перу. Он умел пренебречь слухами, распускаемыми литературной братией. И он, Гоголь, должен сделать то же, если он хочет достойным образом продолжать свою карьеру. Сохранять хладнокровие. Не упускать из виду конечную цель. Без сомнения, в будущем он оправдает комплименты, которые ему расточают сегодня. На сегодняшний момент у него нет права им радоваться. Несмотря на то, что он читает и слышит на свой счет, он не может забывать, что он в лучшем случае автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Арабесок» и «Миргорода».

Глава VIII
«Арабески» и «Миргород»

Гоголь любил предисловия, введения, вступительные заметки – эдакие щиты, за которыми писатель может укрыться, чтобы избежать ударов. Читая странное «Вступление», помещенное в начале «Арабесок», можно подумать, что мы вернулись в те времена, когда автор печатал, за собственный счет, «Ганца Кюхельгартена»:

«Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу… читатели, без сомнения, найдут много молодого… Я должен сказать о самом издании: когда я прочитал отпечатанные листы, меня самого испугали во многих местах неисправности в слоге, излишности и пропуски, происшедшие от моей неосмотрительности. Но недосуг и обстоятельства, иногда не очень приятные, не позволяли мне пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и поэтому смею надеяться, что читатели великодушно извинят меня».

И автор признавался Погодину, отсылая ему экземпляр своей книги:

«Посылаю тебе всякую всячину мою. Погладь ее и потрепли: в ней очень много есть детского, и я поскорее старался выбросить ее в свет, чтобы вместе с тем выбросить из моей конторки все старое и, стряхнувшись, начать новую жизнь».[132]

Действительно, в этих «Арабесках» есть что попить и что поесть… Рассказы, фрагменты исторических исследований, замечания по искусству и литературе. Мимоходом Гоголь отдает честь Пушкину как самому великому русскому поэту, для которого «он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Пушкин, говорит он еще, – это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». И он защищает права вдохновенного реализма против прав фальшивой поэзии: «Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя… нежели наш судья в истертом фраке запачканным табаком… Но тот и другой, они оба – явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда

сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта – нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою… Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: „Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое“. В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе».

В сущности, под предлогом защиты Пушкина Гоголь сражается здесь за свое собственное дело. Поверх головы поэта он отвечает критикам, которые упрекнули его в «пошлости» «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Он хочет убедить их – а заодно и публику, – что смиренное уныние, посредственное уродство, повседневная банальность могут составлять элементы произведения искусства. Главное – избежать услужливой копии. Преобразить материю мыслью. Не изменять реальность, но осветить ее изнутри. «Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина».

Эту идею Гоголь развивал еще в статье, посвященной картине Брюллова «Последние дни Помпеи». Восхищенный этой композицией, холодной и условной, он хочет видеть в ней истину, преображенную талантом. Несмотря на весь ужас ситуации, зрителя пронизывает, говорит он, чувство пластической красоты. Чудо – это превращение ужаса в красоту, преходящей катастрофы в вечную гармонию. Изо всех сил он надеется, что, рисуя «мертвые деревья», он сможет сублимировать свой сюжет в такой степени, что достигнет совершенства Рафаэля или Пушкина. В своем рассказе «Портрет» он – думая, несомненно, о самом себе – писал:

«Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а, между прочим, он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на тебе солнца».

В этом рассказе – самом длинном во всем сборнике – темы Искусства

и Зла причудливо пересекаются. Начинает казаться, что существуют некие роковые отношения между двумя этими феноменами. Как если бы, осуществляя какой бы то ни было талант, человек становится более легкой добычей дьявола. Вдохновленный, а следовательно – уязвимый, он сражается на незащищенной территории. Эстетическое чувство – это его ахиллесова пята, открытая стрелам Другого.

Первая часть рассказа повествует о приключении молодого художника, бедного и талантливого, – Чарткова, – который покупает у антиквара портрет старика, чьи глаза излучают пагубную силу. Вернувшись в свою мансарду, он не может смотреть на картину, не испытывая сильного недомогания. Это неизвестное, которое он впустил под свою крышу, его околдовало. «Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставленв сюда». Ночью Чартковым овладевают кошмары столь сильные и столь точные, что он не может больше распознать, где сон, а где реальность. «И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать…» В конце концов Чартков находит столбик золотых монет, спрятанный в раме. Начиная с этого дня, он отравлен своей удачей. Он не помышляет больше ни о чем, кроме денег и успеха. Став модным портретистом, он машинально работает своей кистью и разрушает свой собственный гений, в то время как светские похвалы гудят вокруг него. «Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать обществу, что нужно поддержать его званье…» Приглашенный однажды в Академию изящных искусств, чтобы высказать свое мнение о посылке одного молодого русского художника, работающего в Италии, он, сравнивая, внезапно отдает себе отчет в своем вырождении. Вернувшись к себе, он вновь приступает к работе и безнадежно пытается заново найти свой прежний талант. Но тщетно. «На каждом шагу он был останавливаем, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения…» Тогда, охваченный безумной завистью, он находит самые прекрасные картины, покупает их по не важно какой цене и разрывает и топчет их, «смеясь от удовольствия». Потом он умирает в припадке буйного помешательства.

Вторая часть рассказа, значительно переработанная в 1841 году, объясняет проклятье, связанное с портретом старика. Это был не кто иной, как сам дьявол, воплотившийся в ростовщике времен Екатерины II. Перед

смертью он попросил некого художника запечатлеть его черты на холсте, надеясь, таким образом, что его душа останется среди слоев краски, наложенных друг на друга, и продолжит соблазнять людей. Ибо сатана нуждается в материальной оправе для того, чтобы действовать в мире, и только соучастие художника могло ему это предоставить. Художник же, ослепленный страстью, не разгадывает бездну, куда его увлекает враг рода человеческого. Преодолевая свое отвращение, ему удается передать пылающий взгляд ростовщика. Позже, поняв, что заключил союз с демоном, он отрекается от своего искусства, уходит в монастырь и искупает свой грех постом и молитвой. После долгих лет борьбы с плотью и молитвы, он наконец ощущает себя прощенным и очищенным, вновь берет свою палитру и рисует *Рождество* столь божественно прекрасное, что все монахи, созерцая его, опускаются на колени.

Эта тоска, поиск истины, духовные метания, привели одного из художников к самоубийству, а другого – к монашеской жизни, знакомы также и герою «Записок сумасшедшего», и знакомы, быть может, даже в большей степени, чем первым двум. Маленький безвестный чиновник чувствует, как – мало-помалу – его рассудок от него ускользает. Влюбленный в дочку своего начальника, он сознает свою прирожденную никчемность. Однако у него есть преимущество перед большинством смертных: он понимает разговор собак. Кроме того, он – король Фердинанд Испанский. Та, которая возьмет его в супруги, будет королевой. Но почему он так несчастен? Его грудь разрывается. Его мозг в огне. «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! – Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»

Этот безнадежный зов к матери, это глубинное желание защиты, изначального слияния, возвращения в яйцо – Гоголь и сам не раз это испытывал. Его письма, полные упреков, гнева, лжи, пронизаны непримиримой любовью к той, которой он обязан появлением на свет. Он бессознательно делает ее ответственной за все унижения, которые приберег для него этот мир, куда он попал благодаря ей. В сущности, она является единственной женщиной в его жизни. Все же остальные – это только ловушки. Герой «Записок сумасшедшего» пишет в минуту ужасающей ясности:

«О, это коварное существо – женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я

первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то – она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет…»

Демоническое значение женщины явственно предстает еще и в другом рассказе сборника – «Невский проспект», – составленном из двух историй с противоположными исходами. Герой первой истории – это, как и герой «Портрета», молодой художник, полный таланта и искренности, – Пискарев. Он встречает – на Невском проспекте – невероятно прекрасную женщину, с волосами «прекрасными, как агат», со лбом «ослепительной белизны…», чьи сжатые губы «были замкнуты целый роем прелестнейших грез…»

Ослепленный, он следует за ней в порыве возвышенного обожания. «Он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенной духовной потребностью любви». Она приводит его в дом свиданий, где полно проституток, и он в ужасе убегает. Однако он отказывается верить, что незнакомка прячет низкую душу за столь совершенной красоты лицом. Он вновь видит ее, на этот раз во сне, и убеждает себя в том, что его долг – вырвать ее из сетей разврата, женившись на ней. Но, когда он снова находит ее, она пьяна и отвергает его предложение с презрением. Отчаявшись, Пискарев возвращается и перерезает себе горло. Реальность убила мечту, женщина убила художника. Друг последнего, лейтенант Пирогов, пережил совершенно другое приключение, начавшееся также на Невском проспекте. Последовав за молодой и соблазнительной немкой, он заводит с ней разговор, после чего ему удается силой проникнуть за ее дверь; он покрывает ее поцелуями и уже видит себя ее любовником, как вдруг появляется муж красавицы с двумя широкоплечими друзьями, избивает его и вышвыривает за дверь. Это грубое пробуждение могло бы подтолкнуть Пирогова к тому, чтобы, как бедный Пискарев, усомниться в устройстве мира. Но он не обладает ни чувствительностью, ни гордостью художника. Сначала он подумывает о том, чтобы пожаловаться властям; потом меняет решение, заходит в булочную, съедает два слоеных пирожных и идет завершить вечер в кругу друзей. Так, будучи практическим человеком, он переваривает унижение и берет от жизни все, что в ней есть хорошего. Поступая так, сам того не ведая, он вступает в дьявольскую игру. Эта игра разворачивается с особым размахом на Невском проспекте, где так много женщин. «О, не верьте

этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы, – пишет Гоголь. Все обман, все мечта, все не то, о чем кажется! Вы думаете, что это дамы… но дамам меньше всего верьте. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольский сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того, чтобы показать все не в настоящем виде».

*

В подзаголовке к «Миргороду» Гоголь указывает: «Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“». Без сомнения, он надеялся этой отсылкой к произведению, которое имело большой успех, привлечь больше читателей к своей новой книге. В действительности, хотя действие четырех рассказов, составляющих «Миргород», и происходит – как и действие рассказов из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – на Украине, но в остальном они ничем не схожи – ни темами, ни вдохновением, ни даже стилем.

Сборник открывается трогательной и грустной историей «Старосветских помещиков». Пожилая пара, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна – иначе их еще называли Филемон и Бавкида, – ведут в деревне праздную жизнь, целиком посвященную взаимной нежной привязанности, да еще еде. Они смотрят друг на друга с любовью, кушают и отдаются монотонному течению времени. И перед лицом этого смиренно-земного счастья Гоголь забывает свою обычную иронию и уступает нежности. Дом, который он описывает в «Старосветских помещиках», – это дом его детства, со скрипучими дверями, кладовыми, забитыми провизией, окнами, открывающимися в сад, где ветви деревьев ломятся под тяжестью спелых фруктов. Чтобы изобразить Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, он вдохновляется образами своих дедушки и бабушки по отцовской линии. Другие черты картины

заимствованы у соседских помещиков. Все купается в лучах украинского солнца. Водовороты мира останавливаются у изгороди сада. Кажется, что зло немыслимо в таком мирном антураже. Но Пульхерия Ивановна умирает, оставляя своего мужа в печальном изумлении. Чтобы рассказать эту простую историю, Гоголь инстинктивно отказывается от анализа чувств и от выспренности стиля. Состояние души героев раскрывается нам через их жесты, взгляды, через самые ничего не значащие слова. И именно в тот момент, когда, как нам кажется, мы видим их извне, мы оказываемся пронизанными их потаенной жизнью. Так, для того, чтобы описать смятение Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, Гоголь избегает какого бы то ни было вторжения в душу своего персонажа и ограничивается тем, что показывает его за столом. «Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: „Что это так долго не несут кушанья?“ Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

„Вот это то кушанье, – сказал Афанасий Иванович, когда подали нам *мнишки* со сметаною, – это то кушанье, – продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. – Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…“ – и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, держал ложку, и слезы, как ручей лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку».

Перед лицом этого старика, раздираемого превосходящей его грустью, автор спрашивает себя: «Что же сильнее над нами: страсть…» Спустя какое-то время Афанасий Иванович слышит, как среди бела дня его зовет голос – голос из мира иного. Он понимает, что настал его последний час, смиряется с этим, «с волею послушного ребенка…» и угасает «как свечка… когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя».

Герои «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» являются немасштабными персонажами, но здесь мы имеем дело с явно карикатурным образом. Идея этого рассказа якобы была навеяна автору реальными приключениями двух миргородских мещан, знаменитых своими ссорами и примирениями. Равным образом вероятно и то, что Гоголь был вдохновлен книгой своего соотечественника – украинского писателя Нарежного: «Два Ивана, или Страсть Шиканы», опубликованной в 1825 году. Но тон, стиль, перипетии рассказа принадлежат самому Гоголю. На нем лежит отпечаток его иронии и язвительности. Его два Ивана представляют собой, конечно, разительный контраст: «Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно… Иван Никифорович, напротив, больше молчит… Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича – на редьку хвостом вверх».

Спор между ними разгорелся из-за того, что Иван Иванович отказался уступить Ивану Никифоровичу ружье за одну свинью и две сумки овса и из-за того, что тот, будучи взбешен, обозвал его «*гусаком*». Этот спор разгорается, перерастает в судебный процесс, разбирательства тянутся годами, противники стареют, и к тому моменту, когда их примирение кажется возможным, все вспыхивает снова, и два Ивана надеются лишь на решение судьи, которое их рассудит. В действие этого растянутого во времени фарса автор вмешивается каждый момент, подчеркивает гротескность персонажей посредством тяжеловесных метафор, подмигивает читателю, побуждая его к развлечению. Некая Агафья Федосеевна «носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку». «У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу, сколько душе было угодно. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее». Секретарь суда, охваченный удивлением, «взял в губы перо». В самый разгар аудиенции бурая свинья вторгается в зал суда и уносит листки с записями расследования. Иван Никифорович такой толстый, что застревает в дверях, и нужно скрестить ему руки и нажать коленом на живот, чтобы его высвободить. У писца и инвалида, которые его освобождают, изо рта идет такой сильный запах, «что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом».

Однако за этим карнавалом гримас остается горечь. Вдоволь

посмеявшись, Гоголь кажется внезапно удрученным пошлостью мира, который он описывает. Покидая город Миргород, где два Ивана – «с поседевшими волосами…», с «морщинами…» – по-прежнему надеются на окончание их процесса, он видит, как мир растворяется в серости и дожде:

«Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа!»

Этот неутешительный вывод противопоставляется эпическому величию и веселому неистовству, которыми пронизан другой рассказ того же сборника – «Тарас Бульба». Гоголь, который впоследствии пересмотрит и развернет свое произведение, описывает здесь смутные времена, когда Запорожская Сечь, образовавшаяся к середине XVI века на островах стремнины Днепра, отстаивала свою независимость от посягательств польских магнатов.

Сосуществование в этих приграничных районах двух миров, двух вероисповеданий, двух народов в каждое мгновение разжигало войну. Чтобы довести до конца свою работу, автор, несомненно, обратился к многочисленным научным трудам о прошлом Украины. Но самой важной информацией он обязан народным преданиям и песням бандуристов, собранным Цертелевым, Максимовичем и Срезневским. Так, он мало озабочен исторической правдой. Его хронология неточна. Точность фактов интересует его меньше, чем психология персонажей и колоритность среды.

Явным образом вдохновленный романной техникой Вальтера Скотта, влияние которого в России было огромным, Гоголь превосходит эту модель в силе образа и в резкости красок. Драма упорядочивается большими простыми блоками. Тысяча деталей искрящейся чистоты встраиваются, как драгоценные камни, в ткань рассказа. Казалось бы, варварское украшение, неумело отшлифованное, перегруженное разноцветными камнями и бросающее повсюду свои отсветы. Грубость нравов, пытки, пьянство, еврейские погромы, сражения, грабежи – каждая картина дана с силой, хотя при этом нельзя сказать, что герои позволяют окружению себя подчинить.

Из всех персонажей наиболее рельефно предстает Тарас Бульба, отец, с его отважной суровостью, с прирожденным чувством верности, с его напором и с его прямолинейностью. Рядом с ним – два его сына: Остап, воин, весь скроенный из одного куска, несгибаемый и безупречный, и Андрей, более чувствительный, более сложный, который предает родину

из-за любви к красавице-полячке. Конечно, наподобие всех героинь автора, последняя «черноглазая и белая как снег, озаренный утренним румянцем солнца». Она смеется, «от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте». Она говорит – «и весь колебался серебряный звук ее голоса». И в один момент она соблазняет доблестного Андрея, который восклицает: «Что мне отец, товарищи и отчизна?…Отчизна моя – ты!» Чтобы его отблагодарить, полячка – к тому же еще и дьяволица! – обвивает его «снегоподобными, чудными руками…»

Эта любовная интрига ослабляет структуру рассказа, но автору она нужна для того, чтобы заставить Андрея отказаться от своих корней и от своей веры. Сообщая ужасную новость старому Тарасу Бульбе, еврей Янкель произносит эти горькие слова: «Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни – она и согнется». Тарас Бульба, ошеломленный, одержим одной лишь идеей: покарать своего сына, изменника и предателя, так, как он того заслуживает. Он находит его в ходе битвы во вражеских рядах и убивает собственной рукой. Потом он пробирается в Варшаву, чтобы присутствовать, переодевшись, при казни другого своего сына – Остапа, который был пленен, где, в свою очередь, оказывается схвачен; его прибивают к дереву и сжигают. Но, умирая, он призывает своих последних соратников к тому, чтобы надеяться, – поскольку, говорит он, царь России, который тоже сражается за православную веру, в один прекрасный день возьмет их под свою защиту.

Несмотря на весь ужас этой драмы, сплошь забрызганной кровью, от нее все же исходит своего рода оптимизм. Крепкое здоровье протагонистов, примитивность их страстей, гомеровское величие их подвигов, красота окружающих их пейзажей – все это мистическим образом придает силы читателю. Ему передается жизненный порыв персонажей. У него не остается чувства, что их страдания бесполезны – как если бы все эти жертвы отвечали глубинной исторической необходимости, как если бы сами поражения, преображенные искусством, приводили к некому апофеозу. По правде говоря, «Тарас Бульба» – это роман, написанный художником.

Воздав должное искусству, с которым Брюллов сумел в «Последних днях Помпеи» сделать сцену коллективной агонии прекрасной, Гоголь и себя подчиняет этой эстетике, и реальность оказывается преображенной до такой степени, что нагромождение трупов придает вкус к жизни тем, кто их созерцает. «Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства», – писал он в «Портрете».

Если «Тарас Бульба» оставляет впечатление «успокоения» и «примирения», несмотря на резкость того, что утверждается в этом произведении, автору никогда больше не удастся достигнуть этой спокойной уверенности исторического романиста. С «Вием» снова появляется дьявол – неумолимый и ужасный. Он набрасывается через «посредника» на семинариста Хому Брута – студента философии, который ушел пешком из семинарии с двумя своими товарищами, чтобы провести летние каникулы у родителей. С наступлением ночи три молодых человека, уставшие от долгой ходьбы, останавливаются в деревне и просят гостеприимства у старухи – владелицы постоялого двора. Она их нехотя принимает и устраивает их – одного в своей избе, другого – в пустом амбаре, третьего – в овчарне. Едва Хома Брут готовится заснуть, как он видит, что старуха подкрадывается, протянув к нему руки. Парализованный этой дьявольской силой, он не может ее оттолкнуть. Она вскакивает ему на спину. Оседланный, погоняемый метлой, он уносит ее к звездам. Но во время бесовской скачки у него хватает присутствия духа, чтобы прочесть молитвы, и под действием священных слов колдунья дрожит, кряхтит, ослабляет хватку. Тогда, вновь ощутив близость земли, уже сбрасывает ее и садится сам на нее верхом, а затем бьет ее попавшимся под руку поленом. Ему кажется, что он сразил монстра; но встает солнце, «рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей», и, удивленный, Хома Брут обнаруживает у своих ног «красавицу с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез». В ужасе, он убегает со всех ног. Через некоторое время его вызывает сотник, отец красавицы-ведьмы, читать три ночи над усопшей Псалтырь. Оставшись один перед открытым гробом, он узнает колдунью – еще более красивую, желанную, волнующую, – которую он нещадно избил. Очертив мелом вокруг себя магический круг, он пытается – в течение трех ночей – сопротивляться натиску сил зла. Ожившая ведьма встает, идет к нему, потом снова ложится, и теперь уже гроб летит по церкви «со свистом…». Стекла бьются, иконы падают на пол, двери рушатся, сорванные с петель, и Хома Брут, застыв от ужаса, произносит слабеющим голосом молитвы. Тогда бесы и вся нечисть призывают Вия – отвратительного гнома, предводителя земных духов, всего измазанного глиной, с ногами в форме корней и веками, опущенными до земли. Интуитивно семинарист знает, что, если он хочет выйти победителем из этого испытания, он не должен на него смотреть. Но искушение слишком велико. Мимолетный взгляд – и он умирает,

сраженный ужасом, как ударом молнии. Поют вторые петухи. Нечисть пытается бежать, но уже слишком поздно. Некоторые остаются, застыв у дверей и застряв в переплетах окошек церкви. «Вошедший священник остановился при виде такого посрамленья божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте».

Таким образом, еще раз для Гоголя нечистая сила воплотилась в красивую женщину. Сколько мужчин, думает он, уступая искушению, являются Хомами Брутами, на которых колдуньи ездят верхом! Вампиры в душе, они имеют ангельские лица. Приносящие зло по ночам, они начинают сиять чистотой с первыми лучами солнца. Всегда нужно будет очертить меловой круг, прежде чем бросить на них взгляд.

«Я, признаюсь, не понимаю, – писал Гоголь в „Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, – для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника. Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж Агатья Федосеевна схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку».

В «Невском проспекте» пьяный немец восклицает: «Я не хочу, мне не нужен нос! – говорит он, размахивая руками… – У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц… на один нос четырнадцать рублей сорок копеек!..»

А грустный герой из «Записок сумасшедшего» замечает важно: «И оттого самая луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне».

На протяжении этих двух сборников – «Арабесок» и «Миргорода» – лейтмотив носа соотносится с лейтмотивом женщины, вступившей в сговор с дьяволом. Действительно, автор не может созерцать себя в зеркале, не испытывая при этом удивления от длины, худобы и своего рода хрящевой независимости своего собственного носового отростка. Говорят, ему даже удается потрогать его своей нижней губой, состроив гримасу Щелкунчика. Чувствительный к запахам, он анализирует их с наслаждением. Его герои живут в какой-то сгущенной атмосфере. Они чихают, храпят, фыркают… После стольких частичных намеков на нос, Гоголь наконец решается посвятить ему отдельный памятник. Рассказ «Нос», написанный в 1834 году, не вошел в сборник «Миргород», но, получив отказ редакционного комитета «Московского наблюдателя», был опубликован в «Современнике» со следующим примечанием Пушкина: «Н.

В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись».[133]

На этот раз Пушкин недооценивает своего протеже. «Набросок» оказывается более странным, чем кажется. Конечно, автор, вдохновленный, быть может, фантастическими историями Гофмана и Шамиссо, сначала всего лишь уступил желанию сфабриковать огромную мистификацию, но, помимо его воли, фарс приобрел некий трагический смысл.

Цирюльник обнаруживает однажды утром в хлебе, который он собирался съесть, нос одного из своих клиентов, коллежского асессора Ковалева. Напуганный своей находкой, он с отвращением берет этот кусочек плоти и бросает ее в Неву. Но нос появился вновь и стал важно расхаживать по Санкт-Петербургу. «Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского советника». Бедолага Ковалев, обнаружив на улице это существенное украшение своего лица, подходит к нему и пытается убедить его вернуться на свое место. Но тот отвечает ему свысока: «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить в Сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученной части». И он исчезает, оставляя Ковалева в растерянности. Последний, в состоянии безнадежности, хочет предупредить полицию и опубликовать объявление в газетах. В итоге жандарм все-таки приносит ему его нос. Увы, врач, вызванный, чтобы его вернуть на место, отказывается от попыток сделать эту операцию. Дело получает огласку в городе. Все газеты об этом говорят. И одним прекрасным утром Ковалев просыпается со своим носом посреди лица, как прежде.

Самое необычное в этом происшествии – это как раз то, что ни один из персонажей не рассматривает его как необычное и что сам читатель приглашается не так уж сильно ей удивляться. Если сам цирюльник и пугается, увидев нос в своем хлебе, то жена его довольствуется жалобами на то, что их могла бы побеспокоить полиция. Служащий газеты, куда Ковалев хочет поместить объявление, находит это дело забавным, и не более того, и отказывает в публикации, опасаясь, что его обвинят в том, что он печатает вздор. Однако он участливо констатирует неполноту лица

собеседника. «В самом деле, чрезвычайно странно! – сказал чиновник, – место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин». Частный пристав, к которому Ковалев затем отправляется, принимает его с надменным видом и заявляет ему, «что у порядочного человека не оторвут носа…» Жандарм, который приносит нос его владельцу, невозмутимо ему докладывает: «Нос ваш совершенно таков, как был». Врач, вызванный для того, чтобы приставить отросток, осматривает своего пациента и постановляет: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже». Жители города видят в этом носе в мундире лишь забавный феномен. «Всем этим проишествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился».

И Гоголь подытоживает: «Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного… А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей? – А все однако же как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происсшествия бывают на свете; редко, но бывают».

Другой комментарий: находясь в редакции газеты, Ковалев, говоря о своем потерянном носе, заявляет: «Черт хотел подшутить надо мною!» Наверняка это тот же черт все попутал в Санкт-Петербурге, сгустив туман на улицах, заморозив сердца, поразив людей слепотой. Эта «северная столица империи», где тайна расцветает при пагубном свете фонарей, – не является ли она более тревожащей, чем оскверненная церковь в «Вие»? Никаких летающих гробов – зато Нос, прогуливающийся на двух ногах. Никаких смертельных ужасов – зато улыбающаяся нелепица. Никаких мерзких гномов – зато честные прохожие, осторожные чиновники. Граница между реальным и ирреальным незаметно стирается в мире, обреченном на игру светлого и темного. Там сатана дробит лица, надевает на кусочек плоти треуголку, заставляет жить на широкую ногу пару ноздрей, жалует почетное звание обрубку и так сильно возмущает ум честных горожан, что никто не находит что сказать. Едва вернувшись к владению своим носом, Ковалев возобновляет свое любимое времяпрепровождение: его «видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам…» Это распутник, вступивший в сговор с великим Искусителем. Наверняка дьявол, вернув ему его носовой отросток, остался спрятанным внутри навсегда. И в самом деле, этот нос, внезапно

наделенный независимой жизнью, – не обладает ли он сексуальным смыслом, который ускользнул в тот момент от автора? Пораженный бессилием, Гоголь получил удовольствие оттого, что вообразил некоторую часть его самого – продолговатую, отдельную, вибрирующую и разгуливающую по миру в поисках какого-либо экстравагантного приключения. Он забросил это интимное разращение в толпу, где его нагота приходит в соприкосновение с мундирами господ и платьями дам. Он, сам того не зная, освободился от некой навязчивой идеи в сумятице сна.

В первой редакции нос, став государственным советником, отправляется в Казанский собор. Предвидя реакцию цензуры, Гоголь объявил, что готов заставить своего странного героя войти не в православный храм, а в католический. В конечном счете цензура предпочла Гостиный двор в качестве места встречи Ковалева с самой драгоценной частью его личности. Точно так же она упразднила пассаж, где Ковалев дает взятку жандарму. Уже раньше она упрекала Гоголя за то, что в «Невском проспекте» он показал лейтенанта, высеченного двумя немцами. Чтобы обосновать возможность подобного преступления, автору пришлось уточнить, что Пирогов был не в мундире. «Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный, привратный человек в сюртучке и без эполетов».

В «Записках сумасшедшего» Гоголю – чтобы получить разрешение на публикацию – пришлось убрать целый пассаж письма, в котором одна собака пишет другой про своего хозяина, которым владеет желание получить награду. «Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: „Получу или не получу?“…» Внезапно – триумф. «Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: „А посмотри, Меджи, что это такое“. Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец, потихоньку, лизнула: соленое немного». Осмелиться говорить в подобных терминах о награждении, которое жалует император, – это граничило с кощунством. Награда без запаха. И к тому же соленая. И к тому же – испачканная наглым облизыванием какой-то сучки. Весь параграф был зачеркнут пером взбешенного цензора.

Но не существует административного заклинания против некоторых направлений мысли. Можно сказать, что литые фразы пускают в тексте

свои корни. Несмотря на некое мероприятие «окроплению святой водой», затхлый запах серы исходит от многих рассказов Гоголя, будь то рассказы украинские или петербургские, зловещие или насмешливые, демонические или проникновенно-будничные.

Глава IX
Ревизор

От Пушкина, уединившегося в своем имении Михайловское, не было никаких вестей. Неужели он проигнорировал то письмо, в котором Гоголь просил его прислать комедийный сюжет? 23 октября 1835 года наконец прошел слух о том, что Пушкин возвратился в Санкт-Петербург. В это время Гоголь занимался обустройством своей квартиры с видом на Неву и Прачечный мост, в которой решил обосноваться. Пушкина он нашел озабоченным. Между двумя литераторами никогда не было особой близости, и у Гоголя не возникало намерения вмешиваться в частную жизнь своего великого собрата. Конечно, он, как и многие другие, знал, что Пушкин ревнует свою красавицу-жену. К тому же он страдал от бремени славы, поскольку был, как ни странно, кабинетным человеком, которого раздражала необходимость вместе с другими придворными появляться на дворцовых балах, жить по чужой воле, при малейшем своеволии получать нарекания от правительственных чинов и всякий раз быть в зависимом положении от царя. Однако эти отношения не затрагивали его дружбы с Гоголем. Улыбаясь, и в то же время оставаясь серьезным, он был рад поговорить о литературе со своим младшим собратом. Последний быстро воспользовался его расположением и осмелился задать вопрос. Пушкин рассмеялся. Что, комедийный сюжет? Да, он имел набросок в своей тетради. Несколько рукописных, обрывистых строчек: «Криспин прибыл в один из губернских городов на ярмарку и его так приняли за… Городничий оказался человеком недалеким; жена городничего стала кокетничать с ним; Криспин посватался к их дочке». На самом же деле речь шла о приключении, происшедшем с директором журнала Павлом Свиньиным, который, прибыв в Бессарабию, был принят там за ревизора, то есть за инспектора, осуществляющего свою миссию. Попав в объятия семьи губернатора, он стал строить из себя важное лицо, ухаживать за дамами, раздавать обещания, принимать жалобы и прошения. Аналогичный случай случился и с самим Пушкиным в августе 1833 года, когда он находился проездом в Нижнем Новгороде. Губернатору этого города тут же сообщили, что он якобы прибыл к ним с секретной миссией.

Выслушав этот рассказ, Гоголь тут же ухватился за сюжет. Вот и прекрасная комическая тема, в которой он так нуждался. Маленький провинциальный городок. Страдающий самозванец. Глупцы, которые

верят каждому его слову. Власти города, попавшие в глупое положение. Все их ошибки всплыли в один прекрасный день. Буря в стакане воды. Казалось, что Пушкин согласился расстаться с этой жемчужиной. Достаточно было скромной просьбы Гоголя, и Пушкин уступил. Однако сразу же, рассеянно улыбаясь, он вынужден был заметить: «С этим малороссиянином необходимо держать ухо востро: он так ловко обобрал меня, что я даже не успел призвать на помощь».

На самом же деле сюжет о подобном путешественнике уже использовался в роли героя, описанного в комедии Котзебы «Маленький немецкий городок», а также в комедии украинского автора Квитки-Основьяненко «Визитер из столицы, или Тумульд в уездном губернском центре». Такую же комедию, озаглавленную «Ревизоры, или Великий лжец, прибывший издалека», написал и Полевой. Но ни один из этих прототипов не смог так вдохновить Гоголя. Он отверг все другие замыслы, кроме пушкинского. Только его созидательная искра должна была высоко вознести Гоголя. Отложив «Мертвые души», он сразу же принялся за работу над «Ревизором». Относительно содержательности сюжета нюх его не подвел. Сцены выстраивались цепочкой, все самостоятельно; персонажи формировались, каждый со своим своеобразием; реплики получались живыми. В опьянении от созидания Гоголь работал не высовывая нос на улицу. Время от времени, правда, он наведывался в институт, чтобы навестить сестер и встретиться с кем-либо из своих друзей и освежить свои мысли. Теперь он уже был полностью уверен в своем успехе. 10 ноября 1835 года он пишет матери: «Мы все здесь здоровы. Сестры растут, и учатся, и играют. Я тоже надеюсь кое-что получить приятное. Итак, чего же вам более, годка через два я приду в такую возможность, что приглашу вас в П-бург посмотреть на них, а до того времени вам нечего досадовать».

4 декабря 1835 года он закончил редактировать свою комедию и передал ее переписчику. Но, немного погодя, вновь забрал ее для переделки, сокращения и усиления некоторых деталей. «Извини, что до сих пор не посылаю тебе комедию, – писал он 18 января 1836 года М. Н. Погодину. – Она совсем готова была и переписана, но я должен непременно, как увидел теперь, переделать несколько явлений. Это не замедлится, потому что я, во всяком случае, решился непременно дать ее на светлый праздник. К посту она будет совсем готова, и за пост актеры успеют разучить совершенно свои роли».

В тот же день, 18 января 1836 года, он читает «Ревизора» у Жуковского, в кругу своих друзей: А. С. Пушкина, П. А. Вяземского,[134]

М. Ю. Вильегорского.[135] С первой же сцены раздается неудержимый смех. Время от времени присутствующие обменивались лукавыми взглядами. Ну а под конец Гоголя засыпали сплошными комплиментами, и он ощутил себя триумфатором. «Он читал внушительно и зажигая аудиторию, которая закатывалась от смеха, – писал П. А. Вяземский И. С. Тургеневу на следующий день. – Я не знаю, что бы утратила эта пьеса, если бы она была представлена на сцене, поскольку мало кто из актеров может сыграть ее так, как прочитал ее Гоголь. Он придал ей исключительную веселость, но так, что все оказалось в меру и не было докучливым».

Последующие чтения, происходившие в салонах, также имели неизменный успех. Тем не менее сложность заключалась в том, что эту пьесу необходимо было представить такой, которая высмеивала бы провинциальную администрацию, иначе было весьма мало вероятно, что цензура допустила бы ее к публикации и представлению. По крайней мере было абсолютно понятно, что предписание, спущенное с самого верху, не сможет устранить все помехи, касающиеся ее выпуска в свет. В атмосфере полной готовности друзья выработали план совместных действий. А. С. Пушкин при этом возлагал определенные надежды на обаяние Александры Осиповны Смирновой, которая имела непосредственное влияние на императора, что она уже подтвердила, с успехом защитив «Бориса Годунова». Следует также отметить, что Николай I незадолго до этого разрешил публикацию комедии Грибоедова «Горе от ума», запрещенную при правлении его отца. Способен ли он решиться на вторую демонстрацию литературного либерализма? Со своей стороны В. А. Жуковский предпринимал усилия по обработке наследного князя. Граф М. Ю. Вильегорский и князь П. А. Вяземский взяли на себя нейтрализацию окружения монарха. Уловив первую неблагоприятную реакцию цензоров «Ревизора», заговорщики перешли к активным действиям. Как было заранее оговорено, госпожа Смирнова защитила автора перед Николаем I, приведя ему случай из жизни Мольера, «Лицемер» которого был поставлен только благодаря проницательной протекции короля Луи XIV, снискавшего у подданных славу покровителя людей искусства и литературы. Император выслушал все это с улыбкой. Воинственный в душе, он питал особое пристрастие к дисциплине, математике и симметрии. Его самой заветной мечтой было стремление одеть всех в России в униформу. И физически и морально. Что касается литературы, то он ее рассматривал как приятное времяпрепровождение. Наилучшими книгами, по его мнению, были те, которые не заставляли думать. Его

почитаемым автором был Поль де Кок. В редком случае он снисходил к писателям, говоря, что они являются агитаторами и их следует держать при дворе. Но черные глаза госпожи Смирновой имели такое очарование, что ему было трудно ей в чем-либо отказать. Николай I всегда питал слабость к женской красоте. Он дал свое величайшее соизволение на постановку «Ревизора». Граф М. Ю. Вильегорский также преуспел в своей миссии, самолично прочитав ему эту пьесу. Но понимал ли царь, какую опасность представляет эта жесткая сатира на административную коррупцию? Не полагал ли он, что тень дискредитации падает только на некоторых провинциальных функционеров, не касаясь при этом большинства чиновников из центрального правления? Видел ли он в этих пяти актах только невинную забаву? Последнее предположение представляется наиболее правдоподобным. Большой любитель водевилей, Николай I не усмотрел в «Ревизоре» ничего, кроме гротесковых ситуаций, не вызывающих ничего, кроме здорового смеха. А поскольку люди смеются, то и не надо этого опасаться. Монарх продемонстрировал удовлетворение комедией, воспринимая ее как разновидность веселого юмора.

Все тут же завертелось с удивительной легкостью. Заблокированные колесики принялись двигаться. Подчиняясь указанию двора, цензор Е. Ольдекоп попросил автора сделать самые незначительные купюры: не упоминать церковь как заброшенный орган, не упоминать орден Святого Владимира в контексте, осуждающем стремление его получить, и удалить эпизод, в котором по ошибке была подвергнута порке жена унтер-офицера. Взамен этим изменениям в рапорте было сделано следующее заключение: «Эта пьеса остроумна и великолепно написана… Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного». Шеф жандармерии, генерал Дубельт собственноручно проставил на полях резолюцию: «Позволить». А директор императорских театров А. М. Гедеонов получил разрешение на незамедлительное включение «Ревизора» в репертуар Александринского театра.

Так быстро и так широко получив поддержку, Гоголь летал, не чуя под собой ног. Рассчитывая на успех и из соображений подстраховки, роли были распределены среди лучших столичных актеров: И. И. Сосницкий должен был играть губернатора, Н. О. Дюр – Хлестакова, А. И. Афанасьев – Осипа. Но поскольку эти господа знали себе цену, работать с ними было не так уж и просто. Впрочем, директор репертуара русской драматической труппы А. И. Храповицкий не скрывал своего недовольства необходимостью постановки этой пьесы без предварительного на то согласования с его мнением.

Первое прочтение «Ревизора» актерам состоялось у И. И. Сосницкого. Появившись перед собранной труппой, Гоголь похолодел от страха. Те, кто собрались там, не были его друзьями, они с выражением своей снисходительной заинтересованности больше походили на судей. Конечно же, все они слушали автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», но никто находящийся в зале не проявлял к нему ни уважения, ни доверия. Каждый из них как бы задавался вопросом: это человеческое существо или ряженая цапля?

Актер П. А Каратыгин в своих воспоминаниях описывал Гоголя: «Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то ветел в руках, все это придавало его фигуре нечто карикатурное».

Чтения начались. Гоголь, по своему обыкновению, менял при чтении интонацию, выражение лица, представляя то одну, то другую роль. Неожиданно его манера произношения становилась естественной. Без всякого преувеличения выглядел он забавно. Актеры отметили это уже с первых его реплик. Чтение продолжалось. Большинство из них, воспитанное на оригинальных комедиях Княжнина, Шаховского, Мариво и Дюсиса, стали возмущаться тривиальностью некоторых отрывков предлагаемого текста. А как публика прореагирует на подобную «пошлость»? Не ждет ли автора совместно с исполнителями суровое порицание? То лукавый, то обеспокоенный взгляд слетал поверх внушительного носа чтеца.

Под конец прочтения Гоголь все же удостоился нескольких вялых хлопков и дежурных комплиментов вежливости. Один лишь Сосницкий казался довольным «Ревизором». Пока он вел беседу с Гоголем, остальные актеры собрались в сторонке и шушукались между собой: «Что же это такое? Разве это комедия? Читает-то он хорошо, но что же это за язык? Лакей так и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлебкина – как есть простая баба, взятая с Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?»[136]

Во время репетиций эта неприязненность только усилилась. Актеры не признавали пьесу и с отвращением относились к своим ролям. После стольких лет преданного служения классическому репертуару театра они чувствовали себя опороченными тем вульгарным хламом, который им посмели предложить. Некоторые, репетируя, декламировали свои отрывки

с купюрами или с изменениями из соображений благозвучия. Другие, озабоченные тем, чтобы любой ценой выглядеть смешными, утрировали комичность своих персонажей различными гримасами. Измученный их непонятливостью, Гоголь старался помешать им обратить его пьесу в шутовство. Он написал им письменную инструкцию, рекомендовавшую им играть свои роли просто и естественно. «Чем меньше будет думать актер о том, чтоб смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли», – говорил он. Актеры брюзжали, пожимая плечами. Каратыгин делал в своем блокноте карикатурные зарисовки на автора, изобразив его за кулисами с цилиндром в руке и с видом несчастного попрошайки. С каждым днем атмосфера в театре все больше и больше накалялась. Гоголю самому приходилось решать тысячи практических вопросов. Он дошел до такого состояния, что уже сам страстно хотел, чтобы случился какой-нибудь катаклизм и разрушил весь театр. Громадная бездна различия пролегала между написанной им пьесой и тем, что он видел перед собой в исполнении актеров!

*

Первая реплика взрывается как петарда: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор». Эти слова городничего погружают всех присутствующих в оцепенение, с них начинается действие. «Ревизор из Петербурга, инкогнито. Да еще с секретным предписаньем». Перед лицом неминуемой опасности, о которой сообщалось в конфиденциальном письме от «хорошо информированного» друга, каждый почувствовал себя запятнанным и стал лихорадочно думать о том, как же ему отмазаться. В нескольких фразах описывается маленький уездный городок, в котором эти персонажи являются действующими лицами. Маленький затерянный городок. «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Именитые люди этого городка не имеют ни таких вожделений, ни таких средств, какими обладает их петербургский коллега. Конечно, являясь государственными чиновниками, они притесняли жителей, выслеживали секреты в их почтовой корреспонденции, пренебрегали своими обязанностями, злоупотребляли служебным положением, но делали это с простодушием и не наглея. В своей повседневной жизни все они внешне являлись образцом чистейшей любезности, согласия друг с другом, поддержки один другого. Но вот этот их безмятежный жизненный уклад вдруг нарушился, а привычное для них

эксплуататорское распутство в связи с нежданным прибытием генерального инспектора могло всплыть наружу. Это была ситуация, схожая с лужой застоявшейся воды на мостовой. Необходимо было предпринять срочные меры для того, чтобы плачевное состояние этого маленького городка не бросалось в глаза заезжему сановнику.

Городничий, человек неуклюжий, твердолобый и недобросовестный, сразу же дает распоряжения, как это делает капитан на мостике терпящего бедствие корабля. И он направляет к чиновнику одну за другой делегации своих подчиненных. Их имена в гротескном значении русского языка словно маски, надетые на их лицо, сами за себя говорят о внутреннем содержании этих людей: Земляника, Ляпкин-Тяпкин, Хлопов и т. п. Пусть попечитель богоугодных заведений господин Земляника наденет чистые чепчики на своих больных и прикрепит таблички с латинскими названиями болезней на спинке каждой кровати. Пусть судья Ляпкин-Тяпкин уберет из присутственных мест домашних гусей, а охотничий арапник перевесит сушиться в другое помещение. Пусть смотритель училищ Хлопов предупредит преподавателей, чтобы те, взойдя на кафедру, не корчили рожи. Пусть почтмейстер Шпекин распечатает некоторые письма, входящие и исходящие, чтобы убедиться, нет ли там чего-либо недозволительного со стороны недовольных купцов. Необходимо также почистить улицы, убрать кучи мусора, снести ветхие палисадники. Хватит ли, однако, времени все это сделать до приезда ревизора?

Чуть позже два любопытных и вездесущих, праздных горожанина Бобчинский и Добчинский доставили ужасную новость: загадочный молодой человек под фамилией Хлестаков остановился на постоялом дворе. Согласно паспорту, он является чиновником, прибывшим из Санкт-Петербурга и направляющимся в Саратов. В течение двух недель своего пребывания там, он осмотрел все, питался в кредит и не заплатил ни копейки. Сомнений не может быть: конечно же, это и есть тот самый ревизор, который инкогнито совершает свою поездку и выполняет секретную инструкцию. Тут же на совете городничий принимает решение навестить столичного чиновника под предлогом проверки обслуживания гостей. Он пытается всячески умаслить Хлестакова, расположить его к себе, используя все уловки, все свое сверхлукавство, так и не разглядев его истинную сущность.

Пока городничий готовился к своему визиту на постоялый двор, мы знакомимся с молодым Хлестаковым и его слугой Осипом. Хлестаков – мелкий столичный чиновник, живущий в мире своих фантазий. Поехав навестить отца, Хлестаков застрял уже на вторую неделю на постоялом

дворе этого мерзкого городишки, поскольку проигрался в карты и ему нечем оплатить свои счета. Хозяин двора отпускает ему скудную пищу и угрожает пожаловаться на него в полицию. Об этом-то человеке и сообщают городничему. На этот раз Хлестаков посчитал себя погибшим и трепещет перед городничим, боясь быть брошенным в тюрьму за свои долги. Городничий же, со своей стороны, опасается быть наказанным за свою деятельность ревизором, который прибыл инкогнито. Это противостояние двух перепуганных людей вызывает у них раздражение в первые минуты встречи. Стоя лицом к лицу, соперники наблюдают друг за другом, наступают друг на друга, двигаясь в танце одноклеточных животных и дрожа от страха. Промах за промахом, Хлестаков затерроризирован и обороняется только потоком угроз. Пусть только осмелятся переселить его в другую комнату! «Да вот вы хоть тут со всей своей командой – не пойду! Я прямо к министру!.. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки». Эти слова не остались без внимания. Слова: «министр» и «копейки» приободряют городничего. Ясно, – подумал он, этот ревизор ожидает хода с контролируемой стороны. Какое облегчение! Ангел правосудия смилостивился. Ревизор тоже из числа тех, кто принадлежит к одной коррупционной системе. Дрожащими руками и с беспокойным взглядом городничий протягивает четыреста рублей Хлестакову, который тут же прикарманивает их себе. Осмелев, городничий приглашает Хлестакова расположиться под его крышей.

Не понимая еще толком, во что ему обойдется такое любезное обхождение, Хлестаков расцвел в доме своего хозяина. Жена и дочь губернатора с восторгом закоренелых обольстительниц строят ему глазки. Знатные люди города не осмеливаются садиться в его присутствии. Ему предлагают обильное застолье. Почетное кресло, дорогие вина вскружили ему голову. Отпустив поводья своего воображения, он осмелел и стал заливаться соловьем. Никакие тормоза не могли удержать его от того, чтобы вернуться в реальность. Он не думал ни о риске, ни о правдоподобности своей фабулы. Он опьяненно, с головой бросился в эту авантюру и, как артист, поймал свое поэтическое вдохновение. Это сладострастие бесплатного плутовства, утрата чувства реальности становится все более очевидным. Большинство того, что утверждает Хлестаков, является неправдоподобным, но его это не беспокоит и его все больше и больше распирает от вранья.

Гоголь хорошо знал это состояние, когда вранье плелось ради вранья. Сколько его писем матери, друзьям представляли собой только кипящие мифические чувства. В персонаже Хлестакова он сконцентрировал

пароксизм своей личной тенденции – вводить в заблуждение окружающих. Теперь одно лишь имя Хлестакова ассоциируется у русского читателя со стремительностью, легковесностью, раздвоенностью и свистом хлыста, сплетенного из тонкого ремня. Хлестаков без различия налево и направо делает оглушительные заявления и заставляет всех волчком вертеться вокруг него. Хвастает, что без различия повелевает некоторыми министрами, что генералы трепещут перед ним, что актрисы вертятся у ног, что картофель, который он кушает в Санкт-Петербурге, привозят прямо из Парижа «на пароходе», что написал горы книг, в том числе «Манон Леско» и «Робинзон Крузо», что сам Пушкин с ним накоротке. «Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат Пушкин?“ – „Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все… Большой оригинал“. И перед изумленными минами присутствующих он раздувается еще больше. Он возносит порой то, что в реальности совершенно ничтожно. О себе он говорит так: „У меня легкость необыкновенная в мыслях“. Это шанс представленный невесомости, пустому стручку, абсолютному нулю. „Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я… А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж… ж… ж… Иной раз и министр… Мне даже на пакетах пишут: „ваше превосходительство“. Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! После видят, нечего делать, – ко мне… Бывало, как прохожу через департамент, – просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист. О! Я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! Я не посмотрю ни на кого… я говорю всем: „Я сам себя знаю, сам“. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш…“» Говоря эти слова с необузданной жестикуляцией, Хлестаков подскользнулся и чуть было не упал, но чиновники тут же его подхватывают. Вся социальная система при самозванце является воровской. Минуту спустя он принялся бы и за царя. Бедный Поприщин из «Записок сумасшедшего», не воображал ли он из себя короля Испании?

Но больше всего было странным то, что аудитория Хлестакова воспринимала за правду весь абсурд, который он нес. Так, если в Санкт-

Петербурге, откуда он приехал, все это было бы неправдоподобной фантастикой, здесь же все воспринималось за правило. Так, если бы шум, поднятый в столице, распространился на провинцию, то здесь бы он затмил все головы. Потому как крик и угрозу чиновники маленького городка расценивали для себя как достоверный атрибут представителя власти. Их внутренний инстинкт услужливости склонял их перед теми, кто повышал на них свой голос. Бобчинский спрашивает: «Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?» Добчинский отвечает: «Я думаю, чуть ли не генерал». «А я так думаю, – возразил Бобчинский, – что генерал-то ему и в подметки не станет! А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус».

Городничий и сам подозревал Хлестакова в некотором преувеличении, но именно по этому признаку поверил в то, что перед ним важная персона. Один за другим местные чиновники выстроились, чтобы вручить ему взятку и обеспечить тем самым свое благополучие. Поняв наконец, что его здесь принимают за высокое государственное лицо, Хлестаков без зазрения совести прикарманивает предложенные деньги. Особенно легко он брал деньги с купцов, которые приходили к нему, чтобы пожаловаться на городничего. И всем им он обещал свое содействие. Опасаясь неблагоприятного исхода от подобного поворота событий, его слуга Осип советует своему хозяину как можно быстрее уносить ноги. Хлестаков, беззаботный, по своему обыкновению, решает сначала написать письмо своему другу Тряпичкину в Санкт-Петербург, чтобы рассказать ему о своих приключениях. Приметив дочь городничего, он делает намек на ухаживание, чтобы скоротать время. Затем от дочери перекидывается к ее матери: «А она тоже очень аппетитна, очень недурна». Жена городничего, став объектом его внимания, отвечает: «Но позвольте заметить: я в некотором роде… я замужем». Хлестаков с порывом парирует: «Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: „Законы осуждают“. Мы удалимся под сень струй… Руки вашей, руки прошу!» Он не проповедует никаких моральных принципов и живет день ото дня в соответствии с порывами своих чувств, срывая «цветы удовольствия». Чем же еще занять свое существование? Для него не существует разграничения между плохим и хорошим, так же, как между правдой и ложью. Всякий, кто имеет аппетит, заранее прощен, если он ищет, чем себя насытить. Когда мы имеем такое же легкое отношение к жизни, как у Хлестакова, то закон перестает существовать, мы парим над ним. Когда Марья Антоновна застает его в ногах у матери, она восклицает: «Ах, какой пассаж»! Ничего страшного! Он делает новый пируэт и просит теперь уже у матери, которая

не пришла еще в себя, руки ее дочери. В этот момент появляется перепуганный городничий. Он только что узнал, что торговцы нарушили его указание и пожаловались на него ревизору. Его тут же утешили: нет больше в доме никакого ревизора, есть только будущий зять. Стать зятем этого золотого мальчика в XIX веке означало все равно, что обеспечить себе жизнь на мифическом уровне: немыслимый союз бога с Олимпа и простого смертного. Но кони запряжены, и Хлестаков просит прощения: он обязан провести один день у своего дяди, «богатого старика». Он вернется на следующий день, как договорено. Хлестаков занимает еще четыреста пятьдесят рублей у своего будущего тестя, забирается в коляску и растворяется в вечерней полумгле. Тройка коней несет его уже к новым приключениям и к новому вранью. Пузырь, расцвеченный радужным цветом, вот-вот растворится в воздухе. Ну что же, наверное – боги Олимпа по-другому и не поступают.

Что касается городничего, то он еще грезит своей удачей. Поддавшись легкому опьянению от словоблудия Хлестакова, он с головой отдался своей мечте. Он уже видел себя генералом с красной или синей лентой через плечо, предвосхищая свои молниеносные перемещения по служебной лестнице. В ожидании своего звездного часа он вовсю отчитывал купцов, осмелившихся пожаловаться на него, и устроил им головомойку: «Теперь смотри, держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было… Понимаешь? Не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару…» В разгар этого дефиле, когда друзья и подчиненные поздравляли счастливую семью, почтмейстер является мертвенно-бледный с письмом в руке. Оно по обыкновению распечатано и прочитано. Отправителем его был Хлестаков. В своем письме он рассказывал другу Тряпичкину о недоразумении, свидетелем которого он стал, и о том, как он ловко избавился от всех простаков, которые приняли его за другого человека. Письмо пошло по рукам всех присутствующих. Каждый нашел в нем строчки, посвященные ему лично. Весь город был осмеян. Со стучащим сердцем, городничий неожиданно понял, что он попал в глупейшую ситуацию, которая выставила его совсем обнаженным перед своими подчиненными.

«Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…» И словно глядя в зеркало, начал причитать: «Как я – нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов

таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий!.. Сосульку, тряпку, принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище – найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!..» Земляника заметил: «Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал». Слова эти произнесены совсем простодушно. «Туман» пришел с Севера, дьявол в сюртуке, который «околдовал» сознание, да так, что стер различие между осязаемым и не осязаемым, поскольку все персонажи Гоголя получились весьма эффектными в своих ролях. Здесь и городничий, ощутивший себя на дне пропасти, и дюжина «свиных рыл», которые его окружают. И в этот момент инструментом судьбы появляется новое «рыло» – жандарм, который говорит: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице». Все персонажи, пораженные этим сообщением, прозвучавшим как окончательный приговор, застыли вокруг городничего. И нет больше никого, кроме обвиняемых. Занавес опустился на немую сцену. Продолжение уже будет таковым, как домыслит его себе зритель. Все, увиденное им, пролетело с быстротой отзвучавшей песни. От первой до последней сцены ритм действия не ослабевал ни на секунду. Неотразимая логика соединила цепочкой все события. И вышло все так естественно, что для публики один сюрприз оборачивался другим. И в то же время она пребывает в полной уверенности, что по-другому не может и быть. Это-то и есть альянс гротескной фантасмагории и реализма, который и придал тексту свою особую оригинальность. Неумолимым движением часового механизма прошли перед глазами кошмарные маски. Ни одного лишнего слова. Ни одной мертвой минуты. Ни одного лишнего персонажа. Даже второстепенные участники имеют неподражаемую комическую рельефность. Идет ли речь о Землянике, о Ляпкине-Тяпкине, о почтмейстере, о Бобчинском и о Добчинском – каждый из них своим присутствием оставляет в памяти частичку своего личного мира. Семья городничего отражает нравы других подобных семей. На заднем плане со всех сторон открываются дороги, вырисовываются интерьеры, появляются матери, мужья, дети, школьные учителя, сварливые землевладельцы, маниакальные писари. Сопоставляя их одного с другим, мы возводим из

сборных деталей картину целого города. Маленький законченный ад, нечто посредственное, стагнирующее, затхлое.

«В „Ревизоре“ я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».[137]

Несомненно он и сам посмеялся при написании своей пьесы. Каждый его персонаж имел свой индивидуальный язык. Некоторые реплики разоблачают душевные пороки, пуританство нравов больше, чем обвинение, написанное на ста страницах. Это, между прочим, переписанная реплика городничего в эпизоде с унтер-офицершей, которую он приказал выпороть по ошибке. «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла».[138] Это и реплика попечителя богоугодных заведений Земляники, в которой он говорит о своих больных: «С тех пор как я принял начальство, – может быть, вам покажется даже невероятным, – все как мухи выздоравливают». Это и реплика судьи, выгораживающего своего заседателя, от которого идет запах как будто от винокуренного завода: «Этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою». Это и реплика Бобчинского, просящего у Хлестакова, когда тот увидит императора, шепнуть ему на ушко: «…если…придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Это еще и реплика городничего, представляющего, каким образом ревизор будет вызывать чиновников: «Это бы еще ничего, – инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: „А, вы здесь, голубчики! А кто скажет, здесь судья?“ – „Ляпкин-Тяпкин“. – „А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?“ – „Земляника“. – „А подать сюда Землянику!“ – „Вот что худо!“» Все это значительно, крепко, жестко, сочно. Но смех проходит, оставляя грустный настрой, тяжесть на душе и осадок печали. Хлестаков улетел прочь на тройке, посмеявшись над нами так же, как и над городничим.

Глава X
Представление

День первого представления приближался. Актеры Александринского театра работали с раннего утра до позднего вечера. Дирекция театра обычно не разрешала проведение костюмированных репетиций и использование театрального реквизита. Считалось, что актеры имеют уже необходимый опыт. На сцене они не отрабатывали подробно все детали постановки спектакля. Один раз выйти на сцену перед публикой для них было достаточно, чтобы войти в необходимый образ. Несмотря на это, накануне спектакля Гоголь самолично просмотрел все декорации. Подходящие были отобраны им самим. Когда решили, что мебель для апартаментов городничего необходимо выбрать роскошную, он настоял, чтобы ее поменяли на более простую. Кроме того, он попросил добавить в интерьер клетку с канарейкой и поставить бутылку с водкой на подоконник. Осип, слуга Хлестакова, виделся режиссеру одетым в смешную одежду, в пышную ливрею с галунами, хотя по сценарию его хозяин имел пустой кошелек. Гоголь возражал против смешного наряда, предложив, напротив, костюм, весь запачканный маслом, как у фонарщика. Он также просил Афанасьева, исполнявшего эту роль, сменить вычурный наряд. Гоголь был категорически против париков, которые некоторые комедийные артисты хотели использовать для того, чтобы выглядеть более смешными. Он об этом не желал даже слышать. И тем не менее для всех он был дебютантом в этой профессии. Актеры считали, что лучше его знают, как соответствовать вкусам публики. В апреле 1836 года он получил моральную поддержку от Пушкина, передавшего ему первый номер журнала «Современник», в котором было опубликовано обращение издателя к читателям: «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними „Вечерами на хуторе…“: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему нервозность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал такое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал

„Арабески“, где находится его „Невский проспект“, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился „Миргород“, где с жадностию все прочли и „Старосветских помещиков“, эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и „Тараса Бульбу“, коего начало достойно Вальтер Скотта. Господин Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале».

Внизу страницы была напечатана сноска, сообщающая следующее: «На днях будет представлена на здешнем театре его комедия „Ревизор“».

Извещение о предстоящем представлении было также опубликовано в «Новостях Санкт-Петербурга» в номере от 19 апреля 1836 года. В нем говорилось: «Сегодня 19 апреля в Александринском театре состоится премьера „Ревизора“, оригинальной комедии в пяти актах».

19 апреля 1836 года Гоголь пришел в театр, страдая от спазма в желудке, и с натянутыми нервами. Шушукались, что, возможно, на представлении будет присутствовать сам царь. Он прибыл и в самом деле с наследником и свитой. Весь зал поднялся при их появлении в императорской ложе. Облаченный в мундир, с золотыми эполетами, Николай I поприветствовал присутствующих, которые ответили ему аплодисментами и криками «ура». Как только он сел, публика приглушенно зашепталась, словно трава, колышимая на ветру. Пристроившись за декорацией, Гоголь с беспокойством наблюдал за этой пестро разряженной толпой, сверхвнимательно рассматривал лысые головы, бриллианты, обнаженные плечи, аксельбанты, белые нагрудники, военные мундиры, украшенные звездами, вяло порхающие веера, цветочные украшения. Покрытый блестками мир, сверкающий и копошащийся, был собран воедино в огромной чаше театра. «Министры сидели в первом ряду, – пишет Александра Осиповна Смирнова. – Они вынуждены были аплодировать, поскольку император, который держал руки на ограждении ложи, сам подавал им знак для выражения эмоций». За министрами сгрудилась высшая аристократия, чиновники высшего ранга, известные люди. Именно здесь в лицах присутствующих Гоголь отчетливо узнавал «скотские» физиономии – как будто старый баснописец Крылов распределил и рассадил их всех, тучных, седеющих, сонливых, в партер. На заказанных местах в ложе бенуара присутствовали Вильегорские, Вяземские, Одоевские, Анненковы, Смирновы. К сожалению, А. С. Пушкина не было в Санкт-Петербурге и он не смог прийти на премьеру. Со стороны недоброжелателей присутствовали критики Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Н. И. Греч и многие другие. Неожиданно Гоголю ясно

показалось, что абсолютное большинство присутствующих в зале не смогут понять этот спектакль. Только люди из райка, возможно, будут смеяться от чистого сердца. А все это отборное общество будет только им возмущено. Какого же черта разрешили поставить этого «Ревизора»? Не лучше ли было оставить эту рукопись в ящике стола? И он поспешил укрыться в директорской ложе, чтобы оттуда скрытно понаблюдать за премьерой.

Занавес, шелестя, поднялся. В слабом свете рамп появились загримированные, ряженые, с париками на головах, неузнаваемые актеры. Все говорили громче, чем обычно, и больше, чем обычно, ошибались. Все рекомендации, высказанные автором, были ими тут же позабыты. Это были как раз те актеры, которые, стремясь сорвать аплодисменты зрителей, больше всего исказили свои роли. Бобчинский и Добчинский вообще кривлялись. Хлестаков картавил, гримасничал и порхал с места на место, как бабочка. Городничий был высоким и сухим и имел вид старого вояки себе на уме. Осип играл лакея, как в каком-то водевиле. Видя и слыша все это, Гоголь больше не узнавал своей пьесы. Все реплики, которым он отдавал предпочтение, были исполнены настолько плохо, что совсем не соответствовали моментам пьесы. Стыд, бешенство, досада сдавили его грудь. И это недомогание усиливалось, когда он переводил взгляд на публику. Только на дешевых местах, как он это и предвидел, бурно веселились. Но в партере, в ложах царило оцепенение. Пригвожденные к своим креслам, высокие сановники, внешне надсмехаясь над провинциальной администрацией, чувствовали себя забрызганными грязью. Их негодование было заметно для Гоголя, потому что в их позах так ничего и не изменилось. И если они сдерживались проявить свое недовольство, то это, без сомнения, потому, что на спектакле присутствовал император. Однако императору теперь и самому предстояло определить: не является ли все происходящее чрезмерным? Не покинет ли он свою ложу, демонстративно встав с места? Но нет, хороший игрок, он смеется и аплодирует своими большими руками, облаченными в белоснежные перчатки. Покорные господа и дамы в партерах зааплодировали вслед за ним по мере того, как разворачивалась интрига, правда, с меньшим энтузиазмом. «Мне, свидетелю этого первого представления, – писал П. В. Анненков, – позволено будет сказать – что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно

думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех, по временам, еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании этого акта прежнее недоумение перерастало почти во всеобщее негодование, которое сохранялось и на протяжении пятого акта. По окончании спектакля многие зрители аплодировали автору за то, что он написал такую комедию, другие – за то, что увидели талант сочинителя лишь в некоторых сценах, простая же публика за то, что от души посмеялась. Однако преобладающая реакция, которая явственно ощущалась со стороны избранной публики, состояла в следующей оценке: „Это – невозможность, клевета и фарс“».[139] Аналогичные оценки доносились с разных сторон. «А все-таки это фарс, недостойный искусства», – пробормотал Н. В. Кукольник. «Пиеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество» – так высказался об увиденном А. И. Храповицкий. Что касается царя, то, по свидетельству некоторых очевидцев, он сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» Когда занавес вновь был поднят, чтобы объявить о завершении действия, друзья разошлись по залу, чтобы найти автора. Но Гоголь сбежал из театра. Ветер ненависти толкал его в спину. Еще никогда он не испытывал такого физического состояния, когда бы он был объектом столь массового внимания людей и предметом их обсуждения. Между тем он не имел преднамеренного желания им навредить. Можно ли критиковать некоторых чиновников, совсем не трогая администрацию?

Не для того ли создан режим, чтобы вскрывать и избавляться от злоупотребления тех, кто подрывает достоинство государства, лицо которого они представляют? Он бродил по улицам, втянув голову в плечи. Затем забрел к своему другу Н. Прокоповичу. Хозяин на радостях решил

поднести ему только что изданный экземпляр «Ревизора», сказав: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул книгу на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все…»

Последующие сеансы не вызывали у него ничего, кроме опасения. Публика рвалась в театр, билеты брали нарасхват по высокой цене с рук перекупщиков, но пьеса становилась все более и более спорной. В среде консерваторов автора осуждали за стремление подорвать устои существующего порядка. Ничего святого нет в его глазах, говорили они. Революционер в душе, он просто прикидывается, ограничивая свой сарказм провинциальными функционерами, а на самом же деле стремится унизить высших представителей власти, очередь которых уже на подходе. В среде либералов, напротив, писатель восхвалялся за отвагу, с которой он обнажил нутро царского режима. Но именно подобные комплименты пугали Гоголя больше всего, нежели упреки их оппонентов. Все эти толки сделали его будущее лишенным согласия, и он не мог сказать правды всем тем, кто говорил от его имени. Всем им в этой пьесе виделся именно тот умысел, который сам он никогда не имел в виду. Он всегда всем своим сердцем симпатизировал царю. А монархическая система в России казалась ему единственно приемлемой. Он был за административный контроль, за иерархическое разграничение, за крепостное право… Просто он хотел, чтобы представители государства проявляли больше порядочности. Государственная структура полностью его устраивала, а вот люди, занимающие важные посты, не всегда соответствовали своему уровню. Речь, конечно же, не шла о социальном реформировании, а просто касалась отдельных индивидуумов. Такая пьеса, как «Ревизор», вскрывала их пороки, подталкивала их к положительному исправлению. Целью этого представления была мораль, а не политика. Так почему же это так и не было понято?

Каждый день до него доходили слухи о дискуссиях, которые ведутся вокруг него. Граф Федор Иванович Толстой (однофамилец Толстого, прозванный Американцем), игрок и известный забияка, заявлял в салонах, что автор «Ревизора» является «врагом России» и что «его следовало бы заковать в кандалы и отправить в Сибирь». Ф. Ф. Вигель писал М. Н. Загоскину: «Я знаю автора „Ревизора“. Гоголь – это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме». И. И. Лажечников сообщал свое мнение В. Г. Белинскому: «Я бы не дал и копейки за написание „Ревизора“, этот фарс в точности соответствует базарному русскому люду». Военный министр, князь Чернышев публично высказывал свое сожаление по поводу того

расстройства, которое он испытал во время присутствия на «этом глупом фарсе». А П. А. Вяземский, анализируя бурную реакцию, вызванную представлением пьесы своего друга, писал в письме А. И. Тургеньеву: «Все стараются быть более монархистами, чем царь, и все гневаются, что позволили играть эту пиэсу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно, что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества! „Как будто есть такой город в России“. „Как не представить хоть одного честного, порядочного человека? Будто их нет в России?“»

Журнальные статьи отягчали это непонимание. Ф. Булгарин в «Северной пчеле» обвинил Гоголя в «создании своей комедии на невероятности и несбыточности». «В каком-то городке… городничий, земский судья, почтмейстер, смотритель училищ, попечитель богоугодных заведений представлены величайшими плутами и дураками. Помещики и отставные чиновники – ниже человеческой глупости… „Ревизор“ – не комедия, так как на административных злоупотреблениях комедию построить нельзя; поскольку они не являются ни нравами всего народа, ни характеризуют все общество, а преступления нескольких отдельных персонажей, которые должны вызывать не смех, а возмущение». О. И. Сенковский со своей стороны заявил в «Библиотеке для чтения»: «В этой комедии нет ни интриги, ни развязки. Поскольку речь идет в ней о истории весьма известной, а не о произведении искусства… Все персонажи в ней представлены то ли негодяями, то ли дураками… Административные злоупотребления в местах отдаленных и малопосещаемых существуют в целом мире, и нет никакой достаточной причины приписывать их одной России, перенося анекдот на нашу землю и обставляя ее одними только лицами нашего народа».

На все эти атаки молодой критик В. Г. Белинский ответил анонимно в журнале «Реноме».

В центре этого недоразумения стоял «великий комический писатель», который пребыл в отчаянии оттого, что стал объектом грандиозного скандала. Мысль о том, что он может быть несправедливо раненным функционерами, наделенными высокими полномочиями, а то и просто дураками, была для него так же мучительна, как и стать объектом дискуссии в умах свободных мыслителей. Похвала и критика были для него одинаково рискованны тем, что он мог потерять благоприятное расположение императора. Если эта кампания будет продолжаться в таком же духе, то, может быть, имеет смысл отменить все представления? К этому все и шло, так как он очень страдал от людской молвы. Он не был

человеком толпы и не имел бойцовских качеств, а сейчас ему приходилось выдерживать давление множества незнакомых людей, разрушивших гармонию его жизни. Он не видел их, он не слышал их, но ощущал их беспокойное присутствие за стенами своей комнаты. Обложенный в своем убежище, он представлял себе многоликую Россию, занятую только его персоной, его осуждающую, его порицающую, топчущую его ногами, принуждающую его к страданию, впивающуюся в него, управляющую им, разрушающую его. Он уже больше не мог оставаться один. Месяц спустя после первого представления «Ревизора» он пишет: «Ревизор» сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно… Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков… Хлестаков сделался чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем. А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает, он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит… И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито, и досадно.

С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила по причинам, однако ж не относящимся к искусству… Вообще с публикою совершенно примирил «Ревизора» городничий. В этом, кажется, я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. На Слугу тоже надеялся, потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато Бобчинский и Добчинский вышли сверх ожидания дурны. Вышла карикатура. Уже перед началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человека, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклокоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб делать одну репетицию в

костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали немного, я оставил их в покое. Еще раз повторю: тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска.

Во время представления я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тотчас же принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере, естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то бог с ним, – пусть лучше при втором издании или возобновлении «Ревизора».

У меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда.[140]

Да, после неудачи с «Гансом Кюхельгартеном», после успеха «Ревизора» Гоголь был охвачен внезапной страстью к перемене мест. Ему было необходимо как можно раньше проскочить версты, разделяющие его и толпу, почувствовать это расстояние, очутиться в одиночестве. И, если возможно, уехать за границу. К тому же его пьесу должны были вскоре поставить в Москве в Малом театре, с Щепкиным в роли городничего. Уже было объявлено о его присутствии на репетиции. Тем хуже! Он пишет Щепкину:

«Я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать и поездку в Москву, и попытку хлопотать о чем-либо… Мочи нет. Делайте что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне сама она надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины – и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия… Досадно видеть против себя людей тому, который их любит, между тем, братскою любовью.»

Разочарованный отказом, Щепкин попытался уговорить Гоголя

пересмотреть свое решение.

«…не грех ли вам оставлять его („Ревизора“) на произвол судьбы, и где же? В Москве, которая так радушно ждет вас… Вы сами лучше всех знаете, что ваше пиэса более всякой другой требует, чтобы вы прочли ее *нашему начальству* и действующим. Вы это знаете и не хотите приехать. Бог с вами!»[141]

Но Гоголь не переменил своего решения. Пусть в Москве ставят пьесу без него. Щепкин возьмет ответственность по постановке пьесы на себя. Во всяком случае, результат не может быть хуже, чем в Санкт-Петербурге.

«Притом, если бы я даже приехал, я бы не мог быть так полезен вам, как вы думаете, – ответил Гоголь Щепкину. – Я бы прочел ее вам дурно, без малейшего участия к моим лицам».[142]

Для него «Ревизор» уже ушел в прошлое. Будущее начиналось и было уже на подступах. Маршрут был соблазнительным: Германия, Швейцария, Италия… Он предполагал долгое отсутствие. Год, а может быть, и больше. Время было необходимо для того, чтобы «забыть», чтобы «исцелиться».

«Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов – тысяча честных людей сердится, – говорит: мы не плуты. Но Бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением».[143]

Раззадоренный этим сетованием, Погодин тут же ему возразил: «Говорят, ты сердишься на толки (по поводу „Ревизора“). Ну как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадет в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: „Да! Нас таких нет!“ Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься?! Ну

не смешон ли ты?»[144]

«Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос, – отвечал ему Гоголь. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. „Он зажигатель! Он бунтовщик!“ И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы?.. Прощай, еду разгулять свою тоску… Все, что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня».[145]

Месяцем ранее «Современник» опубликовал за подписью Гоголя «Утро чиновника» (выдержки из его неоконченной пьесы «Владимир 3-ей степени», «Журнал журналов» (статью, разоблачавшую литературную тиранию триумвирата Булгарин – Греч – Сенковский) и повесть «Коляска» (жизнеутверждающий и веселый эскиз о провинциальной жизни). Сюжетом к этому рассказу послужил один известный анекдотический случай.[146] Помещик Пифагор Пифагорович Чертокуцкий предложил одному генералу купить у него коляску и забрать ее, приехав к нему на обед вместе с другими офицерами. Между тем, понервничав и поздно вернувшись домой, он не предупредил свою жену о приглашении гостей, которое он сделал накануне. Когда генерал прибыл со своей свитой, ничего не было готово для их встречи. Чертокуцкий, проснувшись, пришел в ужас

и приказал своим домочадцам сказать, что его нет дома, а сам запрятался в эту пресловутую коляску. Возмущенный генерал пожелал, тем не менее, посмотреть на обещанный товар, ради которого он и приехал. И неожиданно он обнаружил в ней спрятавшегося хозяина, в одном нижнем белье. Не будет ли этот набросок расценен как оскорбление армии, поскольку он повествовал о случае, в котором помещик посмел посмеяться над генералом? К великому счастью, цензура отнеслась к нему благодушно, произведя лишь незначительные купюры. Читатели сами поймут те реальные эпизоды, которые должны были бы быть в тексте, но были подчищены цензурой. Шум, поднятый вокруг «Ревизора», заглушил все остальное.

Премьера пьесы в Москве состоялась 25 мая 1836 года в Малом театре после бессвязных, наспех проведенных репетиций. Щепкин исполнял роль городничего, Ленский – Хлестакова, и оба они имели успех у публики. Но сама же пьеса все еще находилась в стадии ее острого обсуждения.

«Вся тогдашняя молодежь была от „Ревизора“ в восторге. Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше».[147]

Несмотря на мольбы Щепкина, Гоголь не поехал в Москву для того, чтобы ассистировать на первой репетиции. Он отдалился от реакции новой публики, более того он боялся ее познать. Какой бы она ни была – благосклонной или же враждебной. Приготовления к отъезду, которое «пожелал Всевышний», поглотило его целиком. Но сначала необходимо было собрать необходимые средства. Он продал «Ревизора» дирекции Императорского театра за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. Заблаговременно со значительной скидкой уступил книгоиздателям все издание своей пьесы, чтобы поскорее получить деньги, в которых он очень нуждался. Конечно же, занял некоторую сумму у своих друзей. И, наконец, попросил В. А. Жуковского походатайствовать перед императрицей, чтобы постараться получить от нее денежную помощь.

Все долги были уплачены, и у него оставалось еще более двух тысяч

рублей. Чем же занять себя еще несколько месяцев? В октябре ему окажет материальную помощь издатель Смирдин. Гоголь закупает подарки своей матери и сестрам: материал для платья, модные шляпы, банты, шали, книги, гравюры и всякие безделушки, чтобы хоть как-то облегчить грусть предстоящего расставания. «Без сомнения, я останусь за границей больше чем на год», – писал он матери. Затем он занялся судьбой своего слуги Якима. Поскольку Гоголь не мог взять его с собой за рубеж из-за ограниченности средств и решил отпустить его на волю. Но Яким воспротивился свободе, которая ему была неожиданно предложена. Быть одному без хозяина и средств существования в этом мире ему представлялось очень сложным. У него не было никаких источников ни для того, чтобы прокормиться, ни для того, чтобы хоть как-то просуществовать. И он предпочел остаться крепостным. Гоголь решает отправить его вместе с Матреной в Васильевку. Мать лучше найдет, как их пристроить. Анна и Лиза на летние каникулы остались в институте. Незадолго до своего отъезда он навещает их, чтобы приободрить и успокоить. Время от времени его навещают друзья. И он обещает писать им из-за границы. Перед отъездом он избавился от некоторой своей мебели. В полупустых комнатах, оклеенных обоями, ходил, тяжело вздыхая, Яким. В последний момент Гоголь договорился со своим старым приятелем по Нежинской гимназии Александром Данилевским, чтобы тот его сопроводил в дороге. Именно с ним Гоголь прибыл в столицу восемь лет назад. Стройный, элегантный и беззаботный Александр после одного года учебы в училище унтер-офицеров охраны был направлен на несколько месяцев на Кавказ, затем нашел себе место в министерстве внутренних дел. Но эта работа его не устраивала. Он тоже имел устремления расширить границы своего горизонта. Теплоход, на котором два друга зарезервировали себе места, должен был покинуть Санкт-Петербург только 6 июня 1836 года.

В городе уже было жарко. Радостные семьи, получив каникулы, обустраивались в окрестностях города. Неестественный свет белых ночей тревожил Гоголя. В этом бледном освещении даже самые простые объекты принимали в его глазах фантастический образ. Однажды вечером, когда все бумаги к предстоящему отъезду были уже готовы, он неожиданно решил навестить Пушкина. Последний остановился со своей семьей на Каменном острове, где снимал особняк. Гоголь направился туда пешком через весь полупустой город. 23 мая жена Пушкина родила дочь. И Пушкин пребывал в радостном настроении. Однако его лицо, казалось, разучилось улыбаться. Ранние морщины пролегли по его лбу и щекам.

Несколько прядей волос на его густой шевелюре стали серебряными. Его полные губы были сжаты и несли отпечаток горечи. Усталый, грустный и мрачный его вид не радовал взгляд. Сплетни, объектом которых он стал в салонах, не оставляли его в покое. Рассказывали, что его супруга, красавица Натали, была не безразличной к ухаживаниям молодого и горячего кавалергарда, Жоржа Дантеса, приемного сына посла Нидерландов, барона Геккерена. Гоголь несколько раз слышал о подобных разговорах, но не очень-то доверял им. Обычно он избегал спрашивать Пушкина об его личных проблемах. Оба они жили в таких разных мирах! Без сомнения, Пушкин и не стал бы рассказывать своему гостю о том, что сам хотел поскорее забыть. Все происходящее здесь, в Санкт-Петербурге, вызывало у Гоголя глубокое отвращение и не могло не подтолкнуть к принятию решения об отъезде. В качестве прощального подарка хозяину дома Гоголь предложил прочитать ему первые главы «Мертвых душ». Спустя ряд лет Яким рассказывал, что это чтение продолжалось всю ночь. Пушкин, который всегда расположен был посмеяться при чтении Гоголем своих произведений, быстро поменял выражение своего лица. «Пушкин… начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“ Меня это изумило, – вспоминал потом Гоголь. – Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*».[148]

Серый, нерешительный рассвет. Желтое мерцание свечи. Открытые чемоданы. Два человека сидят друг против друга, один удрученный из-за жены, отсутствия денег, злословия света, другой удрученный безрассудным переполохом, вызванным его пьесой. Тридцатисемилетний Пушкин казался уставшим и от жизни, и от творчества. И тем не менее он вдохновил своего двадцатисемилетнего собрата на созидание выдающегося произведения. О чем же они проговорили всю эту ночь? Произнес ли Пушкин эти пророческие слова о «грусти» по России? Велась ли речь о творчестве Гоголя, о необходимости развития сюжета «Мертвых душ»? Они расстались уже утром, вспоминал Яким. Тонкий силуэт Пушкина с тростью в руке и цилиндром на голове растаял в полумраке пролета лестницы. Гоголь до своего отъезда так больше и не нашел возможность попрощаться с ним. Не предпринял он попытки и встретиться со своим «спасителем» В. А. Жуковским, которому был столь многим обязан.

Многие из его друзей проигнорировали тот факт, что он готовился паковать чемоданы.

6 июня 1836 года князь Вяземский проводил двух путников до порта. Он вручил Гоголю несколько рекомендательных писем своим друзьям, которые проживали за границей. Затем крепко обнял его и пожелал счастливого пути. Данилевский чувствовал себя на вершине счастья. Все ему нравилось: и кишащий людьми причал, и носильщики, переносящие багаж, и озабоченный вид дам. Высокая труба судна испускала густой и черный дым. Группа любопытных изучала большие колеса с лопастями. Моряки в голубых блузах и бескозырках сновали по палубе. Гоголь поднялся по трапу и вошел в свою каюту.

Часть II

Глава I
Путешествие

Небо было покрыто серыми тучами, море слегка волновалось. Поднявшись на капитанский мостик, у Гоголя появилось ощущение, что он повторяет свое первое путешествие за границу. Ему снова двадцать лет, он только что сжег все экземпляры первой поэмы «Ганц Кюхельгартен», и он снова плывет к берегам Германии, чтобы там забыть свою неудачу вдали от неблагодарного Отечества. Только присутствие Данилевского нарушало эту иллюзию. Но, с другой стороны, он не мог, честно положа руку на сердце, сожалеть о начале своей литературной карьеры, когда его не ждало ничего, кроме бедности и неизвестности.

К несчастью, и семь лет спустя море не было к нему хоть как-то благосклонно. Он только что прогулялся по пароходу, поздоровался с капитаном, познакомился с некоторыми пассажирами за табльдотом, как началась сильная качка. Колеса разрезали лопастями волны с механическим упрямством. Но, как только пароход наклонился на один бок, стало видно, что только одно колесо работало исправно, и из-за этого пароход все время сбивался с курса. Ветер дул все сильнее, прибивая к мостику черный зловонный дым. Корпус парохода трещал, двигатель еле работал, уже из-за дыма не было видно горизонта.

В последующие дни, поскольку шторм усиливался, пассажиров обуял страх. Мадам Барант, жена посла Франции, пронзительно кричала, когда перед ней головокружительно взлетали и падали горы зеленой воды. Один из пассажиров, князь Мусин-Пушкин, неожиданно умер. Пароход замедлил скорость из-за повреждения двигателя, но вскоре лопасти колес стали бить по воде еще с большим ожесточением. Гоголь укрылся в своей каюте. Лежа на кровати, он вдыхал с отвращением запахи лака, рассола, дегтя и плохой кухни, и тупо смотрел через залитый водой иллюминатор за линией горизонта, которая то поднималась, то опускалась. Вместо запланированных четырех дней пароход пересекал Финский залив и Балтийское море целых полторы недели. Сотню раз Гоголю казалось, что он уже умирает, и столько же раз проклинал это путешествие. Но как только они с Данилевским ступили на твердую землю в Травемунде, как у него сразу поднялось настроение и он почувствовал себя лучше.

Они взяли дилижанс на двоих, проехали Любек и направились в Гамбург. Там Гоголь, поразмышляв над событиями и обстоятельствами

своей жизни, пришел к выводу, что не случайно Бог послал его за границу. В этом немецком городе все его привычные переживания и заботы чудесным образом теряли свое значение. Его уже не волновали разноголосые отклики на «Ревизора». Постигла ли пьесу неудача или вызвала огромный успех, это его теперь касалось настолько мало, как если бы шла речь о пьесе другого писателя. Кроме того, все его предыдущие произведения заслуживали забвения. Едва устроившись в гостинице, он уже пишет Жуковскому:

«Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей… В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все, написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, в которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность. Пора, пора наконец заняться делом. Как спасительны для меня были все неприятности и огорчения!.. Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии были на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое… Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее».[149]

Уверенность в той великой роли, которую ему суждено исполнить, освобождала Гоголя от всяческих угрызений совести на время путешествия. Зная, что он Божий избранник, он мог со спокойной душой предаваться развлечениям. В сопровождении Данилевского он обежал город, полюбовался узенькими улочками со старинными домами, осмотрел готические церкви, сходил в театр на открытом воздухе, где хозяйственные немки смотрели спектакль и одновременно вязали чулки. Побывал даже на народном гулянье на окраине города.

«Танцевали вальс, – писал он своим сестрам Анне и Елизавете. – Такого вальса вы еще в жизни не видывали: один ворочает даму свою в одну сторону, другой в другую; иные, просто взявшись за руки, даже не кружатся, но, уставив один другому в глаза, как козлы, прыгают по комнате, не разбирая, в такт ли это или нет».[150]

Поскольку было очень жарко, он решил заказать себе костюм из тика, который привел Данилевского в шоковое состояние. В этом костюме

Гоголь смотрелся как чучело, на которое нацепили матрасную ткань. Однако он возражал другу: «Что же тут смешного? Дешево, моется и удобно».[151]

Из Гамбурга они приехали в Бремен, мельком взглянули на кафедральный собор, спустились в один погреб, чтобы потревожить ряды прекрасно сохранившихся мумий, заснувших вековым сном, а в другой погреб, чтобы преклониться с почти религиозным трепетом к бочкам столетнего рейнвейна. «Это вино не продается, – писал Гоголь матери. – Его отпускают только опасным больным и знаменитым путешественникам. Так как я не принадлежу ни к первым, ни ко вторым, я не стал беспокоить своей просьбой жителей Бремена, которые обсуждают вопросы такого типа на общественном собрании».[152]

Но все-таки в гостинице Гоголь заказал бутылку «старого, старого рейнвейна», чтобы побаловать свой язык, привыкший к более грубым напиткам. Но друзей постигло разочарование: вино оказалось слишком крепким на вкус. Когда надо было платить, Данилевский и Гоголь в ужасе переглянулись: хозяин гостиницы потребовал «наполеондор». Если они так и дальше будут тратить деньги, то скоро им не на что будет продолжать путь. Они поклялись впредь ограничивать себя в расходах и двинулись дальше. Следующей остановкой был Ахен.

Погуляв по пыльным улицам этого городка, осмотрев, как положено, часовню «Палатин» и ратушу, посетив водолечебницы и подивившись на большое количество пожилых людей, отдыхающих на курорте, они решили разделиться. Данилевский предпочел продолжить свой путь до Парижа, а Гоголь избрал свой маршрут вверх по Рейну. Вскоре дилижанс, набитый пассажирами, увозил его по направлению к Кельну.

Совсем один, без соотечественника, с которым можно было бы обменяться впечатлениями. Может быть, предпочтительнее было бы последовать за Данилевским? Какая ужасная скука – эта прямая дорога, по обеим сторонам которой тянутся обработанные поля, эти постоялые дворы, где предлагают неизменные горячие сосиски и пиво в глиняных кувшинах, эти чистенькие однообразные деревеньки, эти курильщики трубок, этот немецкий язык, звуки которого режут слух. В Кельне он пересел на пароход. В этот раз не опасаясь, что пароход попадет в шторм или поломается. И началось неспешное плавание по реке на фоне спокойного, старинного пейзажа.

«Два дня шел пароход наш, – писал он матери, – и беспрестанные виды наконец надоели мне. Глаза устают совершенно, как в панораме или в

картине. Перед окнами вашей каюты один за другим проходят города, утесы, горы и старые рыцарские развалившиеся замки… В Майнце, большом и старинном городе, вышел я на берег, не остановился ни минуты, хотя город очень стоил того, чтобы посмотреть его, и сел в дилижанс до Франкфурта».[153]

Из Франкфурта он, кое-где останавливаясь, приехал в Баден-Баден. «Больных сурьезно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться. Местоположение города чудесно. Он построен на стене горы и сдавлен со всех сторон горами. Магазины, зала для балов, театр – все в саду. В комнату здесь никто почти не заходит, но весь день сидят за столиками под деревьями. Горы почти лилового цвета даже изблизи».[154]

Ни красивые виды, ни прекрасные условия проживания не удержали бы Гоголя в этом небольшом городке, который он называл «дачей всей Европы». Но там он сошелся с несколькими русскими семьями из Санкт-Петербурга, с которыми был раньше знаком и чья радушная приветливость покорила его. Среди прочих там были Репнины и Балабины с дочерью Марьей Петровной, которая была его бывшей ученицей. Девочка превратилась в очаровательную девушку, наивную, непосредственную и смешливую. Ее мать, Варвара Осиповна (француженка по происхождению), всегда испытывала большую симпатию к этому чудаковатому учителю, которого они взяли по рекомендации Плетнева.

В Баден-Бадене эти дамы и барышни познакомились с ним поближе. Они виделись с ним каждый день в парке, в ресторане, на прогулке. «Он был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас», – рассказывала княжна В. Н. Репнина. Безусловно, его свежая популярность возбуждала любопытство аристократов, отдыхающих в этом небольшом городке. Но необходимо признать, что и он со своей стороны тоже уверенно себя чувствовал в их обществе. Его решительно консервативные взгляды ничуть не отличались от тех, что исповедовались его новыми знакомыми. Кроме того, Гоголь был человеком, который всегда опасался быть в близких отношениях с женщинами, поскольку все это легко могло перерасти в физическое влечение. Однако и дружеское общение с дамами доставляло ему огромное удовольствие. В дружеском разговоре, размышлял он, красота этих созданий перестает быть губительной, а только придает очарование общению. Не опасаясь больше стать жертвой посягательств на его свободу, Гоголь в дамском окружении чувствовал себя человеком, которым восхищаются и у которого все просят совета. В кругу благодарных слушательниц Гоголь вновь открывал в себе талант к

преподаванию. Его стремлением было – питать молодые умы, завладевать доверчивыми сердцами, служить им примером… Приехав в Баден-Баден на три дня, он прожил там три недели. Но вскоре им снова овладела страсть к путешествию. Он непременно должен был ехать дальше. Зачем? Куда? Не от себя ли он хотел убежать? Он упаковал чемоданы, распрощался с Репниными и Балабиными, удивленными такой поспешностью, и снова забрался в дилижанс.

В этот раз Гоголь направился в Швейцарию. Берн, Базель, Лозанна не произвели на него большого впечатления. Зато он был совершенно потрясен при виде гор, покрытых толщами снега, которые переливались синей и голубой лазурью неба и окрашивались нежно-розовым при заходе солнца. Он остановился наконец в Женеве, в пансионе. Там он ходил гулять по берегу озера, осматривал старый город, интересовался работой часовщиков, перечитывал Мольера, Шекспира и Вальтера Скотта.

Это чтение не пробудило в нем желания писать самому, но он освежил свои слабые познания французского, болтая с соседями по табльдоту. Затем, покинув Женеву, он направился в Ферней, чтобы совершить паломничество к местам, где его ожидал призрак Вольтера. «Старик жил хорошо, – писал он Прокоповичу после этого посещения. – К нему идет длинная, прекрасная аллея. Дом в два этажа из серенького камня. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. Постель перестлана, одеяло старинное, кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворяется дверь и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом и спросит: „что вам угодно?“

„…Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета, для чего“».[155]

На самом же деле, посещение самым скрытным русским писателем, самым иррациональным господином, знакомым с чертями и колдуньями, дома великого французского насмешника, врага каких-либо суеверий и защитника наук, поборника справедливости и ясности этих таинственных и мглистых мест, представлялось по меньшей мере странным. Если бы они встретились, то, без сомнения, не договорились бы ни по одному вопросу. Однако в Фернее у Гоголя не было впечатления, что он сам себе противоречит. Возможно, потому что он, как и Вольтер, рассчитывал исправить нравы своих современников, заставляя их смеяться над собой. Но какая огромная разница между легким и едким смехом автора «Кандида» и громкоголосым угрожающим смехом автора «Мертвых душ»! Воздав должное патриарху французской литературы, Гоголь также решил поклониться другому гиганту тех мест: горе Монблан. В сопровождении

гидов он отважился подняться по низким склонам, добрался до первого снега, прошел вдоль ледника и ужасно уставшим вернулся назад, написав матери:

«Четыре дня нужно для того, чтобы взойти на вершину Монблана. Перед вами снега, над вами снега, вокруг вас снега, внизу земли нет: вы видите вместо нее в несколько рядов облака. Было холодно, и я вместо легкого сюртука надел теплый плащ. Спускаясь вниз, делалось теплее и теплее, наконец облака проходили мимо, наконец спряталось солнце, наконец я опять очутился среди дождя, должен был взять зонтик, и уж таким образом спустился в долину».[156]

Несомненно, Мария Ивановна пришла бы в ужас, представляя своего бесстрашного сына, взбирающегося на Альпийские горы, находящегося в двух шагах от ледяных глыб, прыгающего через расщелины и укрывающегося от лавин в расщелинах скал. Сам же он, стоя перед этими величественными снегами, представлял свое родное российское плоскогорье, засыпанное обильным покрывалом снега. В этот момент он всей душой желал увидеть эту картину. Родина, из которой он бежал с таким тяжелым чувством, издали стала казаться наполненной пленительным очарованием.

«Что тебе сказать о Швейцарии? Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне попалось теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатою избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом, – писал он Прокоповичу».[157]

Тем самым он как бы проводил грань между этим так милым его сердцу монотонным российским пейзажем и жителями столицы, которые все в большей или меньшей степени были виновны в неспособности понять его пьесу.

Россия без русских, какой бы это был рай! Хотя бы без некоторых русских. Однако ему очень не хватало друзей. О них он совсем забыл в своем путешествии. Сейчас же, в одиночестве, окруженный одними иностранцами, он с щемящим сердцем думал о своих любимых друзьях: Пушкине, Жуковском, Прокоповиче, Погодине… Последнему он писал:

«…на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь – не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе

прекрасную душу и верный вкус».[158]

«Прекрасной Россией» были, конечно же, и его мать, и сестры… Те письма, которые он очень нерегулярно получал от Марии Ивановны, были, как всегда, сплошь состоящие из жалоб и упреков. Она сетовала на тяжелое материальное положение и умоляла сына срочно возвращаться домой. На первое место в числе опасностей, подстерегавших ее сына за границей, она ставила женщин. Особенно итальянок. Ее мольбы были настолько настойчивыми, что Гоголь не выдержал и написал ей: «Насчет замечания вашего об итальянках замечу, что мне скоро будет 30 лет».[159] (Ему в то время еще не было и двадцати семи.) Однако другое письмо привело его в сильное замешательство: в нем она сообщала о смерти Трушковского, мужа старшей из сестер, которая в довершение всех несчастий была беременна. Сообщение столь важной значимости пробудило в нем внутреннюю страсть к нравоучениям. Это неудержимое желание давать наставления родным заглушило в нем простую сердечность и сострадание. Вместо того чтобы высказать свое сочувствие, он спрятался за громкие, ничего не значащие фразы. Это были почти те же самые фразы, которыми он воспользовался одиннадцать лет назад, когда умер его отец.

«Неприятная новость, которую вы сообщаете в письме вашем, поразила меня. Всегда жалко, когда видишь человека в свежих и цветущих летах похищенного смертью. Еще более, если этот человек был близок к нам. Но мы должны быть тверды и считать наши несчастия за ничто, если хотим быть христианами… Мы должны помнить, что нет ничего вечного на свете, что горе перемешано с радостью и что если бы мы не испытывали горе, мы бы не умели оценить радости и она бы не была нам радостью».[160]

И, забыв о том, как часто он сам жаловался на свои самые незначительные проблемы, он заключал наставительно:

«Мы должны быть тверды и спокойны всегда и ни слова о своих несчастиях. Я знаю, что вы вкусите еще много радостей. Подобно вам и сестра моя не должна крушиться, если она точно достойна назваться христианкою».[161]

Нет даже тени беспокойства по поводу здоровья Марии или по поводу того, как она собиралась обустраивать свою будущую жизнь с трехлетним сыном, который оставался теперь без отца. Ни тени сочувствия! Ни слова поддержки! Полное безразличие, даже после того, как узнал о рождении ребенка:

«Очень рад, что вы здоровы и что сестра благополучно разрешилась

сыном. Жаль мне только, что у вас опять небольшая благодать в делах хозяйственных».[162]

Смерть младенца в возрасте шести недель также никоим образом его не расстроила. Такие богоугодные мелочи имели свой промысел. Все в мире было обустроено так, чтобы быть благом для человека, близкого к Богу.

Безусловно, он легче себя успокаивал, когда дело касалось несчастий других, а не своих собственных, но, с его точки зрения, эта разница в отношении ни в коем роде не снижала значимости его убеждений.

В октябре наступившие холода и влажный климат вынудили Гоголя покинуть Женеву. Он остановился в Веве, в уютном семейном пансионе, по рекомендации В. А. Жуковского, который сам там проживал три или четыре года назад. Хозяин пансиона, некий месье Бланше, окружал своих клиентов – весьма немногочисленных в это время года – отеческой заботой. Хотя Гоголь был нелюдим и необщителен по природе, тем не менее он каждый день обменивался несколькими фразами по-французски с соседями по пансиону или с владельцем заведения, надеясь увеличить свой словарный запас. Он читал на французском, мог выразить свою мысль в самых простых ситуациях, но еще не мог поддержать продолжительную беседу. Дни проходили в расслабляющем однообразии.

Он вставал поздно и шаркал, расхаживая, по комнате, потом набивал живот слишком плотным обедом. Иногда он чувствовал в своем желудке «страшную дрянь», «как будто бы кто загнал туда целый табун рогатой скотины».[163] Для того, чтобы размять ноги, он совершал небольшую прогулку по каштановой аллее. Затем, сидя на скамейке, на берегу слишком голубого, слишком спокойного озера, ожидал прибытия парохода в надежде встретить соотечественника. Но каждый раз высаживались благоразумные швейцарцы да черствые «длинноногие энглиши». Разочарованный, Гоголь возвращался в пансион и, зевая, дожидался ужина. От скуки он решил заняться литературой. Неожиданно для себя его охватило желание продолжать написание «Мертвых душ», первые главы которых он захватил с собой.

«Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись, – писал Гоголь Жуковскому. – Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя

порядочная вещь, – вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро в прибавление к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день».[164]

Но погода уже портилась, печальный туман стирал очертания далей, в комнате становилось все холоднее и холоднее. С приближением зимы Гоголь почувствовал, что изнутри его снедает какая-то странная болезнь. Доктор, осмотрев и опросив больного, отыскал в нем «признаки ипохондрии, происходившей от геморроид» и посоветовал сменить обстановку. Гоголь мечтал поехать в Италию, чтобы согреться под теплым и голубым небом, которое он воспел еще до того, как его увидеть. Но в Италии свирепствовала холера, и все дороги были перекрыты санитарным кордоном. Но, с другой стороны, Данилевский, до сих пор молчавший, наконец показал признаки жизни. Он находился в Париже и приглашал своего друга к нему присоединиться. И Гоголь решил принять приглашение.

Глава II
Париж

Приехав в Париж, Гоголь сразу же отправился к Данилевскому, проживавшему на улице Мариво. Упав в его объятия, он согласился на время поселиться у него. Впрочем, совсем скоро переехал в гостиницу. Однако его комната отапливалась только камином, а он не мог долго выносить исходящую от стен ледяную промозглость и снова переехал. На этот раз они с Данилевским сняли небольшую меблированную квартиру на Биржевой площади, в доме № 12, расположенном на углу улицы Вивьен. В ней были и печи, и окна, обращенные на юг, которые, как казалось, улавливали малейшие лучики парижского солнца. Наконец-то, отогревшись в тепле и комфортно устроившись, Гоголь разложил свои бумаги. Первое знакомство с бурлящей жизнью Парижа, конечно же, вскружило ему голову.

«Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество, – писал он В. А. Жуковскому 12 ноября 1836 г. – Одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы». И своей матери, примерно того же числа: «Вчера я был в Лувровской картинной галерее во второй уже раз и все насилу мог выйти. Картины здесь собрались лучшие со всего света. Был на прошлой неделе в известном саду (Jardin des Plantes),[165] где собраны все редкие растения со всего света и все на вольном воздухе. Слоны, верблюды, страусы и обезьяны ходят там, как у себя дома. Это первое заведение в этом роде в мире. Кедры растут там такие толстые, как только в сказке говорится. Для всех зверей и птиц особенный даже павильон и беседки, и у каждого из этих обитателей свой садик. Весь Париж наполнен теперь музыкантами, певцами, живописцами, артистами и художниками всех родов. Улицы все освещены газом. Многие из них сделаны галереями, освещены сверху стеклами. Полы в них мраморные и так хороши, что можно танцовать».

Полюбовавшись обелиском, который только недавно возвели на площади Согласия, Гоголь наведался в Версаль, посетил дворец, прогулялся по парку, полюбовался мерцанием перелива водных струй его фонтанов. Но больше всего его восхищала необыкновенная живость парижских улиц. Он неутомимо бродил по кварталам города, украдкой поглядывал на прохожих, изучал витрины лавок, примечал на ходу улыбку

женщины или воздушное движение руки продавщицы в магазине, ротозейничал у входа в книжную лавку, оторопело стоял перед «цилиндрической машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шоколад». Сглатывая слюни при виде огромного омара и набитой трюфелями индейки, он дошел, таким образом, до широких бульваров, «где среди города стояли дерева в рост шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях».[166]

Живая музыка французского языка, пастельные тона неба, бесконечное снование экипажей со сверкающей упряжью и звонким перестукиванием копыт, запах миндальных пирожных и горячих жареных каштанов, парящее в воздухе оживленное настроение, откровенные вызывающие взгляды, быстрые реплики, все это составляло странную атмосферу, которую Гоголь ощущал вокруг себя со смешанным чувством удовольствия и раздражения. В этом мире скорости, блеска и воздушности он чувствовал себя наиболее тяжеловесным, чем где бы то ни было.

Побродив по улицам, он очутился в «великолепном кафе с модными фресками за стеклом», где предавался мечтаниям, развалившись на мягком диване, под звон посуды и гул голосов. Больше всего ему понравилось мороженое со сливками в Английском кафе – кафе Тортони. Но одного мороженого было недостаточно для него, чтобы обуздать свой аппетит. Французская кухня весьма быстро завоевала расположение Гоголя, и он очень редко не поддавался искушению побаловать себя хорошим блюдом. Он называл рестораны «храмами», а содержателей ресторанов «жрецами», и утверждал, что находится под влиянием «изысканных запахов и ароматов жертв, приносимых этим местам». К сожалению, очень часто из-за неумеренности в еде у него расстраивался желудок. Эти банальные недомогания приобретали в его сознании невообразимые масштабы. Он так детально описывал Данилевскому, что тот раздраженно отворачивался. Обиженный на такое невнимание, Гоголь шел лечиться к некому доктору Маржолену, который ему прописывал «индийские пилюли». Почувствовав себя лучше, он тут же направлялся со своим другом в какой-нибудь ресторан.

После обеда они до позднего вечера играли в бильярд или же ехали в театр. В Итальянской опере Гоголь послушал пение Гризи, Лаблаша, Тамбурини, Рубини. В «Театр Франсэ» рукоплескал игре актеров в «Тартюфе», «Мнимом больном» и в трех других великолепно сыгранных пьесах. Пьер Лижье, «наследник Тальмы», показался ему наделенным

незаурядным талантом. А мадемуазель Марс, несмотря на свои шестьдесят лет, еще с успехом играла невинных простушек. «Немножко смешно было сначала, – писал Гоголь Прокоповичу, – но потом в других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонический и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо перед собою 18-летнюю. Все просто, живо; очищенная натура в местах патетических; слова исходят прямо из глубоко тронутой души, ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars».[167] Зато игра мадемуазель Жорж из театра «Порт Сант-Мартэн» была, по его мнению, «монотонна и часто напыщенна». Что касается балета, то тут полный восторг. Постановка, декорации, костюмы – все идеально: «Балеты ставятся с такою роскошью, как в сказках… Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки… Тальони – воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене».[168]

Тем временем такое сверкающее, порхающее существование вызвало у Гоголя недоверие. Если внешний вид может настолько очаровывать, то это означает, размышлял он, что за фасадами больше ничего нет. Он был недалек от мысли, что у французов нет души, или скорее всего они не стараются ее развивать, погруженные в тысячи ненужных занятий, одним из которых, самым глупым и самым вредным, была, конечно же, политика. Выходец из самодержавной страны, воспитанный в уважении к порядку и любви к царю, он не понимал, как могут государственные дела обсуждаться в общественных местах, вместо того, чтобы ими занимались специалисты. Эхо революции 1830 года еще будоражили умы многих в Париже. Было совершено множество покушений на короля Луи-Филиппа. За год до этого на Фиеши, в июне 1836-го на Алибо, в декабре на Минье… Наконец принц Луи-Наполеон Бонапарт безрезультатно попытался поднять гарнизон Страсбурга. Для одного «да», для другого «нет»: сменяли правительство: месье Моле сменил месье Тиер. Кто завтра сменит Моле? Во время открытия Триумфальной арки народ, казалось, кричал: «Да здравствует Император!» Все это не сделало нацию здравой и колеблющейся. Никогда не ища возможности знакомства с французами, Гоголь осудил их всех за нестабильность их чувств. Хотя монархия ушла, республика протекала повсюду. Каждый имел собственную идею, как управлять страной. Газеты поносили друг друга. Как же можно управлять при подобном сборище болтунов и горячих голов?

«Здесь все политика, – писал Гоголь Прокоповичу, – в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных».[169]

Это обвинение он развивает в своей автобиографической повести «Рим», в которой ее герой, молодой итальянец, только что приехав в Париж для обучения, не замедлил сказать, что Франция – это «королевство слов, а не дела».

«…всякий француз, – пишет Гоголь, – казалось только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной типографски движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников… и слово политика опротивело, наконец, сильно итальянцу.

В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости».

Это неумеренное желание пустить пыль, глазами итальянского студента и словами самого Гоголя, высказывалось естественно и озабоченными французскими учеными: «Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого…», а также французскими романистами, «приверженцами изучения причудливой не предполагаемой страсти исключительно чудовищных случаев». Так, в этот год Виктор Гюго опубликовал «Собор Парижской Богоматери», Альфред Вини – «Стелло», Ламартин – «Жоселин», Теофил Готье – «Гротески», Бальзак – «Лилии в долине». Предшествующий год был отмечен песнями Крепюскуля, Сервитюда и непоколебимым величием мадемуазель де Мопан. У недоступного до столичной литературы Гоголя не было и мысли познакомиться с кем-либо из этих писателей, имена которых были у него на слуху. Он приехал во Францию не для того, что раствориться во французах, а для того чтобы еще более почувствовать себя русским среди них. Со всех сил он хотел остаться иностранцем. Туристом среди непостоянного народа. Он совсем не нуждался в сближении с людьми, чтобы о них судить. Напротив, это они могли наблюдать издалека на то, как он воспринимает основные черты их характера. В отличие от остальных, истинный писатель только экспериментирует, поскольку он

обладает интуицией. Силой своего игнорирования Гоголь через итальянского студента осуждает парижскую легковесность.

«И увидел он наконец, что при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей, везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстротой руки; вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера».

Воспитанный в православной культуре, Гоголь был так мало склонен к знакомству с французами, что встречался в Париже только с небольшой группой выходцев из России. В нее входили госпожа Светчина, Смирновы, приехавшие из Швейцарии Балабины, Андрей Карамазин (сын историка), Соболевские. В этом обществе ему нравилось проводить свой досуг. В полдник он частенько приходил к Александре Осиповне Смирновой, проживавшей в доме 21 на улице Мон Блана, слушал игру на пианино или комментарии о мировых и политических событиях столицы. Сам он рассказывал о своих прогулках по Парижу, о своих обедах, вечерах, об очередях в театральные кассы и о том, как он купил себе билет. Иногда, следуя своему воображению, он рассказывал о визитах в страны, где он никогда еще не был. Он утверждал перед Александрой Осиповной Смирновой, что успел побывать и в Испании, и в Португалии. «Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые отсюда приезжают, много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все на это он очень хладнокровно отвечал: „На что же все рассказывать и занимать собою публику? Вы привыкли, чтоб вам человек с первого разу все выхлестал, что знает и чего не знает, даже и то, что у него на душе“».

Несмотря на весь свой апломб, он никогда не мог убедить Александру Осиповну Смирнову в совершении своего путешествия по ту сторону Пиреней. Она знала его склонность ко лжи, но не была шокирована этим. Это хвастовство было, по ее разумению, защитой его очень скрытной души против давления равнодушной реальности. Восхищаясь Гоголем как писателем, она предполагала в нем великую психологическую проницательность и все больше и больше соглашалась с ним, охотно выслушивая его советы. Даже поступок, совершенный им так уродливо, так плохо, в ее представлении казался не более чем лукавством. Пресыщенная своими победами во дворе, разочарованная своим замужеством с человеком недалеким и болтливым, которого не любила,

она, едва подойдя к тридцати годам, распрощалась с удовольствиями молодости и все чаще стала задаваться вопросом о смысле жизни. Ее природная жизнерадостность еще пробивалась мгновениями сквозь вуаль грусти, и тогда все очарованное окружение оборачивалось к «небесной чертовке», прославленной А. С. Пушкиным и В. А. Жуковским.

«Третьего дня я обедал у Смирновых с княгиней Трубецкой, Соллогубом и Гоголем… – писал молодой Андрей Карамазин своей матери 11 февраля 1837 года. – Гоголь делает успехи во французском языке и довольно хорошо его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует. Но вообще у Смирновых толковать трудно, потому что немедленно вмешивается Николай Михайлович (муж Смирновой), спорит страшно и несет чепуху».

Чтобы улучшить свой французский язык, Гоголь, как дед Мороз, частенько общался с молодыми французами, проживавшими в мансарде Латинского квартала. Там он изучал не только французский, но и еще итальянский языки, готовясь к поездке в Италию, о которой он всегда мечтал. Конечно, он еще не торопился уезжать. В этой его небольшой, хорошо отапливаемой комнатке, расположенной на углу Биржевой площади, он с охотой работал над «Мертвыми душами».

С пером в руке он больше не слышал суеты улиц. Париж, со своими кафе, театрами, магазинами, тротуарами, заполоненными зеваками, автомобильными заторами, газовыми горелками и дождями, полностью поглотил его. Но он не имел здесь, в этом мире, ни одного знакомого француза. Только русских, и среди них Чичикова, ловкого собирателя мертвых душ.

«Бог сделал чудо: указал мне теплую квартиру на солнце, с печкой, и я блаженствую. Снова весел. „Мертвые“ („Души“) текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, – словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу „Мертвых душ“ в Париже… Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать. Уж судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени».

И согласно своей привычке, в послесловии письма он обращался к своим друзьям подбросить ему идеи для того, чтобы обогатить свое

произведение:

«Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось либо и он найдет что-нибудь со своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но несмотря на это, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет Мертвых душ. Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело».

Затем поверив в исключительную ценность своего нового произведения, он станет очень раздражаться при упоминании ему о старых. Так, Прокопович имел неосторожность написать ему о том, что «Ревизор» продолжают с успехом играть в России. На что Гоголь 25 января 1837 года с надменностью ответил ему:

«Скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про „Ревизора“? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что „Ревизора“ играют каждую неделю, театр полон и проч… И чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на „Ревизора“ – плевать, а во-вторых… к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава Богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе!.. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры „Ревизора“, а с ними „Арабески“, „Вечера..“ и всю прочую чепуху и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки».

Эту тягу к исключительности он приобрел, общаясь со ссыльными польскими поэтами Адамом Мицкевичем и Богданом Залесским. Конечно, политические воззрения Мицкевича, дикого националиста, враждебно настроенного против русского господства в Польше и революционера в душе, могли только оскорбить благоразумный консерватизм Гоголя. Но в этом человеке было столько возвышенного мышления, что и не было

необходимости разделять его убеждения, чтобы не уважать его позицию. С другой стороны, она представляла одну из горячих сторон мистицизма, которая сближала их. Благодаря ему, Гоголь стал интересоваться католицизмом. Он по-новому смотрел на Рим. И не только на Рим, но и на Ватикан. Уехать или остаться? В самом разгаре шел карнавал. Маски, серпантины, конфетти, вереницы колесниц, народные гулянья, лампионы и песнопения. Весь город танцевал на Сен-Гуи. И неожиданно ужасная новость донеслась из России. Пушкин убит на дуэли с кавалергардом Георгием Дантесом. Смерть наступила 29 января 1837 года.

Пораженный этим шоком, Гоголь имел такое впечатление, что весь мир обрушился на его голову и он оказался под этими обломками. Вокруг него его друзья говорили о любовных интригах, об анонимных письмах, об аристократическом заговоре. Как утверждалось, все произошло из-за того, что поэт вышел драться на дуэль для того, чтобы защитить честь жены. Одна пуля, и самый гениальный аристократ России вырван из жизни. Но как же Бог мог допустить, чтобы этот французский волокита сделался виновником такой трагической смерти. Неужели идол всего народа пал от руки иностранца, принятого на службу в императорскую армию по протекции?

Все эти комментарии оставляли Гоголя безучастным. Для него было безразличным, как ушел его друг. Он понимал лишь неприемлемую развязку всей трагедии – мир без Пушкина и сам он тоже без Пушкина! Он пишет А. С. Данилевскому: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше».[170] А молодой Андрей Карамзин пишет своей семье: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него».

Санкт-Петербург на самом деле занимал его меньше и меньше. В его мыслях строились другие планы по осуществлению другого путешествия, во время которого он бы мог утолить свою печаль. В первых числах марта он уезжает в Италию. Его теперь занимала идея фикс: побывать в Риме во время проведения пасхальных праздников. Он прибудет туда точно в срок, после короткого посещения Генуи и Флоренции, чтобы присутствовать на мессе понтифика в соборе Святого Петра. Торжественность церемонии повергла его в глубокое изумление.

«Обедню прослушал в соборе Святого Петра, которую отправлял сам папа. Он 60 лет и внесен был на великолепных носилках с балдахином.

Несколько раз носильшики должны были останавливаться посреди собора, потому что папа чувствовал головокружение…»[171]

Ни слова о потрясении, которое он переживал в связи со смертью Пушкина. Однако то, что он не говорил своей матери, слишком далекой от литературных и мирских забот, все это он высказал Плетневу в письме, написанном им на следующий день.

«Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Боже! нынешний труд мой, внушенный им, его создание… я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска».[172]

Двумя днями позже он пишет Погодину: «Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русской, как писатель… я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам, для чего? Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине! Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем

горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? Несмотря на то, что сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант. О! Когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство… Сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или ты думаешь мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?

Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимую цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей – никогда. Мои страдания тебе не могут быть вполне понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы».[173]

В этот же день он пишет Прокоповичу:

«Великого не стало. Вся жизнь моя теперь отравлена. Пиши ко мне, бога ради! Напоминай мне чаще, что еще не все умерло для меня на Руси, которая уже начинает казаться могилою, безжалостно похитившею все, что есть драгоценного для сердца. Ты знаешь и чувствуешь великость моей утраты».

Его эпистолярный плач, конечно же, должен был быть облечен в литературную форму. Изливая свою боль, Гоголь не мог не сыграть роль писателя, оплакивающего на восхитительных страницах смерть другого писателя. В своей переписке он обращался к внимательным потомкам. Однако его грусть не была притворством. В нем говорила, как обычно, смесь отчаяния и комедии, непосредственности и высокопарности. С пером в руке он полностью отдавался фразам. Чем больше он был искренним, тем больше слышалась фальшь в его словах. Впрочем, покопавшись в себе, он вынужден был признать, что потеря Пушкина как друга его ранила меньше, чем потеря его как поэта и незаменимого советчика. У них ничего не было общего: ни по образу жизни, ни по возрасту, ни по образованию,

ни по положению в светских и литературных кругах, ни по характеру они не подходили друг другу. За все свое путешествие Гоголь написал Пушкину всего один раз, хотя очень часто доверялся Жуковскому. Пушкин для него был человеком необыкновенным, гением в чистом виде, воплощением своего собственного художественного сознания. В минуты сомнений он обращал свои взоры на своего знаменитого старшего друга, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Он просил Пушкина не только подсказать ему сюжеты, дать совет, но и желал получить от него то незримое одобрение, которое может дать только человек, добившийся большего на общем поприще. Самодостаточность и гармония, безмятежность и проницательность, внешнее неоспоримое совершенство – все это был Пушкин. Кроме того, несмотря на то, что ясность, трезвость его гения была противоположностью гротеску и будоражащему характеру произведений молодого коллеги, Пушкин никогда не пытался навязать ему свою точку зрения. Он советовал ему книги для чтения, критиковал его сочинения, но всегда давал ему свободу самовыражения. Он помогал ему быть еще больше самим собой. Привыкший всегда получать такую поддержку, Гоголь неожиданно почувствовал огромную пустоту вокруг себя. Его охватил панический страх. Сможет ли он писать в отсутствие Пушкина? У него уже не было желания продолжать работать над новой книгой. Он чувствовал себя так, как если бы у него одним разом отняли всех читателей. Тем не менее упадок его духа продлился недолго. Насколько это верно, что произведение несет в себе большие притязания на существование, чем какие-либо умственные размышления. Жажда творчества, такая же сильная, как инстинкт сохранения у раненого животного, вновь возродилась в душе писателя. «Мертвые души» нуждались не в Пушкине, а в нем – Гоголе. Книга переполнила голову до такой степени, что казалось, она скоро разорвет ее. Он больше не мог удерживать ее в себе. И он лихорадочно возвращается к своей рукописи.

«Я должен продолжать мною начатой, большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысли есть его создание и которой обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтоб она была долговечна». [174]

И позже тому же В. А. Жуковскому:

«О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон мне удалось видеть в жизни и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях,

о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все».[175]

Уже Пушкин становился в его глазах поэтическим образом, тонким предлогом, именем, который можно поставить во главе нового творения, чтобы подчеркнуть его исключительную важность.

Глава III
Рим

Путешествие по морю до Генуи, затем по суше до Рима не улучшило здоровье Гоголя.

«Я чувствую хворость в самой благородной части тела – в желудке, писал он Н. Я. Прокоповичу. – Он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского».[176]

Нехватка денег – он приехал с двумястами франками в кармане – обязывала внимательно контролировать свои расходы. Он проживал за тридцать франков в месяц на улице Изодоро, 17, в комнате, полной картин, покрытых копотью, и белых статуй, пил каждое утро чашку шоколада за четыре су, потом плотно обедал за шесть су и позволял себе маленькую роскошь – маслянистое мороженое со взбитыми сливками, тающее во рту, в сравнении с которым мороженое у Тортони, по выражению Гоголя, казалось «дрянью». Несмотря на такой своеобразный режим питания, расстройства пищеварения начали проходить. Он приписал заслугу в своем чудесном выздоровлении оживляющему климату Италии. От столько мечтал об этой стране, что мог разочароваться, наконец встретившись с ее ландшафтами и народом. Но ничего подобного. Действительность моментально превзошла все его ожидания. Все, что он воспел в стихах, когда был еще совсем юн, ничего не зная о Риме, он повторял теперь в прозе, в письмах друзьям:

«Что тебе сказать об Италии? Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими».[177]

«Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».[178]

«Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим

землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю».[179]

«Моя красавица Италия! Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине».[180]

«Невозможно ждать лучшего от судьбы, чем умереть в Риме. Здесь человек находится ближе всего к Богу, чем в других местах».[181]

«Родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет… Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере семьсот ангелов влетают в носовые ноздри… Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос: чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны…».[182]

Все время эта навязчивая идея о носе, отделенном от туловища, произведенном в ранг независимого персонажа и шагающем по городу в поиске незабываемых запахов! Климат Италии очень подходил Гоголю, который, хотя и был уроженцем той части России, где зимы особенно суровые, никогда не мог привыкнуть к холоду. Солнце оживило его окоченевшие члены и развеяло мрачные мысли. Думать и работать ему казалось также очень благоприятным под голубым небом. Даже пейзаж здесь был успокаивающим, все равно что картина искусного художника, исполненная в теплых спокойных тонах. Вся Швейцария с ее грудой гор, ледниками и скалами не стоила тихого римского загородного пейзажа. На этой земле равновесия и света могло родиться только чистое искусство.

Человек с неспокойной душой, создатель кривляющихся чудищ, Гоголь боготворил Рафаэля. В его глазах он затмевал всех художников четырех столетий, от классицизма до барокко. Кроме того, ничего не было лучше античной архитектуры, чьи руины побуждали его к безмятежному созерцанию и размышлению. Его ум, привыкший к темным лабиринтам мысли, к обрывам, к падениям в пропасть, изумлялся при виде благородной геометрии римских памятников. Переходя от одного к другому, он различал в этих камнях «Древний Рим в грозном и блестящем величии, или Рим нынешний в его теперешних развалинах. На одной половине его дышит век языческий, на другой – христианский, и тот и другой – огромнейшие две мысли в мире».[183]

Ему даже казалось, что это соединение было настолько привлекательным, что если бы Бог ему позволил выбрать между Древним

Римом «в грозном и блестящем величии» и Римом сегодняшним «в его теперешних развалинах», он бы предпочел жить в последнем, не только потому, что усеченная колонна, обвитая плющом, выделяясь на голубом небе против солнца, более живописна, чем современное здание, но еще и потому, что из него исходит такой необычайный покой, что забываешь о современном мире среди развалин исчезнувшей цивилизации.

Чем больше в его жизни было шума и суеты, тем больше его успокаивала неподвижность творений далекого прошлого. Все, что действовало, менялось, все, что пробивалось вперед в искусстве и политике, по его мнению, было проявлением зла. У народа, обращенного к будущему, одна только глупость и безвкусица в голове. Их беспорядочные движения нелепы. Единственная утешительная музыка звучит из пучины минувших лет. В Риме море лет бьется волнами о скалы святого острова. Этот город заслуживает названия «вечный Рим», так как он вне времени. «Везде доселе, – писал Гоголь Данилевскому, – виделась мне картина изменений; здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».[184]

С неутолимой жаждой открытий он носился по музеям, церквям, дворцам, любовался руинами древних храмов, мечтал в Колизее при свете луны, приходил в восторг от порфировой колонны, затерявшейся посреди вонючего рыбного рынка, неожиданно открывал для себя останки императорских бань, храмов, гробниц, разнесенных по полям, любил оглянуть эти поля с террасы какой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы заходящего солнца, склонялся перед разбитыми статуями, он находил все равно прекрасным: триумфальную арку, потемневший фронтон, дикие вьющиеся растения, карабкающиеся по стенам, трепещущий рынок среди молчаливых громад, лимонадчик с воздушной лавчонкой перед Пантеоном.[185] В своей восторженности он доходил до того, что датировал свои письма 2588 годом от основания города. Но и современный Рим, словно прилепившийся к античному и средневековому Риму, наполнял его невыразимым восхищением. Он погружался с наслаждением в его извилистые улочки, вдыхал пряные запахи, проходя мимо продуктовых лавок, умилялся, видя стадо козлов, щипающих травку между булыжниками, уличной мостовой или как шумные ребятишки нежатся под солнцем у журчащего фонтана, провожал уважительным взглядом аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, кланялся капуцину, чье одеяние «вдруг вспыхивало на солнце светло-верблюжьим цветом», уступал дорогу кардинальской карете с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами. Тут даже грязь и нищета были самим воплощением

красоты. Улочки, обвешенные разноцветным бельем, становились произведением искусства. Разложенные в витрине белые пузыри, лимоны, листья и подсвечники вызывали желание схватить кисть и запечатлеть их на полотне. И даже разговоры и суждения, услышанные на улицах, в кафе, в остериях, отличались своей веселой живостью от все того, что ему приходилось слышать в городах Европы.

«Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц».[186]

Да, римляне нравились Гоголю своим внутренним чувством прекрасного, своим врожденным благородством, своим презрением к бесполезным богатствам, своей вялостью, схожей с украинской неспешностью. Он восхвалял потомков древних критов (quirites) за то, что они избежали «равнодушного хлада» современных цивилизаций. Их счастье – он в этом ни капли не сомневался! – жить под деспотичной властью папы Григория XVI, под управлением органов власти, придирающихся к каждой мелочи, жить лишенными каких-либо политических прав, находиться под неусыпным контролем полиции, а взамен быть освобожденными от назойливых государственных дел.

«Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность».[187]

Подобное восхваление римского консерватизма тем более странно, что Гоголь не мог не замечать молчаливого протеста, который поднимался во всей Италии против австрийского господства. Иностранные военные силы были вызваны папой Грегуаром XVI во время восстаний в папских государствах. Яростно отвергающий республиканские идеи, папа ненавидел Маццини, борца за ослабление давления власти и основателя в ссылке общества «Молодая Италия». Кроме того, он осудил Ламенне и закрыл его газету «Будущее». Европейский либерализм ему казался настолько же опасным, как и итальянский патриотизм. Но движение по возрождению Италии было уже не остановить. Повсюду появляются

тайные общества. Политики, поэты, энергичные люди собирались, чтобы разработать план освобождения своей страны. Вопреки очевидности Гоголь пренебрегал событиями, которые противоречили его представлению о счастливом народе, защищенном от сумятиц истории. Так же как и в Париже, считал он, интеллигенция здесь была больна политикой. У простого же народа хватает мудрости вести патриархальную тихую, спокойную жизнь.

«Этот небольшой народ, – писал он Балабиной, – я теперь занят желанием узнать его во глубине, весь его характер, слежу его во всем, читаю все народные произведения, где только он отразился, и скажу, что, может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством».[188]

Он переехал и жил теперь в доме 126 по улице Феличе, в квартире, которая была «вся на солнце».[189] Решив более не жить как турист, Гоголь пополнял свой запас итальянских слов, учился писать письма на языке, изучал литературу, болтал с жителями квартала, которые его хорошо знали и звали «синьор Николо». Общаясь с ними, Гоголь пришел к убеждению, что Италия, оставаясь отдаленной от Европы, будет играть особую роль в ее будущем. Конечно, сейчас она поделена на части, ослаблена; в ней уже ничего не осталось от ее прежнего великолепия и могущества, но пробелы в материальном плане восполняла миссия самой высокой важности в духовном плане. Эта страна живое убежище от «холодного материализма», который уже угрожал другим странам. Своим постоянством она напоминала французам, немцам, англичанам, что они были не правы, отдаваясь ничтожным политическим заботам, вместо того, чтобы направить свою мысль в сторону искусства и веры. С этой точки зрения итальянский народ имел много общего с русским народом, которого тоже, по мнению Гоголя, не затронула заразная болезнь – прогресс. Не вызывает никаких сомнений, размышлял он, что Провидение отвело этой многочисленной северной нации и этой небольшой южной нации особую мессианскую роль. Наверняка поэтому Гоголь чувствовал на улицах Рима, как у себя дома!

Удивительная вещь, он должен был как украинец, для которого поляки были исконными врагами, испытывать вражду к католицизму. Но, хотя он был патриотом и православным, его привлекли в этом вероисповедании изящество, сдержанность и благочестие. Вначале он был очарован красотой убранства католических соборов. Восторженное увлечение Древним Римом и папским Римом располагало его к

проявлению живого интереса к местам службы. Он писал своей юной знакомой, Марии Балабиной:

«Я решился идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся), я решился помолиться там за вас… Помните, что я ваш старый друг и что я молюсь за вас здесь, где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно, что молитва на рынке».[190]

Постепенно его мысли прояснялись и он четче стал осознавать различия, которые разделяли христианство, практикуемое в России, и христианство на Западе. Православная Церковь ему представилась в виде какого-то величественного органа управления, с неизменными с древних пор обрядами и лишенного прямого воздействия на души смертных, когда как римская Церковь была, благодаря своим священникам, активным вездесущим и воинствующим институтом власти, чье влияние выходило за границы святых стен, чтобы проникнуть в дома и управлять жизнью людей. Обе религии были проповедницами христианства, но одна хранила его как таинство, а другая старалась сделать ее доступной каждому. Которая была лучше? Нелепый вопрос. Гоголь отказывался выбирать. Мать сильно забеспокоилась, узнав о его пристрастии к католицизму, стала его умолять остаться верным религии своих предков. Он ей вскоре ответил:

«Насчет моих чувств и мыслей об этом, вы правы, что спорили с другими, что я не переменю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна».[191]

Однако, внося изменения в повесть «Тарас Бульба» для нового издания, он добавил описание католической службы у осажденных поляков, (читающих молебен) обращающихся к Богу с мольбой о спасении. В этом отрывке есть описание церемонии, исполненной благородства, игры утреннего света, проникающего через витражи, величественная музыка органа: «и дивился Андрий с полуоткрытым ртом…» И здесь он открыто показывает важность внешних сторон своей набожности. Его религиозность питалась прежде всего красотой богослужения (была

прежде всего эстетической). Красота была чем-то вроде расположенности для восприятия тайн по ту сторону бытия, не задумываясь о внутреннем содержании религии.

Некоторые из знакомых очень благоприятно оценили эту чувствительность к Божественному присутствию. У Варвары Осиповны Балабиной был сын иезуит. Ее дочь, Мария, хотя и была православной, регулярно посещала католические службы. Наконец, вскоре после приезда в Рим Гоголь познакомился княгиней Зинаидой Волконской, которую поклонники называли «Северной Коринной». Исключительно талантливая и высоко образованная женщина, поэтесса, музыкант, певица, она сохранила в свои сорок пять лет красивые черты лица и пылкий характер. Александр I испытывал к ней нежные чувства, а Пушкин ее воспел в стихах. Блистала при дворе и на всех конгрессах, где решалась судьба Европы, потом удалилась в Москву и приняла католичество. Сразу же новый император Николай I послал ей православного священника, чтобы вернуть ее на путь истинный. Получив выговор, с ней случился нервный припадок, и она заболела, но не отказалась от своего решения. Как только она почувствовала себя лучше, сразу покинула Россию и насовсем поселилась в Риме, в роскошной вилле, стоящей на холме.

Древнеримский водопровод проходил через сад. Виноградники и кипарисы окружали дом, прислонившийся к старинной башенке. Далеко вдали можно было различить Вечный город, чьи главные достопримечательности плавали, оторвавшись от земли, в голубоватом тумане. Под деревом возвышался строгий бюст Александра I, который удостоил княгиню своей дружбой. Рядом, в цветочной клумбе, стоит урна в память поэта Веневитинова, два обломка белого мрамора, посвященные Пушкину и Карамзину: маленький личный Пантеон хозяйки дома. У нее в гостях Гоголь подружился с Шевыревым Степаном Петровичем. Шевырев – профессор русской словесности, критик, славянофил и друг Н. Погодина. Волконская любила приглашать эти два великих ума и присутствовать при фейерверке мыслей, который рождался во время их споров. Итальянские друзья прозвали ее Беатой, столько в ней было рвения проявить свою новую веру. Про ее салон говорили, что это филиал Ватикана. Представители русской аристократии, идя на прием, могли быть уверены, что обязательно там встретят римских священнослужителей, жадных и терпеливых ловцов душ. Зинаида Волконская также приютила польских священников, иммигрировавших после восстания в Польше в 1830 году. Двое из них, Петр Семененко и Иероним Кайсевич, вбили себе в голову обратить Гоголя в католичество. Они его часто встречали у княгини на

обеде. Его соблазнял теплый прием и полный стол яств. Живя очень скромно, он чувствовал определенную поддержку, ощущая за своей спиной такую богатую и властную благодетельницу.

«В разговоре Гоголь нам очень понравился, – писал Семененко. – У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. Княгиня питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько утвердились».[192]

А Кайсевич записал в своем дневнике: «Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который высказал большую склонность к католицизму».

Не удовлетворенные одними только встречами за столом княгини, благочестивые поляки устремились к Гоголю домой. Он их благодарно принимал и часами разглагольствовал с ними о роли христианства в обществе будущего. Однако вскоре проповедники решили поменять тактику и стали навещать его по одиночке, поскольку, как писал Семененко, «одиночные встречи более располагают к взаимному обнаружению себя».[193] Кайсевич даже сочинил в честь Гоголя сонет, в котором последний стих звучал так: «не замыкай души для небесной росы»

Несмотря на такое давление, Гоголь так и не решился перейти в католичество. Княгиню Волконскую раздражала подобная неопределенность; в ней жаждала страсть обращать людей в эту веру; ей нужно было спасать души одних, подобно тому, как она разбивала сердца других. Она уже начала обращать в католичество своего собственного сына, который с православием был связан едва уловимой нитью. И Гоголь поддерживал ее в этом. «Тогда же она нам сообщила, – писал Семененко, – как поделилась с ним своими намерениями касательно своего сына и как Гоголь сердечно это принял и добродушно подбодрял ее, чтоб она имела надежду – то есть, что ее сын обратится».[194] Почему этот упрямый украинец находил благоразумным обращение в католичество молодого князя Волконского, а сам отказывался последовать той же участи? Зинаида Волконская не могла разрешить это противоречие и просила обоих священников усилить свою проповедь. Но они же придерживались иного мнения и считали, что переход в другую веру никогда не следует торопить, воздействуя давлением на чувства новообращенного. Сам же Гоголь в этой атмосфере религиозного заговора чувствовал себя как рыба в воде. Будучи объектом торга, он вкушал удовольствие от тонких намеков, деликатных уговоров, совместных размышлений над священными текстами. Перемена

веры стоила бы ему отказа от всего: от своего воспитания, своего прошлого, своих убеждений. Но остаться православным, мечтая о католицизме, увлечься другой религией, не предавая своей, что может быть более опьяняющим для ума, стремящегося к обновлению. Внешне поддаваясь требовательной Зинаиде Волконской и ее двум союзникам, он твердо стоял на своем.

Словно для того, чтобы уравновесить воздействие общения в высшем свете, Гоголь часто встречался в кафе «Греко», в задымленном и шумном зале, с молодыми русскими художниками, живущими на пансионе, предоставляемым им Академией художеств Санкт-Петербурга. Кафе служило также абонентским пунктом получения писем этих господ. На стенах висели картины, оставленные в качестве оплаты клиентами с пустыми кошельками. Кто-то пил кьянти, кто-то крепкий кофе, выставив локти на стол, кто-то с жаром вел беседу. Все эти большие дети, обросшие и бородатые, в накидках и фетровых шляпах с большими полями были едины в одном – служении красоте. Среди прочих завсегдатаями этого местечка были: мудрый, бедный и готовый взяться за любую работу Иордан, элегантный и обворожительный Моллер, сын министра морского флота, и, конечно же, непреклонный Александр Иванов, с которым Гоголь очень быстро подружился. Искусство для Иванова была настоящим аскетизмом. С пустым животом, но увлеченный идеей, он отказывался от заказов, денег, легкой славы, чтобы полностью посвятить себя написанию многоплановой композиции «Явление Христа народу». Этот грандиозный труд, включающий и свод философских идей, и обобщение художественных приемов, пожирал его заживо и целиком. Вдохновленный Богом, Рафаэлем, Веронезе, Тицианом и Танторе для развития этой идеи и осуществления задуманного, он внушил себе ощущение, что наделен божественным предназначением. Время не имело для него значения. Он работал годами, всегда недовольный собой, бросал и вновь принимался за картину, накапливал эскизы, был в постоянном поиске совершенства, делая тысячи подготовительных этюдов. Одних этих этюдов было бы достаточно, чтобы заполнить выставочный зал. Каждую пятницу он ходил в римскую синагогу, чтобы там наблюдать за лицами евреев. Пустынный пейзаж, который должен был послужить отображением места действия и окружающим группу фоном на картине, он рисовал, установив свой мольберт на болотистых окрестностях Понтина. Он неустанно делал копии с бюстов Аполлона Бельведерского и образа Христа, которого он отыскал в Палермо, в надежде, что соединение этих двух ликов ему подскажет черты его святого Иоанна Крестителя.

Гоголь любил заходить к Иванову в его мастерскую. Просторная комната со стеклянным потолком, с белыми стенами, исписанными разными рисунками мелом и углем. На полу валялись эскизы, выдавленные тюбики красок, кисти, грязные тряпки. Во всех углах картонные папки, набитые исчерченными картинами. И на огромной подставке, специально сооруженной для этой цели, полотно пять сорок на семь пятьдесят. На переднем плане Иоанн Креститель, воздев руки к небу, молится. Вокруг него толпа обнаженных людей, выходящих из вод Иордана или готовившихся в них войти. Среди них и несколько фигур в одеждах – это будущие ученики Христа. Вдали Иисус Христос, идущий по пустынной земле. Одни его уже видят. Другие предчувствуют его приход. Другие недоумевают, что имел в виду Предтеча, произнося загадочные слова: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна. I, 29). Все персонажи уже нашли свое место на картине, их очертания обозначены четкими линиями и отдельными мазками по всему полотну. Иванов в грязной холстинной блузе. Длинные растрепанные волосы спадают ниже плеч. Щеки покрывает всклокоченная борода, вся испещренная разноцветными точечками красок. Он, должно быть, уже не брился две недели. С палитрою в одной руке, с кистью в другой, он с отчаянием глядел на свое творение.[195]

Гоголь терпеливо дожидался, пока Иванов выйдет из задумчивости, и только потом здоровался с ним. Он понимал терзания своего друга, оттого как сам, работая над «Мертвыми душами», испытывал это мучительное беспокойное стремление к совершенству. Он, прежде всего, подразумевал себя, когда писал, говоря о художниках: «…художнику, которому труд его, по воле бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа».[196]

В разговорах Иванова с Гоголем каждый из них обменивался своими сомнениями и обсуждал необходимость долгой предварительной подготовки при создании произведения искусства. Но если ими двигал общий дух самопожертвования, то в отношении деталей их мнения расходились, ибо трудно найти две более противоположности, чем прямодушный, требовательный и вспыльчивый характер молодого

художника и того же болезненного скрытного писателя. По примеру Иванова, Моллера и Иордана, Гоголь взялся за живопись. Он бегал по улицам Рима с тетрадкой набросков и коробкой акварели. Затрачивая время на рисование пейзажей или античных руин, у него не возникало ощущения, что он крадет его у «Мертвых душ».

Гоголь продолжал работать над книгой урывками. Он писал в основном по утрам, стоя у своего высокого пюпитра. Очень скоро, пробивавшееся сквозь щели в ставнях солнце, перебранка соседей, окрики торговцев, блеянье коз вызывали у него желание выйти на улицу. Достаточно было любого предлога, чтобы он отложил перо. Прежде всего важность предпринятой работы исключала в его сознании любые мысли о спешке. Основательность, думал он, всегда является результатом неторопливости. Как и Иванов, он еще не видел конца своей работы. Как и Иванов, он не позволял себе отвлекаться от своей великой цели, чтобы заниматься прибыльной работой. Как и Иванов, он считал, что его вдохновляет Бог. Своим друзьям в Санкт-Петербурге и Москве, которые подгоняли его, прося написать что-нибудь в их журналы, он твердо отвечал, что сейчас грех просить его об этом. В то же время он умолял их прислать хоть немного денег. Его финансовые проблемы усложнялись. Книги, которые он опубликовал ранее, в России, ничего ему не приносили. Он продал раз и навсегда все права на показ его пьесы. И когда у него совсем уже не осталось средств, он обратился к своим римским знакомым, занимая у одних, чтобы отдать другим. Посещая молодых художников, которые жили на государственные стипендии, ему пришла внезапная мысль, а почему бы и ему не воспользоваться тем же. Разве же он не художник, которому требуется мягкий итальянский климат для расцвета творческих сил? Начиная с апреля 1937 года он пишет Жуковскому:

«Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, которые недавно высланы из академии, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду…Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему „Ревизору“. Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, выручите! Если же оно написано не так, как следует, то – он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, незнающий,

как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги как дети… Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам; все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметны были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется от души. О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь все то, что угодно Богу. На его и на вас моя надежда».[197]

В. А. Жуковский не смог получить пансион, на который возлагались такие надежды, но, откликнувшись на просьбу Жуковского, император выслал Гоголю пять тысяч рублей. Тот взорвался в благодарности.

«Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей; но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям. Но до вас может досягнуть моя благодарность. Вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною!»[198]

Освобожденный на время от денежных забот, он предается безделью без особых на то угрызений совести. Под ласковым солнышком Рима расцветала его «украинская лень». «Мертвые души» оставлены в покое до лучших времен. Когда средства Гоголя вновь исчерпались, он просит в этот раз Погодина: «Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу».[199]

М. П. Погодин, С. Т. Аксаков и еще несколько его московских друзей не без труда собрали деньги и направили ему эту сумму. Растроганный до слез, Гоголь отвечает Погодину:

«Благодарю тебя, добрый мой, верный мой!.. Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше беспокойство о мне! Столько любви!

Столько забот! За что это меня так любит Бог?.. Боже, я недостоин такой прекрасной любви! Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что в этой голове и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хоть половину его? Признаюсь, я плохо надеюсь на свое здоровье».[200]

Он злился на свое слабое здоровье, которое постоянно напоминало о себе. В то время как он желал стать одним только духом, то урчание, то резь, то подозрительное жжение в желудке каждую минуту возвращали его к реальности плоти. Несомненно, он был создан не как все остальные. Его внутренние органы, нервы, вены, кости сочетались особенным образом, думал он, что трудно определить научным способом. Обычные лекарства не действовали на него. Он должен был изобрести свое собственное лечение и жить без страданий. Самое неприятное для него было также то, что он не мог потеть. Вокруг жара, а его тело оставалось сухим. Да еще бурление в кишечнике. Врачи находили у него лишь признаки болезни, причиной которой был геморрой. Да что они в этом понимают?

«Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам, – пишет Гоголь Прокоповичу. – Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно. Геморроидальные мои запоры начались опять и, если не схожу на двор, то в продолжение всего дня чувствую, что на мозг мой как будто бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мои мысли… У меня легкость в карманах и тяжесть в желудке».[201]

И Данилевскому:

«Помоги выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса, – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ним и вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение; голова часто покрыта тяжелым облаком, которое я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать».[202]

И князю Вяземскому:

«Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вошедшую в состав мой и обратившуюся в натуру, она не властна. Что, если я не окончу труда моего?.. О, прочь эта ужасная мысль! Она вмещает в себе целый ад мук, которых не доведи Бог вкушать смертному».[203]

Однако между двумя приступами болей он производил хорошее впечатление. Его видели то молчаливым, с искаженным от боли лицом, с

грустным взглядом и с рукой на животе, то он весь сиял оптимизмом, был весьма экстравагантно одет, бодро двигался, острил, звонко смеялся и кушал с аппетитом. Завсегдатай итальянских тратторий, он вдыхал своим длинным носом запахи кухни и определял для себя заранее, какие блюда он закажет.

«Обедаю же я не в Лепре, но у Фалькона, знаешь, что у Пантеона? Где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сытна, а какая-то crostata (хрустящий пирог, *ит.*) с вишнями способна произвести на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала», – писал он Данилевскому.[204]

Едва плотно и не спеша покушав, Гоголь, если ему случалось увидеть рядом с собой посетителя, который только что приступил к обеду, тут же заказывал себе то же самое, что и тот господин и снова с аппетитом ел.[205] Иногда, вернувшись домой, он готовил себе какую-нибудь «вкуснятину», чтобы скрасить себе вечер: варит козье молоко, добавляя туда сахар и ром. После подобного обжорства у него начинались боли в желудке, и он клялся себе, что впредь будет придерживаться диеты. Но, как только боли проходили, он снова предавался чревоугодию. Так и жил он, разрываемый страстью к великим идеям и роскошным обедам, с вечной любовью к Италии и ностальгией по мерзкой России, с поклонением культу красоты и желанием изображать уродство, с притязанием на искренность и необходимостью поплакаться, обманывать, раздваиваться, дабы избежать суда современников. Его друзья, считавшие, что знают его, когда виделись с ним, никогда не могли точно сказать, с кем они сегодня будут иметь дело, с жизнерадостным человеком или аскетом, с проповедником или любителем бильярда. Он терпеть не мог долго выносить одиночества. В Риме он уговорил Данилевского присоединиться к нему для совместного проживания. А переехав в дом 126 по улице Феличе, Гоголь пригласил И. Ф. Золоторева на какое-то время пожить вместе.

Считая Вечный город своей второй родиной, Гоголь, тем не менее, частенько из него уезжал. В июле 1837 года он примкнул в Баден-Бадене к группе друзей, среди которых была Александра Осиповна Смирнова. Часто и неспешно прогуливаясь вместе с ней по дорожкам парка, в лечебных целях он выпивал огромное количество ледяной воды. Однажды он согласился прочитать в кругу знакомых первые главы «Мертвых душ». Но как только он начал чтение, как разразилась страшная гроза. Небо разрывалось от раскатов грома, дождь яростно хлестал по стеклам, поток воды каскадом лил с пригорка, который возвышался над домом. Гоголь на

мгновение остановился, взволнованно продолжил чтение, но затем вдруг отложил свое сочинение и попросил Андрея Карамзина, чтобы тот его проводил до дома, потому что там, как ему почудилось, рыскали злые собаки. «Там же не было собак, – писала позже Смирнова, – и я полагаю, что гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектам».

Из Бадена он отправился в Страсбург, потом в Карлсруэ, во Франкфурт, в Женеву, где свиделся с Данилевским и Мицкевичем. Затем его маршрут пролег через Альпы, которые он перевалил на санях через перевал на горе Сенплон.

«Громады гор безобразных, диких неслись во всю дорогу, мимо окон нашего дилижанса, мелькали водопады, шумящие, состоявшие из водяной пыли. Половину суток все подымались мы на Сенплон, еще одну не из самых высоких гор, дорога наша кружилась по горе в виду целых цепей других гор. Стремнины страшные становились глубже и глубже с правой стороны дороги. Все очутилось внизу, те горы, на которых взглянуть было трудно, как говорится, не уронивши с головы шапки, казались теперь малютками, скалы, утесы, водопады – все было под нашими ногами. Дорога наша проходила часто насквозь скалы, сквозь пересеченный в ее каменной массе коридор. Часто висел над нами натуральный свод».[206]

Когда они спускались, снег пропал. Путешественники пересели с саней в экипаж. Гоголь был поражен величественным спокойствием знаменитого озера Лаго-Маджиоре. Милан же своей оживленностью ему напомнил Париж. Он побывал проездом во Флоренции, «небольшом городке, наделенным строгим величьем».[207] Наконец прибыл в Рим с чувством того, что он обрел для себя место для житья, то единственное место в мире, где жителям некому завидовать.

Однако на следующий год он опять покидает Рим и едет в Неаполь. Будучи прилежным туристом, он идет любоваться тихой бухтой, окруженной горами, в дымке дышащего Везувия, загородным пейзажем, бродит по узким улочкам, совершает небольшую поездку по морю на лодке до острова Капри, чтобы посетить Голубой грот: «Въехали мы туда на лодочках, нагнувши свои головы, и очутились вдруг под огромным и широким сводом… Темнота порядочная, но воды ярко, ярко-голубые и казались освещенными снизу каким-то голубым огнем».[208]

Но Неаполь с его пылью, грязью, толкучкой и мальчишками-карманниками вскоре его утомил. И он пожил некоторое время в Кастелламаре, в двух часах от Неаполя, на даче княжны Репниной. Оттуда

поехал в Ливорно. Затем, в сентябре 1838 года, он поспешил в Париж, откуда Данилевский молил о помощи, потому как мошенники украли у него последние деньги. Благодаря Погодину и Репниным, Гоголь смог выручить друга, и они провели несколько дней вместе, ходя по кафе и ресторанам.

Из Парижа он возвращается в Рим через Лион, Марсель и Геную. Он утверждал, что ничего больше в нем так не рождало вдохновения, как путешествие. Смена декораций, отказ от привычек, качка по неровной дороге подстегивали его воображение. Так, он рассказывал, как у него был настоящий взрыв воодушевления в небольшом трактире, расположенном между городками Джансано и Альбано: «Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».[209]

Как и в прошлое свое путешествие, он возвращается в Рим с облегчением. Единственное, о чем он вспоминал с ностальгией, были парижские рестораны. Но слишком обильные яства ему расстроили желудок.

«Куда ни иду, все чудятся храмы (рестораны), писал он Данилевскому. Мысль моя еще не вся оторвалась от Монмартра и бульвара des Italiens… Но в желудке сидит какой-то черт, который мешает все видеть в таком виде, как бы хотелось видеть, и напоминает то об обеде, то об завтраке, словом – все греховные побуждения, несмотря на святость мест, на чудное солнце, на чудные дни».[210]

Конец года был отмечен для него великой радостью. 18 декабря 1838 года, наследник, великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II), в возрасте двадцати лет, прибыл в Рим в сопровождении своего наставника Василия Андреевича Жуковского и всей своей свитой. Одним из членов свиты был молодой граф Иосиф Вильегорский, которого ему дал император в качестве товарища по занятиям. Сильно страдая от чахотки, ему пришлось покинуть наследника во время путешествия, и он продолжил отдельно свой путь на юг, переезжая с курорта на курорт. Добравшись до Рима немного раньше великого князя, Иосиф Вильегорский поселился у необыкновенно гостеприимной княгини Волконской. Там его и увидел Гоголь,

изнеможденного и харкающего кровью. Они уже встречались в Петербурге в начале тридцатых годов. Но ему казалось, что он заметил его только теперь, измученного болезнью. Это полупрозрачное лицо, горящий в лихорадке взгляд были полны очарования. Однако Гоголь был слишком счастлив повстречаться с В. А. Жуковским, и поэтому ему было недосуг уделить много времени и внимания новому знакомому.

Конечно, Жуковский сразу же рассказал Гоголю о последних минутах жизни А. С. Пушкина. Вместе они поплакали над бессмысленным его уходом, который лишал мир одного из его величайших поэтов и их самих одного из их лучших друзей. Потом они обсудили работу друг друга, вспомнили общих знакомых, поговорили о российских литературных новостях и о романе «Мертвые души», который продвигался медленно, но верно. Все следующие дни Гоголь увлек Жуковского досконально осмотреть город. Неутомимый ходок и восторженный гид, он заражал поэта своим энтузиазмом. Римский Форум, Колизей, Пантеон, церкви, музеи, живописные улочки, все промелькнуло. Оба друга везде носили с собой на прогулки бумагу и коробку красок и часто останавливались, чтобы запечатлеть пейзаж, руины, маленького оборвыша с насмешливым взглядом. Гоголь изумлялся, как человек, занимающий такое важное положение при дворе, мог оставаться настолько простым в манерах и таким добрым в душе. Гоголь называл его «небесным посланником». Когда «небесный посланник» покинул его, чтобы вернуться в Россию, он написал Данилевскому: «Он оставил меня сиротою, и мне сделалось в первый раз грустно в Риме».[211]

Но через три недели после их расставания другой сюрприз. В этот раз М. П. Погодин сообщил о своем приезде. Он с женой приехали в Рим 8 марта 1839 года. Тут же Гоголь взял на себя заботу о них, так же, как он это сделал ранее для В. А. Жуковского. С ребяческой радостью он показывал им *свой* Рим, бегая по пыльным и шумным улицам до тех пор, пока изнуренные, упадшие духом путешественники не начинали молить о пощаде. В два часа дня он их водил в ресторан около площади Испании, но сам отказывался есть, говоря, что из-за боли в желудке у него нет аппетита и что он ограничивается обычно легким полдником часов в шесть вечера. Погодину очень хотелось посмотреть, что это был за «легкий полдник». В тайне от Гоголя некоторые из его римских друзей собрались в отдельной дальней зале траттории Фалькони, в которой он был завсегдатаем, и стали ждать его прихода. Он пришел, сел и тут же камериере официанты засуетились. «Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, броккали… Мальчуганы начинают

бегать и носить к нему и то, и другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, – возвышаются груды всякой зелени, куча стеклянок со светлыми жидкостями… Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать… В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. – „Так-то, брат, аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? Для кого же ты это все наготовил?“ Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: „Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной; я вас угощу… Эй, камериере, принеси еще следующие блюда…“ Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит, и желудок у него расстроен».[212]

Но вот и М. П. Погодин с женой уехали. Они направились в Париж, где их ждал Данилевский.

«Я слышал, между прочим, – писал Гоголь последнему, – что у вас в Париже завелись шпионы. Это, признаюсь, должно было ожидать, принявши в соображение это большое количество русских, влекущихся в Париж мимо запрещений. Эти двусмысленные экспедиции разных Скромненок и Строевых за какими-то мистическими славянскими рукописями, которых никогда не бывало… Будь осторожен. Я уверен, что имена почти всех русских вписаны в черной книге нашей тайной полиции».[213]

Пожелав друзьям доброго пути, Гоголь вернулся на виллу княгини Волконской. Теперь она, казалось, не так стремилась обратить его в католицизм. Она, несомненно, убедила себя, что он никому не позволит что-либо ему навязывать. Принимая Гоголя на своей вилле с неизменной доброжелательностью, она не могла ему простить, что он столько времени злоупотреблял ее терпением. На вилле он виделся каждый день с молодым графом Иосифом Вильегорским, который таял на глазах. Бледный, с осунувшимся лицом, с взглядом, полным тихой грусти, юноша двадцати трех лет от роду еле плелся по саду, «вдыхал свежий воздух», как предписали врачи, или укрывался для чтения в маленьком гроте. Страстно

увлекающийся историей и литературой, он часто беседовал с Гоголем о прошлом России. С каждой новой встречей писатель все больше узнавал своего собеседника, обнаруживал в нем свежесть мыслей и чувств, благородство души, спокойное мужество, которые его покорили. Вскоре И. Вильегорский, совсем обессилев, слег, и Гоголь стал проводить долгие часы, сидя рядом с ним на кровати, в умиленном созерцании.

«Иосиф Вильегорский, кажется, умирает решительно, – писал он Погодину. – Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!..»[214]

И Марии Балабиной:

«Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Вильегорского. Вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенной основательности ума его; и все это – добыча неумолимой смерти… Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне… Я ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы. „Оно на короткий миг“, – шепчет глухо внятный мне голос. „Оно дается для того, чтобы существовала по нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа“».[215]

Глядя на этого юношу, которого болезнь разрушала на глазах, Гоголь испытывал первый раз в своей жизни потребность полностью посвятить себя кому-то. Неизбежная смерть в какой-то степени способствовала излиянию самых тайных его чувств. То, что он ни за что не осмелился бы открыть человеку, который мог выжить, он думал и говорил у изголовья того, кто был обречен на скорейшую смерть. Холодный свет из загробного мира очищал все, прощал все в его глазах. Освобожденный привычных ограничений самой трагичностью ситуации, он испытывал нежность, которую в нем не вызвала еще ни одна женщина. С теми, которыми он больше всего восхищался, он всегда был начеку. Словно боялся, что их дружба незаметно опустится до кокетства или до любви. Он никогда бы не отдался такому трепетному благоговению к женщине, какое он познал в комнате больного. Он никогда бы не открыл ей свою душу, так как он это делал здесь, он их знал, эти создания из плоти и крови, жаждущие побед и склонные к грехопадению. Даже самые верующие! Даже те, которые

казались самыми равнодушными к мирским удовольствиям! Зато в присутствии Иосифа Вильегорского он мог уступить человеческому стремлению к общности, к объединению, оставаясь при этом физически и морально неприкосновенным. Он мог любить, ощущая себя в полной безопасности. Так как то, что они чувствовали друг к другу, была любовь. Не дружба, а именно любовь. Братская, платоническая и безнадежная любовь, этапы развития которой Гоголь лихорадочно отмечал название: «Ночи на вилле»:

«Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах…Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу „ты". Как ближе после этого он стал ко мне!»

Через какое-то время:

«Я не был у него эту ночь… Я поспешил на другой день поутру и шел к нему, как преступник. Он увидел меня, лежащий на постели. Он усмехнулся тем же смехом ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно. „Изменник, – сказал он мне, – ты изменил мне". – „Ангел мой! – сказал я ему. – Прости меня. Я страдал твоим страданием. Я терзался эту ночь. Не спокойствие было мой отдых: прости меня!" Кроткий! он пожал мою руку! Я стал обмахивать его веткой лавра. „Ах, как свежо и хорошо!" – говорил он… В десять часов я сошел к нему. Я его оставил за три часа до этого времени, чтоб отдохнуть немного… Он сидел один. Томление скуки выражалось на лице его. Он меня увидел. Слегка махнул рукой. „Спаситель ты мой!" – сказал он мне. Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова. – „Ангел ты мой! ты скучал?" – „О, как скучал!" – отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались: он все еще жал мою руку».

Еще через какое-то время, на «восьмую ночь»:

«В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постели. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленное движение шагов его… Он сказал мне на ухо, прислонившись к плечу и взглянувши на постель: – „Теперь я пропавший человек". – „Мы всего только на полчаса останемся в постели, – сказал я ему, – потом перейдем вновь в твои кресла…" Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет! Во все то время, как ты спал или только дремал на постели и в креслах, я следил твои движения и твои мгновения, прикованный непостижимою к тебе силою. Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего! Но, мне кажется, трудно дать идею

о ней: ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности… Боже! зачем? Я глядел на тебя, милый мой цвет. Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целым десятком, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь?»

Узнав о нежной дружбе, которая завязалась между больным и Гоголем, Александра Осиповна Смирнова писала: «Я не старалась разъяснить, когда и как эта связь устроилась. Находила его сближение comme il faut, очень естественным и простым».[216] Для того, чтобы она чувствовала необходимость подчеркнуть естественный характер отношений двух мужчин, надо было, чтобы кто-то из его окружения был иного мнения. Но Гоголь, пьяный от горя и сострадания, не обращал внимания на все эти сплетни.

Силы Вильегорского очень быстро его покидали, и Гоголь побежал по его просьбе искать православного священника. Молодой человек исповедовался и принял последнее причастие в саду. Потом его перенесли в его комнату. Он задыхался, но все еще сохранял достаточную ясность сознания, чтобы поблагодарить и улыбнуться. Когда он уже терял сознание, княгиня Волконская, которая была очень настойчива в достижении своей цели, позвала приглашенного заранее католического священника, аббата Жерве, и быстро ему шепнула: «Вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество». Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: «Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Княгиня в бешенстве замолчала. Тем не менее 21 мая 1839 года, когда Вильегорский уже умирал, она не смогла сдержаться и воскликнула: «Я видела, что душа вышла из него католическая!»[217] С этих пор княгиня возненавидела Гоголя.

Он же был настолько потрясен этим концом, что злость княгини не очень заботила его. Первый раз в своей жизни он видел, беспомощный, как умирает дорогой ему человек. Пушкин умирал вдали от него. Его уход был таким же абстрактным, как и арифметическое действие. Только в воображении можно было представить его страдания. Но с Вильегорским смерть вошла в жизнь Гоголя. Он видел результат ее работы над телом, которое пыталось ей сопротивляться. Он почувствовал ее холод в своих

венах. Разве любая человеческая деятельность не смешна в сравнении с чудовищным безмолвием могилы? К чему тогда нужен весь этот блеск славы, старания художника, писателя, сладость и неистовство любви, вкусная еда, если все равно каждый из нас окажется в одиночестве в земляной дыре?

«Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются, писал Гоголь Данилевскому. Я говорю об моем Иосифе Вильегорском. Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразрывно и решительно братски только, увы! во время его болезни».[218]

Будучи в полном отчаянии, Гоголь убедил себя, что для поднятия духа ему необходимо срочно покинуть то место, где он страдал. Он сел на пароход в Чивита Веккиа, который отправлялся в Марсель, чтобы там встретиться с матерью Вильегорского. На пароходе он познакомился с Сент-Бев. Как они могли понять друг друга, Сент-Бев, не говоривший по-русски, и Гоголь, с трудом объяснявшийся на французском? Как бы то ни было, критик написала несколько лет позже по поводу их разговора, что это был «разговор умного, ясного и богатого меткими бытовыми наблюдениями», исходя из этого он «уже мог предвкушать все своеобразие и весь реализм самых его произведений…»[219] А также в письме Августину Петровичу Голицину: «На пароходе я встретил Гоголя, и уже через два дня я смог оценить посредством его довольно трудно воспринимаемого французского его оригинальность, его художественную силу».[220]

В Марселе, выполнив свой долг, рассказав матери Иосифа Вильегорского о последних минутах жизни ее сына, Гоголь взял дилижанс, чтобы постараться забыть о своем горе (забыться) в треволнениях и сюрпризах путешествия. Он отправился в Вену, потом в Ганау, где сблизился с поэтом-славянофилом Языковым, и в Мариенбад, где встретился с Погодиными. Погодин представил Гоголя некому Д. Е. Бенардаки, человеку необычному, который разбогател на хлебных операциях, скупил земли, приобрел заводы, и на то время обладал огромным состоянием, которым он умело распоряжался. Как помещик нового образца и рассудительный предприниматель, он имел обо всем свое четкое представление: об ведении земельного хозяйства, о развитии промышленности, о достоинствах и недостатках крепостного права, о городском управлении, о состоянии судопроизводства, о контроле за кредитом, о развитии народного образования. Слушая эти рассуждения,

содержавшие в себе множество афоризмов и анекдотов, Гоголь открывал для себя жестокий мир конкуренции, выгоды, борьбы за завоевание рынка. Красноречивый и подвижный Бенардаки становился для него воплощением практического ума. Надо, чтобы русский человек будущего был таким, как он, проницательным, решительным (дерзким), неподкупным. Какой прекрасный персонаж для романа может получиться из этого миллионера-христианина![221]

Каждый день после оздоровительных бань Гоголь и Погодин прогуливались за городом, беседуя с ним на разные темы. Но если эти беседы были поучительны, воды Мариенбада никак не улучшили здоровья писателя. Разочарованный, он возвращается в Вену.

Погрузившись снова в этот огромный веселый и многолюдный город, его не трогала ни красота дворцов, ни свежесть окружающих лесов, ни приветливость жителей города. «О, Рим, Рим! – писал он Шевыреву. – Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, – счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость». Его по-прежнему очень беспокоило здоровье. Когда он смотрелся в зеркало, его пугала его худоба. Может, он злоупотребил минеральными водами? «Я сделался похожим на мумию, – уверял он Марию Балабину, – или на старого немецкого профессора с опущенным чулком на ножке, высохшей, как зубочистка».[222] Нет, поразмыслив, заключал он, это скорбь подтачивала его здоровье. У него больше не было сил надеяться, он не чувствовал вкуса к жизни.

«Тяжело очутиться стариком в лета, еще принадлежащие юности, ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бессилие восторга… Душа моя, лишившись всего, что возвышает ее (ужасная утрата!), сохранила одну только печальную способность чувствовать это свое состояние… Прочитавши, изорвите письмо в куски, я об этом вас прошу. Этого никто не должен читать…»

Он не любил австрийцев. Или, скорее, для него были что австрийцы, что немцы (он их сваливал в одну кучу с немцами). Он не мог простить немцам, что он ими восхищался в молодости. «В то время я любил немцев, не зная их, или, может быть, я смешивал немецкую ученость, немецкую философию и литературу с немцами», – писал он.[223] И еще: «Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, – вот и все тут».[224] Если бы только он мог писать!.. Но одиночество его парализует. Ему необходимы дружеская атмосфера, развлечения, путешествия, чтобы разбудить свое заснувшее вдохновение.

«Я… странное дело, – писал он Шевыреву, – я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку… В Вене я скучаю… Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий… Труд мой, который начал, нейдет; а, чувствую, вещь может быть славная… Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге».[225]

Несмотря на свое нежелание браться за перо, он перерабатывает (пересмотрел) в течение этих нескольких месяцев «Тараса Бульбу», «Портрет», «Нос», «Вий», «Ревизора», завершает (дорабатывает) «Тяжбу» и «Лакейскую», собирает разрозненные сцены старого «Владимира третьей степени», начинает «Аннунциату», римскую повесть, которая осталась неоконченной под заголовком «Рим», переделал в третий раз комедию «Гименей», не придя к удовлетворительному результату, и задумал героическую драму, заимствованную из истории запорожских казаков. Из Рима в Мариенбад, из Мариенбада в Вену, различные второстепенные дела отдаляли его от «Мертвых душ». Может, следует вернуться в Италию, чтобы снова пришло вдохновение продолжать свою главную работу? Он искренне так думал, но растущее беспокойство о семье помешало реализовать свою мечту. Мать посылала ему письма, полные отчаяния: средства ее были на исходе, кредиторы грозились продать с молотка Васильевку. Его младшая сестра Ольга плохо слышала и получала весьма посредственное домашнее образование. За год до этого старшая сестра Мария, вдова Трушковского, вбила себе в голову, что она должна снова выйти замуж. Так как ее партия казалась не самой лучшей, Гоголь, в своем репертуаре, написал ей строгое наставление: «Величайшее благоразумие ты теперь должна призвать в помощь и помнить, что ты теперь не девушка и что нужно, чтобы партия была слишком, слишком выгодная, чтобы решиться переменить свое состояние и продать свою свободу».[226]

И своей матери:

«Если это состояние немногим больше ее собственного, то это еще небольшая вещь. Она должна помнить, что от нее пойдут дети, а с ними

тысяча забот и нужд, и чтоб она не вспоминала потом с завистью о своем прежнем бытье. Девушке восемнадцатилетней извинительно предпочесть всему наружность, доброе сердце, чувствительный характер и для него презреть богатство и средства для существования. Но вдове двадцати четырех лет, и притом без большого состояния, непростительно ограничиться только этим».[227]

Получив такой выговор, Марии в конце концов пришлось дать отставку своему поклоннику. Но вдруг она передумает? Такие резкие смены настроения перемены часто происходят у влюбленных. Особенно в провинции, где нечем заняться. Нужно самому заняться несчастной, встряхнуть ее, чтобы отвлечь ее мечты, объяснить ей русским языком, что она никогда не будет так счастлива и покойна, как в Васильевке, в окружении матери и сына, и в воспоминаниях о своем покойном муже. Однако самую серьезную проблему создавали две другие сестры, Елизавета и Анна, которые оканчивали свою учебу в институте. Выйдя из этого учебного заведения, они будут предоставлены самим себе. Хочешь – не хочешь, Гоголь должен был вернуться в Россию, чтобы заняться устройством их будущей судьбы. Достаточно им будет и недолгого пребывания там. А потом обратно, в Италию. Несмотря на то, что он уже решил отправляться в путь, он все время откладывал свое отправление. Остановившись в трактире «Zum rumischen Kaiser» («У проклятого кайзера»), в комнате 27, он ждал прибытия Погодиных, которые пообещали заехать в Вену до того, как отправиться в Москву. Ему казалось, что с друзьями возвращение на родину будет менее болезненным.

«Неужели я еду в Россию? – писал он Шевыреву. – Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непременно должен ехать: выпуск сестер из института, которых я должен строить судьбу и чего нет возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Но как только обделаю свои дела… то в феврале уже полечу в Рим».[228]

И сестрам Анне и Елизавете: «Я для вас решаюсь ехать в Петербург. Знаете ли вы, какую я жертву делаю? Знаете ли, что я за миллионы не согласился бы приехать в Петербург, если бы не вы?»[229]

Он предусмотрительно не сообщал матери даже приблизительного срока своего прибытия. Даже на расстоянии она вызывала у него раздражение. Глубоко ее уважая, жалея, обвиняя себя в том, что он плохой сын, так как не смог оградить ее от материальных нужд, он отпускал

колкости в письмах к ней, словно хотел отомстить ей за сильную любовь к нему. Как она осмелилась ему написать, что хвалилась его талантом соседям? И он ей приказывает никогда больше не пускаться в литературные обсуждения, а только отвечать:

«Я не могу быть судьею его сочинений, мои суждения всегда будут пристрастны, потому что я его мать, но я могу сказать только, что он добрый, меня любящий сын, и с меня этого довольно».[230]

Надеялась сделать приятное, сообщая, что она приказала сшить для него рубашки? Он поражается этой глупой затее: «Напрасно вы нашили мне рубашек. Я их, без всякого сомнения, не могу носить и не буду, потому что они сшиты не так, как я привык. Лучше обождать, покамест вы будете иметь на образец мою рубашку, на манер которой вы можете уже заказать мне сшить».[231]

Вообразила о «прекрасной партии» для Анны по выходу из Института? Он ее жестко урезонивает: «Партии составляются между равными, и нужно быть для этого порядочным дураком или слишком оригинальным человеком, чтобы вдруг идти наперекор своим родным, своим выгодам и отношениям в свете и избрать небогатую, неизвестную девушку; или нужно, чтобы для этого девушка была решительно собрание всех совершенств, прелестей и ума, чего натурально не может представить наша Аничка, впрочем, добрая девушка, могущая быть хорошею женою».[232]

А также, говоря о болезненной застенчивости его сестер, которую мать объясняла тем, что их слишком грубо вырвали из родного дома: «Как можно так несправедливо думать! Напротив, это одно средство, которое было причиною уменьшения их робости. Они, приехавши из деревни, были совершенные дикарки, от которых посторонний человек не мог добиться слова. Теперь по крайней мере они могут разинуть рот и произнести несколько удовлетворительных слов».[233]

Совершенно очевидно, что Мария Ивановна, несмотря на свои сорок восемь лет, была в представлении Гоголя неразумным дитем, постоянно что-то воображающим и не способным сделать самостоятельно и шага. Анна, Елизавета, Ольга, Мария были еще более беспомощными перед стихийным потоком действительности. Только он один мог спасти их от кораблекрушения. Пять женщин на руках! И ответственность за создание великого произведения. Он и спаситель, и создатель. Будет ли ему по силам эта двойная задача, возложенная на него Богом? Сколько бы он ни подчитывал и ни пересчитывал свои деньги, которые у него были в

наличности, и те, которые он мог бы получить от переиздания той или иной книги, все равно этой суммы не было достаточно, чтобы, по его расчетам, она хватила для обустройства сестер.

Прибытие М. П. Погодина немного рассеяло его беспокойства. Слава богу, у него были хорошие друзья. Что бы ни случилось, они его не оставят в беде. Они сложились, чтобы купить два дилижанса. В один сели госпожа Погодина и госпожа Шевырева, которые тоже были проездом в Вене, в другой сели Погодин и Гоголь. Они тронулись в путь 22 сентября 1839 года поздно ночью.[234]

Шесть дней спустя, после того, как они пересекли Олмюц и Краков, путешественники прибыли в Варшаву. Оттуда Гоголь пишет В. А. Жуковскому:

«Выпуск моих сестер требует непременного и личного моего присутствия… Одно меня тревожит теперь. Мне нужно на их экипировку, на зарплату за музыку учителям во все время их пребывания там и пр., и пр. около 5000 рублей, и, признаюсь, это на меня навело совершенный столбняк… Я еще принужден просить вас. Может быть, каким-нибудь образом государыня, на счет которой они воспитывались, что-нибудь стряхнет на них от благодетельной руки своей. Знаю, бесстыдно и бессовестно с моей стороны просить еще ту, которая уже так много удручила мое сердце бессилием выразить благодарность мою. Но я не нахожу, не знаю, не вижу, не могу придумать средств… и чувствую, что меня грызла бы совесть за то, что я не был бессовестным».[235]

На следующий день, 17 сентября 1839 года (по юлианскому календарю), путники отправились в Бялысток, также на двух экипажах, куда добрались в тот же вечер. 23 сентября они достигли Смоленска. А 26-го, с наступлением ночи, забрызганные грязью экипажи остановились перед шлагбаумом, который обозначал въезд в Москву. Сигнальный фонарь с еле тлеющим огнем освещал полосатую будку, часовой с алебардой, лужа. Русская речь слышится со всех сторон. Ах, где теперь Рим с его голубым небом?

Глава IV
Возвращение в Россию

В Москве Гоголь остановился у Погодиных, которые жили в просторном белом доме, в глубине огромного сада, на окраине Девичья поля. Его комната на третьем этаже была огромна, удобно обставлена, с пятью окнами, выходящими на улицу. В тот же вечер он написал матери. Но не для того, чтобы сообщить ей о своем приезде. Он слишком боялся, что, узнав об этом, она захочет приехать к нему. Любя ее, он, тем не менее, не слишком спешил ее увидеть. Он знал, что с ней он опять попадет в атмосферу денежных проблем, провинциальных толков, глупого обожания, абсурдных планов женитьбы. Чтобы охладить ее пыл, он прибегает в который раз к мистификации. Если другие облегчают себе душу, говоря правду, то он дышал свободнее, когда вводил в заблуждение. Вместо того, чтобы указать в письме город отправления – Москва, он датирует его 26 сентябрем 1839 года и подписывает: город Триест. И его перо залетало по бумаге:

«На счет моей поездки в Россию я еще ничего решительно не предпринимал. Я живу в Триесте, где начал морские ванны, которые мне стали было делать пользу, но я должен их прекратить, потому что поздно начал. Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца, и то если найду для этого удобный случай, и если эта поездка меня не разорит… Если бы не обязанность моя быть при выпуске сестер и устроить по возможности лучше судьбу их, то я бы не сделал подобного дурачества и не рисковал бы так своим здоровьем, за что вы, без сомнения, как благоразумная мать, меня первые станете укорять… Итак, я не хочу вас льстить напрасною надеждою. Может быть, увидимся нынешнюю зиму; может быть, нет. Если ж увидимся, то не пеняйте, что на короткое время. Завтра отправляюсь в Вену, чтобы быть поближе к вам».

Дойдя до этого места, он попадает в затруднительное положение, какой точный адрес указать Марии Ивановне для ответа? А! Адрес Погодина, черт возьми! Раз допустив ложь, следует другая, словно ее тащат за веревку:

«Письма адресуйте так: в Москву, на имя профессора Моск. университета Погодина, на Девичьем Поле. Не примите этого адреса в том смысле, чтобы я скоро был в Москве; но это делается для того, чтобы ваши письма дошли до меня вернее: они будут доставлены из Москвы с

казенным курьером».

Ну а теперь, чтобы придать правдоподобия общей картине, надо было добавить описание города, в котором, он предполагаемо находился: «Триест – кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят почти по-русски – языком очень близким к нашему малороссийскому. Прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем. Жаль, что я начал поздно мои купания. Но на следующий год постараюсь вознаградить. Прощайте, бесценная маминька. Будьте здоровы и пишите. Теперь вы можете писать чаще, письма ваши скорее получатся мною. Много вас любящий и признательный вам сын ваш Николай».[236]

Несколькими неделями позже, находясь все также в Москве, он послал матери новое письмо в этот раз будто бы из Вены, в котором сообщил о своем отправлении в Россию. По его расчетам, он намеревался увидеть ее не раньше, чем через два месяца, так как его путешествие скорее всего продлится долго. Но она уже может переслать на адрес Погодина те рубашки, которые ему сшили по ее заказу: «Если они не будут так годиться, то я буду их надевать по ночам, что мне необходимо».[237]

Безусловно, было опасно так долго водить мать за нос: Мария Ивановна могла чисто случайно узнать, что ее сын уже давно вернулся на родину. Хотя если бы его обман и был бы раскрыт, то он тут же бы придумал себе новое оправдание. Его мать была очень легковерной, и у нее было такое богатое воображение! На всякий случай, однако, он попросил своих друзей держать свой приезд в секрете. «Я в Москве, – писал он Плетневу. – Покамест не сказывайте об этом никому».

И продолжал, высказывая свои соболезнования по поводу недавней кончины жены Плетнева:

«Я услышал и горевал о вашей утрате… Знаете ли, что я предчувствовал это. И когда я прощался с вами, мне что-то смутно говорило, что я увижу вас в другой раз уже вдовцом… и я не знаю, от чего во мне поселился теперь дар пророчества. Но одного я никак не мог предчувствовать – смерти Пушкина, и я расстался с ним, как будто бы разлучаясь на два *дни*. Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург – и Пушкина нет. Я увижу вас – и Пушкина нет».[238]

Да, отсутствие Пушкина здесь, где он жил, чувствовалось сильнее, чем в Италии, куда ему так и не удалось попасть. Снова встречаясь с их общими друзьями, Гоголь каждый раз ощущал пустоту. Он находился,

словно перед игрой в складывающиеся картинки, в которой так и не хватало основной детали. Его друзья волновались по поводу его перемен настроения. Невозможно знать за десять минут, будет ли он весел и красноречив или же замкнут, молчалив, раздражителен. Он не любил никаких новых знакомств, особенно хмурился, если это были незнакомые дамы. Однако же Погодины окружили своего гостя необыкновенной заботой и вниманием, каких можно только пожелать. Если бы они могли, они бы округлили углы своей мебели, только чтобы, не дай бог, он не поранился, проходя мимо.

По утрам он никогда не выходил из своей комнаты, писал, читал или вязал шарф для успокоения нервов. В час обеда он спускался с отдохнувшей физиономией, в хорошем расположении духа и осведомлялся насчет меню. Если были макароны, то кроме него никто не допускался к их приготовлению, и вся семья с умилением смотрела на этот священный ритуал. Затем он поднимался к себе, чтобы немного вздремнуть. В семь вечера он опять спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады комнат первого этажа, включая те, в которых работал Погодин, и начиналось хождение. В двух крайних комнатах по обеим сторонам огромного здания хозяйка дома ставила на круглые столики по графину с холодной водой. Каждые десять минут он останавливался и выпивал один стакан. Погодина это хождение никак не беспокоило, он преспокойно сидел и писал. Что касается сына Погодина, еще ребенка, то он, замерев, следил за странной личностью, сухощавой и с крючковатым носом, птичья тень которой летала на фоне трепещущего света свечи, спешила непонятно куда, проскакивала по карнизам.

«Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки… Закричит, бывало, горничной: „Груша, а Груша, подай-ка теплый платок: тальянец (так она называла Гоголя) столько ветру напустил, так страсть“. – „Не сердись, старая, – скажет добродушно Гоголь, – графин кончу, и баста“. Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов: синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор».[239]

Действительно, Гоголь, «итальянец», испытывал болезненный страх в

обществе. Он жаждал комплиментов и выходил из себя, когда люди не скупились на похвалы. Но, несмотря на указания хранить молчание, слухи о его прибытии очень быстро разлетелись по городу. Первым, кто его увидел после того, как он остановился у Погодиных, был актер Щепкин, его безоговорочный почитатель, который с огромным успехом в течение многих месяцев играл в «Ревизоре». Вместе они отправились 2 октября к Сергею Тимофеевичу Аксакову, который сам только что прибыл в Москву. Все Аксаковы, и стар и млад, относились с обожанием, сравни религиозному, к тому, кого восторженный Сергей Тимофеевич наградил титулом «русского Гомера». Услышав имя посетителя, все члены семьи, собравшиеся за столом, поднялись в радостном изумлении. Его не ждали к обеду. Ему тотчас освободили место. Ему подали лучшие блюда. Все взгляды были устремлены на него в немом почитании. Выражая свое восхищение, Аксаков позже дает Гоголю следующее лестное описание его портрета:

«Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то не внешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.

Он часто шутил в то время, и его шутки, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал; сам же он всегда шутил, не улыбаясь».[240]

Однако, когда старший сын Аксакова, Константин, спросил, привез ли Гоголь что-нибудь из написанного в Италии, он услышал резкое: «Ничего».

Жена Панаева,[241] в первый раз встретившись с таким великим писателем, нашла его «сердитым и капризным». Он повадился почти каждый день приходить обедать у Аксаковых, которые принимали его, как мессию. Он председательствовал на обеде, восседая в вольтеровском кресле.

«У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел

другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывал на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка… Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола».[242]

Что касается мужа рассказчицы, то он также описал свои впечатления:

«Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на щегольство, волосы были завиты и клок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора „Миргорода“, и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие».[243]

И еще:

«Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека…

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках, с ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма».[244]

Наконец С. Т. Аксаков вырвал у Гоголя обещание прочитать у него одно из его последних сочинений 14 октября после обеда, на который будут приглашены несколько друзей. В назначенный день гости, среди которых были П. В. Нащокин, И. И. Панаев, М. С. Щепкин, собрались в салоне, ожидая Гоголя в сладостном нетерпении. Но проходили минуты, началось волнение на кухне, хозяйка дома краснела, бледнела, украдкой поглядывала на дверь, а Гоголя все не было. Он пришел только в исходе четвертого, извинился, как обычно, за небольшое опоздание. Сел, по установившемуся обычаю, на почетное место за столом в вольтеровское кресло, позволил, чтобы его обслужили первым, выпил, не моргнув, вино, специально поставленное для него, из стакана розового хрусталя,

послушал, скучая, разговоры, во время которых не проронил ни слова. После обеда он лег на диван в кабинете Аксакова, стал опускать голову и задремал. Тогда хозяин дома, шагая на цыпочках, увел гостей в гостиную и молил всех говорить тише. Дамы переживали: проснется ли он в благодушном настроении или мрачном? Будет ли читать или нет? Аксаков следил за спящим в щелку двери. Наконец Гоголь зевнул, потянулся, поднялся и присоединился к остальным.

«Кажется, я вздремнул немного?» – спросил Гоголь, зевая…

После некоторых колебаний Сергей Тимофеевич осмелился пролепетать:

«А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание… Вы не забыли его?»

«Какое обещание? – сделал удивленное лицо Гоголь. – Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно; вы меня лучше уж избавьте от этого…»

Но Сергей Тимофеевич стал упрашивать его с такой дрожью в голосе, что Гоголь уступил. У всех засияли лица. Дамы зашептались: «Гоголь будет читать! Гоголь будет читать!» Главный герой вечера нехотя сел на диван перед овальным столом, мрачно всех оглядел, и вдруг рыгнул раз, другой, третий… Дамы вздрогнули, мужчины смущенно отвернулись.

«Что это у меня? точно отрыжка! – пробормотал Гоголь. – Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвинья! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь…»

И заикал снова, к всеобщему ужасу, затем вынул рукопись из заднего кармана, открыл ее и продолжил, читать, отслеживая глазами текст:

«Вот оно! Еще! Еще раз! Прочитать еще „Северную пчелу“, что там такое?..»

Тут только слушатели догадались, что эта отрыжка и эти слова были началом еще не опубликованной пьесы и все облегченно вздохнули, обменявшись восхищенными взглядами. В конце чтения присутствующие разразились бурными аплодисментами.[245]

Удовлетворенный приемом этого отрывка из комедии «Тяжба», Гоголь сообщил, что он прочтет первую главу из «Мертвых душ».

Восторг был неимоверный. Конечно, талант автора превосходил его способности чтеца, но фраза за фразой, и перед ошеломленными слушателями открывался одновременно правдивый и гротескный, будничный и фантастический мир.

«После чтения, – напишет позже И. И. Панаев – С. Т. Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и

значительно посматривал на всех нас… „Гениально, гениально!“ – повторял он. Глазки Константина Аксакова (сына Сергея Тимофеевича) сверкали: он ударил кулаком о стол и говорил: – „Гомерическая сила! гомерическая!“ Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях».[246]

Однако друзья Гоголя мечтали для него еще более явного признания. Как только он приехал, они начали уговаривать его посмотреть «Ревизора» в Большом театре. Актеры, говорили они, обижались на него, что, находясь в Москве, он даже не соблаговолит взглянуть, как они исполняют его пьесу. Дирекция театра объявила, что назначит пьесу на любой удобный ему день. Мог ли он отказаться после стольких уговоров, не сойдя за гордеца? Он уступил, несмотря на свое нежелание, и отправился в театр вечером 17 октября 1839 года, надеясь остаться незамеченным.

Но уже вся Москва знала, что автор будет на представлении. Задолго до поднятия занавеса огромный белый с золотом зал был забит от первых рядов партера до галерки. Гоголь тайком проник в бенуар Чертковых, первый слева, и вжался в свое кресло, спрятался в тени, за спинами других зрителей. В соседнем бенуаре сидел С. Т. Аксаков с семейством. Спектакль начался в возбужденной атмосфере. Зная, что на спектакле будет присутствовать Гоголь, актеры старались превзойти себя. Щепкин в роли городничего и Самарин в роли Хлестакова, выделяли каждую свою реплику. Публика смеялась и рукоплескала. Но как раз это всеобщее, шумное веселье и смущало Гоголя. Он словно присутствовал на водевиле. Его успех основывался на каком-то недоразумении. Он и сам казался недоразумением. Случайно очутившимся странником в современной литературе. Чужой среди людей. Зачем он пришел?

Во время первого и второго антрактов Гоголь весь сжимался, чтобы его не заметили зрители, которые повсюду его искали. Но по окончании третьего акта на него указал критик Павлов, обнаруживший его в бенуаре Чертковых.[247] Зал взорвался от криков: «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков. Перед такой толпой, чьи овации доходили до исступления, Гоголя охватила паника. Он никогда не мог переносить вида толпы: у него начинала кружиться голова, как если бы он смотрел на штормовое море с высокого мыса. Безусловно, всеобщее почитание было ему жизненно необходимо. Но каждый раз, когда оно себя проявляло, это происходило вопреки его представлению. Он хотел вовсе иной формы признания и любви. Комплименты, которыми его осыпали, казались ему слишком слащавыми или слишком банальными. Их говорили или слишком рано, или слишком поздно. Они часто были не к месту. Их

расточали по поводу произведения, которое он больше не любил. И ему становилось от этого плохо. Хватит! Хватит! Рев толпы становился все громче и громче.

Хлопали руки, открывались рты на фоне общей розовой массы лиц. Дрожа от страха, Гоголь выскользнул из ложи. Аксаков его поймал и упрашивал показаться публике. Он отказался. Это было все равно, что просить его броситься в клокочущие волны. В то время, как он погружался в темноту ночи, из-за занавеса вышел актер и объявил, что «автора нет в театре». Гул неодобрения пробежал по залу. Еще никогда ни один автор так не пренебрегал восхищением публики и старанием актеров. Какая пощечина для тех и других!

«Ваш Гоголь уж слишком важничает! – сказал Павлов Константину Аксакову. – Вы его избаловали!»[248]

На следующий день Гоголь, осознав, что обидел многих своих почитателей, написал извинительное письмо директору театра, Загоскину. Это письмо, которое он просил огласить, содержало одинаково путаные извинения и оправдания. Если он убежал со спектакля, говорил он, так это потому, что несколькими часами раньше он получил огорчительное письмо от матери. Таким образом, несмотря на овации публики, он никак не мог выйти на сцену триумфатором. Погодин и Аксаков, прочитав его объяснительное письмо, посчитали настолько неправдоподобным, что стали отговаривать его отсылать его. Что это могло быть за таинственное сообщение матери, которое не помешало ему, несмотря на все его расстройство, пойти в театр, но из-за которого он не мог ответить на аплодисменты зрителей? Никто не поверит в его историю. Он и сам в нее не верил. Он неохотно в этом признался и отказался от идеи посылать письмо. Впрочем, мысли его уже были далеко от Москвы.

Следуя своему плану, он должен был ехать за сестрами в Санкт-Петербург. У него не хватало денег. По счастливой случайности, Аксаков тоже собирался ехать в столицу, чтобы отвезти младшего четырнадцатилетнего сына Мишу в Пажеский корпус его величества. Вера, старшая дочь, поедет вместе с ними. Ну а если в коляске хватает места для троих, то хватит и для четверых!

Они выехали 26 октября 1839 года, в четверг. Аксаков взял «особый дилижанс», разделенный на два купе. В заднее купе сели Аксаков с Верой, в переднее – Гоголь и Миша. Между купе была перегородка с двумя окошками в раздвижной, деревянной рамке, которую можно было поднимать и опускать, что позволяло путникам переговариваться между собой. В пути, дрожа от холода, Гоголь закутался до ушей в пальто, надел

поверх сапогов шерстяные чулки и поверх всего этого теплые медвежьи унты и сидел, съежившись, в углу. Большую часть пути он читал пьесы Шекспира на французском языке или дремал, облокотившись на свой дорожный мешок. Этот мешок, с которым он не расставался даже на станциях, содержал все самое необходимое.

«В этом огромном мешке, – напишет позже С. Т. Аксаков, – находились принадлежности туалета, какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей, наконец, несколько книг…» Иногда он открывал внутреннее окошко и делился с Аксаковым своими размышлениями о том, как надо играть «Ревизора», увлеченно говорил о божественной значимости искусства и красотах Италии. В гостинице города Торжок путешественникам подали дюжину пожарских котлет, попробовав которые, путники обнаружили в них довольно длинные белокурые волосы. Пока искали полового для объяснений, Гоголь пророческим тоном проронил:

«Я знаю, что он скажет: „Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда придти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух…“»

Пришел половой и повторил почти слово в слово небольшую речь Гоголя. Все прыснули от смеха, и смущенный половой удалился. Вера так смеялась, что ей чуть не сделалось дурно.

На каждой станции Гоголь, таким образом, находил повод поразвлечься. Он болтал с половыми, другими путешественниками, кучерами. Медленная однообразная езда благодетельно действовало на его характер. Это та самая дорога, длинная и прямая, из Москвы в Санкт-Петербург, по которой часто ездил Пушкин и которую он воспел в стихах. Позвякивали бубенчики, через определенные промежутки времени перед глазами мелькали полосатые межевые столбы. За запотевшими стеклами проплывали влажные серые равнины, деревни с избами, увязнувшими в осенней густой грязи, ребятишки в лохмотьях, играющие вокруг навозной кучи, телега, а в ней мужик с лохматой бородой, и снова, покуда хватит глаз, поля, покрытые пеленой тумана. И так пять долгих дней.

30 октября, в восемь часов вечера, дилижанс наконец въехал на улицы столицы, где там и тут, выбиваясь из последних сил, светили фонари. Гоголь распрощался с Аксаковым, захватил свой дорожный мешок и отправился к Плетневу, который вызвался его приютить. Очень скоро он переехал на служебную квартиру к В. А. Жуковскому, которую тот занимал в Зимнем дворце.

Эта квартира обладала торжественной и холодной роскошью музея. К ней вела мраморная лестница со статуями по обеим сторонам. На лестничных площадках стояли лакеи в ливреях. В комнатах с высокими потолками, гости инстинктивно ходили на цыпочках и говорили тихо. Жизнь Жуковского была на три четверти поглощена государственными обязательствами. Будучи наставником наследника трона, он присутствовал на всех праздничных ужинах, на всех балах, на всех церемониях. Но как только у него находилась свободная минутка, он надевал тапочки, переодевался в китайский халат и садился за рабочий стол, чтобы нацарапать наспех несколько стихов.

В день прибытия Гоголя он написал в своем дневнике: «Гоголь остановился у меня». Рядом он записал о своих встречах с великим князем Константином Николаевичем, о чашке чая с наследником, про обед у великой княгини… Несмотря на теплый прием хозяина, Гоголь под золочеными лепными украшениями Зимнего дворца чувствовал себя не в своей тарелке. Только устроившись, он побежал в Институт, чтобы повидать сестер.

В своих коричневых платьях они были похожи на двух монашек. После шести с половиной лет, проведенных в институте, не выходя из него даже на каникулы, у них не было ни малейшего понятия о внешнем мире, и их парализовала одна только мысль о том, что им придется переступить порог этого заведения. Их миром были классы, двор, общежитие, подружки, учителя, надзиратели… Анна, которой было восемнадцать, была еще более скованной, чем шестнадцатилетняя Лиза. Обе боялись новых лиц, шума улицы, мышей, темноты, грозы. Вначале они обрадовались, увидев брата, но затем их радость сменилась беспокойством, когда он обрисовал им жизнь, которая их ожидает. На последние деньги он купил им платья, белье, расчески, туфли, бегая по магазинам, выбирая все по своему вкусу, ошибаясь, обменивая одну вещь на другую, проклиная женскую моду, запутавшись среди тканей и лент. Наконец он вытащил двух девушек из их пристанища и поселил их до отъезда в Москву у своей подруги, княгини Елизаветы Петровны Репниной, урожденной Балабиной.

В этом незнакомом доме Лиза и Анна чувствовали себя окончательно потерянными. Прижимаясь одна к другой, они закатывали в страхе глаза, ни с кем не разговаривали, отказывались выходить на улицу и почти ничего не ели.

«Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, – писала позже Елизавета, – и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от

голода, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучения – я ничего не ем, тем более что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блюдо; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы».[249]

Лиза, младшая из двух сестер, с милым личиком, была более подвижной, а старшая, Анна, с длинным острым носом, низким лбом и маленькими птичьими глазами, была вылитым портретом брата. Когда она неожиданно входила в комнату, можно было подумать, что это Гоголь, переодетый в женщину. Одна и другая, разодетые в пух и прах, произвели на Аксакова удручающее впечатление: «…в новых длинных платьях, они совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя».[250]

В Санкт-Петербурге Гоголь надеялся, что Жуковский получит для него небольшую денежную субсидию от императрицы. Но императрица плохо себя чувствовала – не могло быть и речи о том, чтобы ее сейчас беспокоить. Видя отчаяние своего «гениального друга», Аксаков не замедлил предложить ему две тысячи рублей, которые он сам занял у богача Бенардаки. Такое великодушие потрясло Гоголя, он крепко сжал другу руки и долго молча с нежностью смотрел ему в глаза. Теперь он сможет поехать в Москву с сестрами. Однако, расплатившись с долгами, у него не осталось достаточно денег на дорогу. Хочешь, не хочешь, придется ждать Аксакова, чтобы воспользоваться его экипажем. Но Аксаков еще не уладил свои собственные дела и пока совсем не спешил уезжать из Санкт-Петербурга.

Задержка отъезда выводила Гоголя из себя, он скучал и проклинал холод в своей огромной, плохо отапливаемой комнате Зимнего дворца. Аксаков его однажды застал в таком наряде: с головы до ног замотанный платками, а на голове малиновый кокошник, какой носят в Финляндии. У него было отвратительное настроение, вдохновение не приходило, жгло горло, замучил насморк, сестры были плохо воспитаны, он очень нуждался в деньгах, ему хотелось умереть, он мечтал о Риме… «Я не понимаю, что со мною делается, писал он Погодину. Как пошла моя жизнь в Петербурге! Ни о чем не могу думать, ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени, – ужасно! А все виною Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же меня и посадил. Мне ужасно хотелось

возвратиться с ним вместе в Москву. Я же так полюбил его истинно душою. Притом для моих сестер компания и вся нужная прислуга; словом, все заставляло меня дожидаться. Он меня все обнадеживал скорым выездом – через неделю, через неделю; а между тем уже месяц… У меня же все готово совершенно; сестры одеты и упакованы как следует. Ах, тоска! Я уже успел один раз заболеть. Простудил горло, и зубы, и щеки… Я здесь не на месте. О, боже, боже! Когда я выеду из этого Петербурга!»[251]

Чтобы убить время, он наносил визиты некоторым своим старым друзьям. Так, он прочитал у Прокоповича четыре главы «Мертвых душ». У Комарова познакомился с молодым критиком Белинским, который восхищался Гоголем, но, встретившись с ним, не проявил к нему особой симпатии, словно Гоголь как человек уступал в сравнении с Гоголем-писателем. Как-то вечером друзья хотели утащить его посмотреть «Ревизора», исполняемого труппой Санкт-Петербурга. Он с ужасом отказался: ему хватило московского спектакля.

Наконец Аксаков, определив сына Мишу в Пажеский корпус, сообщил, что готов отправиться в путь. На этот раз он нанял два дилижанса, так как пассажиров было больше. Один на четыре места, куда он сел сам с дочерью Верой, Анной и Лизой. В другом, на два места, разместились Гоголь и некий Васской, друг семьи. Впрочем, Гоголь часто менялся с Аксаковым, чтобы присоединиться к сестрам. Им действительно нужен был присмотр. Капризные и глупые, они в страхе кричали от каждого толчка, дрожали от холода или жаловались, что слишком закутаны, плакали от усталости, их тошнило, потом, забыв о тошноте, ссорились по пустякам. На станциях они фыркали при виде кушаний, потому что они привыкли к другой еде в своем Патриотическом институте. Покладистый Аксаков подавлял свой гнев и старался не смотреть на тех, кого он иронично прозвал «патриотками». Гоголь с помощью Веры изо всех сил старался вразумить их между взрывами истерики. «Жалко и смешно было смотреть на Гоголя, – напишет Аксаков. – Он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не вовремя и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека».[252]

Выехав 17 декабря 1839 года из Санкт-Петербурга, путешественники прибыли 21 декабря в Москву. Писатель с сестрами переночевали у Аксакова, затем поселились у Погодина. Гоголь хотел доверить Анну и Лизу какому-нибудь надежному человеку, который сможет обучить их

поведению в свете, а затем поехать со спокойной совестью в Италию. Увы! Кто захочет взять на себя ответственность за двух дикарок? Пока он жил с ними очень комфортно в комнатах, предоставленных в их распоряжение на втором этаже красивого дома на Девичьем поле. Разве это не его судьба жить у других, путешествовать за счет других, есть за чужим столом? Нахлебник, вот кто он! Но, отказываясь писать ради денег, он сохранял свободу своего гения. Все, даже самолюбие он пожертвовал его величеству – искусству. Если бы только он мог спокойно закончить «Мертвые души»!.. Его отвлекали души живые. Он, который обычно так раздражителен, был бесконечно терпелив с Анной и Лизой. Он заставлял их делать упражнения по-русскому или арифметике, советовал заниматься вышиванием и поощрял их конфетами, орехами, сливами в сахаре, то дарил им флакон или необходимые атрибуты для шитья. Иногда они входили к нему без предупреждения, открывали ящики, перебирали его рукописи. Хотя их непосредственность действовала ему на нервы, он был с ними снисходительнен, относясь к их действиям полусердито-полуласково. Ночью Лиза от страха не могла сомкнуть глаз, он садился рядом с ней на кровати и ждал, пока она не заснет.

Чтобы формировать ум и вкусы молодых девушек, он иногда спускался с ними в рабочий кабинет Погодина, просторную залу в ротонде, в которую свет проникал через стеклянный купол. Вдоль стен с пола до потолка лежали древние книги в драгоценных переплетах. Коллекции древних рукописей находились или на полках, или были разложены на столах. Полушепотом Гоголь разъяснял двум оторопелым девицам, какую драгоценность они представляют. Он водил их также на литературные встречи к Хомяковым, или Елагиным, Киреевским.[253] Сестры смертельно скучали, разодетые в неизменно белые муслиновые платья, подаренные братом. Глядя на них, неловких, неуклюжих, с отсутствующим взглядом, Гоголь спрашивал себя, какой мужчина в обществе лучших представителей интеллигенции может заинтересоваться ими.

«Они будут жить в Москве, – писал он Данилевскому, – где-нибудь я их пристрою, хоть у кого-нибудь из моих знакомых, но лишь бы они не знали и не видели своего дома, где они пропадут совершенно. Ты знаешь, что маменька моя глядит и не видит, что она делает то, что никак не воображает делать, и, думая об их счастии, сделает их несчастными и потом всю вину сложит на Бога, говоря, что так Богу было угодно попустить. Об партии нечего и думать в наших местах, и с нашим несчастным состоянием иметь подобные надежды было бы странно, тогда как здесь они могут скорее на это надеяться. По крайней мере, скорее

здесь, чем где-либо, может попасться порядочный человек и притом менее руководимый расчетами… Не знаю и не могу постичь, какими средствами помочь нашим обстоятельствам хозяйственным, которым грозит совершенное разорение. Тем более оно изумительно, что имение наше во всяком отношении можно назвать хорошим. Мужики богаты; земли довольно; в год четыре ярмарки, из которых скотная, в марте, одна из важнейших в нашей губернии… Нужно же именно так распорядиться, чтобы при этом расстроить в такой степени».[254]

Возложив на мать, таким образом, вину за разорение семьи, он и минуты не подумал, чтобы поехать в имение и поправить положение дел. Его кредо было критиковать, а не действовать. К тому же он не мог быть сразу в нескольких местах. Он теперь вернулся ко всем своим привычкам, живя у Погодиных, обедая минимум три раза в неделю у Аксаковых. Чаще всего он приходил к последним. Без предупреждения, приносил пачку макарон и готовил их, добавляя масло, соль, перец, сыр пармезан, перед восхищенными гостями. Однажды он очередной раз приехал к Аксаковым, при этом сообщив им, что позволил себе пригласить также графа Владимира Соллогуба. Несмотря на свое неизменное радушие, хозяину дома это совсем не понравилось. Он не испытывал симпатии к Соллогубу и посчитал этот поступок бесцеремонным. «Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка, пригласил его отобедать у нас».[255] Из любви к Гоголю он принял Соллогуба и, как обычно, все ели макароны.

Однако макароны, даже приготовленные по-итальянски, не могли заменить Италии. Все больше и больше Гоголь мечтал о своем единственном, незаменимом Риме. «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вон в Рим, да отдохнет душа моя! Скорее, скорее! Я погибну».[256]

Но где отыскать деньги необходимые для путешествия? Самым простым было напечатать что-нибудь. Но у Гоголя в ящиках были одни только отрывки произведений, над которыми он работал, и расставаться с ними он не хотел. Он занялся тогда пересмотром своих старых работ в расчете на издание полного собрания сочинений. Петербургский издатель-книгопродавец Смирдин, первый, с которым Гоголь попытался договориться, предложил ему ничтожно малую сумму. Гоголь тогда обращается к московским книгопродавцам, которые также, зная об его стесненном положении, предлагают ему неприемлемые условия. Ответ был прост: чтобы достать деньги, чтобы обеспечить себе и своей семье

будущее, он должен закончить «Мертвые души»; чтобы закончить «Мертвые души», надо ехать в Рим; чтобы поехать в Рим, надо найти любым способом четыре тысячи рублей; и чтобы получить четыре тысячи рублей, он может рассчитывать только на друзей. Если верят в его талант, они не откажутся создать что-то вроде общества содействия, и он единственный, кому надо будет помочь. Эта идея вдохновила его, и 4 января 1890 года он написал Жуковскому, описав ему свою ситуацию в самых черных красках:

«Все идет плохо. Бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, продают с молотка, и где ей придется приклонить голову, я не знаю; предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рушилось; я сам нахожусь в ужасно бесчувственном, окаменевшем состоянии, в каком никогда себя не помню. Как-нибудь на год, ехать скорее как можно в Рим, где убитая душа воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму и весну, приняться горячо за работу и, если можно, кончить роман („Мертвые души“) в один год.

Но как достать на это средство и денег? Я придумал вот что: сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие; составьте сумму в 4000 р. и дайте мне взаймы на год. Через год, я даю вам слово, если только не обманут мои силы и я не умру, выплатить вам ее с процентами».

Получив такое прошение, Жуковский вместо того, чтобы призывать друзей, из которых мало кто располагал достаточными средствами, предпочел обратиться напрямую к своему ученику, наследнику, Александру Николаевичу.

«Гоголь в самом стесненном положении, взял из института сестер; а маленькое именьице, какое у него было, пропадает. Ему нужно 4000 рублей. Я хотел бы их собрать, но это не удается. Не можете ли меня ссудить этою суммою? Я перешлю ее Гоголю, а вам заплачу, когда это мне будет удобно, впрочем, в течение года или через год».[257]

После некоторых уговоров наследник согласился выделить деньги из своих собственных средств. Победа! Кольцо бедности вокруг Гоголя ослабляло свою хватку. Теперь, когда он был уверен, что сможет вернуться в Италию, он решает пригласить ненадолго в Москву свою мать. Уезжая, она заберет с собой Анну, которая, определенно, по-прежнему была слишком дика и плохо переносила городской климат. Что касается Лизы, он не оставлял мысль пристроить ее к каким-нибудь добрым людям. Он сначала остановил свой выбор на госпоже Елагиной, племяннице Жуковского. Но та, опасаясь возлагаемой на нее такой ответственности,

написала дяде, прося у него совета. Несмотря на все свое расположение по отношению к автору «Мертвых душ», Жуковский возмущенно ответил: «То, что вы пишете мне о предложении, сделанном вам от Гоголя, сердит меня… Вы не должны соглашаться на такое предложение; это с вашей стороны будет слабость и неблагоразумие. А Гоголь часто капризный эгоист. Погодин требует, чтобы он у него оставил сестер своих; Аксаков то же ему предлагал. Нет, хочет по-своему и без всякой деликатности навязывает их на вас, обремененных семейством и не богатых ни здоровьем, ни средствами для такого затруднительного дела».[258]

Получив такое наставление, госпожа Елагина собрала все свое мужество и отказала Гоголю в его просьбе. Вместе с тем она обратилась к своей подруге, госпоже П. И. Раевской, богатой и благочестивой пятидесятилетней женщине, которая, не имея собственных детей, принимала и заботилась о добропорядочных девушках. И Раевская согласилась взять Лизу на свое попечение. Значит, и с этим делом все сложилось удачно. Елизавета могла переехать на свою новую квартиру, когда брат посчитает нужным. Конечно же, она должна была сначала повидаться с матерью.

Перед Страстной неделей приехала Марья Ивановна Гоголь с младшей, четырнадцатилетней дочерью, Ольгой, и, естественно, также поселилась у Погодиных. Ее старшая дочь Мария осталась в Васильевке с сыном. Гоголь, несомненно, напомнил между прочим друзьям держать в тайне точную дату его приезда в Россию. Не на секунду мать ни в чем не заподозрила своего обожаемого сына. Ее безграничная вера в него действительно могла быть выше любой очевидности. Увидев ее, все поразились ее моложавости и изысканности манер. Она была хороша собой, с правильными чертами лица, живым взглядом, в пятьдесят лет ее можно было бы назвать, «старшей сестрою Гоголя». Когда он помогал ей раздеться, она смотрела на него с горячим обожанием. Он же был к ней исполнен почтения, проявлял себя как ласковый заботливый сын. Но, явно что, он не мог долго выносить ни ее комплименты, ни жалобы. Когда он вечером уходил к друзьям, она оставалась сидеть у самовара с матерью Погодина, и обе женщины горячо обсуждали достоинства их отпрысков.

Если б у Марьи Ивановны возникло хотя бы малейшее сомнение в гениальности ее сына, то та атмосфера подобострастия, царившая вокруг него у Аксаковых и у Погодиных, тут же бы его рассеяла. Она, безусловно, присутствовала на одном из его многочисленных чтений своих произведений в кругу друзей. А именно 17 апреля, накануне Пасхи, он прочитал в кабинете Аксакова четвертую главу «Мертвых душ», где в

первый раз появился скупердяй Плюшкин. Это был триумф. Все присутствующие поздравляли автора и предрекали незаурядное будущее книге, блестящее начало которой было уже положено. Больше всех восхищался молодой писатель-славянофил, Василий Панов, который, казалось, был ошеломлен подобным сверхъестественным откровением. Узнав, что Гоголь рассчитывал скоро отправиться в Италию, он, недолго думая, предложил его сопровождать, взяв на себя половину расходов на дорогу. Гоголь как раз только что опубликовал небольшое объявление в «Московских ведомостях»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем Поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя».

Предложение Василия Панова было как нельзя кстати. Бледный, болезненный, тщедушный юноша, с длинными редкими волосами и наивным близоруким взглядом из-под очков внушал доверие. Гоголь согласился. Они скрепили договор, пойдя в полночь с друзьями смотреть крестный ход из собора Московского Кремля. Огромная толпа, испещренная огоньками тысяч маленьких восковых свечей, собралась на площади, все стояли в благоговейной тишине. Процессия, с сверкающими хоругвями и духовенством в золоченых ризах, медленно двигалась. Радостно звучали хоры певчих. Звонко забили колокола Ивана Великого, подавая сигнал для всеобщей радости христиан. Мелодичный и мощный звон поглотил все пространство. Загудела земля. Другие, легкие и тяжелые бронзовые колокола отовсюду подавали свои голоса. В толпе начались лобызания и объятия, и родственники между собой и незнакомые говорили:

– Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

Гоголь обменялся троекратным пасхальным поцелуем с друзьями. Его сердце прыгало от счастья: Христос воистину воскрес, поскольку путешествие в Италию становилось реальностью.

Горько и долго проплакав, Марья Ивановна уехала домой 27 апреля, увозя с собой Анну и Ольгу. Лизу отдали в надежные руки. И Гоголь занялся подготовкой к отъезду. Все еще озабоченый финансовой стороной пребывания в Италии, он узнал, что некий Кривцов, родственник Репниных, был назначен директором Академии молодых русских художников в Риме. Его осенило. И снова он обращается к В. А. Жуковскому, к его признанному заступнику перед великими мира сего:

«Так как при директорах всегда бывает конференц-секретарь, то

почему не сделаться мне секретарем его?.. А уж для меня-то наверно это будет полезно, потому что тогда мне, может быть, дадут рублей тысячу жалованья. О, сколько бы это удалило от меня черных и смущающих мыслей! И почему же, когда все что-нибудь выигрывают по службе, одному мне, горемыке, отказано!»[259]

В действительности же он совсем не верил в успех этого предприятия, хотя про себя думал, а почему бы и не попробовать? При этом хлопоты Жуковского в расчет им не принимались.

Чтобы поблагодарить всех друзей и знакомых, которые выразили свое доброе отношение к нему во время пребывания в Москве, он решил собрать их 9 мая на день святого Николая. Каждый год он делал все, чтобы отметить таким образом свои именины в веселой компании. В этот раз они договорились с Погодиным устроить праздник в саду, несмотря на то, что на дворе было довольно свежо и мог пойти дождь. Симон, старый повар Погодиных, был явно не способен понять того, что от него требовалось, и тогда решили позвать знаменитого Порфирия, повара в Купеческом клубе в Москве, который прекрасно умел готовить малороссские кушанья. Утром выставили длинные столы на липовой аллее. На кухне Порфирий творил под присмотром Гоголя, который поднимал крышки кастрюль и вдыхал с наслаждением запахи, следил любовным взглядом за приготовлением каплунов и перепелов, важно пробовал соус, откусывал кусочек хрустящего пирога и давал советы. Гости прибыли раньше, чем ожидалось, на лицах было написано предвкушение аппетитного обеда и дружественное расположение. Среди приглашенных был М. С. Щепкин с сыном, князь П. А. Вяземский, П. В. Нащокин, И. В. Киреевский С. П. Шевырев, М. Н. Загоскин, профессор А. О. Армфельд, Н. Ф. Павлов, М. А. Дмитриев, П. М. Садовский, П. Г. Редкин и многие другие. С. Т. Аксаков даже пришел, несмотря на флюс от зубной боли.

Среди гражданских в серых костюмах выделялся силуэт молодого пехотного офицера, «небольшого роста, подтянутого, с краным воротом без отличительных знаков».[260] Это был поэт Михаил Лермонтов. Высланный вторично из Санкт-Петербурга, после дуэли с Эрнестом де Барантом, сыном посла Франции, он остановился в Москве до того, как смог присоединиться к своему полку на Кавказе. Его первое изгнание в 1837 году было по причине стихов на смерть Пушкина, это был настоящий крик ненависти к высшему обществу, которое спровоцировало гибель поэта.[261] Все друзья Пушкина были ему признательны за то, что он так решительно и смело высказал мнение многих. Гоголь, помимо этого,

восхищался им как поэтом и прозаиком. Он недавно прочитал «Герой нашего времени» и видел в этом романе одно из величайших произведений русской литературы. Но сейчас было не до комплиментов. Гости заждались. Все сели за стол. Оживление и шум увеличивались с каждой подачей новых блюд. Каждый гость поочередно предлагал тост. Пили за здоровье виновника торжества, за хозяина дома, за всех русских писателей и за присутствующих в частности.

После обеда гости разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов уступил настойчивым просьбам окружающих прочитать отрывок из своей поэмы «Мцыри», который произвел на всех благоприятное впечатление. Затем Гоголь готовил жженку. Он был очень весел, хлопотлив, но казалось, что воодушевление его было наигранным. Вечером к имениннику приехали несколько дам, чтобы попить чай уже в доме. Гости разошлись чуть раньше полуночи. Гоголь был измученный, но довольный, так как чувствовал, что этим обедом он расплатился со всеми, кто желал ему добра.

День отъезда быстро приближался. Госпожа Аксакова готовила уже провизию в дорогу: паштет, запеченный в тесте, пироги, колбасу, балык… Гоголь же дал указание Лизе купить ему три фунта сахара, который она должна была расколоть на куски, два фунта свечей и фунт кофе.

18 мая 1840 года он сел с Пановым в тарантас, загруженный чемоданами и свертками; Аксаков с сыном, Щепкин с сыном, Погодин с зятем расселись по двум коляскам, чтобы проводить путешественников до первой станции после Москвы. Поднявшись на Поклонную гору, все вышли из экипажей полюбоваться на Москву, которая простиралась по обе стороны реки в необычайном нагромождении крыш, башен и куполов. Гоголь и Панов низко поклонились, прощаясь. Затем отправились в путь. Остановились на станции Перхушково, чтобы подкрепиться перед долгой дорогой. У всех были грустные лица. Погодин старался не глядеть на Гоголя, словно обижался на него за то, что тот любит Италию больше, чем Россию; Аксаков вздыхал, сморкался; у Щепкина в глазах стояли слезы; остальные трое сидели, понуро опустив голову; Гоголь тоже расчувствовался и пообещал вернуться через год и привезти первый том «Мертвых душ», готовый для печати. Солнце садилось за горизонт. Легкий ветерок колыхал ветви берез. Кучер терял терпение. Друзья присели на дорожку в последний раз, чтобы помолчать и собраться с мыслями, как это принято на Руси. Но вот все встали, перекрестились, по-братски обнялись и расцеловались. Гоголь и Панов снова втиснулись в тарантас, который, скрипя и постукивая, стал удаляться по дороге на Варшаву. Когда тарантас

скрылся из виду, провожающие пошли к своим экипажам.

На обратном пути, подняв голову, Аксаков заметил огромные черные тучи, закрывшие полнеба. «Сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемневшее солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца».[262]

Глава V
Второй приезд в Рим

Как обычно, путешествие подействовало на Гоголя умиротворяюще. Он шутил с Пановым, юношеское восхищение которого льстило его самолюбию. Он шутил, подкреплялся на станциях, разворачивая свертки с провизией, заготовленной госпожой Аксаковой, и казалось, что совсем не торопится прибыть к месту назначения. Короткими переездами, через необъятные российские степи, тарантас докатился до Варшавы. Оттуда Гоголь написал Аксакову письмо с просьбой «достать… каких-нибудь докладных записок и дел», необходимых, говорил он, для работы над «Мертвыми душами». Затем, осмотрев город, он отправился вместе с Пановым через Краков в Вену.

В Вене он поселился в гостинице и на следующий же день погрузился в яркую и шумную уличную жизнь. Кафе, театры, парковая эстрада, за всей этой видимой веселостью угадывалось гнетущее давление имперского правительства, возглавляемого Меттернихом. Гоголь, который так обожал Италию, должен был бы тяжело переносить пребывание в гостях у угнетателей итальянского народа. Но у него был совсем не политический ум. Его не возмущали ни деспотизм в белых перчатках, ни слежка полиции, ни полное подчинение прессы власти. Но разве в России не так же обстоят дела? Гоголя все устраивало, лишь бы в стране сохранялся порядок. Он ходил в Оперу слушать лучших итальянских певцов и пил мариенбадскую воду в бутылках, чтобы лечить свой желудок, расстроенный от обильных московских обедов.

«Я здесь один, – писал он Аксакову, – меня не смущает никто. На немцев гляжу, как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают; а если который из них влезет мне на нос, то щелчок – и был таков.

Вена приняла меня царским образом. Только теперь, всего два дня, прекратилась опера, чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога. Я оживу еще».[263]

И Погодину:

«Мариенбадская вода помогла мне удивительно: я начал чувствовать

какую-то бодрость юности, а самое главное – я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы… Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О, какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет… и засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей».[264]

Речь идет, по-видимому, о сюжете малороссийской трагедии «Выбритый ус», судьба которой, впрочем, была печальна. Примерно в это же время он завершил повесть «Шинель», переработал «Тараса Бульбу» и пересмотрел инсценировку итальянской комедии Джованни Жиро (подражатель Гольдони) «Смущенный Дядя». Эта пьесу, которую он готовил для Щепкина, когда-то перевели его знакомые молодые художники в Риме. Она высмеивала последствия слишком строгого воспитания.

Его самого, с тех пор как вновь увидел своих сестер, волновали вопросы воспитания. Преисполненный сознанием своей ответственности за их судьбу, он им адресовал длинные письма, чтобы издали направлять их на путь истинный. Каждое письмо заключало в себе урок морали. Елизавету он упрекал за склонность жаловаться о своих воображаемых недугах, как будто он сам не описывал с жалостью к себе друзьям и матери свое состояние души и боли в желудке:

«Что ты наделала? Маминька чуть не плачет. Письмо ее исполнено самого беспокойного волнения. Зачем ты написала, что упала с дрожек, что у тебя болит голова с тех пор, грудь, что ты скучаешь ужасно. Не стыдно ли тебе наделать столько глупостей? Ты должна всячески успокаивать маминьку, а ты ей пишешь такие письма».[265]

Что касается Анны, то она по обычаю, заведенному в Васильевке, отказывалась шить во время больших праздников, и этим заслуживала еще более серьезного нагоняя. Как она смела подчиняться таким глупым деревенским обычаям? Она должна слушать голос Бога – и голос своего брата, – вместо того чтобы следовать предрассудкам ее отсталого окружения.

«Итак, я приказываю тебе работать и заниматься именно в праздник, натурально только не в те часы, которые посвящены Богу. И если кто-

нибудь станет тебе замечать, что это нехорошо, ты не входи ни в какие рассуждения и старайся даже убеждать в противном, а скажи прямо, коротко и твердо: „Это желание моего брата, я люблю своего брата, и потому всякое малейшее его желание для меня закон“».[266]

В начале августа, уверившись, что воды Мариенбада укрепляют его и воодушевляют на работу, он решил продлить лечение и попрощался с Пановым, договорившись о встрече в сентябре в Венеции. Оставшись в одиночестве в своем маленьком гостиничном номере, его вдруг охватил гнетущий страх. Снаружи светило солнце, город бурлил. А ему вдруг причудилось, что весь этот свет, этот шум вовсе не имеет к нему никакого отношения, что его постепенно относит от жизни и что он сам себя перестает узнавать. Сильно заломило в груди. Нервы были натянуты, как пружины, а их вздрагивание явственно ощущалось под кожей. Голова словно пылала в огне.

О чем-либо думать было невозможно. Едва сделав шаг, он ощущал, как у него начинала кружиться голова. А если ложился в постель, то в сознании тут же всплывал образ бедного Вильегорского, задыхающегося, отхаркивающего кровью, и ему казалось, что холод смерти пробегал по его венам. Одинок. Бесконечно одинок. В незнакомой стране. Никто из его друзей, ни Аксаков, ни Погодин, ни Плетнев, ни Жуковский, даже не догадываются о его близкой смерти. На помощь! Он вызвал врача. Пришел какой-то немец, в очках в золотой оправе. Заумные слова и ни одного правдоподобного объяснения. Не означает ли все это, что он должен считать себя уже приговоренным? А как же его дело жизни, его великое произведение, которое он так и не сможет завершить? А мать, а сестры?.. Бог не может призвать его до тех пор, пока он не приведет свои дела в порядок. Потом приходили и другие доктора, они также ставили свой диагноз. Впоследствии он напишет Погодину:

«Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно; тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось. По счастию, доктора нашли, что у меня еще нет чахотки, что это желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв. От этого мне было не легче, потому что лечение мое было довольно опасно; то, что могло бы помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы – обратно на желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та самая

тоска, то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вильегорского в последние минуты жизни… Собравшись с силами, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хоть долги мои были выплачены немедленно после моей смерти. Но умереть среди немцев мне показалось страшно».[267]

По истечении некоторого времени он подробно опишет свои недуги Марии Балабиной:

«…я почувствовал то подступившее к сердцу волненье, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжелую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние».[268]

В то время, когда Гоголь чувствовал себя всеми покинутым, произошло чудо. В гостинице проездом в Вену остановился один русский, Николай Петрович Боткин, друг М. П. Погодина и сын богатого купца, торгующего чаем. Увидев, в каком жалком физическом и психическом состоянии находился автор «Ревизора», его охватила жалость, и он стал заботливой сиделкой. Терпеливо перенося смены настроения и жалобы больного, он ухаживал за ним, успокаивал, убеждал в том, что ему еще рано думать о смерти. Мало-помалу силы Гоголя восстановились, и к нему вернулось присутствие духа. Но у него осталось впечатление, что он стал все-таки другим человеком. Человеком, который на собственной шкуре испытал предсмертные муки. Человеком, который вернулся с того света, неким Лазарем, пошатывающимся и ослепленным. Себе подобных он стал воспринимать как невежественных. Его второе рождение придавало ему мессианское превосходство над ними. Если Господь вернул его миру на короткий срок, так это для того, думал он, чтобы он мог завершить свою книгу. Он решил, чтобы окончательно выздороветь, он должен продолжить свой путь. Боткин попробовал было растолковать ему, что это было безумием, но он, однако, продолжал упорствовать на своем: послушать его, так получалось, что дорожные ухабы восстановят его нервы, а смена пейзажа будет только способствовать улучшению его пищеварения. Тем не менее Боткин, переживая о здоровье Гоголя, согласился поехать с ним в Венецию.

«Добравшись до Триэста, – писал Гоголь, – я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие… Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок,

освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно».[269]

2 сентября,[270] прибыв в Венецию, он сразу же отправился на площадь Святого Марка и столкнулся нос к носу с Пановым, который тоже только что приехал. Еще один русский – знаменитый художник Айвазовский также составил им компанию. В своих «Воспоминаниях» он напишет:

«Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на меленькие прищуренные глазки, Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимою веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя…»

Несмотря на то, что Гоголь был еще очень слаб, он плавал по городу в гондоле со своими спутниками, посещал музеи, церкви, погружался в мечтания, созерцая мраморные дворцы и, устроившись на стуле, на площади Святого Марка, при свете луны отдавался миру воды, камня и отражений, который казался чем-то фантастичным из-за легкости воздуха и тишины. После десяти дней прогулок и осмотров четверо друзей (Гоголь, Боткин, Панов и Айвазовский) отправляются через Болонью во Флоренцию. Во время пути, расположившись в просторной коляске, пассажиры развлекались игрой в карты, используя в качестве стола обычную подушку. Из Флоренции компания двинулась в Рим, проехав через Ливурно и Чивита-Веккиа. Панов, краем глаза наблюдавший за Гоголем во время путешествия, написал Аксакову:

«Приехавши сюда, Гоголь уже, казалось, ничем более не был занят, как только своим желудком, поправлением своего здоровья. А между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их опускал иной раз… Вообще, мне кажется, что Гоголь ошибался, если думал, что ему стоит только выехать за границу, чтобы возвратить деятельность и силы, которые он боялся уже потерять… Но, к несчастью, его расстройство не зависит от климата и места и не так легко поправляется. Может быть, целые десять лет его жизни постепенно расстраивали его организацию, которая теперь в ужасном разладе».[271]

В Риме Гоголю посчастливилось снять квартиру в доме 126 на улице Феличе, где он останавливался и раньше. Он был рад снова увидеть свое высокое письменное бюро, два больших окна с внутренними ставнями,

кровать прямо у двери, большой круглый стол посередине комнаты, узкий соломенный диван, шаткий книжный шкаф, римскую лампу с красивым желобком, куда наливалось масло, и мозаичный пол, чуть поскрипывающий под ногами. В соседней комнате он поселил Панова. Ну разве это не счастье? Подумав так, Гоголь пошел в город, чтобы вновь возобновить свою дружбу с знакомыми камнями, лицами… Ничего не изменилось, но все же это был уже иной мир. Мир, в котором за красотой форм и яркостью красок проступал страх. Голубое небо, купол Святого Петра, руины Форума, Колизей, озеро в Альбано, картины Рафаэля – все теперь говорило о смерти. Сама незыблемость пейзажа напоминала человеку о его недолгом земном существовании. Прогулки стали быстро утомлять Гоголя, и он сократил их. У него почти ничего не осталось от тех четырех тысяч рублей, которые ему одолжил великий князь. На всякий случай он еще в Вене послал второе отчаянное письмо с прошением назначить его секретарем при Кривцове в Академии художеств в Риме. На этот раз он обращался уже не к Жуковскому, а к Плетневу с просьбой дополнительно похлопотать за него:

«Я написал к Жуковскому, чтобы он употребил влияние свое при дворе на наследника; потому что Кривцов, между прочим, обязан этим местом наследнику. Конечно, если его императорское величество попросит об этом государя – то дело в шляпе. Но я рассудил, что весьма не худо бы, если бы вы что-нибудь сказали об этом великим княжнам. Если Марья Николаевна от себя еще слово, то это натурально еще действеннее».[272]

Но то ли у Жуковского и Плетнева не хватало настойчивости, то ли великим князьям и великим княгиням надоели бесконечные требования этого русского писателя, который мог жить только за границей – никакого назначения свыше не пришло. Кривцов же, по сообщению, полученному из последних рук, желал иметь в качестве секретаря «европейскую знаменитость по части художеств».[273]

Понимая, что никогда не сможет получить эту должность, Гоголь примирился с необходимостью занять еще денег небольшими суммами у знакомых. Испытывая беспокойство от пребывания в постоянной нужде, он неожиданно для себя начал сожалеть, что уехал из России. Ах! как же он любил свою родину, находясь вдали от нее!

«Русь! Русь! – писал он в „Мертвых душах“. – Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими

дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющом и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные, ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»[274]

Теперь, когда Гоголь думал о России, его ностальгия усугублялась угрызениями совести. Он корил себя за то, что был невыносим, эгоистичен, холоден со своими друзьями в Санкт-Петербурге и Москве, и спрашивал себя, как он сможет жить без них.

М. П. Погодину:

«Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света… Так вот все мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную… Теперь… Боже. Сколько пожертвований сделано для меня моими друзьями – когда я их выплачу, я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести… И теперь от меня скрылась эта сладкая уверенность. Без надежды, без средств восстановить здоровье… Часто в теперешнем моем положении мне приходит вопрос: зачем я ездил в Россию, по крайней мере меньше лежало бы на моей совести. Но как только вспомню о моих сестрах. Нет, мой приезд не бесполезен был. Клянусь, я сделал много для моих сестер. Безумный, я думал, ехавши в Россию: ну, хорошо, что я еду в Россию, у меня уже начинает простывать маленькая злость, так необходимая автору, против того-сего, всякого рода разных плевел, теперь я обновлю, и все это живее предстанет моим глазам, и вместо этого что я вывез? Все дурное изгладилось из моей памяти, даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что

удалось мне еще более узнать в друзьях моих…»[275]

И в тот же день Погодиной:

«Вы себе, верно, не можете представить, как меня мучит мысль, что я был так деревян, так оболванен, так скучен в Москве, так мало показал моих истинных расположений, и так невольно скрытен и неоткровенен, и черств, и сух. Если бы вы знали, горевал потом, когда выехал из Москвы, что я вел себя так дурно. Мнением людским, конечно, я не дорожу, но мнением друзей… а они все меня любят, несмотря на то, что я был просто несносен».[276]

Не переставая сетовать на свое никудышное здоровье и отвратительный характер, Гоголь взялся за работу. Панов исполнял роль секретаря, с благоговейным трепетом переписывая набело черновики, вышедшие из-под руки мастера. Работа над «Мертвыми душами» продвигалась, с каждой главой в ней вырисовывались новые персонажи. Чтобы не снижать возвышенного настроя в своей работе, автор читал произведения святого Франциска Ассизского, Данте, Гомера. Еще даже не закончив первый том романа, – который он хотел назвать «поэмой» по примеру «Божественной комедии», – как ему уже предвиделся второй. При одной только мысли об этом он приходил в торжественное расположение духа. Господь каким-то образом оказался замешанным в чернила, в которые Гоголь макал свое перо.

«Утешься! – писал он Погодину. – Чудно-милостив и велик Бог: я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением „Мертвых душ“, вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать первый том, если только дивной силе Бога, воскресившего меня, будет так угодно. Многое совершилось во мне в немногое время, но я не в силах теперь писать о том, не знаю почему, может быть, по тому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе ничего такого, что бы оправдало меня перед тобой во многом… О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить во глубине души, жить и дышать своими творениями, тот должен быть странен во многом… Но довольно… Я так покоен, что не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. Живу кое-как в долг. Мне теперь все трынь-трава».[277]

В тот же день он отправил Аксакову еще более восторженное письмо:

«Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том „Мертвых душ“. Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе, и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем

дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете».[278]

И во имя своих «сильных мыслей» и «глубоких явлений» он снова молил своих друзей прийти ему на выручку. Бог одаривает его вдохновением; задача же людей обеспечивать его материально, чтобы он мог воспользоваться им для творчества. Он готовился им преподнести такой подарок, что с этого момента он становился их кредитором.

«Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин, – писал он Аксакову несколько месяцев спустя. – Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно».[279]

Эти деньги, в которых его друзья не смогут отказать ему, он вернет, как только будет опубликован первый том «Мертвых душ», то есть не позже, чем через год. Он даже был полон решимости самому ехать в Россию, чтобы защищать рукопись перед цензурой и следить за процессом печати. Но его беспокоило его жалкое состояние здоровья.

И он полагал, как нечто само собой разумеющееся, что актер Щепкин и сын Аксакова Константин захотят приехать за ним в Рим:

«Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь».[280]

Тем временем в Москве встречались Аксаков и Погодин, чтобы посоветоваться. Бесконечные просьбы Гоголя выслать ему деньги смущали их обоих. Погодин, который с января 1841 года издавал журнал «Москвитянин», считал, что в обмен за авансированные суммы,

«итальянец» мог бы прислать ему несколько страниц в журнал. Аксаков осторожно высказал эту точку зрения в письме Гоголю. Гоголь возмутился, прочитав его. Писать на заказ? За кого его принимают? Без сомнения, его московские друзья не поняли миссионерского характера его задачи. Он ответил Аксакову:

«Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, – какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда – для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи!.. Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для мелочного; и для презренного ли журнального прошлого занятья ежедневными дрязгами я должен совершать непрощаемые преступления?.. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отчеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего».[281]

Но в марте и апреле 1841 года Погодин, вопреки желанию Гоголя, опубликовал в «Москвитянине» несколько сцен из новой версии «Ревизора» и отрывок из письма Пушкину. Он отметил в своем дневнике: «Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать». Как бы то ни было, деньги он отправил. Слишком мало, по мнению получателя, который ожидал вдвое больше.

«Благодарю много за деньги. Я их получил, но это, однако ж, как ты сам знаешь, только половина. Я расплатился с долгами и сижу на месте. Если ты не выслал остальных двух тысяч еще до получения сего письма, то мне беда, беда, потому придется оставаться в Риме на самое жаркое время лета, которое, во-первых, совершенно пропадет, а во-вторых, может нанести значительный вред моему здоровью».[282]

Еще одно обстоятельство волновало его: Аксаков недавно потерял сына Михаила, и Константин, второй сын, пораженный таким неожиданным несчастьем, не хотел покидать родителей даже ради того, чтобы сопровождать писателя, которым он восхищался больше всех. Щепкин тоже сообщил, что не сможет приехать в Италию. И Панов должен

был скоро покинуть Рим, чтобы отправиться в Берлин. Гоголь вдруг почувствовал себя всеми покинутым. Ему казалось немыслимым, что нет ни одного русского, преданного ему настолько, чтобы составить ему компанию.

«Досадно мне очень, как подумаю, что мне придется возвращаться одному, – писал он в том же письме Погодину, – почти страшно: перекладная и все эти проделки дорожные, которые и в прежние времена не очень были легки, теперь, при теперешнем моем положении, мне кажутся особенно тягостны…Ужасно жалко мне Аксаковых, не потому только, что умер у них сын, но потому, что безграничная привязанность до упоенья к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье».

Пасхальные праздники, которые он собирался провести, погрузившись в печаль, принесли ему великую радость. Нежданно-негаданно в его квартиру нагрянул толстенький и усатенький человечек, с родинкой на подбородке, – это был его друг П. В. Анненков, прозванный им «Жюлем». Анненков направлялся в Париж, а в Риме был проездом. Гоголь тут же объяснил ему, что Париж – это клоака в сравнении с Вечным Городом, и упросил его остаться хотя бы на несколько недель ради любви к искусству и их дружбы. Панов как раз уезжал в Германию, и его комната оставалась свободной. В ней и поселился П. В. Анненков и вызвался переписывать «Мертвые души» под диктовку Гоголя. Было решено, что они будут работать по часу в день. Остальное время каждый мог занимать по-своему. Но в действительности они виделись довольно часто вне стен квартиры, и, даже когда оба были дома, дверь между двумя комнатами оставалась открытой.

Гоголь вставал рано и писал, стоя перед письменным бюро. В промежутках работы он откладывал перо и выпивал стакан холодной воды. Он мог так осушить два-три кувшина за утро. С тех пор, как он заболел в Вене, он пришел к выводу, что только питье вод может ему помочь. Его организм, говорил он Анненкову, был устроен совсем иначе, чем организмы всех остальных людей; у него, кроме всего прочего, был «какой-то извращенный желудок». «Вы этого не можете понять. Но это так. Я себя знаю…» Все это не мешало ему, исписав несколько страниц, отправляться в кафе «del Buon Gusto», чтобы заказать себе там обильный завтрак. Он особенно придирался к качеству сливок, которые он добавлял в кофе. Плотно покушав и напившись кофе, он имел обычай отдыхать, растянувшись на диване. В назначенный час друзья встречались дома для переписки поэмы. Гоголь закрывал ставни, чтобы скрыться от раскаленного жара улицы, садился за круглый стол, открывал тетрадку и

начинал диктовать. «Он диктовал, – напишет впоследствии П. В. Анненков, – мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома „Мертвых душ“ приобрели в моей памяти особенный колорит. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: „Ecco, landrone!“ („вот тебе, разбойник!“). Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: „Как разнежился, негодяй!“ – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина». [283]

В некоторых местах, особенно смешных, Анненков разражался хохотом, откинувшись на спинку стула.

– Старайтесь не смеяться, Жюль, – говорил ему Гоголь строго.

Однако он сам иной раз не мог сдержать смеха. Но были и другие случаи, когда он принимал вид прорицателя. Выпученные глаза смотрели в пространство, руки летали, рисуя в воздухе далекий пейзаж. Так описывал он, словно в наваждении, сад скупого Плюшкина. Когда он закончил диктовать, Анненков воскликнул:

– Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью!.

Гоголь закрыл тетрадку, свернул ее в трубочку и тихо ответил:

– Поверьте, что и другие не хуже ее.

Затем, очень довольный тем, что привел своего переписчика в такой восторг, увлек его на прогулку по городу. Хорошее настроение так переполняло его, что, завернув в глухой переулок, за дворцом Барберини, он запел малороссийскую песню, пустился в пляс и нечаянно сломал зонтик, который взял на всякий случай.

Но чаще всего прогулки были в большей степени дидактическими. Он водил П. В. Анненкова в музеи, церкви, Колизей, садился на камень посреди Форума, делал краткие замечания о памятниках архитектуры, окружавших их, или погружался в молчаливое созерцание, которое могло длиться несколько часов. Они обедали в австериях: у Лепре, у Фальконе, или встречались с русскими художниками: Ивановым, Моллером, Иорданом… Гоголь ругал всякое блюдо, которое ему подавали, но ел с поразительной жадностью. «Он наклонялся так над тарелкой, – писал в своих воспоминаниях Анненков, – что его длинные волосы падали на самое блюдо. Он поглощал (рис) ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди,

расположенные к ипохондрии». Он пил лучший кофе в «Buon Gusto» на площади Испании (Piazza d’Espagna). К семи часам вечера свежесть спускалась с небес. Прекрасное время для прогулки. Иногда они встречали духовную процессию, возглавляемую толстым аббатом. Толпа собиралась вокруг импровизированного алтаря. Лучи заходящего солнца золотили лица, обливали пурпуром знамена с фигурами святых. Когда наступала ночь, тысячи огней горели в кофейнях, разноцветные фонари освещали «балаганчики с плодами и прохладительными напитками», молодые люди с куртками через плечо проходили толпами по улицам, распевая песни и смеясь, бренчала гитара под балконом, перекрикивались женщины во дворе, все окна были открыты, Гоголь ликовал. Однако, когда огненное дыхание ветра сирокко обволакивало город, ему становилось нехорошо. «Кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере».[284]

Иногда вместо того, чтобы гулять или слоняться по кафе, друзья собирались дома с художниками поиграть в «бостон». Никто из собравшихся даже примерно не знал правил игры, Гоголь изобрел свои правила, которые изменял поминутно в зависимости от обстоятельств и отмечал результаты на клочке бумаги, пусть даже с новой игрой они считались недействительными. Гоголь зажигал свою знаменитую римскую лампу, которая еле освещала карты в руках игроков. Тем, кто жаловался, что ничего не видит, он напоминал, что в Древнем мире при такой же точно лампе работали и развлекались консулы, сенаторы и куртизанки. Для поднятия настроения он брал в свое распоряжение фляжку, сливал верхний слой оливкового масла, заменявший пробку – также по обычаю старых добрых времен, – и наливал всем легкого вина. Мало-помалу оживлялся разговор. До тех пор, пока он касался искусства, литературы, все находили точки соприкосновения. Но, как только речь заходила о политике, Гоголь и Анненков оказывались в противоположных лагерях. Фанатичный поборник традиционного уклада, Гоголь не мог вынести, что его друг считал Францию страной будущего, способной распространить по всей Европе идеи свободы, равенства и справедливости, родившиеся на ее земле во времена энциклопедистов (прим. перев. Дидро и Алемберта). Он с ужасом видел в ней разрушительную основу всей «поэзии прошлого». Он боялся ее как развратительницу общественных нравов. Он говорил о Франции, по словам Анненкова, «резко, деспотически, отрывисто». Он и Германию не

слишком-то жаловал, которая, по его мнению, была не более чем «отрыжкой плохого табака и мерзкого пива».[285] Что касается Италии, то его особенно привлекал тот ее образ, который он сам себе создал, подразумевающий непринужденных и довольных своим существованием людей. Анненков однажды заметил, что в самом Риме, возможно, были люди, которые страстно желали бы смены режима, на что Гоголь с грустным вздохом ответил: «Ах, да, батюшка, есть, есть, такие».

Эти разговоры настолько будоражили его, что после ухода гостей он долго не мог уснуть. Вместо того чтобы лечь в постель, он устраивался на узком соломенном диване и проводил в таком положении полночи при свете масляной лампы. Или же садился у изголовья Анненкова и не уходил до тех пор, пока его друг, утомившись, не задувал свечу. Тогда он возвращался в свою комнату, ложился и начинал бороться со страхом обморока, который мог случиться в темноте. Его неотвязно преследовало воспоминание о смерти Вильегорского. Один молодой русский архитектор серьезно заболел в Риме, он отказался навестить его, опасаясь, что вид больного его слишком сильно впечатлит. Потом, узнав о смерти несчастного, его стала тревожить мысль, что ему придется присутствовать на похоронах. За день до похорон он сообщил Анненкову, что он сам почти при смерти. «Спасите меня, ради Бога, – бормотал он с видом совершеннейшего отчаяния. Я не знаю, что со мною делается… Я умираю… я едва не умер от нервического удара нынче ночью… Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно…»[286]

Пораженный таким неожиданным известием, П. В. Анненков снял экипаж и повез Гоголя в Альбано. «Как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены», – писал позже Анненков.

Через какое-то время Анненков простудился после купания в Тибре и слег с сильной ангиной. Лекарства не помогали, жар не спадал. Очень расстроенный, Гоголь разрывался между сочувствием к другу и страхом заразиться. Он не может подвергать себя опасности заболеть, когда в голове хранится такой клад, как «Мертвые души». Он вдруг уезжает в Кампанью, оставив Анненкова на попечение служанки и владельца квартиры. Он пишет последнему записку по-итальянски, в которой просит его заняться nostro povero ammalato.[287]

«Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти, – отмечал П. В. Анненков. – Картина немощи если не погружала его в

горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Вильегорского в 1839 году, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Вообще, при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и умения прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал».

Через несколько дней Анненков выздоровел, и Гоголь, успокоенный, вернулся в квартиру. Они больше никогда об этом не вспоминали. Один из уважения, другой из врожденной скрытности, держали при себе свои мысли.

Как и во время своего первого путешествия в Италию, Гоголь часто посещал Иванова в его ателье. Работа над картиной «Явление Христа народу», которую он начал четыре года назад, продвигалась медленно. Каждое лицо, каждая травка, каждый камень становились проблемой. Художник попросил писателя позировать ему в качестве одного из персонажей картины. В группе на переднем плане теперь стоял худощавый человек с острыми чертами лица и длинными волосами, с телом, завернутым в просторную ткань коричневого цвета. Это был Гоголь, он слегка повернул голову назад, словно предчувствуя приход Христа позади него.[288]

Говоря об этом образе, Иванов подчеркивал, что он был «наиболее близок к Спасителю». Он намеренно выбрал это особое место для своего друга. А последний с благодарностью согласился присутствовать, хотя и символически, среди тех, кто видел появление Христа. Разве не чувствовал он в прямом смысле слова благословения Божьего в моменты своей литературной деятельности? Он только выполнял ту роль на картине, которую исполнял в жизни. Впрочем, «Явление Христа народу» дополняло «Мертвые души». Картина, как и книга, должна была произвести нравственное потрясение у толпы и повернуть судьбу России. Полностью посвящая себя своему произведению, художник и писатель исполняли волю Божию. Мешать им творить – все равно что оскорблять Всевышнего. «Помните, что нельзя работать Богу и мамоне вместе», – говорил Гоголь.

[289]

Иванов также сделал несколько рисунков и написал два портрета Гоголя маслом. В это же время Гоголь позировал еще и для художника Моллера. Он попросил изобразить его улыбающимся, «так как христианин не может иметь грустный вид». На холсте появилось лицо с длинными волосами, аккуратно уложенными на косой пробор. Острый нос, губы под светлыми усиками сложены в улыбке, тогда как маленькие глаза смотрят с грустью прямо перед собой. Когда Гоголь смотрел на портрет, выписанный с необычайной тонкостью, он почти находил его красивым.

У него была настоящая любовь к художникам, он их рекомендовал влиятельным друзьям, старался получить для них заказы. Узнав, что один из них, Шаповалов, друг Иванова, Моллера и Иордана, получил отказ в пенсионе по распоряжению Общества поощрения художников, он решил публично прочесть «Ревизора» в его пользу. Княгиня Волконская предоставила свою виллу; стоимость билета была пять скудо;[290] в назначенный день все высшее российское общество собралось в зале княгини.

Сидя за большим столом перед этой знатной публикой, Гоголь чувствовал, что на него словно направлен огромный ряд копий, и должен был взять себя в руки, чтобы сразу же не побежать к двери. Среди них вряд ли был хоть один человек, который бы его почитал. Он читал плохо, без воодушевления, монотонным голосом. Его друзья были потрясены. После первого акта только несколько человек аплодировали, затем все встали, слуги в ливреях стали разносить напитки и печенье. Когда вернулись ко второму акту, зал был наполовину пуст. С каждым антрактом зал все больше пустел. Аристократы, выходя, говорили: «Этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим».[291] В конце остались только самые преданные друзья-художники писателя. Они окружили его, чтобы поблагодарить от имени Шаповалова. «Гоголь с растерянным видом молчал, – рассказывал Иордан. – Он был жестоко оскорблен и обижен. Его самолюбие, столь всегда щекотливое, неимоверно страдало».

Однако, если поразмыслить, это унижение было не что иное, как подтверждение его мысли, что он опередил свое время. Доказательством его исключительной судьбы был отказ этих людей из высшего света понять его. Безусловно, думал он, «Ревизор» не без недостатков. Но он был все же «гоголевским». То есть проявлением проповеднической силы. Все больше и больше он себя убеждал, что он родился, чтобы наставлять себе

подобных. Он начал с матери, сестер; теперь он распространял свои проповеди и на друзей. В письме Данилевскому, который признался Гоголю, что скучает в деревне, в своем имении, и мечтает о каком-нибудь месте в большом городе, он горит от возмущения по этому поводу. Ему было неважно, что Данилевский, которого он, однако, знал лучше, чем кто-либо, обладал беззаботным, жизнерадостным характером, любил общество, обожал спектакли и совершенно не был приспособлен к размеренной, однообразной деревенской жизни. Гоголь совсем не старался ни встать на его место, ни взвесить свои доводы. Неспособный выйти из своего внутреннего мира, он судил о других абстрактно, по теории. Его наставления были обращены не к людям из плоти и крови, а к сущностям, пораженным тем или иным пороком, о котором надо заявить во весь голос. И чем больше он любил человека, к которому обращался, тем больше он считал себя обязанным поделиться с ним своим опытом в соответствии с возложенным на него Божьим повелением. Его безумная страсть к благодеяниям не отступала даже перед опасностью обидеть и оскорбить тех, кого он хотел вылечить. Действительно, в этот жаркий летний день, отправляя это письмо Данилевскому, он сознавал, что выполняет свой духовный долг:

«Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках может быть выше всякой должностной и ничтожно-видной жизни, со всеми удобствами, блестящими комфортами, и проч. и проч; даже жизни невозмущенно-праздно протекшей в пресмыканьях по великолепным парижским кафе. Неужели до сих пор ни разу не пришло тебе в ум, что у тебя целая область в управлении, что здесь, имея одну только крупицу, ничтожную крупицу ума, и сколько-нибудь занявшись, можно произвесть много для себя – внешнего и еще более для себя внутреннего, и неужели до сих пор не страшат тебя детски повторяемые мысли насчет мелузги, ничтожности занятий, невозможности приспособить, применить, завести что-нибудь хорошее и проч. и проч; – все, что повторяется беспрестанно людьми, кидающимися с жаром за хозяйство, за улучшения и перемены и притом плохо видящими, в чем дело. Но слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова. Оставь на время все, все, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, год, один только год, своею деревней. Не заводи, не усовершенствуй, даже не поддерживай, а войди вовсе, следуй за мужиками, за приказчиком, за работами, за плутнями, за ходом дел, хотя

бы для того только, чтобы увидеть и узнать, что все в неисправимом беспорядке. Один год – и этот год будет вечно памятен в твоей жизни. Клянусь, с него начнется заря твоего счастья. Итак, безропотно и беспрекословно исполни сию мою просьбу! Не для себя одного, ты сделаешь для меня великую, великую пользу. Не старайся узнать ее, но, когда придет время, возблагодаришь ты провидение, давшее тебе возможность оказать мне услугу, и это первая услуга, которую я требую от тебя не ради чего-либо; ты сам знаешь, что я ничего не сделал для тебя, но ради любви моей к тебе, которая много, много может сделать. О, верь словам моим! Властью высшею облечено отныне мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово… Ничего не пишу тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил к себе в глубину души моей. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен. И как путешественник, который уложил уже все свои вещи в чемодан и усталый, но покойный, ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далекий верный желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутренною удаленною от мира жизнью, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти укрепленный и мыслью, и духом».[292]

Через полтора месяца он читал свои проповеди поэту Языкову:

«О, верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе сказать, как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим. Есть чудное и непостижное… но рыдания и слезы глубоко взволнованной благородной души помешали бы мне вечно досказать… и онемели бы уста мои. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит Бог к человеку!.. Вот все. Отныне взор твой должен быть светло и бодро вознесен горе – для сего была наша встреча. И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то, значит, ты не любишь меня, и если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то, значит, ты не любишь меня… Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей в сию самую минуту, да не случится с той сего, и да отлетит темное сомнение обо мне, и да будет чаще сколько можно на душе твоей такая же светлость, какою объят я весь в сию самую минуту».[293]

И Иванову:

«…идите бодро и ни в каком случае не упадайте духом, иначе будет значить, что вы не помните меня и не любите меня, помнящий меня несет силу и крепость в душе».[294]

Высвободив, таким образом, свой мистический пыл, Гоголь вернулся к «Мертвым душам» с удивительным расположением духа к юмору. Можно подумать, что вкус к нравоучениям и к созданию карикатур в нем накладывались друг на друга, не причиняя вреда ни тому, ни другому. Как только он забывал о реальных людях, чтобы смешаться в толпе воображаемых персонажей, его юмор возобладал над ним. Но он иногда и сам страдал оттого, что выбранной темой приговорил себя к острым и постоянным насмешкам над другими. Он завидовал Иванову, который писал красивых людей, ожидающих явления Христа. Когда и он тоже сможет окунуть свою кисть в светлые краски? Пока же он должен работать, морщась и залезая в самую грязь.

Со смешанным чувством долга, отвращения и восторженности он закончил первый том «Мертвых душ» и приступил к его редакции. Анненков, пробывший в Риме дольше запланированной даты, уехал в Париж, выполнив обязанности переписчика. Вся рукопись составила одиннадцать больших глав. Гоголь с тревогой просматривал их. Пришло время открыть миру плод шести лет работы. Смогут ли его современники оценить этот дар? К середине года он в свою очередь покинул Рим, чтобы отправиться в Россию, останавливаясь по пути в различных городах.

Он проехал Флоренцию, Геную, Дюссельдорф и, узнав, что В. А. Жуковский отдыхает во Франкфурте, поехал туда, чтобы повидаться с ним. Поэт только что женился в пятьдесят восемь на восемнадцатилетней дочери его давнишнего приятеля, живописца Рейтерна и, казалось, был полностью предан своему новому счастью и новым заботам. Он потолстел, полысел, но его асимметричные темные глаза светились все с той же доброжелательностью. Без сомнения, он рассказал Гоголю, в какой ужас повергла всех в России смерть М. Ю. Лермонтова, погибшего совсем недавно на дуэли из-за какой-то глупой ссоры, в пылу которой была задета личная честь.[295] Это был уже второй за четыре года великий русский поэт, погибший в результате насильственной смерти. И это был человек, который смело выступил в роли защитника и продолжателя Пушкина! Рок, казалось бы, преследовал всех, кто нес в себе пламя литературного гения! Гоголь имел такие же предчувствия и по отношению к себе. Он постоянно ощущал, что его и тело, и душа находятся под угрозой. И разница состояла

лишь в том, что вызов ему был брошен не одним человеком, а всем человечеством. И за спиной его стоял Бог.

Несмотря на то, что Жуковский был немного рассеян, Гоголь захотел прочитать ему свою новую малороссийскую трагедию: «Выбритый ус». Дело было после обеда, в час привычной сиесты. Зябко ежась в кресле перед горящим камином, Жуковский нашел, что пьеса слишком многословна и скучна и в конце концов задремал. Когда он проснулся, Гоголь сказал ему:

«– Я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика.

– Ну, брат Николай Васильевич, прости, – ответил ему Жуковский, – мне сильно спать захотелось…

– А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее!

С этими словами широким жестом Гоголь бросил тетрадку в камин. Огонь стих под бумагой, затем сразу же вспыхнул высоким веселым танцующим пламенем.

– И хорошо, брат, сделал, – пробормотал Жуковский[296]».

В этот раз между двумя мужчинами не было такой сердечной близости, которая обычно отличала их отношения. Несомненно, Жуковского утомили *махинации* Гоголя, все время находящегося в поисках денег, а также его постоянные просьбы походатайствовать перед сильными мира сего о предоставлении рекомендаций для самого себя или какого-нибудь художника из его римской компании. В последнее время он как раз хлопотал о том, чтобы Иванов сохранил денежную субсидию еще на три года. Жуковский даже приготовил образец письма, изложив в ней эту просьбу наследнику. Зато сам он, когда ему наконец предложили место библиотекаря при Кривцове, горделиво отказался под предлогом, что должен полностью отдаться своему творчеству. Он хотел быть секретарем директора русской Академии художеств, а не библиотекарем! Кроме того, предложение пришло слишком поздно! Как же можно быть таким талантливым и иметь такой невыносимый характер? Жуковский, будучи в это время молодоженом, с нетерпением ждал, когда же наконец уедет его назойливый гость. Гоголь почувствовал это и собрал свои вещи.

«У вас много было забот и развлечений, и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни, и было вовсе не до меня, – написал он потом поэту. – И мне, тоже подавленному многими ощущениями, было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая вам передать сколько-нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с

вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и, может быть, до сих пор оставалось в душе вашей недоумение, за кого принять меня и что за странность произошла внутри меня».[297]

Из Франкфурта он поехал в Ганау, где ожидал встретить Языкова. Гоголь познакомился с ним два года назад и очень любил его стихи, музыкальные и богатые, иногда близкие к пушкинским. В тридцать восемь лет, проведя юность в гуляниях и попойках, Языков, страдая от сухотки позвоночника, переезжал из одной водолечебницы в другую. Ему все так наскучило, что он был невыразимо счастлив встретиться с Гоголем. У них были общие литературные вкусы, религиозные взгляды, и они разделяли мнение о том, что России предназначена своя особая священная миссия, состоящая в том, чтобы направить развращенные европейские нации на путь истинный. Время так быстро проходило за разговорами, что поэт и писатель, очарованные друг другом, решили вновь встретиться в Москве и там жить вместе. Вечером, до того как пойти спать, они развлекались тем, что придумывали персонажи, давали им имена, соответствующие их недостаткам, и конечно, в этой игре Гоголь был непобедим. Они говорили много и обо всем, разумеется, и о своих болезнях. По мнению Гоголя, его болезнь наверняка вызывала намного больше беспокойства, чем болезнь Языкова.

«Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни, – писал Языков брату, – в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами. Вообще, в Гоголе чрезвычайно много странного, – иногда даже я не понимал его, – и чудного; но все-таки он очень мил».[298]

Проведя три недели с Языковым, Гоголь тронулся в обратный путь в компании со старшим братом Языкова, Петром Михайловичем, который тоже возвращался в Россию.

«Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! – читаем мы откровение Гоголя в „Мертвых душах“. – И как чудесна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух… покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся… как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся: и „Не белы снеги“, и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа.

Проснулся: пять станций убежало назад, луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу, блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души – все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек; мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке – что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине… Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!»[299]

Для того чтобы немного передохнуть, Гоголь и его спутник остановились сначала в Дрездене, а затем направились в Берлин. Оттуда они возобновили свой путь по направлению к российской границе по испортившейся из-за осенней слякоти дороге.

Глава VI
Борьба за «Мертвые души»

В начале октября 1841 года Гоголь прибыл в Санкт-Петербург. Как обычно, он остановился у Плетнева, который тут же сообщил ему обо всем, что произошло в столице за последнее время. Повесть Кукольника «Сержант Иван Иванович» не понравилась императору, поскольку в ней представители высшего общества, исполненные пороков, противопоставлялись простым бедным людям, преисполненным добродетелями. Шеф жандармов, Бенкендорф, сделал строгое внушение автору, а цензоры получили приказ повысить бдительность при ознакомлении с рукописями. Казалось, что вообще атмосфера в городе стала более тягостной, чем в прошлом году. Беспокоясь за судьбу произведения, которое он привез с собой, Гоголь решил посоветоваться со своей близкой знакомой Александрой Осиповной Смирновой. Но она отвечала очень уклончиво на все расспросы о важных событиях, зато очень охотно пересказывала светские сплетни. От нее он узнал, что роман Николая I и фрейлины Нелидовой находится в самом разгаре, что все друзья императрицы этим удручены, к тому же императрица худеет прямо на глазах, что старый граф М. Ю. Вильегорский крупно играет в вист с графом К. В. Нессельроде и князем Лобановым, что сама она собирается уезжать за границу… Слушая ее, Гоголь чувствовал, как тает его желание надолго остаться в столице. К тому же дождь и ветер словно сговорились изгнать его. Пять дней понадобилось для того, чтобы увидеться с Прокоповичем, обговорить с ним издание своего «Собрания сочинений», убедиться, что В. Г. Белинский по-прежнему остается его другом, – и он уезжает в Москву.

Некто П. И. Пейкер, узнав из подорожной, что он не только едет в одной почтовой карете, но и сидит в одном купе с Гоголем, захотел завязать с ним беседу. Но Гоголь уверил его, что его зовут Гогель, что он не имеет ничего общего со знаменитым писателем, что он только что потерял своих родителей и что он намерен предаваться своим горестным переживаниям в полном молчании. После чего, подняв воротник шинели, он отвернулся от несносного соседа. Несколько дней спустя Гоголю довелось встретиться у общих друзей с этим самым Пейкером, который, поняв, что это была мистификация, почувствовал себя оскорбленным.[300]

Вновь увидев Москву, с ее разноцветьем домов, привычным беспорядком и добродушием, наслаждаясь ее небом, отливающим нежными, изменчивыми красками осени, перезвоном ее церковных колоколов, Гоголь сразу почувствовал, что не зря приехал. Он снова жил в доме Погодина на Девичьем поле. Бледное осеннее солнце заглядывало в его окна, из которых открывался вид на открытое поле. Не было слышно никакого шума от карет или дрожек. В доме ничего не изменилось, а между тем, казалось, что там царит необычное напряжение, словно хозяин впервые был недоволен своим гостем. Вероятно, М. П. Погодин все еще не мог простить отказ Гоголя сотрудничать в журнале «Москвитянин». Ну что ж! В конце концов он поймет и смирится!

18 октября Гоголь появился в доме Аксаковых, которые встретили его с великой радостью. Он чувствовал себя более спокойно и непринужденно в их простом, просторном деревянном доме, где было полно народа, чем в величественном особняке Погодиных, где каждый предмет мебели являлся музейной ценностью. У Аксаковых от него никто ничего не требовал, с ним все были ласковы без всякой задней мысли, его любили со всеми его недостатками, в то время как у Погодиных он все время чувствовал себя должником. Хотя ведь и действительно, он еще не вернул ни копейки из тех шести тысяч рублей, которые М. П. Погодин одалживал ему понемножечку; впрочем, возвращение этого суммарного долга было лишь вопросом времени. Несмотря на ту радость, которую Аксаков испытывал от возвращения Гоголя, он с грустью отмечал те перемены, которые произошли и в его наружности, и в его нраве.

«… он стал худ, бледен, – писал Аксаков, – и тихая покорность воле Божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало».

В то время Гоголь не мог думать ни о чем, кроме напечатания «Мертвых душ». В доме Погодина он прочел последние пять глав самому М. П. Погодину, С. Т. Аксакову и его сыну Константину. После чего Аксаковы от восторга не могли вымолвить ни слова. Зато Погодин утверждал, что содержание «поэмы» не двигается вперед, что автор «выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода». Аксаков, возмущенный, хотел заступиться за произведение Гоголя, но тот прервал его. «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, – сказал он ему, – а другому замечать мешаете!» И он продолжал слушать, и очень внимательно, упреки своего хулителя.

Впрочем, он не внес существенных изменений в свое произведение.

Он просто занялся отработкой деталей: последняя отделка, тщательная, беспощадная. Рукопись, переписанная когда-то набело В. А. Пановым, затем П. В. Анненковым, была испещрена поправками, добавлениями. Необходимо было переписать ее еще раз. Наняли переписчика и приказали ему работать как можно быстрее.

Пока тот работал, М. П. Погодин снова стал требовать чего-нибудь новенького для своего журнала. Высокий, худой, с суровым лицом, вечно надутыми губами, густыми бровями, он пугал Гоголя раскатами своего громкого голоса. Будучи человеком властным и ограниченным, он не умел оказывать услуги бескорыстно. Если уж делать друзьям добро, то только на основе взаимности, то есть одолженный им человек должен отблагодарить. Докуки Погодина увенчались, однако, успехом: Гоголь дал ему в журнал свою длинную, впрочем, неоконченную статью «Рим». Погодин успокоился. Он наслаждался победой. Может быть, он собирался вскоре выдвинуть новые требования? Он очень изменился с тех пор, как сделался директором этого журнала. Уважение, оказываемое ему министром народного просвещения С. С. Уваровым, вскружило ему голову. Будучи верноподданным, он выступал в защиту самодержавия и православия. Даже славянофилы называли его реакционером. А ведь славянофилы стояли на сходных позициях. Они тоже идеализировали Древнюю Русь, но считали, что именно этот путь развития ведет в будущее. Они не считали, что спасение страны в консерватизме и неподвижности, они выступали за самобытный путь развития, основанный на традициях русского народа. Полностью отвергая западно-европейский путь развития, порождающий беспорядки и революции, они критиковали западников, представителем которых был, в частности, В. Г. Белинский.[301]

И у Погодиных, и у Аксаковых, и у Шевыревых Гоголь слышал только хулу и ругательства в адрес критика и публициста, который с некоторых пор жил в Петербурге и сотрудничал в журнале либерального толка «Отечественные записки». В их глазах В. Г. Белинский был всего лишь недоучившимся студентом, революционером, безумцем, «критиканом», для которого не было ничего святого.

Не осмеливаясь возражать им в открытую, Гоголь скрывал уважение, которое он питал к этому поклоннику его таланта. Как, думал он, можно любить политику, когда она стравливает друг с другом людей в равной степени честных и убежденных? Как только в его присутствии затрагивались социальные проблемы, ему хотелось провалиться сквозь землю. По правде говоря, ему не хотелось ссориться со своими московскими друзьями и не хотелось разрывать отношения с друзьями из

Петербурга. Как и прежде, когда княгиня Волконская склоняла его к католицизму, он старался соблюсти свои интересы, не вступая в дискуссии, осторожно лавируя и умело водя всех за нос.

Наконец, «Мертвые души» были переписаны от начала до конца аккуратным чужим почерком в тетрадях на плотной белой бумаге, и Гоголь, трепеща, вручил рукопись цензору И. М. Снегиреву, профессору Московского университета, которого он считал «несколько толковее других». Тот прочел ее за два дня и объявил, что с его стороны нет никаких притязаний и он намерен разрешить ее печатать при условии нескольких незначительных поправок. Гоголь счел дело выигранным. Но он радовался слишком рано. Внезапно Снегирева охватили сомнения, он отказался от своих слов и решил подстраховаться, передав рукопись в комитет. Вероятно, он опасался, что, дав самолично разрешение на печатание, в дальнейшем станет жертвой гнева графа А. Х. Бенкендорфа или даже самого императора. Известны случаи, когда цензоров отстраняли от должности и сажали под арест за разрешение печатать даже менее крамольные рукописи. Ранее изданные произведения Гоголя говорили не в его пользу. Еще не забылось возмущение, вызванное в высшем свете его «Ревизором».

Комитет собрался и принял рукопись этого возмутителя спокойствия таким образом, словно был заранее настроен подвергнуть ее самой суровой критике. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», он вздрогнул и закричал тоном оскорбленной невинности: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия». С великим трудом ему объяснили, что «мертвые души», о которых идет речь, – крепостные, умершие в период между двумя переписями. Уразумев это, Голохвастов снова взорвался, и на этот раз его поддержала добрая половина цензоров: «Нет, уж этого и подавно нельзя позволить!.. Это значит, против крепостного права!» Снегирев терпеливо стал уверять, что о крепостном праве и намеков нет в этой книге, что Гоголь ограничился смешным рассказом о затее одного прохвоста по имени Чичиков, который встречается с самыми разными по характеру помещиками. «Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – возразил Снегирев. «Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Один из цензоров, Крылов, желая показать широту своих взглядов, доказать, что он цензор европейского толка, холодно заметил: «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков, цена

два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя – душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Тем временем другой цензор, открыв рукопись наугад, увидел, что в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор Каченовский. Снегирев, исчерпав все аргументы, опустил голову. Бывает такой уровень глупости, что ее не пробьешь никакими доводами. После краткого обсуждения книга была объявлена запрещенною.[302]

Узнав об этом, Гоголь впал в отчаяние. Он не ожидал столь решительного запрета. Мысль о том, что книга, которой он отдал столько лет своей жизни, не будет напечатана, ошеломила его. По какому праву, – спрашивал он себя, – горстка глупцов и бездарей может помешать публикации произведения, угодного Богу? Замечания цензоров, о которых он узнал со слов Снегирева, были достойны рассуждений некоторых персонажей «Мертвых душ», обдумывающих предложения Чичикова. Да, уродливые персонажи, рожденные воображением автора, имели собратьев среди его судей. Он-то полагал, что создает карикатурные образы, а получились трагические портреты, имеющие свои прототипы в реальной жизни. И что теперь делать? Убрать рукопись в стол? Нет, необходимо бороться. Поскольку в Москве дело провалилось, Гоголь решил попытать счастья в Петербурге. Но на этот раз он решил соединенными силами своих друзей обеспечить себе всю возможную официальную поддержку.

«Дело для меня слишком серьезно, – пишет он П. А. Плетневу. – У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня немного, а теперь просто отымаются руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу А. О. Смирновой. Я просил ее через великих княжен или другими путями. Это – ваше дело…»[303]

Как раз в это время В. Г. Белинский, которого Погодин и Шевырев

терпеть не могли, оказался проездом в Москве. Он остановился в доме В. П. Боткина. Гоголь не мог встретиться с ним открыто, не вызвав ропота друзей, издававших «Москвитянина». Поэтому он назначил ему свидание под условием величайшего секрета, рассказал ему о своей неудаче и попросил его отвезти рукопись «Мертвых душ» в Петербург, чтобы вручить ее князю В. Ф. Одоевскому, чьи хлопоты в отделе цензуры могли привести к успеху. Белинский охотно взял на себя это ответственное дело. Он приехал в Москву, чтобы набрать сотрудников в журнал «Отечественные записки». Сурово и страстно он упрекал Гоголя в том, что тот цепляется за небольшую группу писателей, окружающих Погодина. Его долг, долг великого русского писателя, – порвать с реакционной группой, придерживающейся «официальной народности», и со славянофилами, и присоединиться к славной группе западников. Почему бы не отдать что-нибудь неопубликованное в «Отечественные записки» как доказательство своей приверженности идеалам справедливости и свободы? Испуганный таким резким нажимом, Гоголь клялся, что отдал уже все, что можно было, в «Москвитянин», в силу давних обязательств, о чем он, впрочем, сожалеет, и что позднее, если представится возможность… Белинский сделал вид, что поверил ему.

«Очень жалею, что „Москвитянин“ взял у вас все и что для „Отечественных записок“ нет у вас ничего, – пришлось ему написать позднее, намекая на их разговор. – Я уверен, что это дело судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительного расположения в пользу „Москвитянина“ и к невыгоде „Отечественных записок“. Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова – и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и им подобных негодяев в Петербурге и Москве; она украшает „Москвитянина“ вашими сочинениями и лишает их „Отечественные записки“».[304]

Они расстались друзьями. Гоголь, который в течение всей беседы дипломатично выказывал симпатию к западникам, круто изменил взгляды, возвратившись в дом Погодина. Он сознавал, что обязан подчеркнуто уважительно относиться к самодержавию, и это в глубине души ему даже нравилось. Но каким мучительным было это ожидание! Белинский уехал и увез с собой рукопись. Все друзья в Петербурге были уже подняты на ноги. Все знакомые должны были играть роль рычагов, которые могли бы оказать влияние на самых могущественных особ государства. А между тем ответа из столицы все не было, как и не было никаких известий,

вселяющих бодрость. По слухам, рукопись переходила из рук в руки, но при этом никто ею всерьез не занимался. Обеспокоенный, Гоголь засыпает просьбами князя Одоевского:

«Я очень болен и в силу двигаюсь… У меня вырывают мое последнее имущество. Вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю… Прочтите ее вместе с Плетневым и Александрой Осиповной (Смирновой) и обдумайте, как обделать лучше дело. Не нужно об этом деле производить огласки».[305]

Через несколько дней новый крик души:

«Что ж вы молчите все? Что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради Бога, не томите».[306] Позднее, набравшись храбрости, он решает действовать сам и написал два письма: одно – князю М. А. Дондукову-Корсакову, председателю петербургского комитета цензуры, и второе – С. С. Уварову, министру народного просвещения. Оба письма были отосланы Плетневу с просьбой вручить их, когда представится такая возможность, именитым адресатам. Плетнев поступил мудро, оставив их у себя.

«Я знаю, душа у вас благородна, – писал Гоголь М. А. Дондукову-Корсакову, – и вы верно будете руководствоваться одним глубоким чувством справедливости, дело мое право, и вы никогда не захотите обидеть человека, который в чистом порыве души сидел несколько лет за своим трудом, для него пожертвовал всем, терпел и перенес много нужды и горя и который ни в каком случае не позволил бы себе написать ничего противного правительству, уже и так меня глубоко облагодетельствовавшему».

А вот что он писал С. С. Уварову:

«Никто не хочет взглянуть на мое положение, никому нет нужды, что я нахожусь в последней крайности, что проходит время, в которое книга имеет сбыт и продается, и что таким образом я лишаюсь средств продлить свое существование, необходимое для окончания труда моего, для которого одного я только живу на свете. Неужели и вы не будете тронуты моим положением? Неужели и вы откажете мне в своем покровительстве?…Почему знать, может быть, несмотря на мой трудный и тернистый жизненный путь, суждено бедному имени моему достигнуть потомства. И ужели вам будет приятно, когда правосудное потомство, отдав вам должное за ваши прекрасные подвиги для наук, скажет в то же время, что вы были равнодушны к созданиям русского слова и не тронулись положением бедного, обремененного болезнями писателя, не

могшего найти себе угла и приюта в мире, тогда как вы первые могли бы быть его заступником и меценатом. Нет, вы не сделаете этого, вы будете великодушны. У русского вельможи должна быть русская душа».[307]

Он решил также отправить прошение императору, пытаясь добиться какого-нибудь пособия, пусть даже самого скромного, пока не решены его проблемы. Граф С. Г. Строганов, попечитель Московского учебного округа, поддержал его просьбу, обратившись к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу:

«Получив уведомление от московской цензуры, что его сочинение „Мертвые души“ не может быть разрешено к печати, Гоголь решил послать его в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны его величества, была бы одной из наиболее ценных».[308]

Граф А. Х. Бенкендорф составил доклад императору, напомнив, что Гоголь[309]«известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей „Ревизор“. И в заключение он написал: „Осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей серебром“.[310] На полях доклада император начертал слово: „Согласен“.

Получив деньги, Гоголь воспрянул духом: власти относились к нему снисходительно, поскольку царь пришел ему на помощь. Эта первая милость предвещала и вторую, более важную: разрешение напечатать „Мертвые души“. Но из Петербурга по-прежнему не было известий. Дома Погодин становился все более назойливым и требовательным. Поскольку кто-то проговорился, что Гоголь тайком, по секрету, встречался и о чем-то беседовал с Белинским, он не мог ему простить этого „предательства“. В глубине души он полагал, что, сделав Гоголю так много добра, он имеет полное право распоряжаться в свою пользу его талантом. Без всяких церемоний он одолевал его все новыми и новыми просьбами писать в издаваемый им „Москвитянин“, и тот, измученный, прекращал разговор. В конце концов они стали стараться встречаться только за обеденным столом, а общались с помощью записок, которые лакей носил из комнаты в комнату, бегая с этажа на этаж. Сотни практических вопросов – приглашение к обеду, плата переписчику, работа с корректурными листами – были решены таким образом в нескольких кратких и сухих словах. Но даже более важные события объявлялись и обсуждались таким же образом – так было удобнее. Погодин царапал на листке бумаги: „Знаешь ли ты, что

Бог даровал мне сына, а тебе крестника?“ И Гоголь отвечал на обороте того же листка: „Поздравляю тебя от всей души и от всего сердца. Да благословит его Бог“.[311]

Наконец, из Петербурга пришла весточка. В письме Белинского Щепкину говорилось, что дело сдвинулось с мертвой точки. Князь Одоевский вручил рукопись графу Вильегорскому, который не смог встретиться с министром внутренних дел, но тотчас же принялся обхаживать цензора Никитенко. Этот последний, ознакомившись с „Мертвыми душами“, заявил, что он готов дать разрешение, но требует сделать около тридцати поправок, а также выбросить целый эпизод под названием „Повесть о капитане Копейкине“. Вскоре пришло письмо от Плетнева, которое подтвердило эту хорошую новость. А затем пришло письмо от самого Никитенко:

„Без сомнения, вы уже получили вашу рукопись „Мертвые души“… Сочинение это, как видите, прошло цензуру благополучно; путь ее узок и тесен и потому неудивительно, что на нем осталось несколько царапин и его нежная роскошная кожа кой-где поистерлась… Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина – ничья власть не могла защитить его от его гибели“.[312]

Сначала Гоголь почувствовал себя бесконечно счастливым, так, словно близкий ему человек на его глазах избежал бы смерти. Затем, успокоившись относительно главного, он принялся стенать по поводу второстепенных вопросов. Уничтожение „Повести о капитане Копейкине“ он воспринял так, словно резали по живому.

„Это одно из лучших мест в поэме, – писал он Плетневу, – и без него – прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо“.[313]

Плетнев передал эти новые листы переделанного „Копейкина“ цензору А. В. Никитенко, сопроводив их следующим письмом: „Ради Бога, помогите Гоголю, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатают „Мертвых душ“, то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставки страдальцу. Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень“.[314]

Сам же Никитенко вот что написал в своем личном дневнике: „Ситуация в нашей литературе наводит на меланхолию… Таланты у нас не исчерпаются… Но как же они будут писать, когда им мешают

мыслить?“[315]

Под влиянием А. В. Никитенко цензурный комитет проявил снисхождение. Образ Копейкина в новом варианте являл собой уже не солдата, бунтующего против несправедливости, но простого разбойника, презренную, вульгарную личность – что свидетельствовало о похвальном старании автора подчиниться требованиям общественной морали.[316] Отныне уже не было препятствий для напечатания всего произведения.

Все же на первой странице рукописи над заголовком „Мертвые души“, написанном рукою Гоголя, Никитенко приписал своей рукой: „Похождения Чичикова, или…“, чтобы смягчить мрачный оттенок, а может быть, и подрывной дух первоначального названия.

Гоголь покорно согласился с этим дополнением и сам нарисовал обложку книги для типографского издания. Он написал мелкими буквами заголовок, которого требовали цензоры: „Похождения Чичикова“, поставил крохотное „или“, жирным шрифтом изобразил свой собственный заголовок: „Мертвые души“,[317] а ниже огромными белыми буквами на черном фоне изобразил слово „Поэма“. Таким образом он надеялся внушить своим будущим читателям мысль о том, что его произведение носит эпический характер. Он хотел, чтобы они воспринимали это повествование как вселенскую песнь, как сказание, в духе Гомера или Данте, нечто вроде русской „Илиады“ или же „Божественной комедии“ народа степей. Чтобы лучше их в этом убедить, он окружил заголовок, имя автора, дату (1842 год) массой мелких рисунков, так или иначе связанных с содержанием книги. Множество черепов с пустыми глазницами, тройка в туче пыли, деревенская изба и колодец с журавлем, бутылки, рюмки, бочки, окорока, рыба, все, что символизирует радость жизни вперемешку с символами смерти.

Оставалась материальная проблема издания. Денег у Гоголя не было. Погодин, ворча, словно медведь, согласился достать бумагу. Было решено печатать книгу в долг в „Типографии Университета“. Тираж предполагался более чем скромным. На рукописи, на которой стояло разрешение цензуры, Гоголь написал: „Печатать на бумаге, поставленной мною, в количестве 2400 экземпляров“.

И началась поправка корректур, которая шла медленно, поскольку автор стремился к совершенству. Ему бы требовалось, – полагал он, – полное спокойствие, чтобы довести это дело до конца. Но все его терзали со всех сторон. Белинский обращался к нему из Петербурга с просьбой дать „хоть что-нибудь“ в „Отечественные записки“.

„Отечественные записки“ теперь единственный журнал на Руси, – писал он, – в котором находит себе место и убежище честное, благородное и – смею думать – умное мнение, и что „Отечественные записки“ ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами села Поречья.[318] Но потому-то, видно, им тоже счастье; не изменить же для „Отечественных записок“ судьбе своей роли в отношении к русской литературе!.. Вы у нас теперь *один*, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою; не будь вас, – прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества: я буду жить в одном прошедшем…»[319]

Взволнованный этими похвалами, Гоголь не осмелился все же подвергнуть себя неприятностям, ответив ему непосредственно. И почему это так получилось, что он должен разрываться между «Москвитянином» и «Отечественными записками», между славянофилами и западниками, между консерваторами и либералами, между Москвой и Санкт-Петербургом, в то время как ему хочется быть над схваткой, сохраняя душевное спокойствие и нейтралитет? Сохраняя благоразумие и осторожность, он написал Прокоповичу: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой чрез Петербург».[320]

Погодин, со своей стороны, тоже не давал ему покоя. Он осыпал проклятиями Белинского и всех западников, его единомышленников, и настойчиво просил Гоголя открыто заявить о своем сотрудничестве с журналом «Москвитянин», и не бесчестить свое имя, отдавая свои сочинения в какой-либо другой журнал. Тон записок, посылавшихся со второго этажа на первый, становился все более язвительным. По поводу одного недоразумения с торговцем бумагой Погодин писал:

«Ты ставишь меня перед купцом *целый месяц или два* в самое гадкое положение, человеком несостоятельным. А мне случилось позабыть однажды в напечатании твоей статьи, то ты так рассердился, как будто бы лишили тебя полжизни, по крайней мере в твоем голосе я услышал и в твоих глазах это я увидел! Гордость сидит в тебе бесконечная!»

«Бог с тобою и с твоей гордостью, – отвечал Гоголь все на той же записке. – Не беспокой меня в течение двух неделей, по крайней мере. Дай отдохновение душе моей».[321]

Но Погодин упорствовал: теперь он хотел напечатать в «Москвитянине» главу из «Мертвых душ» до выхода книги из печати.

Этого Гоголь уже не мог вынести! Лишить новизны и свежести главное произведение его жизни, опубликовав отрывки из него? Никогда! На грани нервного срыва, со слезами на глазах, дрожащей рукой он написал Погодину: «Насчет „Мертвых душ“ ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убежденья, которых ты и не можешь, и не в силах понять, то исполни, по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен, хоть до моего выезда. Но у тебя все порыв! Ты великодушен на первую минуту и через три минуты потом готов повторить прежнюю песню. Если б у меня было какое-нибудь имущество, я бы сей же час отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений».[322]

Правда, два-три дня спустя, поскольку его гнев утих, он просил своего мучителя: «Еще: постарайся быть к 9 мая здесь. Этот день для меня слишком дорог, и я бы хотел тебя видеть в этот день здесь. Прощай! Обнимаю тебя».[323]

Итак, бывало и хорошее, и плохое; он страдал, оттого что ненавидел человека, который его приютил, содержал, одалживал ему деньги, оттого что у него не было сил от него уйти. Может быть, он и мог бы переехать в другое место, к более близким ему по духу друзьям. Но он оставался тут, раздражительный, болезненный, требовательный, нерешительный, желающий, чтобы ему угождали, и неспособный проявлять внимание к окружающим. Сам ничего не имея, он все время чего-то требовал, полагая в глубине души, что имеет все права, ничего не давая взамен. П. И. Бартенев, встретив его у общих друзей, Хомяковых, говорил о нем: «Он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу: чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя».[324]

Даже Аксаков, по-прежнему восхищавшийся Гоголем, страдал теперь от его грубости, раздражительности и скрытности.

«Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и теще, которые будто бы

ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с их детства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями…

Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, то есть что мы не можем судить поступки Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин со злобным смехом отвечал: „разве что так“… Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: „Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай“.[325]

И Аксаков уточнял: „Гоголя как человека знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен… Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия… Но даже в одно и то же время, особенно до последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Гоголь казался разным человеком… Так, например, с одними приятелями, и на словах, и в письмах, он только шутил, так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил об искусстве… с иными беседовал о предметах духовных, с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим… Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие – молчаливым, угрюмым и даже

гордым; третьи – занятым исключительно духовными предметами… Одним словом, Гоголя никто не знал вполне“.[326] Знал ли он себя сам? Во всяком случае, он охотно копался в своей душе целыми днями, анализируя собственные чувства и ощущения. И чем больше он старался понять, какую роль играет его фигура в Москве, или в доме Погодина, тем более трагичным ему казалось его положение, несмотря на предстоящую публикацию „Мертвых душ“.

Он писал М. П. Балабиной: „С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно – что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван, для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и все, что хотите, и можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну, и даже не фыркну, не пошевелюсь“.[327]

Вот что он писал Н. М. Языкову:

„Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха“.[328]

А вот что он писал П. А. Плетневу:

„Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною, притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страждет всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют, стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствуя я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть… Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию!“[329]

Постоянно жалуясь на здоровье, на то, что он не в силах чем-нибудь заняться, на бесцеремонность Погодина по отношению к нему, он по-прежнему бывал в домах своих московских друзей, ездил к Аксаковым,

Хомяковым, Елагиным, Щепкиным, навещал свою сестру, которая все еще жила у госпожи Раевской. Он полагал, что Елизавета многому научилась и сильно выиграла в умственном и духовном отношении. Ей, по крайней мере, – думал он, – Москва, кажется, пошла на пользу. Через госпожу Раевскую он познакомился короче с Надеждой Николаевной Шереметевой, почтенной шестидесятисемилетней старушкой, глуховатой и набожной, избравшей своим призванием помощь страждущим. Она чрезвычайно его полюбила, найдя в нем горячо верующего человека, занимающегося духовным самовоспитанием, и убеждала его не ограничиваться мрачным удалением в душевную пустыню для изучения и очищения собственной души, но вступить на светлый путь воцерквления. Он слушал ее тем более охотно, что она не была горячей поклонницей его писательского таланта. В ее глазах он был прежде всего человеком измученным, душевно неуравновешенным, ищущим опоры. Сама она не располагала очень большими средствами и жила, как и Гоголь, в чужом доме, поэтому ему казалось, что она прекрасно может понять ход его благочестивых мыслей, его душевное состояние, его мистицизм. Он называл ее „своей духовной матерью“.[330] Она знала, и при этом ему не нужно было ей этого объяснять, что он приступил к выполнению великой задачи с благословения Самого Господа.

Во всяком случае, по мере того как он работал над корректурами „Мертвых душ“, он лучше понимал необходимость дать более оптимистичное продолжение этому карикатурному началу. Отобразив пороки своих современников, он должен был воспеть добродетели, присущие русскому человеку. После того как он показал пропасть, ему следовало показать вершину. Он писал Плетневу:

„Труд мой важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится“.[331]

Чтобы добиться духовного просветления, прежде чем приступить к работе, он нуждался в благословении на служение. И как раз в это время архимандрит Иннокентий, известный своей пламенной верой, прямотой характера и аскетическим образом жизни, оказался проездом в Москве. Гоголь пришел к нему. Иннокентий принял его благосклонно, поддержал его в его намерениях, благословил и вручил ему икону Спасителя. Проникнутый высоким настроением, Гоголь явился к Аксаковым с образом в руках и встретил своего друга в передней, поскольку тот уезжал, – о, суетность – чтобы провести вечер в клубе. Всему семейству он заявил

дрожащим голосом и со слезами на глазах:

„Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец Иннокентий благословит меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу Господню“.

„Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам, – писал Аксаков. – Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием, и особенно страшным в Гоголе как художнике, – и я уехал в клуб“.[332]

К оставшемуся наедине с семьей Аксаковых Гоголю стали приставать с вопросами, которые были ему не совсем приятны. По очереди жена, дочь, сын Аксакова настойчиво просили его уточнить, приехал ли он в Россию, чтобы остаться в ней навсегда, или „с тем, чтоб проститься“? – „С тем, чтоб проститься“, – воскликнул он с горячностью. Надолго ли он уезжает? „На два года, – ответил он, – а может быть, на десять лет!“ Могут ли его друзья ожидать от него описания Палестины? – „Да, – вздохнул он, – но для того мне надобно очиститься и быть достойну…“

Он был бледен, измучен, возбужден. Никогда еще он не был до такой степени уверен в том, что ему открылась истина, и одновременно в том, что близкие ему люди его не понимают. Они дергали его и бранили из-за каких-то ничтожных литературных интересов, в то время как он нес в душе своей слово Божие. Пытаясь понять, что же за стена встала между ними, он напишет А. О. Смирновой следующее:

„Все литературные приятели мои познакомились со мною тогда, когда я еще был прежним человеком, зная меня даже и тогда довольно плохо. По моим литературным разговорам всякий был уверен, что меня занимает только литература и что все прочие ровно не существует для меня на свете. С тех пор, как я оставил Россию, произошла во мне великая перемена. Душа заняла меня всего, и я увидел слишком ясно, что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двинуться ни одной моей способностью, и без этого воспитания душевного всякий труд мой будет только временно-блестящ, но суетен в существе своем… В приезд мой в Россию все литературные приятели мои встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой идее и встречая в других противников своему мнению, ждал меня как какого-то мессию, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других, считая это первым условием и актом дружбы, не подозревая даже того (невинным образом), что требования эти, сверх нелепости, были даже бесчеловечны. Жертвовать

мне временем и трудами своими для поддерживания их любимых идей было невозможно, потому что я, во-первых, не вполне разделял их, во-вторых, мне нужно было чем-нибудь поддерживать бедное свое существование, и я не мог жертвовать им моими статьями, помещая их к ним в журналы, но должен был их напечатать отдельно, как новые и свежие, чтобы иметь доход. Все эти безделицы у них ушли из виду. Холодность мою к их литературным интересам они почли за холодность к ним самим. Не призадумались составить из меня эгоиста в своих мыслях, которому ничто общее благо, а дорога только своя собственная литературная слава. Между моими литературными приятелями началось что-то вроде ревности. Всякий из них стал подозревать меня в том, что я променял его на другого. И, слыша издали о моих новых знакомствах и о том, что меня стали хвалить люди им неизвестные, усилили еще больше свои требования, основываясь на давности своего знакомства. Я получил престранные письма, в которых каждый, выставляя вперед себя и уверяя меня в чистоте своих отношений ко мне, порочили и почти неблагородно клеветали на других, уверяя, что они мне льстят только из своих выгод, что они меня не знают вовсе, что любят меня только по моим сочинениям, а не потому, что они любят меня самого (все они еще до сих пор уверены, что люблю всякого рода фимиам), и упрекая меня в то же время такими вещами, обвиняя такими низкими обвинениями, каких, клянусь, я бы не сделал самому дурному человеку… Недоразумения доходили до таких оскорбительных подозрений, такие грубые наносились удары и притом по таким чувствительным и тонким струнам, о существовании которых не могли даже и подозревать наносившие мне удары, что изныла и исстрадалась вся моя душа, и мне слишком было трудно“.[333]

Несмотря на обиду на своих назойливых друзей, Гоголь решил и в этом году отметить вместе с ними свои именины. Хотя в их отношениях с Погодиным и появился холодок, это не помешало ему устроить обед в саду его дома на Девичьем поле, как и в 1840 году. Снова он написал своей матери и пригласил ее приехать вместе с его сестрой Анной. Как и следовало ожидать, они должны были жить вместе с ним у Погодина и должны были, уезжая, увезти домой Лизу, которая прожила два года у Раевской, которая ее опекала, и теперь ей больше нечего было делать в Москве.

Сам же он недели через полторы собирался уехать в Рим. Там, наслаждаясь солнцем, вдали от своих друзей и врагов, которых он осуждал в равной степени, он собирался писать второй том „Мертвых душ“. Поездка в Иерусалим должна была стать вознаграждением за этот

богоугодный труд. Конечно, он мог бы туда поехать в поисках вдохновения у гробницы Спасителя. Но он предпочел отправиться туда после окончания своей работы, не думая о литературных делах, для отдохновения души. Чтобы успокоить мать, недоумевающую, отчего он снова хочет покинуть Россию, он заверил ее, что „…государь милостив и благоволил меня причислить к нашему посольству в Риме, где я буду получать жалованье, достаточное для моего содержанья“.[334] Кто знает, – говорил он себе, – не превратится ли эта ложь однажды в правду? Он чувствовал, что настолько приблизился к Богу, что ему следует привыкать к чудесам.

Дружеский обед 9 мая начался не так весело, как два года тому назад. Конечно, было много народу – Аксаковы, Киреевские, Елагины, Нащокин, Павлов, Самарин, профессора московского университета Армфельд, Редкин, Грановский… Однако хозяин дома и Гоголь почти не разговаривали между собой. Эта ссора, о которой не говорилось открыто, но которая была заметна, очень смущала их друзей. К счастью, прямо на двор дома в почтовом дилижансе въехали Мария Ивановна Гоголь и ее дочь, и атмосфера сразу потеплела. В дороге произошли досадные задержки, они уж думали, что не поспеют ко дню Ангела. Объятия, слезы счастья, благословения, поздравления… Скорее, скорее, что нового в Васильевке? Николай, сын Марии,[335] радовал всех своими успехами, но сама она вот уже год сильно болела. Опасались, не туберкулез ли у нее. Ольга росла как цветок, хоть и была глуховата. Анна скучала в деревне. Дела в поместье по-прежнему шли плохо… Впрочем, поговорить об этом можно и потом, а сейчас надо заниматься гостями, которые все прибывали. Екатерина Михайловна Хомякова и Елизавета Григорьевна Черткова приехали поздравить Гоголя верхом, амазонками, что было очень эффектно. Они обедали с хозяйкой и другими дамами, а мужчины обедали в саду. Погода была прекрасной. Гоголь несколько принужденно шутил и всех смешил. После обеда он, как когда-то, в беседке приготовил жженку. Когда смесь из рома и шампанского загорелась, он весьма поэтично пошутил, что голубоватое пламя напоминает голубой жандармский мундир, и что это Бенкендорф, шеф жандармов, который должен привесть в порядок сытые желудки. Эта невинная шутка возбудила общий громкий смех. Праздник окончился лучше, чем начинался.

Сразу же после праздника Гоголь стал думать об отъезде. Печатание „Мертвых душ“ подходило к концу. Еще одна причина, – думал он, – чтобы уехать. Одного воспоминания о том шуме, который вызвал его

„Ревизор“, было бы достаточно, чтобы у него возникло желание покинуть Россию. Критика, как положительная, так и отрицательная, только раздражала его.

А между тем он нуждался в полном душевном покое, чтобы приступить к продолжению работы. Что же касается материальной стороны издания и продажи, то его московские и петербургские друзья могли бы проследить, чтобы его интересы не были нарушены. Он им уже давал поручения устно и письменно:

„Я думаю, я все экземпляры, назначенные в Петербург, отправлю тебе, и потому ты объяви это заранее книгопродавцам, чтобы они говорили заране, сколько каждому нужно экземпляров. На комиссию я никогда не отдавал своих книг, и потому ты можешь объявить, что деньги они должны будут тебе внести в минуту получения книг, без чего они не будут им выданы“.[336]

Он составил также список лиц, кому он был должен, и поручил Шевыреву выплачивать им деньги по мере их поступления. „Первые суммы, – писал он, – должны быть уплачены следующим образом, – отмечал он, – Свербееву Д. Н. – тысяча пятьсот рублей; Шевыреву С. П. – тысяча пятьсот рублей; Павлову Н. Ф. – тысяча пятьсот рублей; Хомякову А. С. – тысяча пятьсот рублей; Погодину М. П. – тысяча пятьсот рублей… После уплаты этой серии заплатить другие мои долги: Погодину М. П. – шесть тысяч рублей; Аксакову С. Т. – две тысячи рублей“.[337]

Когда он перечитывал этот список имен и цифр, его охватывал страх. Удастся ли ему продать когда-нибудь достаточно экземпляров „Мертвых душ“, чтобы освободиться от своих кредиторов? Он назначил свой отъезд на 23 мая, а 21 он получил первые экземпляры своей книги в новеньком переплете. Торжественный момент: то, о чем он так долго и неотрывно мечтал, превратилось в материальную реальность, имеющую коммерческую цену, в предмет, который каждый может приобрести за несколько рублей. Он перелистывал напечатанные страницы, вдыхал запах типографской краски, и к его радости примешивались опасения и тревога. Итак, „Мертвые души“ существовали сами по себе, независимо от него. Он не мог больше ничего сделать, ни за, ни против. Независимо от его желаний, они пойдут своим путем, у них будет своя судьба – одни читатели будут ими очарованы, другие – возмущены. Он чувствовал себя в одно и то же время чего-то лишенным и чем-то обогащенным. И вот уже „Московские ведомости“ печатают в номере 41 объявление о поступлении в продажу произведения под заглавием „Приключения Чичикова, или

Мертвые души“, поэма Гоголя, формат большой ин-октаво, бумага веленевая, 473 страницы, Москва, 1842 г., цена в красивом переплете: десять рублей пятьдесят копеек».

Накануне этого великого события в своей жизни Гоголь испытал потребность снова обратиться к тому, кто согласился благословить его на труд, к архимандриту Иннокентию. В минуту мистического восторга он даже послал ему свое собственное благословение. 22 мая он писал архимандриту:

«Полный душевного и сердечного движенья, жму заочно вашу руку; и силой вашего же благословения благословляю вас! Неослабно и твердо протекайте пастырский путь ваш! Всемогущая сила над нами. Ничто не совершается без нее в мире. И наша встреча была назначена свыше. Она залог полной встречи у гроба Господа. Не хлопочите об этом и не думайте, как бы ее устроить. Все совершится само собою. Я слышу в себе, что ждет нас многозначительное свиданье… Ваш образ, которым вы благословили меня, всегда со мною!»[338]

На следующий день, 23 мая 1842 г., Гоголь попрощался с семьей Погодиных. Он делал это с грустью и злобой, со сварливым облегчением. Погодину, со своей стороны, не терпелось дождаться его отъезда. Много времени спустя он написал Гоголю следующее:

«Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня с плеч; все, что узнавал я после, прибавило мне еще более муки, и ты являлся, кроме святых, высоких минут своих, отвратительным существом».[339]

Что же до Гоголя, то пять лет спустя в своем письме к Погодину он со своей стороны напомнил о разногласиях, которые отравили их дружбу:

«Перед приездом моим в Москву я писал еще из Рима Сергею Тимофеевичу Аксакову, что нахожусь в таком положении моего душевного состояния, во время которого я долго не буду писать, что писать мне решительно невозможно, что я не могу ничего этого объяснить, а прошу поверить на слово, что прошу его изъяснить это тебе, чтобы ты не требовал от меня ничего в журнал, что я буду просить об этом у тебя самого на коленях и слезно. Приехавши в Москву, я остановился у тебя со страхом, точно предчувствуя, что быть между нами неприятностям. В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу. Я ничего не умел тебе сказать и ничего не в силах был изъяснить. Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего, что сочиненье мое от этого может

произойти слишком значительным. Я сказал, что оно так будет значительно, что ты сам будешь от него плакать, и заплачут от него многие в России, тем более что оно явится во время несравненно тяжелейшее и будет лекарством от горя. Ничего больше я не умел сказать тебе. Знаю только, я просил со слезами тебя во имя Бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне: „Верю“. Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты мне дал слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, – знак, что я ничего не смогу объяснить, а только наклеплю на самого себя. Но когда ты через две недели после того объявил мне, что я должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего не происходило, это меня изумило и в то же время огорчило сильно… С тех пор все пошло у нас навыворот. Видя, как ты обо мне путался и терялся в заключеньях, я говорил себе: „Путайся же, когда так!“ И уж назло тебе начал делать иное, мне вовсе не свойственное, ни моей натуре, с желаньем досадить тебе».[340]

В таком вот настроении Гоголь переступил порог дома на Девичьем поле. Он поцеловал мать и сестер, которые рассчитывали остаться в Москве еще на несколько дней. Марья Ивановна беспокоилась о будущей судьбе «Мертвых душ». Если бы книга не имела успеха, которого она, несомненно, заслуживала, как был бы огорчен ее сын! И ведь он будет далеко от нее, далеко от друзей, которые помогли бы ему перенести этот удар. Она жалела его и страдала от того, что не в состоянии ему помочь. Когда он уехал, она отправилась с дочерьми и госпожой Аксаковой в двух экипажах в Троице-Сергиеву лавру, около шестидесяти пяти верст от Москвы, чтобы помолиться Богу за того, кто удалялся в изгнание (а почему?) на край света.

На этот раз Погодин воздержался от того, чтобы провожать Гоголя до первой станции, как он это сделал два года тому назад. Но Аксаков и Щепкин с сыновьями не нарушили традицию. Почтенная госпожа Шереметева простилась с Гоголем у Тверской заставы, благословила его, перекрестила и уехала. Остальные поехали до Химок в тринадцати верстах от Москвы. Тут все вышли и в ожидании дилижанса прогулялись вдоль реки по березовой роще. Гоголь взял с Аксакова слово, что тот будет сообщать ему в Рим все суждения и отзывы о «Мертвых душах», «предпочтительно дурные». Особенно важно, – говорил он, – знать, что думают о нем люди, расположенные к нему враждебно. Он решил отправиться сначала в Петербург, чтобы договориться о печатании своих

сочинений в четырех томах, а оттуда – в Италию через Германию и Австрию. Заметно было, что ему не по себе, что он находится в принужденном, нервном состоянии. Внутренне он был рад, что уезжает из Москвы, но его угнетала мысль о том, что у его лучших друзей сложилось о нем неблагоприятное впечатление. Он злился на себя за то, что разочаровал своих друзей, и злился на них за то, что они заставили его злиться. «Он чувствовал, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, – имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России».

Поскольку дилижанса еще не было, все сели за стол. Несмотря на шампанское, несколько бутылок которого Гоголь привез с собой, разговор не клеился. Никто не осмеливался высказать то, что у него было на сердце. Наконец дилижанс прибыл, колокольчики весело прозвенели. Гоголь торопливо встал, начал собираться. Соседом Гоголя в купе оказался военный с какой-то немецкой фамилией, человек необыкновенной толщины. «Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, – напишет Аксаков, – но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе».[341]

В Петербурге Гоголь остановился у Плетнева, навестил А. О. Смирнову и тайно встретился с Белинским, содействие которого, как критика, могло быть небесполезным для успеха у публики «Мертвых душ». Но прежде всего он занялся вместе с Н. Я. Прокоповичем подготовкой издания четырехтомника своих сочинений (без «Мертвых душ»). Пока он работал над осуществлением своих планов, его московские друзья возмущались тем, что он поручил это человеку из «другого лагеря».

«У нас не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку, совершенно не опытному (Н. Я. Прокоповичу), тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как то с Белинским, Полевым и Краевским), все это вместе поселило некоторое

недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя».[342]

В течение недели Гоголь уладил все свои дела в Петербурге. Ежедневное наблюдение за изданием он поручил Н. Я. Прокоповичу, которого наделил очень широкими полномочиями, доверив ему даже работу с корректурными листами. Сам он не мог тратить время на подобные мелочи. Накануне своего отъезда он написал два письма: одно – госпоже Погодиной (а не самому Погодину!), заверяя ее в своей преданности, в которой она не должна сомневаться – ведь «женское сердце в меньшей степени склонно к скептицизму и недоверию, чем мужское»;[343] другое – Аксакову, чтобы рассказать ему о последних шагах, предпринятых им в Петербурге, и заверить его, что он уезжает с высоко поднятой головой, с сознанием своей правоты:

«Все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр „Мертвых душ“ еще не поднесен царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде. Обнимаю вас несколько раз. Крепки и сильны будьте душой! Ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другой, и потому сила отделится от меня несомненно в вашу душу. Верующие во светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих».[344]

На следующий день, 5 июня 1842 г., Гоголь снова паковал чемоданы. С Россией было покончено, и с первым томом «Мертвых душ» тоже. За границей он найдет свою настоящую родину. Родину, которую видишь духовным взором.

Глава VII
Мертвые души

Нет другого произведения, над которым бы Гоголь работал с такой страстью, такой мукой, в которое он вложил бы столько надежд, как «Мертвые души». Как-то быстро забавная история об этом шельмеце, скупающем по дешевке души умерших мужиков, чтобы заложить их затем, как живых крепостных, в Земельный кредит, воодушевила его, раззадорила воображение. Он принялся за работу с восторгом, не думая о том, насколько растянется этот труд и куда заведет его идея.

«Пушкин находил, что сюжет „Мертвых душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров, – напишет он в своей „Авторской исповеди“. – Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными».

Так, по своему собственному признанию, Гоголь сначала видит в Чичикове лишь забавный персонаж, а в погоне за мертвыми душами лишь легкую возможность ввести читателя в дома нескольких мелкопоместных дворян, показав их характеры в карикатурном виде. Это типичный плутовской роман, прославленным образчиком которого является «Жиль Блаз» Лесажа и чьи художественные приемы были использованы некоторыми русскими писателями начала века, в частности Ф. В. Булгариным, чей роман «Иван Выжигин» имел оглушительный успех. Гоголь, разумеется, не забыл «Дон Кихота» Сервантеса, еще один авантюрный роман, или «Илиаду» и «Одиссею». Эти великие произведения вдохновляют на творческий подвиг. Чем больше он размышляет над сюжетом романа, тем большую глубину он в нем находит. И он мечтает сам написать поэму, эпопею. Эпопею о серости и скудости провинциального быта, поскольку действие, разумеется, должно происходить в провинции. Но о провинции сам Гоголь знает так мало! Ведь с девятнадцати лет он живет в Петербурге, в Москве, за границей. Он знает уездные русские города так, как их может знать путешественник,

остановившийся на несколько часов в гостинице, на постоялом дворе. А однообразную русскую равнину он видел, главным образом, из окон дилижанса. И все же рассказы других людей, наложившиеся на беглые личные впечатления, позволяют ему ярко представить себе этот мир мелкопоместного дворянства и мелкого чиновничества, с которым он почти не сталкивался.

Уже в «Ревизоре» он отобразил один из этих сонных городков, утопающих в грязи. В «Мертвых душах» мы снова видим тот же привычный фон, то же серое небо, тех же людишек, обреченных на лень и безделье, тщеславных, лживых, заросших грязью, закоренелых взяточников. Как и в «Ревизоре», это тихое болото внезапно всколыхнуло появление какой-то никому не известной, таинственной личности, которая прибыла вроде бы из туманной и далекой столицы. В первом случае это был Хлестаков, во втором – Чичиков. Но в «Ревизоре», вследствие театральных условностей, все действующие лица комедии сами приходили к Хлестакову, тогда как в «Мертвых душах» сам Чичиков приезжает поочередно ко всем главным героям романа. А кто же такой этот самый Чичиков, чье имя растягивается, словно спираль пружины, что же, собственно говоря, он собой представляет?

Это самозванец, как и Хлестаков, поскольку он без конца лжет своему окружению. Но ложь Хлестакову давалась легко, она была абсурдной и пьянящей. Чичиков же лжет осмотрительно, основательно, для достижения практических целей. Автор внезапно обнаруживает, что эти сделки, эти темные делишки с мертвыми душами, которые он сначала полагал простым предлогом для явления Чичикова дома у действующих лиц, на самом деле приводят к опасным философским выводам. Не является ли извращенным гротеском сама идея приобретать людей, которых больше нет в живых, и временно возвращать их к жизни, хотя бы в глазах чиновников? А тот, кто занимается этим странным оживлением мертвецов, не является ли он чем-то похуже простого фальсификатора? Если бы Чичиков ограничился тем, что покупал живых крепостных, обводя продавцов вокруг пальца, он был бы самым обычным мошенником. Но, покупая мертвых крепостных, он добавляет к своему жульничеству оттенок фантасмагории. На этот раз, почти независимо от воли автора, не характер героя диктует действие романа, но, наоборот, действие придает характеру героя необычные черты. Гоголь чувствует запах серы. Он напишет Шевыреву: «Уж с давних пор только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся бы вволю человек над чертом».[345]

Все же, если он и думает о дьяволе, создавая Чичикова, то это – дьявол

очень своеобразный – второстепенный чертик, бес пошлости, скаредности и уюта, отнюдь не люцифер в адском пламени, специализирующийся на ужасных преступлениях и все отрицающий мастер противоречия. Это всего лишь его посланник, трудолюбивый, чистенький и заурядный, «черт во фраке», который жив мелкими сделками, компромиссами, бездарной ложью и пошлым враньем. Этот демон не имеет дела с какими-то исключительными людьми. Он не интересуется ни святыми, ни убийцами. Его клиентура – не избранные представители рода человеческого, но кто попало. И с ними он быстро находит общий язык. Его внешний вид внушает доверие. Его речь – совершенно такая, как следует. Он абсолютно «такой же, как все». И потому он не вызывает подозрений.

Впрочем, он, в отличие от настоящего черта, искушает смертных не ради удовольствия погубить их душу, но для того, чтобы извлечь некую личную выгоду из своих коммерческих сделок с ними. Эти земные заботы свидетельствуют о принадлежности Чичикова к роду человеческому. Воплотившись в человека, он принял бремя всех ограничений, налагаемых плотью, но и получил доступ ко всем наслаждениям. Он одновременно и человек, и дьявол. Дьявол, поскольку он воплощает все, что есть самого низкого в человеке. Дьяволочеловек, подобно тому, как Христос является Богочеловеком. Подобно художнику А. А. Иванову, который в течение многих лет писал явление Христа народу, Гоголь в течение многих лет писал явление дьявола народу. Дьявола абсолютно заурядного. Чичиков, – говорит он, – «не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так чтобы слишком молод». Сразу после того, как он поселился в гостинице губернского города N, он отправляется с визитом ко всем городским сановникам. Своими приятными манерами он тотчас же всех очаровал. Искусно подлаживаясь к своим собеседникам, он сумел для каждого найти такие слова и обороты, что каждый чувствовал себя польщенным, и ни у кого не возникало никаких подозрений.

«Шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе, – пишет Гоголь, – говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, – он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре – и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был

и чиновником, и надсмотрщиком. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его».[346]

А уж когда Чичиков, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас, надевши фрак брусничного цвета с искрой, отправляется с визитом к губернским помещикам, эта его способность к мимикрии, умственная акробатика, достигает настоящего совершенства. Как только он входит в новый дом, он, приспосабливаясь, подобно хамелеону, меняет свою манеру общения с хозяевами. Однако, несмотря на эти метаморфозы, он никогда не теряет из виду цель своих посещений: покупку мертвых душ. Разумеется, предлагая эту мрачную сделку, он меняет всякий раз оттенки и тонкости своего обращения. Да и ответы, которые он получает, тоже весьма разнообразны и показательны. От удивления каждый помещик, сидящий в своей глуши, раскрывает свою психологию, свою медвежью природу. Тем не менее ни один из них не возражает против такой гнусной махинации. В зависимости от своего темперамента они удивляются, выказывают недоверие, смеются, хитрят, просят время на раздумье, заламывают несуразную цену, но ни один из них ни разу не возмутился. Только помещик Манилов усомнился, не будет ли это предприятие, эта негоция «несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России». Но Чичикову не составляет труда его успокоить, поскольку тот испытывает отвращение к любым осложнениям. Словно разум собеседников Чичикова помрачился, а душа заледенела. Крепостническая патриархальная дикость подготовила их к мысли, что в человеке все продается: и тело, и душа. Они не чувствуют мрачной непристойности сделки, которая закабалила бы мужика даже по ту сторону могилы. Общая фантастичность общественного порядка делает их поведение анекдотичным. Их любовь к осязаемым ценностям сего мира мешает им заметить, что они перешли уже грань фантасмагоричного, невероятного. Чичиков их убеждает одного за другим. Они составляют списки умерших крестьян, указывая цену за каждую душу. Смехотворную цену. Но и это – нежданная прибыль, когда речь идет об умерших крестьянах, от которых больше нет никакого проку.

По мере того как растет количество мертвых душ, возрастает и оптимизм Чичикова. Всех этих призраков, владельцем которых он сделался, он якобы переселит по суду в какую-нибудь отдаленную, захолустную губернию, купленную за копейку, в Таврическую или в Херсонскую. Он назовет эту несуществующую деревню хотя бы Чичикова слободка. И он заложит все без труда, он в этом уверен, в Земельный кредит. Тогда, наконец, он станет богат и получит доступ ко всем

удовольствиям, которые могут дать деньги. Ведь Гоголь не считает Чичикова просто скупщиком и мошенником. Деньги для него не являются самоцелью. Самое большее – средством жить в свое удовольствие и чувствовать себя в обществе непринужденно.

«В нем, – пишет Гоголь, – не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всеми достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды – вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это… И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим».[347]

Позитивист по убеждениям, Чичиков отрицает абсолютную ценность добра и зла. Он готов был все преодолеть, переступить любой порог, если речь пойдет о повышении достатка, а значит, и комфорта. Насколько мало его заботила чистота нравственная, настолько сильно он беспокоился о чистоте внешней, физической. «Он всякие два дня переменял на себе белье, – пишет Гоголь, – а летом во время жаров, даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка (его лакей, который имел свой собственный запах, отзывавшийся несколько жилым покоем) приходил раздевать его и скидавать сапоги, клал себе в нос гвоздичку».[348]

Его любимое мыло – особенный сорт французского, «сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам». Ему бы хотелось носить только тонкие голландские рубашки. Когда он смотрится в зеркало, он тает от нежности, глядя на свое лицо, такое гладкое, правильное, привычное, благообразное. Он пробует сообщить ему множество разных выражений. Побрившись и потрепав себя ласково по подбородку, говорит себе: «Ах ты, мордашка эдакой!» Он сам восхищается и удивляется своему благополучию, поскольку происхождение его темно и скромно. Вся его прошлая жизнь представляет собой чередование раболепства, стремления обворожить вышестоящих, получения пинков под зад, вручения и получения взяток. Его подвиги начались в школе, где он обирал товарищей, продолжились в таможенном управлении, где он брал взятки с контрабандистов, и, несмотря на судебные преследования, правда, без серьезных последствий, достигли наивысшей точки развития при осуществлении соблазнительной идеи покупки мертвых душ. И в этот раз он снова, кажется, разбогател, и пальцем не пошевелив для создания материальных ценностей. Фокусник, переливающий из пустого в

порожнее, он только посмеивается втихомолку, видя успех своего предприятия. Более того, перед открытой шкатулкой он производит по комнате прыжки в одной короткой рубашке, пришлепывая себя весьма ловко пяткой ноги. Эти дьявольские кульбиты степенного и приличного господина предшествуют серьезной работе: сам решился он написать и переписать крепости, чтобы не платить ничего подьячим. Долго и с любовью изучает он имена в реестре, а затем начинает мечтать о собственной женитьбе, о детках. Чичиков сильно заботился о своих потомках. Он не может допустить, чтобы «семя его» бесследно пропало. Единственный доступ, единственный прорыв в жизнь загробную ему может обеспечить произведение на свет потомства. Поскольку ничего нет на том свете, то умереть, не произведя на свет детей, – думает он, – равнозначно тому, чтобы согласиться с тем, чтобы прийти к нулевому финалу в конечном итоге. Представлялось ему, – по собственному выражению, – «и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана. Две и даже три девочки, чтобы всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком, – чтобы не было стыдно и перед отечеством». Он боится исчезнуть, как пузырь на поверхности воды, не оставив следа. И эта навязчивая идея напоминает мысль того дьявольского старца, героя второй части «Портрета», который требует, чтобы его изобразили очень точно, чтобы не умереть полностью, чтобы даже после исчезновения «быть на этом свете». Чичиков заявляет: «Я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина…» А в тот момент, когда одна из его мошеннических проделок может плохо окончиться, он восклицает, думая об этой самой супруге и предполагаемых детках: «Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы… И что скажут потом мои дети? „Вот, скажут, – отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!“»[349]

Так Чичиков оправдывает покупку мертвых душ требованиями со стороны душ, еще не рожденных. Он ссылается на требования тех, кто еще не существует, чтобы приобрести тех, кто более не существует. Он сохраняет душевное равновесие, опираясь на небытие, на пустое место, на ложь. Но его достояние, хотя и основанное на небытии и предназначенное для небытия, оказывается совершенно реальным. Это – маленькое тепленькое местечко на краю бездны. Только и всего. Его честолюбивые мечты, это – мечты достопочтенного буржуа. Хороший дом, преданные

слуги, нарядная одежда, красивый выезд, уважение соседей, благорасположение вышестоящих лиц… Главное, не следует видеть в нем гениального обманщика, опьяненного своим всемогуществом. Если он и плутует в игре, где на кону стоят жизнь и смерть, то прибыль он получит очень незначительную. Если он и проявляет необыкновенную изобретательность, то это для того, чтобы сколотить весьма заурядный капиталец.

К тому же сила искусства такова, что, как ни странно, образ Чичикова не вызывает отвращения у читателя. Следя за его похождениями, мы безотчетно желаем ему победы над его собеседниками, проявляющими неуверенность. Всякий раз, как он приобретает новую партию мертвых душ, мы радуемся вместе с ним его успеху. Как только на его дороге возникает препятствие, мы опасаемся, как бы его не разоблачили и не наказали. По правде говоря, хоть мы и осуждаем Чичикова, мы – на его стороне. И тому есть три причины.

Во-первых, приобретая мертвые души, хоть и за гроши, Чичиков не обкрадывает хозяев, поскольку крестьяне, о которых идет речь, покоятся на кладбище и от них нет никакого проку в хозяйстве. Более того, переводя их на имя Чичикова, помещики освобождаются от необходимости платить налоги за умерших крестьян. Пострадает одно только государство, поскольку Чичиков подаст список людей, которых уже нет в живых, в качестве гарантии крупного займа. Однако государство, это – нечто безличное, это – лицо безымянное. Никто не сможет осудить гоголевского героя от имени конкретной жертвы. Это можно сделать только во имя нравственного начала. Покупая то, что не существует реально, Чичиков наносит вред лишь тому, что не существует реально.

Во-вторых, как можно было бы упрекать Чичикова в том, что он покупает мертвые души в стране, где законы позволяют покупать души живые? Разве не является более преступным обрекать живых на рабство, чем переносить имена мертвых людей из одного списка в другой?

В-третьих, те ничтожные людишки, которых Чичиков просит одного за другим уступить ему мертвые души, настолько мало знакомы с нравственными началами, что Чичикова, по контрасту с ними, можно и извинить за его действия. Герой нашей книги может развиваться и благоденствовать только из-за глупости, вульгарности, самодовольства, лени обитателей этого губернского городка и его окрестностей.

Этот городок, разумеется, играет не простую роль. Для автора он символизирует Россию. А через Россию отображается и весь мир. В заметках к роману Гоголь пишет: «Город с его пересудами…»

Собеседники Гоголя, проходящие перед нами, представляют собой удивительную вереницу человеческих грехов и монстров, ими ослепленных. Подобно губернатору из «Ревизора», читатель внезапно видит перед собой лишь «свиные рыла» вместо лиц. Каждый из них носит говорящее имя, которое раскрывает его сущность и подчеркивает его экстравагантность. Так, по-русски фамилия слащавого медоточивого Манилова напоминает о соблазне, о прельщении. Фамилия Ноздрева, этого хвастуна, который ходит, задравши нос и презрительно выпятив нижнюю губу, происходит от русского слова «ноздря». Имя Собакевича, злого, как собака, образовано как раз от «собаки». Имя Коробочки, этой дубинноголовой старухи, которая так закрыта, что в нее не вложишь ничего нового, как раз коробочку и означает. Что же до Плюшкина, этого ужасного скряги, его имя происходит от русской плюшки, то есть булочки, лепешки. И действительно, если подумать, Плюшкин – не только человек, но и лепешка, сухая галета, точно так же, как Коробочка – и есть коробочка в женской одежде, Ноздрев – гигантская ноздря на двух ногах, а Собакевич – неуклюжая мощная собака с взъерошенной шерстью.

Из вышесказанного не следует делать вывод, что каждый из этих действующих лиц является ходячим воплощением одного какого-то греха: Манилов – бесплодной мечтательности, Ноздрев – плутовства, Собакевич – грубости, Коробочка – глупости, Плюшкин – скупости… Нет, создавая эти типажи, Гоголь сумел вложить в них столько жизни, что они не превратились в бестелесные аллегорические фигуры, а приобрели живые и сложные характеры настоящих людей. Плюшкин, это не скупец вообще, но конкретный человек, узнаваемый среди тысяч скупцов. Никто не спутает Ноздрева с каким-нибудь другим краснобаем. Коробочка тоже неповторима, хоть и является воплощением типично женской глупости. А второго Собакевича не найти, хоть он и является воплощением типично мужской неуклюжести. При этом всех их объединяет одна общая черта. Продавцы мертвых душ, они и сами являются мертвыми душами. Они разговаривают, ходят, спят, едят, как живые, но за этой обманчивой внешностью нет ни капли человеческого сознания. «Казалось, в этом теле совсем не было души», – пишет Гоголь о Собакевиче. Он мог бы это же сказать обо всех действующих лицах своей книги. И это замечание делает еще более ужасным контраст между духовной пустотой помещиков и их привилегированным положением владельцев человеческих жизней.

Первый, к кому приезжает Чичиков, это – Манилов, белокурый, слащавый, ленивый и несостоятельный до тошноты человека. Сердце его переполняет добродушие, он любит весь мир. Но странное безволие не

дает ему и пальцем пошевелить. Предаваясь бесконечным размышлениям, он говорит себе, «как хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян». На его письменном столе лежит книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, «которую он постоянно читал вот уже два года». Ни о ком он не говорит дурного слова. Положа руку на сердце, он вздыхает: «Как было бы в самом деле хорошо, если бы жить эдак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь!» Но, когда Чичиков открывает ему цель своего визита, он роняет трубку на пол и разевает рот:

– «Как-с? Извините… я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…

– Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые, – сказал Чичиков.

– Я?…нет, я не то, – сказал Манилов, – но я не могу постичь… извините… я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться… Может быть, здесь… в этом, вами сейчас выраженном изъяснении… скрыто другое… Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

– Нет, – подхватил Чичиков, – нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли… Мы напишем, что они живые, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе.

– Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование?..»

Совсем по-другому реагирует бестолковая Коробочка. Если Манилов – мечтатель, то она-то уж твердо стоит на земле.

«– Мертвые души? Нешто хочешь ты их откапывать из земли?.. Право, не знаю, – произнесла хозяйка с расстановкой. – Ведь я мертвых никогда не продавала… Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того… они больше как-нибудь стоят…

– Послушайте, матушка… эх какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах».

Несмотря на эти разумные доводы, старуха полна недоверия. Она предпочла бы продать мед, пеньку или живых крестьян, потому что, по

крайней мере, на эти товары она знает цены.

«Право, – отвечала помещица, – мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам».

Наконец, она уступает всех покойников своей деревеньки за пятнадцать рублей ассигнацией, и Чичиков составляет списочек мужичков.

А вот и Ноздрев, законченный фанфарон, с «полными румяными щеками», с белыми, как снег, зубами и «черными, как смоль», бакенбардами. Кутила, говорун, хвастун, задира, грубый хохотун. Он сходится с вами на короткую ногу за пять минут, а всю остальную жизнь будет вас шельмовать и всячески вам гадить. Дома он больше дня не может усидеть и постоянно желает биться об заклад, играть в карты, ввязаться в какую-нибудь историю или меняться. Ружье, собака, лошадь – он желает менять все и на что угодно. Он соврет – недорого возьмет. Известный мастер обмана и подлога, он тут же чувствует, что Чичиков что-то затеял, едва только тот заговорил с ним о мертвых душах; он настойчиво требует объяснений и отказывается верить его отговоркам. «Врешь! Врешь, брат!» – весело восклицает он. И, утомленный тысячью нелепых предложений, Чичиков соглашается сыграть на души в шашки. Однако Ноздрев плутует. Разгорается ссора. Побагровевший от гнева Ноздрев, схватив в руку тяжелый черешневый чубук, велит своим крепостным бить своего гостя. Чичиков еле спасся благодаря нежданному прибытию капитана-исправника. На этот раз он уезжает несолоно хлебавши. Ни одной мертвой души в его ягдташе.

Следующим на очереди является нам огромный Собакевич, похожий на «средней величины» медведя. «Для завершения сходства, – пишет Гоголь, – фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукова длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги». Мрачный, крепкий и на диво стаченный, звероподобный, недоброжелательный Собакевич – в отличие от Манилова – не любит хорошо отзываться ни о ком из своих соседей. Главной его заботой является пропитание. Он не ест, он заглатывает.

«Возьмите барана», – говорит он Чичикову. «Это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы; я бы их перевешал за это! Выдумали диэту, лечить голодом! Что у них немецкая жидкокостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это все не то, это все выдумки, это все… У меня не так. У меня когда свинина, всю свинью давай на стол; баранина –

всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует».

Итак, у Собакевича за столом подкрепляются не ради желудка, а ради души. Материальная пища вместо пищи духовной. Поэтому он не проявляет ни малейшего удивления, когда Чичиков ему предлагает свою странную сделку. Мертвые души? Найдутся, почему не быть. И, не моргнув глазом, он запрашивает по сто рублей за штуку. Чичиков возмущенно протестует.

«Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич. – Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все как на отбор. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!»

Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

«А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!»

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло; полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

«Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного! А Еремей Сорокоплехин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин».

«Но позвольте, – сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было: – Зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица».

«Да, конечно, мертвые, – сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: – Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».

«Да все же они существуют, а это ведь мечта».

«Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машиница такая, что в эту комнату не войдет: нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!»

В конце концов Чичиков вынуждает Собакевича снизить цену со ста рублей до двух с полтиной.

Померившись силами с Собакевичем, он навещает Плюшкина, скрягу, который удивляет его своим старушечьим лицом, острым взглядом маленьких глаз, залоснившимся от грязи нарядом. С виду этого богача можно принять за нищего. Он так любит деньги, что не может решиться потратить ни единой копейки на улучшение своего хозяйства. Сделавшись совершенно бесчувственным и став невосприимчивым и безучастным ко всему на свете, он порвал со своими друзьями, со своими детьми и живет в одиночестве, наедине со своими цифрами. Ему безразлично, что его крестьяне умирают с голоду. Для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. «Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату», – пишет Гоголь. И еще: «Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкапу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик». Услышав, что он может продать мертвые души, старик возликовал. Это дельце как раз в его вкусе! Он продает прах, а получает наличные звонкой монетой. Тем не менее он соглашается не сразу, а немилосердно торгуется. И Чичиков покупает у него не одни только мертвые души, но еще и беглых, то есть живых крестьян, сбежавших из поместья и бесконтрольно шатающихся где-то. Для Чичикова что беглые, что мертвые – без разницы, поскольку ему их не кормить, а имена их есть в ревизских сказках.

Вернувшись в гостиницу, усталый, но довольный собой, он требует на ужин подать ему молочного поросенка, ложится и засыпает «чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей».[350] На следующий день он просыпается свежим и бодрым, достает свой письменный прибор и составляет купчие и списки, чтобы поскорее кончить все и оформить официально. Эта работа кажется ему творческой, созидательной и доставляет ему огромное удовольствие.

«Когда он взглянул потом на эти листики, – пишет Гоголь, – на

мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и через то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностию: ни одно из похвальных качеств мужика не было пропущено: об одном было сказано „хороший столяр“, к другому приписано было „смыслит и хмельного не берет“. Означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: „отец не известно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор“… Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: „Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?“»

Но это состояние умиления, в которое пришел Чичиков, длилось недолго. Приобретя огромное количество покойников, он понимает, что выглядит человеком богатым и влиятельным. При этом он не чувствует себя виноватым. А что плохого он сделал? Как благонамеренный гражданин, он выполнил все требования закона и как следует оформил сделку. Если в присутственных местах считают, что купленные им крестьяне живы, значит, они живы, несмотря на службы за упокой души и кресты на кладбищах. Ведь если живые и здоровые крестьяне попадают по ошибке писаря в колонку умерших, это означает, что их больше нет в живых, хотя каждый может увидеть их за работой в своей деревне. Чичиков в вопросе жизни и смерти считает подлинным и более важным не тот учет, который ведет Бог, но тот, который ведут чиновники. Переход от жизни к смерти является не ужасным событием, происходящим по воле Всевышнего, но пустячной записью в книге, произведенной рукою бухгалтера, счетовода. Стирается граница между присутствием и отсутствием. Бытие и небытие меняются местами. И на этой-то чудовищной путанице Чичиков, кругленький, сияющий и бодренький, и обосновывает свою победу.

А между тем обман честного «приобретателя» грозит раскрыться. Болтун Ноздрев нечаянно смущает все общество. Затем, с первыми лучами солнца, в город приезжает Коробочка, чтобы попытаться разузнать, «почем

ходят мертвые души» и уж не промахнулась ли она, продав их, может быть, «втридешева». Языки начинают работать, идут разные толки. Солидные чиновники приходят в недоумение. Светские дамы подозревают Чичикова в том, что он плетет козни с целью увезти губернаторскую дочку. Все что ни есть поднялось; как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома. Показались в гостиных помещики, о которых и не слышно было никогда, которых и не видно было так давно, что их считали уже умершими. На улицах в большом количестве показались неведомые экипажи. В умах поднялось смятение. От этих забот и тревог чиновники даже похудели. Все стараются понять, кто же он такой. «Все поиски, произведенные чиновниками, – пишет Гоголь, – открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно… Такой ли человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных».

Итак, Чичиков спутал все карты, принес неприятности стольким помещикам, ошеломил стольких чиновников, что эта незначительная, довольная жизнью личность приобрела такие масштабы, поднялась так высоко, что в затуманенных умах горожан уже стала представлять собой какую-то угрозу. Самые толковые с виду люди собрались на совет, чтобы попытаться узнать, действует ли он в своих личных интересах или же государственных, является ли он врагом рода человеческого или же это – подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора, нужно ли его преследовать по закону или же искать его покровительства. Почтмейстер полагает, что это – не кто другой, как знаменитый разбойник, капитан Копейкин, и рассказывает во всех подробностях его историю: но суть в том, что Копейкин – без руки и без ноги, а у Чичикова руки-ноги – на месте. Некоторые чиновники забрели еще дальше и предположили, что Чичиков, это – Наполеон, выпущенный англичанами с острова Святой Елены, а то, может быть, и сам Антихрист. Толки усиливаются. Мистически настроенный малограмотный народ смущен. Прокурор так напуган всей этой суматохой, что ни с того ни с сего умирает. Когда прибегает врач, чтобы произвести кровопускание, он видит перед собой одно только бездушное тело. «Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал», – пишет Гоголь. Уже в некоторых домах Чичикова не приказано принимать. Предчувствуя грозу, он укладывает чемодан.

Подобно Хлестакову из «Ревизора», он уезжает на тройке, оставляя позади себя целый мир, потрясенный собственными вздорными выдумками. Но если в «Ревизоре» автор остается в городе, чтобы описать смятение «жертв», то в «Мертвых душах» он сопровождает своего героя, который мчится по столбовым дорогам России. Бричка его несется так быстро, что кажется, будто неведомая сила подхватила ее на крыло к себе, и волшебные кони несутся вихрем. Летит с обеих сторон лес, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и спицы в колесах смешались в один гладкий круг.

«Не так ли и ты, Русь, – пишет Гоголь, – что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Это вдохновенное лирическое отступление, которым завершается книга, на самом деле – всего лишь ловкий трюк. Не так легко было избавить Чичикова от справедливого возмездия и в то же время сделать так, чтобы и читатель не был возмущен этой безнаказанностью. Летящая птица-тройка не только помогает Чичикову спастись бегством, она еще отвлекает наше внимание от причин, вынудивших его бежать. В самом деле, каким образом с помощью законов человеческого общества можно было бы оценить правовые последствия проделок посланца дьявола? Вот и пришлось устроить так, чтобы он ускользнул от тех, кто его изобличил, в облаке пыли, под звон бубенцов, неуловимый, неугомонный, неузнанный и готовый к новым похождениям. Впрочем, его самая удачная проделка состоит не в том, что он одурачил жителей губернского города N., а в том, что он провел цензоров Санкт-Петербурга. Обольщенные патриотическим тоном заключительных страниц «поэмы», эти господа не заметили покушения на традиционную мораль, каковым является сокрытие виновного от правосудия. Более того, они не обнаружили ничего странного

в том, что Россия сравнивается с тройкой, увозящей плута, прохвоста! Магия слов позволила Чичикову дать тягу, а автору – выйти сухим из воды.

Это поэтическое отступление, посвященное тройке, не является единственным в романе. Очень часто Гоголь прерывает свое повествование взрывами красноречия, возвышенными размышлениями, которые звучат как музыкальные интерлюдии в устной речи. Подсчитано, что все отступления составляют одну восьмую часть первого тома, а чисто лирических отступлений – около десятка. Так, в связи с похождениями Чичикова, автор воспевает очарование поездок в дилижансе, незабываемые впечатления своей молодости, таинственные узы, которые связывают его с Россией, или же страдания автора, вынужденного описывать чудовищ, в то время как он предпочитает ангельские создания. С нетерпением ждет той минуты, когда, освободившись от безобразных масок, которые его окружают, он сможет, наконец, подобно А. А. Иванову, создавать лишь образы, озаренные и облагороженные явлением Христа. Он пишет:

«Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоколетающими… Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в

сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать наконец от современного суда, лицемерно – бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта… И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченный в святый ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…»

Уведомив таким образом читателей о духовных радостях, которые ожидают их во втором томе «Мертвых душ», если им хватит мужества преодолеть грязь и муть первого тома, Гоголь возвращается к истории Чичикова: «В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотрим, что делает Чичиков».

Однако в конце той же главы[351] – новое отступление. На этот раз удивительно прозаическое. Оставив среди ночи Чичикова с его мертвыми душами, автор внезапно заинтересовался освещенным окошечком гостиницы, за которым какой-то поручик, о котором мы ничего не знаем и которого мы больше никогда не увидим, примеряет пару сапог, которые он только что купил в Рязани. «Сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».

Точно так же, когда скандал, связанный с Чичиковым, только разгорается, вдруг нежданно-негаданно возникают, словно по ошибке, какие-то приблудившиеся люди, призрачные, готовые раствориться и исчезнуть, унесенные ветром: «Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было». В разговоре с дочкой губернатора Чичиков упоминает добрую сотню второстепенных лиц, их имена слетают с уст, словно жемчужинки с ожерелья, чья нить порвалась. Но вершиной словоохотливости, суеты и тщеславия является беседа двух говорливых дам – «приятной дамы» и «дамы, приятной во всех отношениях», – которые вперемешку обмениваются мнениями о моде и о безобразном поведении Чичикова. Отголоски этого кудахтанья вскоре разнесутся по всему городу. Таким образом, два второстепенных

действующих лица окажут влияние на судьбу главных действующих лиц. И такие второстепенные персонажи изобилуют в книге, и физиономия каждого описана, так же, как его привычки, и даже запахи. Некоторые из них описаны в нескольких словах, как, например, губернатор, который «был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде», или прокурор, «с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: „Пойдем брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу“».

Не только люди, но и предметы, на которые смотрит Гоголь, становятся какими-то необычными. Они участвуют в жизни действующих лиц и помогают лучше их понять. Табакерка Чичикова «серебряная с финифтью», на дне которой лежат две фиалки «для запаха», его фрак «брусничного цвета с искрой», жареная курица, которую он ест в дороге, его флакон одеколона и шкатулка со множеством отделений, – все это таинственным образом помогает нам проникнуть в его внутренний мир. Дом Собакевича, этого мужлана, подобен своему владельцу – крепкий, приземистый, прочный, а в гостиной висят картины, на которых изображены греческие полководцы «с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу». В клетке сидит дрозд темного цвета с белыми крапинками, «очень похожий на Собакевича». И чем больше Чичиков разглядывает комнату, тем больше он убеждается в том, что все, что в ней ни было, – «все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах: совершенный медведь. Стол, креслы, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства; словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: и я тоже Собакевич! Или: и я тоже очень похож на Собакевича!» А у мягкого, ленивого Манилова, беспомощного мечтателя, обстановка дома сразу говорит о том, что он так себе человек, ни то ни се: «В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: „Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы“. В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: „Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель“. Кабинет Ноздрева, фанфарона и дуэлиста, был материализацией его собственной души; в нем не было ни книг, ни бумаг, но висели сабли,

кинжалы, ружья, находилась коллекция трубок, чубук с янтарным мундштуком и „кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши“. Заброшенный парк Плюшкина, ветхие избы его крестьян, клочки бумаги, высохшие перья, кусочки сургучика, которые он бережет, чернильница с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне рассказывают нам о его скупости лучше, чем любая исповедь. А странный экипаж Коробочки, наполненный ситцевыми подушками и всякой снедью, кажется неотъемлемой частью этой туповатой и бережливой женщины, чем-то вроде кокона безобразной личинки».

Если Гоголь сурово судит помещиков, то не менее суров он и к простому народу. Идет ли речь о Петрушке, лакее Чичикова, ленивом малом, молчаливом и обладающем каким-то собственным запахом, или о Селифане, кучере с куриными мозгами, или о глупых дядюшках Митяе и Миняе, или о двух мужиках из первой главы, сделавших кое-какие замечания относительно прочности колес брички, или о Прошке, лакее Плюшкина, «глупом как дерево», или о Пелагее, крепостной девчонке Коробочки, которая «не знает, где право, где лево», – ни один крестьянин, ни один слуга не избежал иронии автора. И смех его безжалостен; он судит свысока людей любого сословия; одним словом, он не любит себе подобных. Он полагает, что его задача состоит в том, чтобы выявить низкие свойства их природы, выставить их на осмеяние, чтобы заставить в дальнейшем исправиться. Бичуя людей, он никогда не критикует государственные учреждения. Крепостное право он считает традицией уважаемой и полезной. Тем не менее, независимо от его желания, этот ряд насмешек, осмеяний приводит к ужасному выводу. Описывая тупую, животную глупость крестьян и традиционное бесчувствие хозяев, он тем самым выносит приговор российскому общественному укладу, всему государственному строю России. Все эти прошки, пелагеи, селифаны – все это печальные плоды крепостного строя. Забавная фабула «Мертвых душ» отражает всю мерзость крепостного строя, и эти ужасы бросаются читателю в глаза.

Точно так же, как, мечтая изображать ангелов, он пишет одних лишь свиней, точно так же, будучи махровым консерватором, он, вопреки собственному желанию, придает своему произведению подрывной характер. Выходит так, что у этого архитектора душа разрушителя. Впрочем, он и сам отдает себе в этом отчет и страдает от этого. Никто больше него не пытался найти себе оправдание во всякого рода предисловиях, открытых письмах, обращениях к читателю и комментариях

к собственным произведениям. Говоря о замысле «Мертвых душ», он напишет в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств. По мере того как они стали открываться, усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует. С тех пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся – пошлость и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, вот и все!.. Еще вся книга не более, как недоносок… Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра… Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что предал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться».

Конечно, объяснения и оправдания Гоголя, написанные после опубликования книги, вызывают некоторые сомнения. Когда он с радостью начал писать «Мертвые души», у него не было никаких намерений читать нравоучения. Лишь постепенно, поскольку он задавался вопросом о смысле и пользе своего произведения, ему пришла в голову мысль об этой двойной манипуляции. Утешительной кажется ему мысль о том, что работает он над исправлением своих современников, заставляя их смеяться над собою, и в то же время самосовершенствуется, наделяя своими

собственными недостатками придуманных им персонажей. Можно усомниться в том, что он действительно очистил таким образом свою душу. Но он несомненно искренен, когда утверждает, что наделил той или иной чертой своего характера персонажи «Мертвых душ». Наделенные его собственными грехами, они стали козлами отпущения. Каждый из них – часть его самого, – «история моей души», – пишет он. Скорее, ее география. Публичное покаяние в иллюстрациях, *mea culpa*. Одному он подарил свое бахвальство, свою склонность ко лжи, свою болезненную скрытность, другому – свою привязанность к материальным удобствам, свое непомерное чревоугодие, а третьему – предрасположенность к безделью и мечтательности. Но ни с одним из созданных им персонажей он не поделился своей досадной склонностью читать проповеди своим ближним. В этой галерее гротескных образов не хватает самозваного духовника, который полагает, что ему помогает Бог. Считал ли он эту свою склонность недостатком? Видимо, нет, поскольку, по его собственному признанию, «Мертвые души» – прежде всего поучение, обращенное к людям, которые сбиваются с пути истинного. Разумеется, чтобы создать все эти образы, он позаимствовал также некоторые психологические детали у друзей и знакомых, но только те, что соответствовали его умонастроению. Он уделял меньше внимания тому, что происходило вокруг него, чем тому, что происходило в нем самом. В «Мертвых душах» мы находим отражение его внутреннего мира. Увидев, в основном, их в собственной душе, всем своим героям и второстепенным персонажам, всем животным и людям, предметам мебели и картинам природы он придал нечто общее – что-то тяжеловесное, вялое и испорченное.

Замечательное единство стиля еще больше подчеркивает этот дух семейственности. Захочет ли автор описать лицо, или шкатулку, взмах руки, или рисунок листвы, он это сделает все с той же язвительной точностью, используя все словарное богатство языка. Само собою разумеется, что никакой перевод не в состоянии передать яркость и сочность этого языка, изменчивого, богатого эпитетами. При переводе на французский язык, как бы близко к оригиналу мы ни подходили, колорит теряется.

Что же до метафор, которые часто встречаются в тексте, они имеют ту особенность, что всякий раз вводят картину, не имеющую прямого отношения к рассказу. Это – как бы прорыв в иное измерение. Маленькие зарисовки, окружающие большую картину. Так, говоря о вечере в доме губернатора, в начале романа Гоголь пишет:

«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как

носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами».[352]

Внезапно удивленный читатель перенесен с домашней вечеринки у губернатора в незнакомый дом в деревне, в летний день, к какой-то старой ключнице, рубящей рафинад. Или же, когда автор сидит рядом с Чичиковым в бричке, направляющейся к дому Собакевича, неожиданное сравнение порождает в его мозгу образ балалаечника: «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшее из окна почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья».[353]

А две дамы, которые в одной и той же фразе становятся девочками! «Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой».[354]

А глаза Плюшкина, о которых мы вдруг забываем, чтобы заинтересоваться мышами!

«Маленькие глазки его еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух». [355]

А это небо, неопределенного цвета, которое приводит нас каким-то странным обходным маневром в гарнизон:

«Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».[356]

Если эта лавина метафор несколько смущает читателя и вызывает

улыбку на губах, то в диалогах Гоголь наиболее остроумен. Не только Чичиков, как мы это уже видели, говорит, применяясь к обстоятельствам, но и каждый из его собеседников наделен своей собственной индивидуальной красочной речью. Как главные персонажи, так и второстепенные, говорят так, что сразу виден их характер. Резкая и тяжеловесная речь Собакевича ничуть не напоминает медоточивую и вычурную манеру изъясняться Манилова, которая, понятно, отличается от веселого ржания Ноздрева, и их невозможно спутать со старческим лепетом Коробочки или с сухими и недоверчивыми репликами Плюшкина.

У крестьян тоже характерный сочный говор, отличающийся от щебетанья городских дам, чьи пустые пересуды явно позабавили автора:

«Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете».

«Милая, это пестро».

«Ах, нет, не пестро!»

«Ах, пестро!»

«Да, поздравляю вас: оборок более не носят».

«Как не носят?»

«На место их фестончики».

«Ах, это нехорошо, фестончики!»

«Фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на руковах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».[357]

Какой читатель, не открыв еще «Мертвые души», мог бы предположить, что пошлость человеческая может иметь столько разных обличий? И этот парад образчиков пошлости автор развернул перед нашими глазами с каким-то жестоким наслаждением. Однако, закончив чтение книги, теряешься – а что же, собственно, он хотел сказать? Полагая, что он высмеял духа тьмы, он воспел его победу; пытаясь прославить величие России, он показал ее слабости; борясь за право наставлять себе подобных, он их рассмешил, и вот они хохочут, вместо того чтобы содрогнуться от стыда. И все-таки, несмотря на непродуманную основную мысль, несмотря на противоречия и отклонения от темы, «Мертвые души» представляют собой наиболее завершенное произведение Гоголя. Это – особый мир, закрытый со всех сторон и полный тайны. Стоит туда

проникнуть, и тебя охватывает его удушающая атмосфера и фальшивое освещение. На этой мрачной планете еще надо научиться дышать. И предметы, и лица тут искажены. Голоса звучат, как из бочки. На каждом шагу тебя ожидает западня. Расставаясь с Чичиковым, которого тройка уносит, может быть, прямо в ад, читателю нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы вернуться в реальный мир. Отныне он не сможет по-старому смотреть на свое окружение – на вещи и на людей. Ему было дано шестое чувство, и это позволит ему различить хаос за красивой ширмочкой. Он теперь свой человек в мире иррационального. За что он полюбил «Мертвые души»? К чему этот вопрос? Разум тут ни при чем. Эта книга, изобилующая ненужными подробностями, многослойная по своему замыслу, на первый взгляд смешная, а на самом деле – исполненная трагизма, являющаяся одновременно эпопеей и памфлетом, сатирой и кошмарным наваждением, исповедью и заклинанием бесов, не поддается однозначному определению. Она не создана для того, чтобы спокойно стоять на библиотечной полке. Она царит, окруженная ореолом, оказывающим пагубное влияние, в самых дальних высях, где-то между «Дон Кихотом» и «Божественной комедией». Какой-то странный масонский заговор объединяет по всему миру людей, которые однажды вечером нашли на ее страницах повод посмеяться или причину для беспокойства.

Шесть лет прошло со времени первого представления «Ревизора». Шесть лет молчания. И вдруг – «Мертвые души». Публикация этого произведения словно бы разворошила муравейник. Безвестную массу читателей охватил безумный ажиотаж. В книжных магазинах стопки книг быстро уменьшались. Приверженцы и хулители книги спорили в светских гостиных с еще большим жаром, чем во времена «Ревизора». Они были не только за или против Чичикова, но еще и за или против Гоголя.

«Удивительная книга, – писал А. И. Герцен в своем дневнике 11 июня 1842 г., – горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее».

Мнения критиков немедленно разделились. Всегдашние противники Гоголя встали плечом к плечу против группы решительных сторонников

социально-критической линии в русском реализме, получившей название «гоголевского направления».

По мнению Ф. В. Булгарина, всемогущего директора «Северной пчелы», «Мертвые души» было произведением поверхностным, халтурным, «карикатурой на реальную русскую действительность», а его автор – фельетонистом, «уступающим Полю де Коку». В журнале «Библиотека для чтения» О. И. Сенковский высмеивал Гоголя за то, что он представил в качестве «поэмы» эту вульгарную сногсшибательную историю: «Поэма? Полноте! Сюжет взят от Поля де Кока, стиль от Поля де Кока… Бедный, бедный писатель, кто использовал Чичикова для реальной жизни!» Страницу за страницей критик придирчиво разбирал текст «Мертвых душ», отмечая синтаксические ошибки, солецизмы, плеоназмы, неправильное употребление слов… Со своей стороны, Полевой в журнале «Русская смесь» во имя романтической и патриотической литературной концепции отказывал роману Гоголя в праве называться «произведением искусства». «Мертвые души», – писал он, – представляют грубую карикатуру, персонажи все без исключения неправдоподобными, преувеличенными, составляющими сборище отвратительного сброда… и пошлых дураков. Содержание перенасыщено столькими описаниями, что порой невольно отбрасываешь книгу. Зато критики, друзья Гоголя, как западники, так и славянофилы, принялись дружно его восхвалять. В. Г. Белинский, представитель западников, приветствовал «Мертвые души» как бессмертный шедевр и высмеял бледных газетных писак, которые осмеливались ставить автору в упрек избитость описаний и шероховатости стиля. Он писал с обычным для него пафосом:

«И вдруг среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности – вдруг, словно обворожительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, – и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое…»

И, обращаясь к читателям «Отечественных записок», Белинский

гордился тем, что он первым заметил огромный талант автора. Эта публичная сатисфакция пришлась не по вкусу друзьям Гоголя, принадлежащим к славянофилам. В «Москвитянине» С. П. Шевырев принялся сначала лично за Белинского, сравнивая его с пигмеем, крикливым и размахивающим руками. Он также отметил, что теперь все счастливы воспользоваться случаем, чтобы восхвалить самих себя, делая себе комплименты в обладании великими талантами. Он (Белинский) предстал перед произведением, раздувая свое тщедушное тело так, чтобы постараться его замаскировать и сокрыть от вас, а затем преподнести это, так, что это он вам его рекомендовал и что без него вы бы это не увидели. Затем, обратившись к произведению, Шевырев принялся восхвалять реализм «Мертвых душ», простил ему его вульгарность некоторых описаний ради серьезных намерений автора, которые были, – он это знал наверняка – морализаторскими, патриархальными и патриотическими. Больше всего ему нравились лирические отступления, возбуждающие чувства патриотизма. В отличие от Белинского, он не видел в поэме социальной сатиры, зато видел в ней гимн вечной Руси. Даже самые отвратительные образы казались ему приемлемыми, потому что это были русские люди и за их фигурами можно было увидеть обещание обновления. Он также отметил, что его другая художественная ценность состоит в том, что произведение этого жанра может еще претендовать на то, чтобы быть консолидирующим фактором, как акт патриотизма.

Титул первого русского писателя среди современников присудил автору Плетнев, который написал свой отзыв в «Современнике» под псевдонимом. Он и одобрял писателя за то, что он «воплотил в реальность феномен внутренней жизни». Он указывал, впрочем, что этот том всего лишь приподымает занавес над объяснением странного поведения героя.

Но наибольший восторг царил в семье Аксаковых. Старик Аксаков прочел «Мертвые души» два раза подряд, не отрываясь, про себя, и один раз вслух для всей семьи. Сын его, Константин, с пылом новообращенного славянофила написал хвалебную статью о книге, тщетно попытался пристроить ее в «Москвитянин» и, в конце концов обидевшись, напечатал ее за свой счет отдельной брошюрой. С неловкостью и горячностью, свойственной молодежи, он заявлял, что «Мертвые души» – это возрождение древнего эпоса и что Гоголь достоин сравнения только с Гомером и Шекспиром. Это была медвежья услуга. Полагая, что он восславит своего кумира, начинающий критик лишь сумел вызвать язвительные замечания, посыпавшиеся со всех сторон. Даже те, кто ставил талант Гоголя очень высоко, выразили несогласие с этой похвалой, сочтя

ее чрезмерной при жизни писателя. Белинский, в частности, как представитель западников, не мог согласиться с тем, чтобы его оценка произведения совпала с мнением славянофила. Он оценивал писателя по своим критериям и не мог принять чужие критерии. Любая похвала, сформулированная на базе противоположной политической точки зрения, казалась ему более неприемлемой, чем осуждение. Хотя он уже высказал свою точку зрения относительно «Мертвых душ», он снова взялся за перо и в двух статьях, проникнутых иронией, не оставил камня на камне от аргументации Константина Аксакова. «Мертвые души», – писал он, – не имеют ничего общего с античным эпосом, равно как и Гоголь с Гомером. «В смысле поэмы „Мертвые души“ диаметрально противоположны „Илиаде“. В „Илиаде“ жизнь возведена на апофеозу; в „Мертвых душах“ она разлагается и отрицается». Но, поздравляя Гоголя с тем, что он «отрицает» жизнь, иначе говоря, что он порицает несправедливое общественное устройство своей страны, Белинский уже задается вопросом, не собирается ли автор предать дело либерализма в следующих двух томах: «Впрочем, кто знает, как еще раскроется содержание „Мертвых душ“… Нам обещают мужей и дев неслыханных, каких еще не было в мире и в сравнении с которыми великие немецкие люди (то есть западные европейцы) окажутся пустейшими людьми».

Итак, разбирая «Мертвые души», каждый находил там то, что хотел: выступление против крепостного права; прославление России и ее исторической миссии; реалистическое описание помещичьей среды; кошмар и наваждение, не имеющие ничего общего с жизнью; пощечину родине и правительству; смехотворный фарс, лишенный какого бы то ни было политического значения; поэму, проникнутую глубоко христианскими идеями; творение дьявола… С одной стороны, его друзья – либералы и консерваторы, западники и славянофилы – оспаривали честь иметь Гоголя в числе своих сторонников, а с другой стороны, его недруги оспаривали его право называться русским писателем и благонамеренным подданным русского царя. А между тем, подобно Чичикову, спасающемуся от пересудов губернского города, Гоголь бежал из Петербурга от той бури, которую он там вызвал.

Каждый поворот колеса удалял его от театра военных действий. По ту сторону границы не слышны были призывы военной трубы и злословие его соотечественников. Он мог даже подумать, что «Мертвые души» встречены обществом совершенно безразлично. Радоваться или волноваться по этому поводу? Благонравные деревушки, скромные, смирные городки с черепичными крышами сменяли друг друга на пыльной

дороге. В гостиничных номерах не было клопов. Какой покой на дорогах Пруссии!

Часть III

Глава I
Квадратура круга

Приехав в Берлин 8 июня 1842 года (20 июня 1842 года по григорианскому календарю), Гоголь сначала предполагал продолжать свой путь до Дюссельдорфа, где уединенно жил Жуковский, став отцом семейства, со своей молодой женой и новорожденной дочкой. Но говорили, что у госпожи Жуковской были больные нервы и скорее всего супруги поехали на какой-нибудь курорт с минеральными водами.

Сидя в своей комнате в гостинице, Гоголь изучал карту и пугался, как далеко ему придется ехать до Дюссельдорфа. Опасаясь отправляться в такое путешествие зазря, он предпочел послать поэту экземпляр «Мертвых душ» и сопроводил его одним из своих полускромных-полугорделивых писем:

«С каждым днем и часом, – писал он, – становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей. Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и только тогда я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования… Посылаю вам „Мертвые души“. Это первая часть… В сравнении с другими, имеющими последовать ей частями, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах… Ради Бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно…

Не читайте без карандаша и бумажки, и тут же на маленьких бумажных лоскутках пишите свои замечанья; потом по прочтении каждой главы напишите два-три замечанья вообще обо всей главе; потом о взаимном отношении всех глав между собою, и потом, по прочтении всей книги, вообще обо всей книге, и все эти замечания, и общие и частные, соберите вместе, запечатайте в пакет и отправьте мне. Лучшего подарка мне нельзя теперь сделать ни в каком отношении…»[358]

На следующий день Гоголь сел в дилижанс и отправился в Гастейн. Три дня в дороге. В конце пути грозные горы, покрытые лесами, чистейший воздух, бурлящая река, популярная водолечебница и в домике в

некотором отдалении бедный Н. М. Языков, прикованный к шезлонгу сухоткой спинного мозга. Меньше чем за год его состояние сильно ухудшилось. Он передвигался с большим трудом. Иногда его детское припухлое лицо кривилось от боли. Он с радостью принял Гоголя и пригласил его остановиться у него.

Каждое утро Гоголь ходил пить свою воду, совершал небольшую прогулку по парку, вдыхал воздух всей грудью, мечтал, глядя на облака, зацепившиеся за горы, и возвращался домой работать. Делая записи для второго тома «Мертвых душ», он одновременно дорабатывал некоторые свои произведения, которые требовались Прокоповичу для публикации в «Собрании сочинений»: «Игроки» – отрывки «Владимира третьей степени», и прежде всего пьеса «Театральный разъезд после представления новой комедии», на которую, очевидно, Гоголя вдохновила комедия «Критика школы жен» Мольера. В следующих друг за другом сценах он описывает муки автора комедии, который, спрятавшись в театральном вестибюле, слушает суждения зрителей о пьесе: «Нет ни одного лица истинного, все карикатуры!..», «Это отвратительная насмешка над Россиею…»

Гоголь не выдумал эти высказывания, а услышал их или прочитал в прессе по поводу «Ревизора». Вкладывая их в речь персонажей, он показывал, какие ожесточенные и глупые упреки сыпались на него раньше. Он на них также отвечал голосами некого «Господина Б» и «очень скромно одетого человека».

«Я утешен уже мыслью, – говорил последний, – что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи…»

И «Господин Б» утверждал, что после такой пьесы «уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности».

Что касается автора, после того, как толпа разошлась, он сделал для себя вывод из этих противоречивых оценок:

«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в нем во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был – *смех*… Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно… Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается

временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей, – но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно биющий родник его, который углубляет предмет… Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа… Бодрей же в путь!.. И почем знать – может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, – в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..»

Когда Гоголь писал эти строки, он думал не только о «Ревизоре», но прежде всего о «Мертвых душах». Его мучила судьба книги. Ему казалось, что друзья проявляли невнимание, не передавая ему день за днем отзывы о публикации. Всякий, кто считал его великим писателем, были обязаны забыть свои собственные заботы и занятия, чтобы помогать ему. Как обычно, его интересовали не восхваления, а упреки. Поскольку только упреки могли показать ему «температуру» общества и соответственно помочь ему продумать направление своего будущего произведения.

Конечно же, было бы намного проще остаться в России, если ему так важно было знать реакцию соотечественников. Однако там удары наотмашь были бы для него слишком болезненны. Расстояние не ограждало его от оскорблений, но смягчало их. Он хотел их все знать, но предпочитал узнавать о них с некоторым опозданием, ослабленных долгой дорогой. Таким образом страдание, которое он настойчиво призывал, было терпимым, оставаясь благотворным. Он наседал на Жуковского, чей вердикт по поводу его книги заставлял себя ждать: «…если бы вы к ним прибавили хотя одну строчку о „Мертвых душах“, какое бы сильное добро принесли вы мне и сколько радости было бы в Гастейне! До сих пор я еще ничего не слышал, что такое мои „Мертвые души“ и какое производят впечатление, кроме кое-каких безотчетных похвал, которые, клянусь, никогда еще не были мне так досадны и несносны, как ныне. Грехов, указанья грехов желает и жаждет теперь душа моя! Если б вы знали, какой теперь праздник совершается внутри меня, когда открываю в себе порок, дотоле не примеченный мною. Лучшего подарка никто не может принесть мне… Вы одни можете мне сказать все, не останавливаясь какою-то внутреннею застенчивостью или боязнью в чем-нибудь оскорбить авторское самолюбие. Атакуйте, напротив того, самые чувствительнейшие

нервы – это мне нужно слишком. Но уже вы прочли мою книгу, уже, может быть, многое изгладилось из вашей памяти, уже будут короче и легче ваши замечания. Нет нужды, пожертвуйте для меня временем, прочтите еще раз или хотя пробегите многие места».[359]

И Прокоповичу:

«Верно, ходят какие-нибудь толки о „Мертвых душах“. Ради дружбы нашей, доведи их до моего сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были. Мне все они равно нужны. Ты не можешь себе представить, как они мне нужны. Недурно также означить, из чьих уст вышли они…»[360]

И Марии Балабиной:

«Известите меня обо мне: записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне… Просите также ваших братцев, – в ту же минуту, как только они услышат какое-нибудь суждение обо мне, справедливое или несправедливое, дельное или ничтожное, в ту же минуту его на лоскуточек бумажки, и этот лоскуточек вложите в ваше письмо».[361]

И Шевыреву:

«Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критики, всеобщего шума и разноголосья мне всегда ясней представляется мое творенье. Мне даже критики Булгарина приносят пользу».[362]

Да, он с покорностью принимал жестокие нападки со стороны Булгарина, Сенковского, Греча, которые упрекали его за неправильный стиль и ставили его ниже Поля де Кока. Но, признавая вместе с ними, что опубликованная книга содержала много недостатков, его вера в нравственную ценность своей книги оставалась непоколебимой. По мере того как до него доходили враждебные или льстивые статьи из Санкт-Петербурга и Москвы, он начинал лучше видеть необходимость расширить изначально задуманный сюжет. Он нарисовал ад русской жизни со всеми его ужасами. Теперь он покажет чистилище, заполненное чистыми и здравыми душами, наполненными благородными побуждениями. И в третьем томе, после того, как он станет абсолютно достойным писать на эту тему, он введет своих читателей в сверкающую безусловность рая. Интеллектуалы вряд ли смогут понять такой великий замысел, думал он. Мнение критиков и коллег его волновало меньше, чем мнение широкой публики, так как Бог вложил в его руку перо именно для того, чтобы спасти эту публику.

«Творения мои тем отличаются от других произведений, что в них все

могут быть судьи, все читатели от одного до другого. Потому, что предметы взяты из жизни, обращающейся вокруг каждого».[363]

Гоголь очень часто говорил с Языковым о своем плане, и поэт, убежденный славянофил, соглашался, что наступило время отказаться от сатиры и что вторая часть «Мертвых душ» должна представить посредством нескольких положительных характеров идеального русского человека, русского человека будущего. Бог смотрит свысока за работой художника над этой грандиозной патриотической картиной, и придет момент, и Он придет на помощь неожиданным образом. Пока нужно заниматься своим покаянием, освобождая себя от земных пристрастий.

«Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа», – писал Гоголь Аксакову.[364]

В поисках вдохновения он поехал в Мюнхен, но там было так жарко, так душно, что он сразу же вернулся в Гастейн к больному, который ждал его с нетерпением. Пришли осенние туманы и дожди. Пейзаж помрачнел, подступили зловещие горы, водолечебница опустела. Кроме того, Гоголь считал, что воды ему ничуть не помогли. Языков скучал. Зачем оставаться под этим низким и серым небом, когда солнце сияло над Италией?

Друзья отправились в путь. Крепостной лакей сопровождал Языкова. Лицо больного искажала гримаса страдания, когда на станциях ему приходилось передвигаться на костылях. Гоголь внимательно заботился и морально поддерживал своего друга как «истинный христианин». Сначала Венеция. Затем Рим. Прибыли туда 27 сентября 1842 года. Иванова предупредили письмом о приезде, и он смог снять все так же в доме 126 по улице Феличе квартиру на третьем этаже для Гоголя и на втором для Языкова. На четвертом этаже поселился другой русский проездом в Риме, Федор Васильевич Чижов, преподаватель-адъюнкт математических наук в Петербургском университете.

Стояла хорошая погода, воздух был теплым, улицы оживленными, по тротуару шли бок о бок монахи в коричневых ризах и дородные и крикливые итальянцы, под окнами ослики кричали свое «и-а»… Каждый вечер друзья собирались у Языкова, который принимал, развалившись в своем кресле, свесив ноги и втянув голову в плечи. Приходили художники Иванов и Иордан с карманами, полными жареных каштанов. Слуга приносил бутылку вина и стаканы. Но ни каштаны, ни вино не могли расшевелить Гоголя. Он пил, ел, словно погруженный в сон. Временами,

когда его кто-то окликал, он выпрямлялся и пускался в высокопарные рассуждения о значении своего произведения. Или же менял тон и рассказывал сальный анекдот. Вульгарность используемых слов поражала его друзей, которые знали его больше как вдохновенного поборника искусства и морали.[365]

Затем он опять погружался в хмурую молчаливость. «Николай Васильевич, что это вы как экономны с нами на свою собственную особу? – говорил ему Иордан. – Мы вот все труженики, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться, – а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны только покупать вас в печати?» Гоголь ухмылялся, вздыхал, грыз каштаны и не отвечал.

«Признаться сказать, – писал Иордан, – на этих наших собраниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется, только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-то более было некуда…» Однажды они сидели так в тишине, подавленные, сонные и угрюмые вокруг бутылки с наполовину выпитым вином. «Молчание продолжалось едва ли с час времени. Гоголь первый прервал его. „Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем“. И после добавил: „Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?“»[366]

Пришла зима. Н. М. Языков дрожал от холода в своей комнате. Он был разочарован и обижался на Гоголя, что тот втянул его в такое долгое путешествие ради такого жалкого существования.

«…он хотел и обещался устроить меня как нельзя лучше; на деле вышло не то: он распоряжается крайне безалаберно, хлопочет и суетится бестолково, – писал Языков своим родителям. – Холодно мне и скучно и даже досадно. Почитает всякого итальянца священною особою, почему его и обманывают на каждом шагу». Очень скоро Языков уезжает обратно в Гастейн, но Гоголь, воспользовавшись этим, занял у него таки две тысячи рублей. Деньги очень быстро растаяли, и Гоголь снова оказался перед бездной. Печать «Мертвых душ» стоила намного больше, чем предполагалось ранее, а небольшая сумма, вырученная за продажу, пошла прежде всего на оплату долгов автора в Москве и Петербурге. Что касается «Полного собрания сочинений», Прокопович, полный добрых намерений, но неопытный в типографском деле, очень неумело взялся за их публикацию. Он сделал столько исправлений в тексте, но от этого оригинал потерял всю свою яркость и остроту, он купил бумагу по запредельной цене и проглядел, что типография обманула его в количестве выпущенного тиража. По тому, сколько средств было израсходовано на

издание, представлялось очень сомнительным, чтобы затея вышла коммерчески выгодной. Возможно, что автору и его друзьям придется даже еще доплатить. Где достать деньги? Второй том «Мертвых душ» еще только в замыслах. Все богатство Гоголя состояло в одном чемодане, бумагах, «кое-какое белье, три галстуха». Он уже давно отказался от своей части собственности в Васильевке. Его мать, сестры бедствовали из года в год, надеялись, что он придет к ним на помощь. Единственным его прибежищем, как всегда, были друзья! Всевышний дал им шанс быть его друзьями, поэтому они должны освободить его от всех забот и обеспечить его существование на необходимый срок, чтобы он имел возможность создать очередной шедевр. В интересах своей души они должны заботиться о его бренном теле. Все, что они сделают для него, им воздастся сторицей в ином мире. Служить ему – значит служить Богу. Он объяснил это в длинном письме Шевыреву:

«Сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, – рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй… Я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения… Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. (Аксаков). От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу, и не должен, и не властен думать о них… Верьте словам моим, и больше ничего… Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и другими, если только последуют, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета; я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно… Высылку денег разделить на два срока: первый – к 1 октября и другой – к 1 апреля, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради Бога, чтобы сроки были аккуратны: в чужой земле иногда слишком приходится трудно… Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства… Я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность

окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы, таким образом, приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога… Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму…»[367]

Следует ли понимать, что этим «правом» он воспользуется после, когда его нравственное превосходство будет признано всеми? Опасаясь, что Шевырев проигнорирует его просьбу, он повторил свои указания почти слово в слово в письме Аксакову: шесть тысяч рублей в год в течение трех лет к установленному сроку. «Если не достанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания».[368]

Не удовлетворившись тем, что обязал своих друзей обеспечивать его, он еще посоветовал им поддерживать его мать и сестер советами. Марья Ивановна Гоголь ошибочно полагала, что успех «Мертвых душ» приносил сыну сказочные богатства и что скоро он сможет помочь ей выйти из финансовых затруднений.

«Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом, – писал еще Гоголь в письме Аксакову. – Если останутся в остатке деньги, то пошлите; но не упускайте также из виду и того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случиться всякий год; и потому умный совет с вашей стороны… может быть ей полезнее самих денег».[369]

Эти два письма возмутили Погодина, который был недоброжелательно настроен по отношению к Гоголю с его последнего пребывания у Погодина в гостях, и поставили Т. С. Аксакова и С. П. Шевырева в затруднительное положение. Быстрого дохода от продажи «Мертвых душ» нечего было и ждать, которые, однако, хорошо расходились, ни от «Собрания сочинений», выпуск которых только-только был разрешен цензурой, и существовало опасение, что слишком высокая цена на них (двадцать пять рублей за том) могла отпугнуть покупателей. Кроме того, никто из трех московских друзей не располагал большими суммами денег. Действительно, Гоголь на все смотрел со своей точки зрения и трудности других ни во что не ставил. Но они не могли оставить помирать с голоду на чужбине человека его таланта. Охая и чертыхаясь, С. Т. Аксаков взял из своих накоплений тысячу пятьсот рублей, столько же занял у знакомой госпожи Демидовой и отправил три тысячи рублей в Рим.

*

«Собрание сочинений» в четырех томах содержали несколько ранее не издававшихся произведений, среди них одна комедия («Женитьба»), «драматические отрывки» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская», «Театральный разъезд…») и повесть «Шинель». Премьера «Женитьбы» состоялась в Петербурге 9 декабря 1842 года, когда Гоголь уже был в Риме. Там он узнал, не сильно расстроившись, что она была плохо сыграна и плохо принята. Реприза в Москве 5 февраля 1843 года с Щепкиным и Гивокини на главных ролях, и в этот раз пьеса не дошла до сознания зрителей. «Игроки», которые значились в афише вместе с «Женитьбой», также никто не оценил. То исправляя сцену, то добавляя в нее персонажи, Гоголю потребовалось девять лет, чтобы закончить «Женитьбу» (первая версия относится к 1833 году, а последняя – к 1842). Несмотря на старание, которое он прикладывал, чтобы наполнить эту басню содержанием (нерешительный претендент на руку и сердце, которого настойчиво хочет женить его друг, удирает в последнюю минуту, лишь бы не брать на себя обязательств), он не придавал большого значения своей работе. Как для него, так и для его друзей, «Женитьба» была шуткой, годной разве только что, чтобы развлечь публику. И, конечно же, нельзя подходить с общей меркой к этой пьесе, как к уникальному шедевру, загадочному и яркому, таким, например, каким стал «Ревизор». Но в то же время автор не мог написать что-либо несущественное, поэтому даже в «Женитьбе» появляются комические фигуры, воплощающие в себе отрицательные стороны личности и являющиеся характерными представителями определенного социального слоя общества. Это тот социальный слой, слой купцов, который с огромным успехом использует Островский во второй половине девятнадцатого века.

А Гоголь выступает здесь как новатор, открывая путь театру нравов, целью которого является в меньшей степени закрутить удачную интригу, а в большей – заглянуть в дома этих людей. Женихи, которые дефилируют перед невестой Агафьей, вновь появятся через полвека в некоторых рассказах Чехова. Что касается главного героя, Подколесина, который мечтает жениться, то он никак не осмеливается сделать решительный шаг и пребывает счастливым только на своем диване в халате и с трубкой во рту, со своей беспредельной ленью и кроткой нерешительностью, представляя собой прародителя знаменитого Обломова Гончарова. Его друг, предприимчивый Кочкарев, решает женить его с помощью Феклы,

профессиональной свахи, которая уже давно вела переговоры с обеими сторонами. Он тащит Подколесина к невесте, прибегает к уловкам, чтобы ее уговорить, что никого лучше ей не найти, и одновременно убеждает других претендентов, что она жалкая партия. Среди них Яичница, экзекутор, практичный человек, которого интересует одно только приданое; Анучкин, отставной пехотный офицер, который желает иметь хорошо образованную невесту, умеющую говорить по-французски; Жевакин, моряк, которому по душе толстушки… Всех обогнал Подколесин, которого Кочкарев толкает в спину. Но в ответственный момент, когда надо пожинать плоды, сомнение охватывает счастливого претендента: «На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уже после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – все кончено, все сделано…» В последний момент, заметив открытое окно, он выпрыгивает на улицу, забирается в фиакр: – гони, извозчик! – и так же, как Хлестаков в «Ревизоре», Чичиков в «Мертвых душах», улепетывает галопом.

Несмотря на простоту сюжета, этот фарс так живо обрисован, что все его персонажи – неуверенный жених, друг-зазывала, возмущенная сваха, нелепые претенденты, слабодушная и беспокойная девица – представляются живым букетом карикатурных человеческих персонажей, черты которых надолго остаются в памяти.

Если «Женитьба» – это пьеса положений, в которой интрига практически отсутствует, то именно ради интриги стоит поднять занавес для «Игроков». Стремительность драматической экспрессии сцен, смена поворотов действия и неожиданная развязка делают из пьесы образец жанра. Безусловно, сюжет этого фельетона напоминает пьесу «Игрок» Жана Франсуа Реньяра, «Тридцать лет, или Жизнь Игрока» Дюканжа и Дино, русский роман неизвестного автора «Жизнь игрока, описанная им самим» и множество других русских комедий того времени. Но здесь снова язвительная острота пьесы Гоголя придает произведению несомненную оригинальность. Щепкин рассказал автору анекдот: как картежный шулер незаурядных способностей, думая, что перед ним наивные, неопытные игроки, попадает на таких же профессиональных мошенников, как и он сам. Он предлагает им объединиться для «большого дела», но в конце оказывается ими же обманутым. Этот знаменитый скетч был написан исключительно с намерением рассмешить публику и в который раз является подтверждением гоголевской страсти к надувательству. Всегда, словно не подозревая об этом, Гоголь возвращается к теме торжествующего плута. Один обманывает окружающих, выдавая себя за важное лицо, другой, покупая мертвые души, третий, жульничая в картах.

И, как обычно, завершение любого дела – побег преступников в карете, в тележке, на дрожках. «Они уж уехали… Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади».[370] Ограбленный, одураченный, уязвленный Ихарев, обворованный вор, делает вывод из своего злоключения: «Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошеннник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! Черт возьми! Такая уж надувательная земля!»

В противопоставление этим двум откровенно веселым комедиям «Шинель», наверное, самая глубокая повесть Гоголя. Она трогает читателя своей человечностью, грустным юмором и глубокой тайной. Эта любовь к бедному люду прослеживается у Достоевского в «Бедных людях», в «Униженных и оскорбленных» и во множестве других его произведениях. «Мы все вышли из „Шинели“ Гоголя», – скажет он, говоря от своего лица и от лица своих современников. Отправной точкой в создании «Шинели» послужило реальное событие, о котором Гоголь узнал от друзей примерно в 1832 году: несчастья мелкого чиновника, который ценой жестоких ограничений смог купить себе охотничье ружье, но теряет его в первый свой выход на охоту и впадает в такое отчаяние, что его растроганные друзья решают сложиться, чтобы подарить ему другое ружье.[371] Очень любопытно проследить, каким изменениям подверг автор эту историю, чтобы сделать ее соответствующей своему гению. Ружье, предмет роскоши, становится шинелью, предметом первой необходимости; герой не теряет свое сокровище, а у него его крадут; он не выздоравливает, а умирает; наконец реальная жизнь переходит в призрачную… Таким образом, пройдя через сознание Гоголя, изначальная история стала более мелочной, жестокой и фантастичной. Он начал работать над повестью в 1839 году и завершил 1840 и 1841, раскрыв в ней характер главного персонажа – Акакия Акакиевича Башмачкина. Это нелепое имя само по себе является образом, так как все вокруг «топчут» Акакия Акакиевича. Бледный переписчик в одном из департаментов, он исполняет свои обязанности так давно и с таким постоянством, что кажется, что он всегда сидел на одном и том же месте и «родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове». Он – объект издевательств со стороны своих коллег, которые откровенно надсмехаются над ним и всячески унижают, а он только иногда слабо протестует: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Переписывание бумаг – его единственное удовольствие на свете. Отдельные буквы – его фавориты, и он радуется, выводя их. «В лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву,

которую выводило перо его». Полностью погруженный в свой сладкий сон чернил и бумаги, он не испытывает даже желания развлечься на какой-нибудь дружеской вечеринке. Но неожиданно это однообразное и замкнутое существование одержимого старика нарушается: шинель Акакия Акакиевича настолько поистерлась, что он решается заказать себе новую. Здесь, без сомнения, Гоголь вспомнил время, когда он находился в ужасной нищете, в 1830 году, дрожал от холода и его «покровитель» А. А. Трощинский в конце концов отдал ему свое собственное пальто. В сознании Акакия Акакиевича покупка шинели принимает размеры исторического события. Он откладывает деньги в предвидении будущих расходов. Он больше не пьет чаю, не зажигает свечей, «ступает как можно легче и осторожнее, почти на цыпочках, чтобы не истереть скоровременно подметок», и ест только по необходимости. «Он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто само существование его сделалось как-то полнее; как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу… Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель… Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник?»

Наконец, накопив по копеечке нужную сумму, он может заказать себе шинель, цвет и покрой которой он столько раз обсуждал с портным. Он примеривает ее и поражается: совершенство! Ощущая легкость нового одеяния на плечах, он чувствует такую радость, что не может удержаться от улыбки. И вдруг трагедия: посреди безлюдной покрытой туманом площади на него нападают воры и крадут новую шинель. Обезумев от горя, несчастный чувствует себя так, как если бы он овдовел. Он потерял смысл жизни. Он подает жалобу, затем излагает свое дело одному значительному лицу, «Его Превосходительству», который должен был бы своим вмешательством ускорить расследование полиции.

Его Превосходительство принимает бедного чиновника так плохо, что тот чуть ли не падает в обморок от страха. На улице он простужается. И несколько дней спустя умирает, забытый всеми. «Его свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда и не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное… И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклонее и косее».

На этом месте заканчивается сочинение Гоголя – писателя-реалиста; и со следующей строки начинается сочинение Гоголя – писателя-фантаста. И вот на смену живому Акакию Акакиевичу приходит его дух. Привидение мелкого чиновника появляется в окрестностях Калинкина моста. В постоянных поисках своего добра он сдирает с прохожих их шинели «на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы…». Однажды вечером привидение нападает на само «значительное лицо», то, которое его выставило за дверь, и снимает с него его шинель. «Значительное лицо» в ужасе возвращается домой, и вся гордая спесь его разом слетает с него. С этого дня похождения чиновника-мертвеца окончательно прекращаются, «видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам».

В действительности разрыв между реалистичностью и нереалистичностью не такой четкий, как кажется после первого прочтения. Даже в самой реалистичной части есть тысячи деталей, которые не соответствуют реальности. Эти детали как бы образуют ощущение некого постороннего заднего фона. История Акакия Акакиевича разыгрывается в двух плоскостях. На поверхности речь идет, конечно, об угнетенном человеке, униженное положение которого дает повод для осуждения глупого высокомерия начальников, да и вся повесть может рассматриваться как сатира на российский бюрократизм или же как протест против социальной несправедливости. Но за этим полусаркастичным и полутрогательным продолжением судьбы гомункулуса с выпачканными в чернилах пальцами обнаруживается удивительная власть не поддающихся логике сил. Ничтожество Акакия Акакиевича состоит в то, что он, даже будучи живым, больше походил на автомат, на «мертвую душу».

В этой атмосфере бессмысленности, где начальники и подчиненные каждый раз борются за обладание все более красивой погремушки, мысль о новой шинели разжигает его мозг мистической страстью. И мы, смеющиеся над несоответствием между банальностью предмета его желаний и его болезненным обожанием, с которым он к нему относится, вдруг обнаруживаем, что наши собственные увлечения часто не стоят большего. Если хорошо рассмотреть наше существование, оно оказывается состоящим из безрассудного бега к той или иной цели, которая нас привлекает своей значительностью и которая, как только мы ее достигаем, разочаровывает нас. Нам кажется, что мы посвящаем себя важным делам, а в действительности мы идем от «шинели» к «шинели», к ужасному концу, о котором мы никогда не думаем. Однако временами чувствуется ледяное дыхание преисподней, проникающее сквозь паутину наших дней. Если бы

попытались забыть об этом, нам было достаточно перечитать произведение Гоголя. Видимый мир, так детально им описанный, плохо скрывает невидимый мир, откуда пришел наш герой. Акакий Акакиевич, как и Чичиков, персонаж полутело-полудух. Он – доказательство бессмысленности и тщеславия, которым подвержены все человеческие поступки.

Критики разделились в своих взглядах как на «Собрание сочинений», так и на отдельные произведения. Еще с большим ожесточением, чем когда-либо, Булгарин, Сенковский, Полевой возобновляют свои атаки против Гоголя, вновь сравнивая его с Полем де Коком и Пиго-Лебраном. В противоположность им славянофилы и западники – каждый по-своему – курили ему фимиам.

«Это произведение, – писал Белинский в „Отечественных записках“ в феврале 1843 года, – есть то, что составляет в настоящий момент гордость и славу русской литературы».

Такие утверждения вызывали у Гоголя улыбку: все, что он опубликовал до настоящего дня, было ничто в сравнении с тем, что он готовился написать. Чтобы подготовиться к этому главному творению, он читал Библию, «О подражании Иисусу Христу» и «Размышления» Марка Аврелия. Он говорил, что у этого императора благородная душа: «Божусь Богом, что ему недостает только быть христианином!»[372]

Бог, которому он молился с таким жаром, припас для него большую радость. В конце января 1843 года в Рим приехала его нежная несравнимая подруга Александра Осиповна Смирнова. Она поселилась в Palazzetto Valentini (палацетто Валентини) на Piazza Trojana (площади Трояна). Гоголь и Аркадий Осипович Россет, брат Смирновой, привели в порядок комнаты до ее приезда. Когда она с детьми поздно вечером вышла из экипажа, она оказалась перед красивым зданием с ярко освещенными окнами. На лестницу выбежал Гоголь с сияющим лицом и распростертыми объятиями.

«Все готово! – воскликнул он радостно. – Обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел. Воздух будет хорош; Корсо под рукою, а что всего лучше – вы близко от Колизея…»[373]

На следующий день он вернулся и вытащил из кармана расписание, озаглавленное «Путешествие Александры Осиповны», которое предусматривало на каждый день недели посещения дворцов, руин и музеев Рима. Каждый осмотр должен был заканчиваться паломничеством в

собор Святого Петра в Ватикане, на который, по мнению Гоголя, никогда не наглядишься, хотя и «фасад у него комодом». Госпожа Смирнова увлеченно следовала за своим гидом, который, казалось, никогда не уставал и все на свете помнил. Он носил голубую шляпу, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, весь этот наряд напоминал малину со сливками. Его знание города было таково, что он мог бы стать каким угодно профессором, говорила его спутница. Но он требовал безусловного восхищения: заметив, что она недостаточно эмоционально выражала свой восторг при виде фресок во дворце Фарнезе, он воспринял это как личное оскорбление и рассердился. Зато он был доволен, когда она стояла, оцепенев от удивления, перед статуей Моисея работы Микеланджело. Один раз, сидя на скамьях амфитеатра в Колизее, Александре Осиповне захотелось узнать, как Нерон предстал перед толпой. Этот вопрос возмутил Гоголя: «Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем!» Но затем, передумав, добавил: «Подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры». Для длительных прогулок они брали ослов. Гоголь с удовольствием вверялся этим спокойным животным, которых так любил Христос. В римской Кампаньи он собирал травы, слушал пение птиц, ложился навзничь и бормотал: «Забудем все, посмотрите на это небо» или «Зачем говорить? Тут надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воздух и благодарить Бога, что столько прекрасного на свете».[374]

Вечером он часто заходил к Александре Осиповне в ее палацетто Валентини и, сидя друг напротив друга, они вслух читали книгу, сменяя друг друга. Однажды, когда на одном вечере Смирнова с чувством читала «Письма путешественника» Жорж Санд, он стал выражать нетерпение, вздыхал, хрустел пальцами и наконец спросил ее, любит ли она слушать скрипку. Когда она ответила, что любит, он сказал: «А любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?» Он считал, что Жорж Санд фальшивила, когда пела о природе. Ничего не могло его заставить отступиться от своего мнения. В любой ситуации он демонстрировал перед своей собеседницей убежденность, которую никакие возражения не могли поколебать. В одном разговоре он как-то снова упомянул свое якобы совершенное путешествие в Испанию. Она ему напомнила, что уже однажды уличила его в обмане. «Так если ж вы хотите знать правду, я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете». Тут он начал описывать в таких подробностях столицу Турции, как будто только что из нее вернулся:

называл улицы, рассказывал о богатых убранствах мечетей, восторгался качеством турецкого кофе, расчувствовался, вспоминая о бедствиях бездомных собак, вставил словечко о тайне, сокрытой за решетчатым балконом. Его речь заняла всех слушателей на целых полчаса, и Смирнова была покорена. «Вот сейчас и видно, – сказала она ему тогда, – что вы были в Константинополе». В глазах Гоголя блеснул хитрый огонек. «Видите, как легко вас обмануть. Вот же я не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был». И Смирнова уже не знала, верить ему в этот раз или нет.[375]

Даже когда он так маневрировал между правдой и неправдой, она продолжала видеть в нем наставника. Он был ее гидом не только по улицам Рима, но и по жизни. В остальном он шутил с ней очень редко и говорил в основном покровительственным и назидательным тоном, против которого она не имела ничего против. Он призывал ее стремиться стать настоящей христианкой, отказаться от суеты светских приемов, растить свою душу как драгоценный розовый куст. По любому поводу он вытаскивал из кармана «О подражании Иисусу Христу» и читал из него отрывок.

При приближении Пасхи он решил соблюдать строгий пост. Но католицизм уже не привлекал его так, как прежде. Его пристрастие к апостольской и римско-католической вере было обусловлено восхищением Вечным городом. По мере того как он отходил от внешнего мира, он терял вкус к католичеству, а больше стремился к вере, которую исповедовали в его родной стране. Посвятив свой гений прославлению России, он должен был вернуться к православной вере своих предков, иначе это было бы предательством по отношению к его делу, его миссии. Теперь он ходил молиться в маленькую православную церковь при посольстве России. Александра Осиповна, которая иногда его сопровождала, была удивлена, видя, как он удалялся от других молящихся и долго уединенно молился у одной из икон. Он снова начал говорить о своем намерении посетить Иерусалим. Он еще раньше писал Аксакову:

«Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал слово любви сей человекам, откуда истекала она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении?

Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей?…Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей».[376]

Мысль о паломничестве на Святую землю больше не оставляла Гоголя, но он пока не торопился привести свой план в исполнение. В настоящий момент он мечтал о более коротких и менее благочестивых дорогах. Когда Смирнова оставила Рим ради Неаполя в апреле 1843 года, он вдруг почувствовал, что словно осиротел в доме 126 по улице Феличе, и первого мая поехал во Флоренцию. Из Флоренции через Болонью, Модену, Мантую, Верону, Тренто, Инзбрук, Зальцбург он докатился в дилижансе до Гастейна, где вновь встретился с Языковым. Две недели провел с больным и поехал в Мюнхен. Оттуда он пишет Прокоповичу, который осмелился спросить его, будет ли скоро готов второй том «Мертвых душ»:

«Не хочу тебя обижать подозрением до такой степени, что будто ты не приготовил 2-го тома „Мертвых душ“ к печати? Точно „Мертвые души“ блин, который можно вдруг испечь… „Мертвых душ“ не только не приготовлен 2-й том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет… не может выйти в свет».[377]

Отправив письмо, он уехал во Франкфурт, где находился Жуковский со своей молодой женой, красивой, меланхоличной и болезненной. Оттуда все трое поехали в Висбаден, затем в Эмс, чтобы пройти лечение минеральными водами. Но Смирнова как раз только приехала в Баден-Баден. Что такое двести километров для пылкого сердца? Гоголь тронулся в путь в знойную июльскую жару. В Баден-Бадене он пил свою воду, купался в темном и нежном взгляде Александры Осиповны, читал ей вслух отрывки из «Илиады» и жаловался, что не может ничего писать сам. Осталось только заскочить в соседний Карлсруэ, чтобы навестить Мицкевича, и можно возвращаться в Дюссельдорф к Жуковским. Нежелание сменить обстановку вдохновляло его на беспрерывные переезды: он даже больше не замечал пейзажа, мимо которого проезжал.

«Я бы от души рад восхищаться свежим запахом весны, видом нового

места, да нет на это у меня теперь чутья. Зато я живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле, которые носятся неразлучно со мною, и все, что там ни есть и ни заключено, ближе и ближе становится ежеминутно душе моей».[378]

И позже, тому же Данилевскому:

«Переезды мои большею частию зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы… Чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей».[379] Среди этих людей был один мудрец, добрый Жуковский, раздираемый между заботами о здоровье жены и трудностями, с которыми он сталкивался, переводя «Одиссею» в стихах. Рядом с ним в Дюссельдорфе Гоголь хотел бы, подстегиваемый духом соперничества, снова взяться за «Мертвые души». Но голова была словно налита свинцом. Издание «Собрания сочинений», несколько экземпляров которого он только что получил, его глубоко огорчило. Бумага была слишком тонкой, шрифт слишком плотным, тома слишком худыми, слишком легкими за такие деньги. Неужели он так мало написал за одиннадцать лет? Праздность, которой он сейчас предавался «по воле Божьей», не мешала ему давать авторитетные советы своим близким и друзьям. Он был не способен продолжать свою поэму, зато пламя разгоралось, когда дело касалось наставительных писем. Пустив перо летать по бумаге, он советовал своим адресатам совершенствовать себя, читать работы Отцов Церкви и довериться ему. Он упрекал Данилевского, что тот уступает соблазнам света, когда как он, Гоголь, выбрал себе трудный путь лишений. «Ты и не начинал еще жить внутренней жизнью… Нет, ты не слышал еще значения тайного и страшного слова „Христос“».[380]

Шевырева он заверял: «Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины, если они увлекутся общим движеньем, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся».[381]

Но с еще более строгими проповедями он обращался к матери и сестрам: «Теперь обращаюсь к сестрам. Одна вообразила, что у ней не может быть обязанности, никаких дел, что она рождена именно для того, чтобы не входить ни во что, что она бесполезна и ни на что не способна (как будто что-нибудь бесполезно из того, что создано Богом), и что весь долг ее состоит только в том, чтобы не делать ничего злого. Другая предалась мечтаниям и презрительно смотрит на действительность и на то, что вокруг нее, безрассудно думая, что только в другом месте она может быть счастлива, не заботясь о приобретении мягкой прелести поступков,

без чего нельзя быть счастливу нигде, а тем более быть любимой другими. 3-я вообразила, что она глупа и способна только на маловажные дела, что она не знает ничего, тогда как, может быть, она произвела бы подвиг, угодный Богу и спасительный для семейства… Просила ли хоть одна из них, хотя раз в жизни, просила ли она Бога, чтоб он вразумил ее проразуметь смысл и значение насылаемого несчастия, увидеть его хорошую и благодетельную сторону?.. Знайте же, что несчастий нет на свете, что в этих несчастиях заключены глубокие наши счастия. Не с тем говорю я им все это, чтобы каждой из них указать и назначить труд ее и определить, в чем должны заключаться ее занятия и долг ее. Не в виде также совета я говорю им все это. Я не имею на это права и не мое дело советовать… Нет, я говорю им это для того, чтобы каждую привести в состояние дать самой себе совет, подумать самой о себе, осудить самое себя».[382]

На эту проповедь сестры и мать отвечали Гоголю с уверениями в своей невинности и с упреками в его суровости. Он великодушно предпочел не продолжать спор. Но при условии: его письмо должно стать руководством в жизни для семьи.

«…дайте мне все слово во все продолжение первой недели Великого поста (мне бы хотелось, чтобы вы говели на первой неделе) читать мое письмо, перечитывая всякий день по одному разу и входя в точный смысл его, который не может быть доступен с первого разу. Кто меня любит, тот должен все это исполнить. После этого времени, то есть после говения, если кому-нибудь придет душевное желание писать ко мне по поводу этого письма, тогда он может писать и объяснять все, что ни подскажет ему душа его».[383]

С первыми каплями осеннего дождя Гоголю показалось, что он задыхается в атмосфере маленького, уютного и спокойного дома Жуковских. Он снова мечтал о синем небе, о солнце Италии. Он решил поехать в Ниццу, увидеться с графиней Вильегорской и Александрой Осиповной Смирновой, которые намеревались пробыть там всю зиму.

Надо было пересечь часть Германии и всю Францию. Измученный дорогой, он высадился в Марселе, провел ночь в гостинице, где ему стало так плохо, что думал, пришел его последний час. В который раз он приготовился, молясь, умирать. Но на рассвете его страхи рассеялись, и он опять пустился в путь. Он спешил в Ниццу, город в Пьемонте,[384] северо-западной области Италии, красоту, климат и спокойствие которого ему так расхваливали.

Сначала Ницца его покорила. Лазурное небо над морем, тихий плеск волн, теплое дыхание весны в разгар зимы, изысканное смешение французского и итальянского языков на улицах… «Ницца – рай, – писал он Жуковскому, – солнце, как масло, ложится на всем; мотыльки, мухи в огромном количестве, и воздух летний. Спокойствие совершенное».[385]

Он поселился у графини Луизы Карловны Вильегорской, которая сняла дом госпожи Паради, в самом центре города и недалеко от моря. Графиня Вильегорская жила со своими двумя дочерями, Софьей, Анной и графиней Соллогуб. Холодная и набожная, она жила жизнью своей семьи и была бесконечно благодарна Гоголю за то, что он четыре года назад в Риме ухаживал за ее умирающим сыном. Он был для нее не столько восхитительным писателем, сколько человеком, наиболее способным понять ее горе. Гоголь, однако, никогда не чувствовал себя с ней комфортно, скучал, слушая ее жалобы, и пользовался любой возможностью, чтобы ускользнуть.

Он был счастлив снова увидеть Смирнову, которая тоже иногда впадала в беспричинную тоску. Она обитала в уютном домике в квартале Мраморного Креста и, казалось, страдала от всего, даже от роскоши окружающей обстановки. Пресытившись своими победами в свете, но плохо перенося одиночество, стремясь к Богу, но не отводя глаз от зеркала, эта женщина тридцати двух лет, неспокойная и неудовлетворенная своей жизнью, не могла ни отказаться от светской жизни, ни довольствоваться ею. Ее настроение ухудшилось и за несколько месяцев упало до состояния неврастении. Смотря на нее, трудно было представить, что она была озорной девушкой с живым взглядом и острым язычком, которой воздавали должное и государственные люди, и писатели. Она, конечно же, была еще очень красива, и все так же сверкали ее темные глаза, открыто смотрящие на собеседника. Но кожа уже не была такой белоснежной, веки покрылись мелкими морщинками, контуры шеи едва заметно исказились. Меланхоличный неуверенный взгляд омрачал иногда ее лицо. Она много молилась и читала Боссюэ перед сном. Затем ее охватывало лихорадочное стремление выйти в свет, ей хотелось наряжаться, показывать себя, блистать, нравиться. Она поражала свое окружение остроумными шутками, блеском темных глаз, грацией немного томной улыбки, и вдруг что-то угасало в ней, ее охватывало сознание своей ничтожности, пустоты, и она возвращалась к своим леденящим мыслям и впредь желала обращаться только к Богу.

Не проходило дня, чтобы Гоголь не виделся с ней. Немного поработав утром в своей комнате у графини Вильегорской, он шел на прогулку в

одиночестве вдоль берега моря, вздыхал морской воздух для укрепления здоровья, покупал засахаренные фрукты и с пакетиком в руке приходил на обед к Смирновой. Завидев тонкое лицо Гоголя, французская кухарка кричала во все горло, чтобы ему сообщить некоторые особенные блюда меню: «Мсьё Гого, мсьё Гого (так она его называла), редиска и французский салат!»

После обеда Гоголь вытаскивал из кармана толстую тетрадь, куда он переписал отрывки из сочинений Отцов Церкви, и читал их своей хозяйке, которая, обессилев, слушала его со слезами на ресницах. Он также специально переписал для нее четырнадцать псалмов, которые она пообещала выучить наизусть. По его приказу она их читала, держа голову прямо, смотря ему в глаза. Если она ошибалась, он со всей строгостью учителя говорил: «нетвердо!» и наказывал выучить урок к следующему дню. Чувствуя жалость к тому, что он живет в такой крайней бедности, она спросила его однажды, из чего состоял его гардероб. Хватает ли ему белья, галстуков? «Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, – ответил он. – Я большой франт на галстухи и жилеты. У меня три галстуха: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее». И он призвал ее отказаться от большинства своих платьев и побрякушек и оставить, как он, только самое нужное. Она ему поклялась, без особого убеждения, воспользоваться его советом. Иногда, чтобы ее вознаградить за старания, он читал некоторые страницы из второго тома «Мертвых душ», за который он только недавно взялся. Во время одного из таких чтений, когда в воздухе почувствовалась гроза, он захлопнул тетрадь, и в этот момент прогремел гром над его головой. Он побледнел, закрыл глаза и задрожал. Гроза прошла, и Смирнова попросила его продолжить чтение. «Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения… Признайтесь. Вы тогда очень испугались?» – «Нет, хохлик, это вы испугались», – сказала она. – «Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и Бог в гневе своем погрозил мне».[386]

Несмотря на наказ неба, он продолжал с трудом работу над своим романом.

«Гребу решительно противу волн, иду против себя самого, т. е. противу находящего бездействия и томительного беспокойства… – писал он Языкову.[387] И своих друзей убеждал: „Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать…“ – „Да что ж делать, если не пишется?“ – возражал ему

Соллогуб. – „Ничего… Возьмите перо и пишите…“ – отвечал он».[388] Пока, несмотря на такую строгую дисциплину, второй том представлял из себя, по его личному признанию, один только «хаос». Такой же хаос царил в голове. Он уже так четко не видел ни продолжение поэмы, ни дальнейшую свою жизнь. Его беспокоило и то, что он испытывает удовольствие от общения со Смирновой. Никогда ни одна женщина не притягивала его физически. Он относился к ней с любовью только за ее душу. И хотя, надо признать, что она, ко всему прочему, была очень привлекательна, он не считал, что ему находиться с ней опасно. Так же, как он сидел когда-то у изголовья молодого и красивого Иосифа Вильегорского, священная миссия ограждала его от слабостей чувств. Уверенный в своей правоте, он в полной уверенности наслаждался легкой остротой соблазна, зная, что последствий этому не будет. День за днем исповедуя и журя свою грешницу, он ее нравственно раздевал, с удовольствием себе не позволяя малейших прикосновений, малейших пристальных взглядов. Она вверялась ему, открывалась ему с неким христианским кокетством, дозируя свои признания, вымаливая советы, трепеща от мысли, что у жизни не будет «будущего». Во время таких животрепещущих разговоров чаще всего наименее осторожно вела себя Александра Осиповна. Однажды она посмела полусерьезно-полушутя сказать ему: «Послушайте, вы влюблены в меня…» Гоголь побледнел от гнева, пулей вылетел из комнаты и не появлялся в течение трех дней.[389]

Когда он вернулся, эта фраза внешне была забыта. Но он вспоминал о ней со страхом и наслаждением. Его отношения со Смирновой стали еще более тесными, оставаясь платоническими. Кое-кто из его окружения шептался, что он еще в совсем юном возрасте имел наедине плохие привычки, которые и привели его к отдалению от женщин. Другие утверждали, что он остается девственником из принципа. Он же сам приводил моральные и религиозные причины, по которым он не признает чувственной любви. Однако он мог бы с тем же успехом осудить все наслаждения, которые мы получаем от жизни. Он же очень любил хорошо поесть; имел особую страсть к ярким краскам, к ярким зрелищам, к эксцентричной одежде; у него было такое острое чувство обоняния, что он то и дело говорил о своем носе; любил рассказывать сальные анекдоты; искал общества красивых женщин; но в их присутствии всегда был начеку. Неспособный иметь отношения с женщиной, он ссылался на Бога, чтобы оправдать свое поведение. Достаточно им было только попытаться его обмануть, как они сразу становились для него воплощением дьявола,

вместилищем порока. Отступая перед их плотскими формами отношений, как перед опасностью, он снова погружался в успокоительные мечты о каком-то небесном создании. Сила его воображения мстила ему за слишком давящую реальность. Он довольствовался бестелесыми ангелами. Госпожа Смирнова умела быть таким ангелом, оставаясь при этом живой, осязаемой для его глаз. Чем больше он ее узнавал, тем больше любил. Он восторженно пишет Языкову: «Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее… Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и, подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою».[390]

Поразившись такому поэтическому излиянию чувств, Языков написал своему брату: «Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же Смирновой. Эти похвалы всех здешних удивляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем „Иностранка“ и „Девы розы“, считает ее вовсе не способной к тому, что видит в ней Гоголь, и по всем слухам, до меня доходящим, она просто сирена, плавающая в прозрачных волнах соблазна».[391]

Аксаков отметил со своей стороны: «Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны».[392]

Заинтригованный слухами, которые до него доходили из Ниццы, Данилевский решился узнать все от первого лица. Гоголь высокомерно ответил: «Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог».[393]

Один человек в Москве с ужасом выводил этот итог: старая графиня Шереметева, которая считала себя духовной матерью Гоголя. Услышав о его привязанности к Смирновой, она увидела его потерянным для веры. Человек таких достоинств запутался в сетях женщины! Какое падение! Она обязана была вмешаться. Но как бороться на расстоянии против такой обольстительной соперницы? Обегав церкви, она набралась духу сообщить

о своих беспокойствах в письме к Гоголю.

«Вам угодно, чтобы я сказала мое опасение за вас. Извольте; помолясь, приступаю. Знайте, мой друг, – слухи, может, и несправедливы, но приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, – что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него удалилась. Быв уже так долго вместе с человеком, послужит ли эта беседа на пользу душе вашей? Мне страшно, – и в таком обществе как бы не отвлеклись от пути, который вы, по благости Божией, избрали».[394]

Гоголь, ошеломленный, упрекнул свою советчицу в нездоровом любопытстве и призвал назвать ту, которая якобы отвернула его от Бога. Госпожа Шереметева отказалась продолжать разговор на эту тему и заявила, что она полностью успокоена ответом своего великого друга. Даже если бы она продолжала предостерегать его, ее доводы не повлияли бы на него.

Сам же он был, тем не менее, расположен поменять свой образ жизни, потому как Смирнова не была его единственной кающейся грешницей. Попрощавшись с ней, он возвращался к Вильегорским, где его ждали за круглым столом, накрытым для чая, другие женские особы, обращающие на него взоры, полные восхищения и глубокого почтения. Там были Луиза Карловна Вильегорская, набожная, надменная, измученная внутренними переживаниями, погруженная в воспоминания о сыне; ее старшая дочь, мягкая и грустная Софья, заброшенная своим мужем, графом Соллогубом, неисправимым гулякой, и, наконец, восемнадцатилетняя Анна, прозванная Анолиной или Нози, свежая, юная, грациозная, которая столько путешествовала с матерью, что с трудом могла выражаться по-русски. Иногда другие дамы из русской колонии в Ницце присоединялись к их маленькому кружку. Для всех общим были заботы о душе и вкус к литературе. Слава Гоголя как писателя привлекала их столько же, сколько и его репутация духовного советника. Праздные, экзальтированные, они окружали его своими шляпами, украшенными цветами, и щебетанием. Среди них он все больше и больше осознавал себя в роли посланника. Его пожирали глазами; пили слова, как сок; боялись его чем-нибудь прогневить. Но наиболее трогательной в выражении своей веры была Анна Вильегорская, малышка Нози, чей кроткий взгляд проникал прямо в сердце. Он сравнивал эту юную невинность с распустившейся красотой Александры Осиповны и находил, что одна таинственным образом дополняла другую.

Может быть, его настоящее предназначение не писать романы, а наставлять современников на путь истинный словом и письмами? Иногда

вечерами, после разговора по душам с той или иной его почитательницей, он говорил себе, что Бог послал его на землю, чтобы объяснять другим смысл жизни и помогать им преодолевать трудности. Впрочем, у него были благодетельные рецепты для борьбы с любыми вообразимыми несчастьями. Надо было знать, как пользоваться Священным Писанием, как кулинарными книгами, и готовить свое будущее подобно хорошему блюду. Это было у него на уме, когда он обращал свои рекомендации Аксакову, Шевыреву и Погодину в общем к ним письме в начале 1844 года:

«Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервическая душевная тоска. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе; проживите этот час внутреннею сосредоточенною жизнью. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам „Подражание Христу“ (Фомы Кемпийского). Читайте всякий день по одной главе, не больше. Если даже глава велика, разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Старайтесь проникнуть, как это все может быть применено к жизни, среди светского шума и тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофею, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни за что другое. Бог вам в помощь».[395]

На самом деле он даже не послал своим друзьям «Подражание Христу», так как у него не было денег, чтобы купить книгу, а обязал Шеверева купить во французском книжном магазине в Москве четыре экземпляра, заплатив за них, естественно, из своего кармана. «Это будет моим подарком на Новый год», – пообещал он.

Аксаков только через три месяца, после долгого колебания, не в силах сдержать раздражение, ответил на это письмо: «Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились… Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни… И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не знав моих убеждений, да еще как? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уроки… И смешно, и досадно… Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал

художник».[396]

Ни капельки не смутившись, Гоголь продолжал морализировать в письмах и при встрече. Он даже составил для Вильегорских что-то вроде духовного руководства: «Правила жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии».[397]

На русский Новый год устроили фейерверк на набережной Миди.[398] Карнавал прошел весело, как подобает, с конфетти, дудочками и масками. Затем все снова стало спокойно. Гоголь прогуливался по берегу моря в устье реки Пайон и любовался вдали переливами красок гор. Множество туристов, русских и англичан, прохаживались по дороге, которая возвышалась над галечным пляжем.[399] Все казалось простым в этом теплом светлом размеренном мире. Но в марте Смирнова, утомившись от такой слишком сладкой и безмятежной жизни, уехала из Ниццы в Париж. И солнце неожиданно показалось Гоголю не таким ярким. К нему вернулись старые болезни. А также страсть к перемене мест. Он решил вернуться к Жуковскому во Франкфурт. Несмотря на отъезд, его прихожане могут не волноваться: он продолжит просвещать их в посланиях. Еще не добравшись до места, он пишет из Страсбурга графине Вильегорской:

«Вы дали мне слово всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил („Правила жития в мире“ и др.), вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя принимать друг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами: они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их, как повеление самого Бога».[400]

С госпожой Смирновой он может быть еще более требовательным, поскольку он ее считал более близкой и словно вылепленной его руками.

«Вы способны увлекаться, это вы должны помнить беспрерывно. Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог и в нем только дает нам узнать себя».[401]

И снова:

«Вы вспомните, что для этого нужен был почти год приуготовительного занятия, что мы прочли весьма многое, что заставляет обнаруживаться душу; вспомните, что мы еще очень, очень недавно

отыскали язык, на котором можем сколько-нибудь понимать друг друга; вспомните также, что мне нужно было много терпенья, чтобы достигнуть даже того, чтобы стать именно в этих отношениях, в каких мы находимся с вами… Вы мне часто под большим секретом и тайной объявляли такие вещи, которые сообщали потом первому болтуну, или просто светскому человеку, если только он умел вас заставить проговориться или даже приятно занять вас. Это вам еще только передовой и легонький упрек, и потому вы им не смущайтесь, но после пойдут сильные упреки».[402]

И несколько дней спустя:

«Скажите мне также, зачем утвердилось о вас общее мнение, что никто столько не может рассказать соблазнительного, как вы, и что с вами нужно непременно говорить об этом? Разберите-ка себя хорошенько и построже: не подстрекали ли вы их сами вместо того, чтобы унимать; не задирали ли вы их сами на такой разговор, не говорили ли им: смелей, вперед! Я был раза два тоже свидетелем, как вы подлили масла в огонек, который уж было совсем потухнул».[403]

Она, со своей стороны, отвечала ему письмами, полными нежности и безграничной признательности:

«…душа моя едва ли кому открыта, как вам. Вы ее видели во всей черноте и наготе. Боже сохрани показать ее такою другим».[404]

Или же такое письмо:

«Молитесь за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живою благодарностью любящую. Вы мне сделали жизнь легкую… А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресения. Вы скажите мне, очень ли это дурно, потому что я, впрочем, непрестанно, – иногда свободно, иногда усиленно, – себя привожу к Богу… Вы знаете сердца хорошо; загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиною доброго дела и чувства? Я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более, чем когда-либо, мне нужны…».[405]

И еще:

«Мне скучно и грустно. Скучно оттого, что нет ни одной души, с которой бы я могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича…»[406]

Невинный получатель этих пылких писем читал и перечитывал их со

смешанным чувством гордости, значительности и страха. Благодарности, которыми осыпали его знакомые, побуждали расширить область распространения своих нравоучений. Теперь ни одно письмо другу не обходилось без рекомендаций во спасение души.

Только Гоголь устроился во Франкфурте у В. А. Жуковского, ему приходит печальное известие: его старшая сестра Мария умерла после долгой болезни. Перед лицом события такой важности он чувствует себя обязанным произнести надгробную речь а-ля Боссюэ.

«Сестра моя выстрадала на земле свои заблуждения, и Бог для того послал ей в жизни страдания, чтоб ей легче было на том свете. Итак, отгоните от сердца всякое сокрушение. Иначе это будет грех. Молитесь о ней, но не грустите. Это для вас, маминька. А вы, сестры (вся эта остальная часть письма относится к вам одним), не забывайте ее, носите ее в сердце своем, как родную, и молитесь о ней всегда. А с тем вместе не забывайте этого страшного события, эту смерть, которая случилась среди самого вашего говенья. Несчастия не посылаются нам даром; они посылаются нам на то, чтоб мы оглянулись на самих себя и пристально в себя смотрелись… Смотрите за собой бдительнее: искуситель и враг наш не дремлет…»[407]

Послание растянулось на несколько страниц, но ни разу сквозь эту красноречивую речь не прозвучала и нотка искреннего горя. Смерть Марии для Гоголя была прежде всего возможностью утверждать, что она неправильно жила и что остальные сестры должны остерегаться брать с нее пример. Разве она в момент раздражения не посмела умолять брата больше не писать ей наставительные письма! На целых два года он ее оставил без указаний. Вот что происходит, когда отворачиваются от своей души! А Господу виднее, на кого направлять свои удары. Торопясь оправдать Бога, он забыл спросить о сироте, одиннадцатилетнем Николае Трушковском.[408]

Что касается его самого лично, то Провидение в общем было к нему благосклонно. Живя у других, он практически ничего не тратил. Его хозяин, В. А. Жуковский, уверял, дружески лукавя, что должен Гоголю четыре тысячи рублей. Это те деньги, которые он взял в долг у наследника и от выплаты которых он теперь отказывался. Гоголь сначала с гордостью отверг подарок, но затем согласился с тем, чтобы деньги ему выдавали по тысяче в год. Маленький домик Жуковского в пригороде Франкфурта был хорошо натопленным, тихим, уютным. Но, несмотря на все удобства проживания, работа над «Мертвыми душами» не двигалась. Автор винил в этом то свою моральную неготовность, то свое плохое здоровье, то политические события, которые мешали его размышлениям. Со всех

сторон в Европе горячие умы призывали народ к восстанию, рабочие устраивали забастовки, забывая, что социальный строй определяется Богом. В июне луч солнца: нежданный приезд Смирновой, которая решила провести две недели рядом со своим духовным наставником. Она была такой же беспомощной, капризной и очаровательной. Он ее засыпал советами и с грустью проводил.

Уже несколько дней он чувствовал, что его нервы на пределе и что-то давит в груди. Врач посоветовал ему принимать морские ванны в Остенде. Гоголь поспешил туда. Город был полупустой. Несколько смелых туристов находились на пляже. Волны обрушивались у ног Гоголя, который трясся от холода, прижав голые и костлявые коленки друг к дружке, с красным носом и растрепанными волосами. Когда он окунулся в первый раз в бушующем потоке, ему показалось, что он сейчас умрет.

«Кожа, – писал он, – потом горит, и чуть выйдешь из воды, как сделается уже жарко, как в бане. В воде сидеть не более пяти минут… Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и буря, тем лучше… Я даже, который боялся прикосновения холодной воды и вооружен фуфайкою непосредственно на самом теле, отважился весьма храбро».[409]

Вернувшись во Франкфурт, он утверждал, что это лечение его приободрило. Но, сидя за столом, он больше работал над письмами своим друзьям, чем над «Мертвыми душами».

Сам того не осознавая, он писал письма, которые становились все более длинными, все более напыщенными и обвинительными. Когда он их писал, ему казалось, что он обращается не к своим адресатам, а ко всей стране. Да, чем больше он размышлял, тем ему больше казалось, что его послания, если их соединить друг с другом, могли бы составить художественное и нравственное произведение несравнимой важности. Он выбирал темы, следил за стилем, сохранял черновики. Он неутомимо поучал свою мать, сестер, Александру Осиповну Смирнову, графиню Вильегорскую и ее дочерей, А. С. Данилевского, П. В. Анненкова, Н. М. Языкова, графиню Н. Н. Шереметеву, П. А. Плетнева, С. П. Шевырева, С. Т. Аксакова… А так как последний противился этой мании проповедника, Гоголь ему посоветовал остерегаться дьявола.

«Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, именно – черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья. Из чего вы вообразили, что вам нужно пробуждаться или повести другую жизнь? Ваша жизнь, слава Богу, так безукоризненна, прекрасна и благородна, как дай Бог всем подобную. Вы сделали много такого добра и таких услуг…,

которые стоят многих копеек, разбросанных нищим, и будут оценены справедливо; ваша жизнь ни в чем не противоположна христианской. Итак, ваше волнение есть, просто, дело черта. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он – точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти.* Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом подъедет с другой стороны, в другом виде, нельзя ли как-нибудь привести в уныние… О себе скажу вам вообще, что… внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных… Черта называю прямо чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма Байрона и знаю, что он ходит во фраке, и что на его гордость стоит вы…ться, – вот и все!»[410]

Мать и сестер он также предупреждал о подлых происках дьявола: «Смотрите за собой бдительней: искуситель и враг наш не дремлет, вы можете впустить его себе в душу, не думая и не замечая. Он тем страшен, что будет вовсе неприметен вначале. Он не станет вас искушать сначала на какое преступное и злое дело, зная, что вы еще не испорчены в душе и вмиг узнаете и оттолкнете от себя. Нет, у него расчет вернее: он маленькими неприметными слабостями открывает себе дорогу в нашу душу, путем лени, бездействия, так что вы даже сначала и останавливать себя не будете, отговариваясь словами: да ведь такая уж моя природа, или: это уж что-то во мне болезненное, невольное… Смотрите, я уже замечаю в вас кое-какие маленькие слабости, которые очень могут послужить путем и дорогой ко входу в ваши души нечистому духу».[411]

Читая проповеди друзьям и знакомым, Гоголь признавал, что и у него есть недостатки. Они ему помогают, думал он, лучше понять себе подобных. Он оказывал услугу ближним, распекая их, а они взамен могли бы указывать ему на его пороки. Только бичеванием друг друга больше возможности изгнать дьявола. Как в русской бане. Но надо действовать последовательно. Шевырев, Аксаков и Погодин должны, говорил он, во имя их дружбы, вести что-то вроде дневника, куда они будут записывать

свои ошибки.

«При всяком случае, когда случится вспомнить обо мне, отметьте тут же в коротких словах всякую пробежавшую мысль. Почти таким образом, в виде дневника: день, месяц и число. Сегодня ты мне представился вот в каком виде… День, месяц и число. Сегодня я на тебя сердился вот за что. День месяц и число. В твоем характере или поступках вот что казалось мне неизъяснимо. День, месяц и число. О тебе пронеслись здесь вот какие слухи, я им не поверил, но некоторое сомнение закралось мне в душу. День, месяц и число. У меня еще до сих пор таится противу тебя в душе неудовольствие на то и на то и на то, и проч. Когда наберется хоть поллиста почтовой бумаги, отправьте мне в письме вашем. Если вы мне это сделаете, то вы мне окажете услугу, большую всех прежних услуг ваших. Помогите мне теперь, а я, как состроюсь и сделаюсь умней, помогу вам». [412]

Откровенность, которую он требовал от своих московских друзей, он захотел навязать и П. А. Плетневу в их эпистолярном общении. Но то, что Гоголь считал грубой нравственной гигиеной, Плетнев воспринимал как вредную аморальную игру. Раздраженный настойчивостью Гоголя, он жестко ему ответил:

«Что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы тебе то, что ты читаешь теперь от меня… Твои друзья двоякие: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья – московская братия (Шевырев, Погодин, Аксаков, славофилы). Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройке домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда вместо безмолвного участия и чистой любви раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты, как на станцию, а к ним, как в свой дом. – Но посмотрим, что ты как литератор. Человек, одаренный гениальной способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и

положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства».[413]

Гоголь принял эту взбучку с наслаждением, смешанным со скорбью, с благодарностью, заправленной благородным негодованием. Он отправил Плетневу кроткое письмо. Он благодарил его за «подарок». Но, полностью признавая, что он полон страшных пороков, он пункт за пунктом возражал своему обвинителю. С каждой новой строкой его mea culpa (моя вина) трансформировалась в выступление pro domo sua (в защиту себя). Забывая о том, что сам сыпал советами направо и налево, он пишет: «И как сказать ему (такому, как я): ты делаешь не так? Животное, когда заболеет, ищет само себе траву и находит ее, и такое лекарство для него полезнее всех тех, какие предпишут ему самые умнейшие врачи. Друг, я прав, что отдалился на время оттуда, где не мог жить. Ты видишь одно только безвременное прикосновение мое к свету – и какая произошла кутерьма… Зачем, признавши меня за оригинал-чудака, требовали от меня таких же действий, как от других? Зачем, прежде чем вывесть о мне заключение вообще по двум или трем поступкам, судящий не усумнился и не сказал в себе так: я вижу в этом человеке вот какие признаки. В других эти признаки значат вот что; но этот человек не похож на других, самая жизнь его другая, при том этот человек скрытен. Бог весть, иногда искусные врачи ошибались, основываясь на тех самых признаках, и принимали одну болезнь за другую».[414]

Так он требовал, чтобы его ругали, но, как только его начинали в чем-то обвинять, он находил себе оправдания. Как тот обидчивый гражданин, который с жаром критикует свою страну, но не выносит, когда иностранец высказывается с малейшей оговоркой в отношении его страны, он хотел бы сам себя порицать, но возмущался, когда его упрекали другие, при этом благодаря их за такие жесткие нападки.

В том же самом письме Плетневу, доказав свою невиновность, он пошел дальше. Причинив столько мучений своим друзьям, он написал, за это должен понести наказание. Начиная с сегодняшнего дня он отказывается от всех доходов с его книг:

«Виноватый должен быть наказан. Я наказываю себя лишением всех денег, следуемых за экземпляры моих сочинений. Лишенья этого хочет

душа моя, потому что оно справедливо и законно и без него мне бы было тяжело. Всякий рубль и копейка этих денег куплены неудовольствием, огорчениями и оскорблением многих; они бы тяготели на душе моей; а потому должны быть употреблены все на святое дело. И потому, как в Москве, так и в Петербурге, деньги эти все отдаю в пользу бедных, но достойных студентов; достаться они должны им не даром, но за труд. Все это дело должно остаться навсегда тайной для всех, кроме вас двух (Плетнева и Прокоповича)… никто, не должен узнать об этом, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Я также не должен знать ничего, кому, как и за что даются деньги. Ты можешь сказать, что они идут от одного богатого человека, можно даже сказать государю о лице, которое хочет остаться в неизвестности».[415]

В тот же день он направил указания, почти слово в слово повторяющие письмо Плетневу, Шевыреву и Аксакову в Москву. От них он также потребовал клятвы не раскрывать получателю денег имени дарителя, и сам даритель не должен знать имени получателя.

«Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что *воля друга должна быть священна*, и на это мое требование… вы должны ответить только одним словом „да“».

На секунду в его сознании не возникла мысль, что он должен внушительные суммы людям, от которых он требовал, чтобы они пожертвовали его доходы в пользу «бедных, но достойных студентов». Он не подумал также о том, что эти деньги выручили бы его мать и сестер. Что касается его личных расходов, то он, как обычно, рассчитывал, что друзья его не оставят. С таким немыслимым непостоянством он делал щедрые подарки и одновременно просил других содержать его; он присваивал себе звание благотворителя, черпая деньги из кармана друга; он угождал Богу, не платя ни копейки. Ловкость рук и никакого мошенничества? Моральное вымогательство, достойное самого Чичикова. Десять дней спустя, после своего торжественного отказа от всей выручки с книг, он пишет Смирновой с просьбой оказать ему материальную помощь. Она, между тем, вернулась в Россию. Она была богата. И у нее было столько обязательств по отношению к Гоголю за его добрые советы! После длинного наставления благодетель студентов прямо приступил к делу, которое его сильно волновало:

«Так как вы уже несколько раз напоминаете мне о деньгах, то я решаюсь наконец попросить у вас. Если вам так приятно обязать меня и помочь мне, то я прибегну к займу их у вас. Мне нужно будет от трех до шести тысяч в будущем году. Если можете, то пришлите на три вексель во

Франкфурт. А другие три тысячи в конце 1845 года».[416]

Уладив этот вопрос, он наивно стал ждать поздравлений от своих друзей за проявление инициативы в пользу трудолюбивой молодежи. К его великому удивлению, как из Москвы, так и из Петербурга он получил одни только упреки. С. П. Шевырев отказывался повиноваться его наказу до тех пор, пока Гоголь хотя бы выплатит свой долг С. Т. Аксакову, который в настоящее время находился в затруднительном финансовом положении, и заявил, что вся эта затея, ему кажется, противоречит элементарным понятиям о чести; Плетнев напомнил ему, что он должен подумать о матери и сестрах, прежде чем играть в филантропа; в конце концов, один и другой, несмотря на просьбу своего распорядителя, разгласили тайну. П. А. Плетнев, в частности, ознакомил А. О. Смирнову с намерениями ее духовника, который, кстати, не отставал от нее с просьбами о долгосрочной ссуде. Она набралась храбрости и написала ему:

«У вас на руках старая мать и сестры. Хотя вы думали, что обеспечили их состояние, но что ж делать, если, по неблагоразумию или каким-либо непредвиденным обстоятельствам, они опять у вас лежат на плечах. Дело ваше, прежде всего, при получении отчета Прокоповича, сперва и не помышляя ни о какой помощи бедным студентам, выручить ее из стесненных обстоятельств. И потому мы решили с Плетневым, что так и поступим, если точно есть какие-нибудь деньги у Прокоповича».[417]

Читая это письмо, Гоголь почувствовал себя задетым в своем священном величии. С каких это пор грешницы упрекали своих исповедников? Она забыла о своей роли! Схватив перо, Гоголь резко ответил ей:

«Плетнев поступил нехорошо, потому что рассказал то, в чем требовалось тайны во имя дружбы; вы поступили нехорошо, потому что согласились выслушать то, чего вам не следовало… вы взяли даже на себя отвагу перерешить все дело. Объявить мне, что я делаю глупость, что делу следует быть вот как, и что вы, не спрашивая даже согласия моего, даете ему другой оборот и приступаете по этому поводу к нужным распоряжениям, позабывши между прочим, что это дело было послано не на усмотрение, не на совещание, не на скрепление и подписание, но как решенное послано было *на исполнение*… Упрек ваш и замечания, что у меня есть мать и сестры и что мне о них следует думать, а не о том, чтобы помогать сторонним мне людям, мне показались также несправедливы, отчасти жестоки и горьки для моего сердца… с теми средствами, которые я им доставил, можно было вести безбедную жизнь; но встретилось одно

мешающее обстоятельство. Мать моя добрейшая женщина, с ней мы друзья, и чем далее, тем более становимся друзьями, но хозяйка она довольно плохая… я увидел ясней, что не в деньгах сила и что они будут бросаемы как в сосуд, в котором нет дна и которого вечно не наполнишь… Эти деньги (полученные от продажи книг) выстраданные и святые, и грешно их употреблять на что-либо другое (кроме как на пожертвования студентам). И если бы добрая мать моя узнала, с какими душевными страданиями для ее сына соединилось все это дело, то не коснулась бы ее рука ни одной копейки из этих денег, напротив, продала бы из своего собственного состояния и приложила бы от себя еще к ним… Еще раз молю, прошу и требую именем дружбы исполнить мою просьбу. Плетнев пусть вынет из своего кармана две тысячи и пошлет моей матери, мы с ним после сочтемся».[418]

Несмотря на его страстные мольбы, друзья из Москвы и Санкт-Петербурга стояли на своем, голодающие студенты остались без субсидий, а Гоголь вскоре и сам забыл о своем приступе щедрости.

Другое дело мучило его сейчас. В ноябре 1843 года в одиннадцатом номере журнала «Москвитянин» М. П. Погодин напечатал литографию, представляющую автора «Мертвых душ» по портрету Иванова. Гоголь, который подарил эту картину своему гостеприимному хозяину в Москве в знак дружеского расположения, задохнулся от гнева, увидев, что тот воспользовался ею без его ведома. В его сознании этот портрет должен был оставаться в тайне до завершения его главного произведения. Выставить ее сейчас на обозрение толпы значило предать и выставить писателя на посмешище. Тем более что Иванов изобразил его в халате и с растрепанными волосами. Раздраженно, с ругательствами на кончике пера, Гоголь жалуется Языкову:

«Такой степени отсутствия чутья, всякого приличия и до такой степени неимения деликатности, я думаю, не было еще ни в одном человеке испокон веку. Написал ли ты в молодости своей какую-нибудь дрянь, которую и не мыслил напечатать, он чуть где увидел ее, хвать в журнал свой, без начала, без конца, ни к селу ни к городу, без спросу, без позволения. Точно чушка, которая не даст… порядочному человеку: как только завидит, что он присел где-нибудь под забор, она сует под самую… свою морду, чтобы схватить первое… Ей хватишь камнем по хрюкалу изо всей силы – ей это нипочем. Она чихнет слегка и вновь сует хрюкало под…»[419]

Затем, немного позже, Шевыреву:

«Рассуди сам, полезно ли выставить меня в свет неряхой в халате, с длинными взъерошенными волосами, усами? Разве ты сам не знаешь, какое всему этому дают значение? Но не для себя мне прискорбно, что выставляли меня забулдыгой. Но, друг мой, ведь я знал, что меня будут выдирать из журналов. Поверь мне, молодежь глупа. У многих из них бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов».[420]

Однако, думал Гоголь, еще никто не видел «идола», выставленного для потомков в таком невыгодном свете. Вместо того чтобы поднять на пьедестал, Погодин уронил его в грязь лицом. Если на то пошло, он предпочел бы, чтобы напечатали аккуратный прилизанный портрет Моллера, чем грубый в своей правдивости портрет Иванова.

В самый раз, чтобы отвлечь его от невеселых мыслей, Александр Петрович Толстой и графиня Вильегорская пригласили его провести несколько дней в Париже, все расходы они брали на себя. Доктор Копп, осмотрев Гоголя, сказал, что для его здоровья полезно путешествие, и В. А. Жуковский, видимо, чтобы отдохнуть от него, посоветовал ему воспользоваться предложением. Гоголь уехал, находясь в «нервическом тревожном беспокойстве» и «с признаками совершенного расклеения тела» в первые дни января 1845 года. В Париже его ждала уютная комната с печкой в отеле Вестминстр, в доме 9 по улице Rue de la Paix (улица Мира), где также проживала семья графа А. П. Толстого. Гоголь, который познакомился с графом в Ницце зимой 1843–1844 годов, глубоко уважал этого человека, занимающего высокое положение при дворе. Граф начал свою блестящую карьеру с гвардейского офицера, затем попробовал себя на дипломатической службе в посольствах Парижа и Константинополя, даже был секретным агентом на Ближнем Востоке, был назначен губернатором в Тверь, потом переведен военным губернатором в Одессу, ушел в отставку в 1840 году, чтобы посвятить себя изучению религиозных вопросов. Окружающие поражались его знаниям Священного Писания. Он часто принимал у себя русских и греческих священников, с которыми одинаково свободно общался. Худощавый, элегантный, с военной выправкой и угрюмым взглядом, этот ревнивый защитник Церкви и трона осуждал все либеральные идеи, которые волновали европейскую молодежь и грозили добраться до российских молодых умов. Гоголь был полностью согласен с ним по этому вопросу. Высадившись в Париже, он снова очутился в атмосфере хаоса, требований и насмешек, которая была ему отвратительна. Жизнь подорожала, люди в кафе бросали непристойные шутки в сторону Луи-Филиппа и Гизо, газеты пестрили карикатурами и

полемизирующими статьями, вся Франция, развязная и озлобленная, казалось, страдала от зуда. Без всякого сомнения, этот народ несет в себе семена анархии. Надо оградить его от остального мира карантинным кордоном.

«Париж или лучше – воздух Парижа, или лучше – испарения воздуха парижских обитателей, пребывающие здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогою», – писал Гоголь Смирновой.[421]

И Языкову:

«О Париже скажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь. Говоря это, я разумею даже и относительно материальных вещей и всяких жизненных удобств: нечист, и на воздухе хоть топор повесь. Никого, кроме самых близких моей душе, то есть графинь Вильегорских и графа Александра Петровича Толстого, не видал».[422] Да, больше и речи быть не могло о ресторанах и театрах, о прогулках по садам Тюильри и посещениях музеев, как это было во время первого знакомства с Парижем. Он пребывал в таком унынии (подавленном состоянии), что не желал знать, что происходит вокруг. Его единственной радостью было исповедовать графиню Вильегорскую и юную Нози с таким живым личиком и обсуждать некоторые отрывки из Священных Писаний с графом Толстым.

Большую часть времени, уединившись в своей комнате, он читал вперемешку, делая примечания, святого Жана-Хризостома, святого Василия, Боссюэ, трактаты старинной теологии, современные литургические сборники. За окном он слышал движение экипажей, стук ботинок по мостовой, крики уличных продавцов газет, весь этот веселый и невыносимый шум.

Когда он был вынужден выходить, он с отвращением шел бок о бок с французами по улице. Ни разу не пришла ему в голову мысль вступить с ними в разговор. Даже их кухня его больше не интересовала. Зато почти каждый день он шел на богослужение в русскую церковь в Париже, по адресу: дом 4, улица Нёв-де-Берри.[423] Священник церкви Дмитрий Степанович Вершинский испытывал симпатию к Гоголю и одалживал ему духовные книги. Погруженный в свои высокие размышления, он с безразличием узнал, что его выбрали почетным членом Московского университета, как и его друга М. П. Погодина. Он не подозревал, что в то же самое время некий Луи Виардо, французский литератор, директор Театра Итальен в Париже и муж знаменитой певицы Полины Гарсиа-

Виардо, переводил некоторые из его рассказов для печати под названием: «Русские повести».[424] Если бы он даже знал об этом, он безусловно не искал бы встреч с этим переводчиком. Он слишком дорожил своим инкогнито. Пройти незамеченным и вызывать у всех восхищение, вот его мечта. Париж ему скоро наскучил, и он вернулся во Франкфурт.

Четыре дня и три ночи в дороге. На двенадцатом часу пути его застиг снег. «Можно сказать, что до Франкфурта добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами», – писал он графине Вильегорской.[425]

Увидев его, Жуковский забеспокоился по поводу его худобы и нервозности. Ходячий скелет с длинными волосами и грустным взглядом. Он утверждал, что устал уже жить за счет друзей. Жуковский написал Смирновой, чтобы она попросила государя о помощи писателю, который составлял славу России. Зная царя, она решила выбрать день, когда он будет в хорошем расположении духа. Наконец случай представился во время приема во дворце. Смирнова, улыбчивая и надушенная, подошла к Николаю I и передала поручение Жуковского. «У него есть много таланту драматического, – сказал государь, – но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». – «Читали вы „Мертвые души“?» – спросила Смирнова. Государь удивился: «Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба». Смирнова посоветовала ему прочитать книгу, на многих страницах которой, по ее мнению, выражалось глубокое чувство патриотизма. Он на нее больше смотрел, чем слушал, и в конце концов пообещал помощь бедному автору из уважения к той, которая так благородно защищала его. Она сразу же бросилась к шефу жандармов А. Ф. Орлову, чтобы сообщить ему волю государя. «Что это за Гоголь?» – проворчал с подозрением Орлов. «Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь», – воскликнула она с досадой. «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах!» Задыхаясь от возмущения, Смирнова придумывала, как ему порезче ответить, когда император подошел к ней, обнял фамильярно ее за плечи своей огромной рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия».[426]

Вскоре министр народного просвещения С. С. Уваров положил на подпись императору доклад о выделении писателю Николаю Васильевичу Гоголю, который «при болезненном положении своем, должен, по приговору врачей, пользоваться умеренным заграничным климатом и тамошними минеральными водами», «вспомоществования» в размере трех

тысяч рублей серебром (что соответствовало десяти тысячам рублей ассигнациями). Деньги будут выплачиваться три раза, по тысяче рублей в год.

Тучи рассеялись над Гоголем. Тронутый царской милостью, он решил выразить свою благодарность С. С. Уварову. Но, как обычно, он переборщил со своими чувствами.

«Благодарю вас искренно за ходатайство и участие. О благодарности государю ничего не говорю: она в душе моей; выразить ее могу разве одной молитвой о нем. Скажу вам только, что после письма вашего мне стало грустно. Грустно, во-первых, потому, что все, доселе мною писанное, не стоит большего внимания: в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший… Клянусь, я и не помышлял даже просить что-либо теперь у государя; в тишине только я готовил труд, который, точно, был бы полезнее моим соотечественникам моих прежних мараний, за который и вы сказали бы, может быть, спасибо, если бы он исполнился добросовестно… Я хотел вас благодарить за все, сделанное для наук, для отечественной старины (от этих дел перепала и мне польза наряду с другими), и что еще более – за пробуждение в духе нашего просвещения твердого русского начала».[427]

Это письмо Уваров показал с гордостью разным людям, которые ознакомились с его содержанием. В либеральных кругах говорили, что Гоголь готов продать себя власти за кусок сахара. Цензор А. В. Никитенко отметил в своем дневнике:

«Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль обличителя наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только верно и метко, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, жаль! Это с руки и Уварову, и кое-кому другому».[428]

Гоголь же, не подозревая, сколько слухов вызвало его письмо, думал только о своей болезни. Его охватывали приступы депрессивной нервозности, следующие один за другим все с более и более короткими промежутками времени. Он переполнял свои эпистолярные послания длинными жалобами на свое тяжелое физическое состояние, которое мешало ему работать. Благодаря Смирновой за деньги, которые она послала по его просьбе, он отвечал, что теперь ей надо больше волноваться не о его материальных нуждах, а о его здоровье:

«Я дрожу весь, чувствую холод беспрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уже о том, что исхудал весь, как щепка, чувствую истощение сил и опасаюсь очень, чтобы мне не умереть прежде путешествия в обетованную землю».[429]

Несколько позже уже граф Толстой получил от него тревожное письмо:

«Здоровье мое все хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив Бога за все, уступить, может быть, место живущим».[430] Во время короткого улучшения он осмотрел себя и описал признаки заболевания графу:

«Лицо мое пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед, так что прикосновение их ко мне меня пугало самого».[431]

И в почти в те же дни он признавался Смирновой:

«Бог отъял на долгое время от меня способность творить… Я слишком знаю и чувствую, что до тех пор, пока не съезжу в Иерусалим, не буду в силах ничего сказать утешительного при свидании с кем бы то ни было в России».[432]

Ответ Смирновой был полон грусти, и Гоголь позволил себе выразить всю свою нежность, которую он чувствовал к ней:

«Друг мой и душа моя, не грустите. Один только год – и я буду с вами, и вы не будете чувствовать тоски одиночества. Когда вам будет тяжело или трудно, я перелечу всякие пространства и явлюсь, и вы будете утешены, потому что третий будет Христос с нами».[433]

После очередного затишья болезнь снова брала верх, к нему снова возвращались страхи и ощущение холодной волны, текущей по его венам и приближающейся к сердцу. Решив, что пришел его последний час, он составил завещание:[434]

«I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения…

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника…

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня…

IV. Завещаю всем моим соотечественникам… лучшее из всего, что произвело перо мое… соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия…

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осужденьем моих произведений в публичных листах и журналах…»

В следующем параграфе он заклинал мать и сестер разделить доход от

продажи его книг с бедными. Выразив таким образом свои последние пожелания, он нацарапал записку отцу Иоанну (Ивану Ивановичу Базарову), настоятелю православных церквей Германии: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю».

Священник приказал срочно заложить экипаж и поспешил к умирающему, который встретил его на ногах. Удивившись, священник спросил Гоголя, какая у него болезнь. «Посмотрите! – ответил Гоголь, протягивая ему свои руки. – Совсем холодные!» И он начал настаивать, что должен принять последнее причастие. Отец Иоанн отказался. «Однако мне удалось убедить его, что он совсем не в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать поговеть в Висбаден».

Гоголь послушно поехал с Жуковским в Висбаден, говел, присутствовал на Пасхальном богослужении в местной православной церкви и вернулся во Франкфурт в еще большей растерянности, чем до отъезда. Врачи рекомендовали ему теперь лечение в Гамбурге. Это было в двух шагах. Он потащился туда. Маленький элегантный городок, праздные отдыхающие, делящие время между водами и рулеткой, оркестр в беседке, солнце, немецкие пирожные, легкая жизнь, и он посреди всего этого, снедаемый мрачным наваждением о тщетности существования. В это время Гоголь пишет Аксакову, который постепенно терял зрение, и советует ему смириться:

«И вы больны, и я болен. Покоримся же тому, кто лучше знает, что нам нужно и что для нас лучше, и помолимся ему же о том, чтобы помог нам умереть, ему покориться… Отнимая мудрость земную, дает он мудрость небесную; отнимая зренье чувственное, дает зренье духовное, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные».[435]

Графине Надежде Николаевне Шереметевой он доверительно сообщал:

«Здоровье мое плохо совершенно, силы мои гаснут; от врачей и от искусства я не жду никакой помощи, ибо это физически невозможно; но от Бога все возможно».[436]

И Н. М. Языкову:

«…только одно чудо Божие может (меня) спасти… Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой был также сложенья слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападеньем какой-нибудь болезни. Я худею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом

состоянии».[437]

Находясь в слишком ослабленном состоянии, чтобы писать, он стал перечитывать некоторые главы из продолжения «Мертвых душ», над которыми с огромным усилием работал все эти последние годы, и поражался посредственности их написания. Его новые персонажи: благородный мыслитель Тентетников, идеальный помещик Констанжогло, благочестивый и великодушный миллионер Муразов, показались ему бледными и неискренними. Сам Чичиков во втором воплощении потерял весь свой блеск. Все это не соответствовало великому замыслу автора, который хотел привлечь своих соотечественников картиной красивых характеров. Единственным выходом, как и для поэмы «Ганс Кюхельгартен», предание огню. В один из тихих дней июля 1845 года он бросил в огонь свою рукопись и смотрел на ее полыхание, ясно почувствовав зарождение необходимого.

«Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появленье второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю, как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья напрасны. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, на чем провел пять болезненных лет».[438]

Уничтожение рукописи тем не менее расстроило его мало, потому что с недавних пор все его мысли занимал один проект, более легкий в исполнении и более полезный, по его мнению, для России. Потоки писем, которые он отправлял во всех направлениях, заслуживали того, чтобы их объединили в единое произведение и дополнили. Второго апреля 1845 года он писал Смирновой:

«Молитесь, чтоб Бог укрепил и послал мне возможность изготовить,

что должен изготовить до моего отъезда (в Иерусалим). Это будет небольшое произведение и не шумное по названию, в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих, и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути».[439]

Это «небольшое произведение» имело преимущество в том, что оно в некотором роде писалось само собой. Без усилий. Оно заменит неудавшиеся «Мертвые души». Какая отдушина для автора! Но даже переписка его утомляет. Нужно сменить водолечебницу. Местные врачи не могут сойтись на том, какое лечение рекомендовать. Лучшим решением было бы поехать за консультацией к знаменитому доктору Шенлейну в Берлин. Гоголь отправился к нему с графом Толстым. По дороге он остановился в Галле, чтобы спросить совета у тамошней знаменитости доктора Круккенберга. Доктор осмотрел пациента с головы до ног и заявил, что тот страдает серьезным нервным расстройством и предписал провести три месяца на острове Гельголанд с бодрящим климатом. Гоголь отнесся к такой рекомендации скептически и решил сначала узнать мнение доктора Шенлейна. Но когда они прибыли в Берлин, оказалось, что д-р Шенлейн только что уехал. После нескольких дней колебаний он направился к доктору Карусу, в Дрезден. Прощупав, опросив, прослушав его, доктор Карус нашел, что нервы тут совсем ни при чем, во всем виновата печень, которая необыкновенно увеличилась, сдавила легкие, вызвав нервное расстройство и плохое насыщение крови кислородом. Единственное средство вылечить печень – немедленно ехать в Карлсбад.

Гоголь повиновался. И таким образом, один курорт сменял в его жизни другой. Настоящий дегустатор вод, он проглатывал стакан за стаканом, сравнивал источники, прислушивался к своему телу, пытаясь отнести странные булькания и подергивания к признакам улучшения состояния своего здоровья. Но как бы старательно он ни следовал всем медицинским предписаниям, слабость не покидала его. Карлсбад ничем не помог ему. Единственно, что порадовало его, то это письмо А. О. Смирновой, которая сообщала ему, что ее муж назначен губернатором Калуги. В нем тут же проснулся специалист в области морали, и он пунктуально проинструктировал свою подопечную в том, как должна вести себя супруга губернатора, сознающая свои обязанности:

«Смотрите, чтобы вы всегда были одеты просто, чтобы у вас как можно было поменьше платья. Говорите почаще, что теперь и государыня, и двор одеваются слишком просто… Как только узнаете, что какая-нибудь из дам или захворала, или тоскует, или в несчастии, или, просто, что бы ни случилось с нею, приезжайте к ней тот же час… Обратите потом внимание

на должность и обязанность вашего мужа, чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят, какие пределы и границы его власти, какая может быть степень влияния его вообще, каковы истинные отношения его с чиновниками и что он может сделать большего и лучшего в указанных ему пределах… Письмо это, каково оно ни есть, перечитывайте чаще и передумывайте заблаговременно обо всем, что ни есть в нем, хотя бы оно показалось вам и не весьма основательным».[440]

Убежденный, что можно все уметь, и не обладая опытом, он не сомневался, что благодаря его советам Смирнова побудит своего мужа выполнять свои обязанности во имя общего блага и во славу Всевышнего. Может, новый губернатор Калуги станет примером для всех губернаторов России? А может, духовное возрождение страны начнется именно в этом провинциальном уголке? Тогда труды Гоголя не пройдут даром. Ах! если бы врачи умели бы лечить его тело так же хорошо, как он заботился о душах его друзей!.. Но нет, ни один из этих немецких лекарей не был способен его понять.

Теплая сульфатно-карбонатная вода Карлсбада вызывала только одно отвращение, но не помогала. Он совсем ослаб, его тошнило, колотило от озноба. И тогда он решается попытать счастья в Граффенберге, где священнодействовал доктор Винсент Присниц, приверженец лечения холодной водой. Этот очень модный врач возрождал пациентов всего за несколько сеансов. И хотя Гоголю очень не терпелось испробовать на себе эту новую терапию, он остановился по пути в Праге. Ослепленный красотой этого старинного города, он позабыл всю свою усталость и побежал любоваться пражским кремлем, собором Святого Витта, церковью Успения, астрономическими часами, Карловым мостом через реку Влтаву с его башнями, Национальным музеем, хранитель которого, Ганка, восторженно принял Гоголя. Но сев в экипаж, он почувствовал, что его снова начало знобить и непонятная тяжесть сдавила грудь. В Граффенберге его тут же подхватили крепкие руки ассистентов доктора Присница. Дисциплина гидротерапии не позволяла больным расслабляться.

«Мне нет здесь ни одной минуты о чем-либо подумать, не выбирается времени написать двух строк письма, – сообщал он Жуковскому. – Я как во сне, среди завертывания в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной воды, и ничего другого, кажется, и не слышу, и не знаю».[441]

Вначале ему показалось, что лечение идет ему на пользу. Его

конечности согревались, он спал лучше, дышал более свободно. Но у него не хватило смелости продолжать эти отвратительные процедуры. Он вернулся в Берлин, куда, говорили, недавно вернулся доктор Шенлейн. Знаменитый врач его принял, рассмеялся, узнав, что его коллега Карус поставил диагноз гипертрофии печени, и установил, что больной страдает от поражения нервов в желудочной области и что ему следует принимать морские ванны, как только это позволит погода. А пока он рекомендует принимать пилюли, гомеопатические капли и вытирание мокрою простыней. Питание на основе мяса и овощей. Кофе лучше, нежели одно молоко…

Вооружившись этими новыми предписаниями, Гоголь поехал в Рим, климат которого, как он утверждал, его всегда «воскрешал». По его просьбе Иванов снял ему небольшую квартирку на улице Виа делла Кроче (Via della Croce) неподалеку от площади Испании (piaza di Spagna). Его старая компания друзей художников с самого начала его разочаровала. Иванов теперь показался ему не таким искренним в своих религиозных чувствах. Как мог этот человек продолжать писать «Явление Христа народу», не посещая церковь? Гоголь часто ходил в православную часовню посольства. Там он встречал соотечественников, чье усердие обнадеживало его, среди них был набожный писатель Александр Стурдза и графиня Софья Апраксина, сестра графа Толстого. К концу года весь этот маленький кружок был взбудоражен приездом императора Николая I в Рим. Царь приехал обсудить с Папой Римским конкордат, который должен был установить статус католического духовенства в России, и получить благословение на «смешанный» брак великой княгини Ольги и эрцгерцога Этьенна, сына эрцгерцога Иосифа, занимающего должность при Венгерском дворе. Со дня подавления восстания в Польше в 1830–1831 году, в котором польское католическое духовенство принимало активное участие, Николай I считался заклятым врагом католицизма. Окружение Папы Римского смотрело недобрым взглядом на присутствие главы православной церкви в стенах Ватикана. Говорили, что кардиналы даже советовали Григорию XVI притвориться больным, чтобы избежать такой неловкой встречи. Папа все же принял Николая I очень любезно и обсудил с ним условия договора. В русской колонии слышались разговоры о том, что царь был очень строг, разоблачил недисциплинированность католического духовенства России, большая часть членов которого забыла о апостольском характере их миссии, проповедовали восстание против утвержденной власти. А в итальянских церковных кругах утверждали, что папа сумел занять на переговорах доминирующую позицию и переубедить

своего собеседника.[442]

Николай I отказался устроить прием для дипломатического корпуса и римского дворянства и посвятил свое время на осмотр памятников, базилик, руин, музеев. Он также залетел, как вихрь, в ателье художников, полюбовался огромной картиной Иванова и передал несколько заказов скульпторам на изготовление копий с античных статуй. Гоголь, несомненно, мог бы тоже представиться ему. Но робость его парализовала. Так как он не написал ничего значительного за последние годы, он боялся показаться ленивым или неблагодарным в глазах того, который недавно выделил ему субсидию. Смешавшись в толпе, он смотрел с волнением, как государь ехал в коляске по дороге на Монте Пинчо. Лицо Николая I ему показалось «вдохновенным». Он почувствовал гордость, что он русский.

«Государя я так же, как и все, видел мельком, но раза три, – пишет он матери. – Он пробыл в Риме только четыре дни; ему дел и занятий была здесь куча и вовсе не до того, чтобы принимать всякую мелузгу, подобную мне, – писал он своей матери. – Я был рад душевно, что он здоров и весел, и молился за него искренно».[443]

Поскольку сам Царь стал его благодетелем, он также все более страстно желал кого-нибудь облагодетельствовать. Нехватка денег не должна быть препятствием к этому. Можно в крайнем случае дать то, что не имеешь. Он возращается к своей мысли о денежной поддержке бедных и достойных студентов. Если С. П. Шевырев отказывается выполнить его волю, то тогда С. Т. Аксаков, наполовину уже ослепший, возьмет дело в свои руки.

«Нужно только, чтобы ни одна копейка не издержалась на что-нибудь другое, а собиралась бы и хранилась бы, как святая: обет этот дан Богу».[444]

Возобновляя свои просьбы, Гоголь не очень-то и надеялся, что добьется своего при жизни. Его друзья сделают все, думал он, для того, чтобы задержать деньги в своих шкатулках. Какое несчастье не иметь возможности обойтись без друзей! И он из-за своей болезни вынужден был находиться в зависимости от них.[445]

«Здоровье мое хотя и стало лучше, но все еще как-то не хочет совершенно устанавливаться, – пишет он Аксакову. – Чувствую слабость и, что всего непонятнее, до такой степени зябкость, что не имею времени сидеть в комнате: должен ежеминутно бегать согреваться; едва же согреюсь и приду, как вмиг остываю, хотя комната и тепла, и должен вновь бежать согреваться. В такой беготне проходит почти весь день, так что не

имеется времени даже написать письма, не только чего другого. Но о недугах не стоит, да и грех говорить: если они даются, то даются на добро».[446]

Три дня спустя В. А. Жуковскому:

«Уже и теперь мой слабый ум видит пользу великую от всех недугов: мысли от них в итоге зреют, и то, что, по-видимому, замедляет, то служит только к ускорению дела. Я острю перо. Молитесь за меня».[447]

И Плетневу в тот же день:

«Да будет благословенна вовеки воля Пославшего мне скорби… Без них не воспиталась бы душа моя как следует для труда моего; мертво и холодно было бы все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама *правда*».[448]

Ему казалось, что он предал эту *правду*, к которой он стремился изо всех сил, в предыдущих произведениях, не обладая достаточными умениями и храбростью.

«Друг мой, – писал он Смирновой, – я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно „Мертвых душ“. Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы, хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет „Мертвых душ“. Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного автора».[449]

Иногда он желал, чтобы никто вокруг него не говорил о его старых книгах. Если он себя хорошо чувствовал за границей, то это было частично потому, что его там никто не знал. Но вот в Париже Сен Бёв публикует в «Журнале двух миров» за декабрь 1845 хвалебный отзыв на перевод «Русских повестей» Николая Гоголя, выполненный Луи Виардо с помощью И. С. Тургенева: «В целом благодаря публикации мсье Виардо, творчество Гоголя заслуживает того, чтобы быть известным во Франции, как истинно талантливого человека, прозорливого и беспристрастного исследователя человеческой натуры». Еще одна статья вышла в «Илюстрасьон». Другая – в «Дебатах». В Лейпциге в продаже появились «Мертвые души» на немецком языке. Куда ж теперь надо было бежать, чтобы скрыться он известности? Как будто не достаточно ему хвалы и хулы от российской публики!.. А теперь еще придется слушать крики французов, немцев,

завтра, может, и немцев, и итальянцев! Покоя мне! Покоя! Меньше всего сейчас ему бы хотелось быть писателем с мировым именем. И больше всего он боялся дать иностранцу неприглядное представление о России.

«Известие о переводе „Мертвых душ“ на немецкий язык мне было неприятно, – писал он Языкову. – Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае, до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявшая „Мертвые души“ за портрет России. Я уже читал кое-что на французском о повестях в „Revue de deux Mondes“. Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и о новоизобретенной помаде красить волоса, и больше не будет о том и речи».[450]

К новому 1846 году он подвел итог всему написанному за год и, как обычно, ужаснулся, как мало он сделал в сравнении с тем, сколько ему еще надо сделать. Без Божьей помощи он никогда не добьется поставленной цели. Но Бог был с ним. Он чувствовал Его присутствие даже в страданиях, даже в головокружениях. Страстная молитва рождалась в лихорадочном мозгу. Он схватил тетрадку и записал дрожащей рукой:

«Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в год и в труд многотворный и благотворный, весь на служенье Тебе, весь на спасенье душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою обратив меня в святый и чистый храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся от меня! Боже! Боже! вспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к хваленью святого имени Твоего».

На пике душевного порыва, с лицом, залитым слезами, он почувствовал себя достойным писать продолжение «Мертвых душ» или же сборник, объединяющий самые значительные письма к друзьям.

Глава II
Выбранные места из переписки с друзьями

Несмотря на огромное стремление к обновлению, которое выразилось в обращении к Богу ночью 31 декабря 1845 года, в начале нового года ничего не изменилось для Гоголя. Все тот же Рим, холодное зимнее солнце, озноб, страх, боли в желудке и затруднения в работе над «Мертвыми душами». Чтобы хоть как-то успокоить свою совесть, он убеждал себя, что его ждет теперь более важная и неотложная задача: обработка «Выбранных мест…» из своей переписки.

«Кстати, о моих письмах, – пишет он Языкову. – Ты их береги. Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждающимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. Страданья, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу, и с помощью их мне удалось помочь другим… Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе».[451]

Тогда как он готовился переделать свою личную переписку в общественную, из России до него доходило эхо оживленной литературной жизни. Молодые авторы заявляли о себе читателям, как это прежде он делал сам. Поговаривали, что волна, которая занесла его очень высоко, медленно опускалась, подгоняемая потоком новоприбывших.

«В Питере, по мнению „Отечественных записок“, явился новый гений – какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова».[452]«Здесь Белинский с Краевским беснуются из-за какого-то Достоевского», – иронизировал Плетнев.[453]

Разве же его первые книги, например «Шинель», не воздавали должное жизни бедняков? Но Гоголь сам захотел во всем этом убедиться. Просмотрев роман, он пишет Анне Вильегорской:

«В авторе „Бедных людей“ виден талант; выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных; но видно также, что он молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе; все бы сказалось гораздо живее и сильнее, если бы было более сжато».[454]

В этом же письме он велит ей молиться за него, чтобы он послал ему «среди недугов» «сколько можно более светлых минут», чтобы высказать все, что у него есть на душе. Рим по непонятным причинам отказывал ему

в этих минутах, и он вдруг решил искать их в Париже, подле графа А. П. Толстого.

Снова поселившись в отеле «Вестминстер», на улице Мира (Rue de la Paix), он не проявляет большого интереса к литературной и политической жизни Франции. В Париже был праздник. Король Луи-Филипп принимал Ибрагим-Пашу. Александр Дюма опубликовал «Граф Монте-Кристо», а Жорж Санд «Чертову лужу». Так, ничего особенного. П. В. Анненков, заехавший навестить Гоголя, нашел, что тот постарел и побледнел. «Глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа».[455]

Несколько дней спустя тот же Анненков, покинув Париж, приехал в Бамберг, был очень удивлен, завидев вдали человека с длинным носом и в коротеньком пальто, как две капли воды похожего на автора «Мертвых душ». Гоголь по пути в Остенде сошел с экипажа с другими путешественниками, чтобы размять ноги. У него был только час до отправления. Два друга пошли посмотреть на знаменитый местный собор XIII века, и Гоголь по этому случаю похвастался своими познаниями в области архитектуры. Выходя из собора, он сообщил Анненкову, что собирается вскоре опубликовать «Выбранные места» и что эта книга будет свежим глотком воздуха среди миазмов современной жизни. В его взгляде читалась непоколебимая уверенность. Неожиданно он стал убеждать своего собеседника обязательно провести зиму в Неаполе.

«Приезжайте на зиму в Неаполь… Я тоже там буду. Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете… Я вам скажу то, что до вас касается… да, лично до вас… Человек не может предвидеть, где найдет его нужная помощь… Я вам говорю, – приезжайте в Неаполь… я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Затем он перешел к беспорядкам, которые сотрясали Европу: «Вот, начали бояться у нас европейской неурядицы – пролетариата… думают, как из мужиков сделать немецких фермеров… А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое тут пролетарство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидев землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?..» Он говорил со сдержанной страстью, уставившись в землю, не замечая ни окружающего пейзажа, ни прохожих.

«Вообще Гоголь был убежден тогда, – писал впоследствии Анненков, – что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои

законы, о которых в Европе не имеют понятия».[456]

Когда они подошли к дилижансу, раздалась труба кондуктора. Гоголь взобрался в свое купе, уселся как-то боком к немцу пожилых лет и сказал Анненкову: «Прощайте еще раз… Помните мои слова… Подумайте о Неаполе».

Через мгновение он уже ехал, погрузившись в размышления, по дороге, в конце которой его не ждало ничего удивительного.

После нового лечения холодной водой в Граффенберге по методу доктора Присница он приехал к Жуковским в Швальбах.

Тем временем в комнатах гостиниц он исписывает одну за другой свои первые тетради с «Выбранными местами из переписки с друзьями». Вопреки обыкновению он не испытывает трудностей в написании этих текстов, вдохновленных идеями, которые ему были дороги и которые он столько раз развивал в письмах и беседах. Сама простота композиции создает ощущение совершенства. Эту легкость, с которой перо скользит по бумаге, можно объяснить только Божественным вмешательством. 30 июля 1846 года[457] он отправляет шесть первых глав в тетради Плетневу, снабжая их указаниями, не терпящими возражений:

«Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием „Выбранные места из переписки с друзьями“. Она нужна, слишком нужна всем; вот что, покамест, могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга. К концу ее печати все станет ясно… Печатание должно происходить в тишине: нужно, чтобы, кроме цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. К нему я напишу слова два… Готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображению, воспоследует немедленно: эта книга разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга…»[458]

Через два дня пишет цензору Никитенко:

«Я совершенно спокоен, будучи уверен, с одной стороны, – в безвинности самой книги, при составлении которой я сам был строгим своим цензором, что вы, я думаю, увидите сами. Если же какое и встретится выражение, которое бы даже с первого раза остановило вас, то я уверен, что к концу книги смысл его объяснится пред вами полней, и вы его признаете только нужным и ничего более».[459]

Отправив это письмо, Гоголь сразу же поехал в Остенде укреплять здоровье морскими ваннами во время теплого сезона. Померзнув в морских

волнах, он закрывался в номере и с пером в руке давал уроки морали, религии, литературы, управления государственными делами, политической экономики, права, патриотизма своим современникам. Еще три тетрадки были отправлены почтой из Остенде на адрес Плетнева. Пятая и последняя тетрадь пришла из Франкфурта. Гоголь вернулся туда в начале октября и снова поселился у Жуковского. Однако Никитенко, казалось, не спешил давать им свою оценку.

«Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги, – писал Гоголь Плетневу. – Это нужно, нужно и для меня, и для других; словом, нужно для общего добра… По выходе книги приготовь экземпляры и поднеси всему царскому дому до единого, не выключая и малолетних, всем великим князьям… Ни от кого не бери подарков и постарайся от этого вывернуться… Но если кто из них предложит от себя деньги на вспомоществование многим тем, которых я встречу идущих на поклонение к святым местам, то эти деньги бери смело».[460]

В ожидании выхода в печать «Выбранных мест» другая грандиозная идея засела у него в голове. По случаю нового выхода на сцену «Ревизора» в Петербурге и Москве он задумал присоединить к пьесе акт под названием «Развязка Ревизора». Этот дополнительный акт будет напечатан в четвертом издании комедии, а доход от продажи книги пойдет на раздачу бедным. Этим займется специальный благотворительный комитет, в который будут входить лица, указанные в «Предуведомлении» автора: княгиня О. С. Одоевская, графиня А. М. Вильегорская, графиня С. А. Дашкова, Аркадий Россет, брат А. О. Смирновой, В. С. Аксакова, А. П. Елагина, Алексей Хомяков, Петр Киреевский и другие. Что же касается темы «Развязки», то она представлялась достаточно простой: Гоголь в ней стремился показать, что комедия «Ревизор» была не обыкновенной психологической и социальной сатирой, а что она несла в себе мистическое значение, о котором никто – и он, конечно же, тоже, – сначала и не догадывался. Поднимается занавес, и все видят «первого комического актера», Щепкина, в окружении других актеров, которые венчают его лавровым венком за преданное служение искусству. Но те, кто выражал ему таким образом свое восхищение, стали задаваться вопросом, каким же был истинный замысел пьесы, в которой он только что в очередной раз так блистательно сыграл. Автор явно хотел посмеяться над своими современниками! И Щепкин раскрывает всем глаза:

«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России… Ну а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?..

Взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на очную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои… Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос… В начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас, – настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова! Хлестаков – щелкопер, Хлестаков – ветреная светская совесть… Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве. Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев! Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так боятся все низкие наши страсти! Смехом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека».

Гоголь, несомненно, старался внушить себе, что «Ревизор» – это воплощение внутренней драмы на сцене. За веселыми фигурами персонажей он хотел увидеть терзания каждого из нас в борьбе с нашими страстями под всевидящим оком Судьи. Эта мысль преследовала его с тех пор, как на него нашло озарение во время работы над «Мертвыми душами». Его так глубоко волновали нравственные вопросы, что он был готов свести все свои предыдущие творения к аллегорическому конфликту между добродетелью и пороком. Освободить своих героев от плоти. Сделать из них абстрактные элементы демонстрации этики.

Не предполагая ни на секунду, что эта чисто духовная интерпретация «Ревизора» может быть не по душе актерам, он отсылает «Развязку» Щепкину (в Москву) и Сосницкому (в Санкт-Петербург), повелевая им играть продолжение комедии. Согласно его указаниям, оба актера должны быть коронованы на сцене по завершении представления, данного в их честь, а затем объяснить пьесу благодарной публике. Узнав об этой чудесной затее, друзья Гоголя пришли в ужас.

«Обращаюсь к новой развязке „Ревизора“, – пишет ему Аксаков. – Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе бенефис „Ревизора“, увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему

актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность… Но мало этого. Скажите мне, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения „Ревизора“ искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене, что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла?»[461]

Со своей стороны Гедеонов, директор императорских театров, запретил играть «Развязку», потому что «по принятым правилам исключают всякого рода одобрения артистов – самими артистами, а тем более венчания на сцене».[462]

Через несколько месяцев Щепкин писал Гоголю по поводу той же «Развязки Ревизора»:

«Прочтя ваше окончание „Ревизора“, я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев „Ревизора“ как живых людей; я так много видел знакомого, так родного, и так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще – это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки; это люди настоящие, живые люди, между которых я возрос и почти состарился… Нет, я вам их не отдам! не дам, пока существую! После меня переделывайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».[463]

Уступая шумному хору протестов, Гоголь решил не публиковать «Развязку» и не выносить ее на сцену. «Еще не время», написал он Анне Вильегорской.[464] На самом деле этот маленький театральный проект почти ничего не значил в глазах Гоголя в сравнении с «Выбранными местами», по которым цензоры вот-вот должны были вынести свое решение. Между тем Гоголь съездил в Ниццу, Флоренцию, Рим. Вечный город был уже не тот. Говорили, что новый папа, Пий IX, имел либеральные взгляды.

И климат, казалось, ухудшился. Стало холодно под голубым небом. Старые камни утратили душу. В поисках тепла, как солнечного, так и человеческого, Гоголь поехал в Неаполь, куда его звала Софья Петровна Апраксина, сестра графа Толстого, набожная, томная и вкрадчивая вдова.

Внутри виллы Апраксиных в полумраке горели огоньки дюжины лампадок под иконами. Снаружи раскрывался ослепительный пейзаж, бухта Неаполя, Везувий, лодки, стоящие на рейде, извилистые мощеные улочки с развевающимся, как флаги, разноцветным бельем.

«Неаполь прекрасен, – писал Гоголь Жуковскому, – но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил Бог душу мою к принятию впечатлений красоты его».[465]

И в тот же день он пишет Смирновой:

«Здоровье мое поправилось неожиданно, совершенно противу чаяния даже опытных докторов… Я ожил, дух мой и все во мне освежилось. Передо мной прекрасный Неаполь, и воздух успокаивающий и тихий. Я здесь остановился как бы на каком-то прекрасном перепутье, ожидая попутного ветра воли божией к отъезду моему на святую землю».[466]

Между тем в Петербурге Плетнев все еще борется за разрешение опубликовать «Выбранные места…». Несколько писем сборника, в которых говорится о церкви и духовенстве, не пропускает духовный цензор. Плетневу приходится обратиться к обер-прокурору Синода, который в конце концов ставит подпись «в печать». Теперь остается обычная цензура, которая запрещает множество статей, при всем при том, что при написании всех текстов Гоголь руководствовался глубоким уважением к правительству. Измученный вконец нападками Гоголя, Плетнев передает дело на рассмотрение наследному князю Александру Николаевичу (будущему императору Александру II). Но наследник соглашается с Никитенко, что многие статьи необходимо убрать, несмотря на «превосходный смысл», который вдохновлял автора.

Гоголь впал в оцепенение, когда увидел, каким искажениям подвергли его книгу. Многие письма выкинули, другие безжалостно исправлены и укорочены. Разве там, наверху, не поняли, что его намерения были самыми чистыми? Не может быть, видно, за этим скрываются какие-то темные делишки. Его первой мыслью было то, что А. В. Никитенко, находясь в сговоре с либералами, решил изуродовать произведение, консервативный настрой которого показался ему оскорбительным.

«Из книги моей напечатана только одна треть, в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга, – писал он Смирновой, несколько преувеличивая. – Самые важные письма, которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, – письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах

исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу государю и всем моим соотечественникам. Я писал на днях Вильегорскому, прося и умоляя представить эти письма на суд государю. Сердце говорит мне, что он почтит их своих вниманием и повелит напечатать».[467]

Но Плетнев отказался просить императора и объяснил свое решение в письме своему требовательному другу:

«О предоставлении государю переписанной вполне книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе какими глазами я встречу наследника (*Александр Николаевич, будущий император*), когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я, как будто в насмешку ему, полезу далее».[468]

Таким образом, император и его окружение выражали свое недоверие к своему слишком ревностному защитнику. В стране с абсолютной монархией было слишком опасно позволять писателю поднимать политические, социальные и религиозные вопросы. Даже если он объявляет себя защитником установленного порядка, он может привлечь внимание умов, недовольных тем или иным недостатком режима. Законопослушного подданного не должен занимать ход общественных дел, будь то даже для того, чтобы его поддержать. В качестве утешения Гоголь говорил себе: «Выбранные места…», даже «обглоданные» Никитенко, принесут миру свод истин, который подействует как дрожжи на мягкое тесто человеческой души. Первый раз в жизни в январе 1847 года он почувствовал, что опубликовал произведение, которым он может гордиться.

«Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, – писал он в „Предисловии“, – потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях… Прошу моих соотечественников, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут… Прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва».

Среди тридцати двух писем, которые присутствовали изначально в «Выбранных местах…», одни были специально написаны для книги, для других были взяты за основу реальные послания, но измененные, переделанные, полностью переработанные. Так, глава «Что такое губернаторша» воссоздавала почти слово в слово советы, которые Гоголь

давал А. О. Смирновой; речи «Занимающему важное место» и «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» предназначались ранее графу А. П. Толстому; отрывки писем с внушениями, которые он делал матери, сестрам, Данилевскому, связанные между собой, воплотились в работе «Русский помещик».

Замысел автора был огромным. Он хотел возродить Россию, но при этом не затрагивая институты власти. По мере того как все больше размышлял над проблемой добра и зла, он пришел к убеждению, что спасение мира зависит от отдельного человека, а не государства. Насколько каждый улучшит свою душу, не стараясь изменить своего положения, настолько все человечество приблизится к Богу. Каждый губернатор должен стараться стать образцом губернаторов, каждая светская дама – образцом светской дамы, любой крепостной – образцом крепостного. И чтобы стать лучшим на всех ступенях иерархической лестницы, необходимо соблюдать одно правило: следовать учениям Церкви и оказывать доброе влияние на своего ближнего. Если каждый человек согласится служить Христу на том месте, где ему предписано быть, то и все общество сделает шаг вперед. В целом автор выступал против того, чтобы сводить христианство только лишь к размышлению и аскетизму, а за то, чтобы придать ему конкретное социальное воплощение во все проявления жизни. Для него не существовало действия, каким бы простым оно ни казалось, совершенного без веры. Вера кипела в самоваре, пенилась в мыле для бритья, звенела в монетках, брошенных на прилавок. Небесное царство распространяло свое влияние на все земное. Вот откуда в гоголевских проповедях вся эта мешанина мистических полетов и полезных религиозных рецептов, пригодных для каждодневных, жизненных ситуаций. Годами позже Лев Толстой воспользуется этой теорией, согласно которой единственным средством против зла является духовное обновление человека. Но у Льва Толстого это духовное обновление приведет к отрицанию Государства и Церкви. Как только будет положен принцип человеческого самосовершенствования, отпадет необходимость признавать царя, суд, армию, духовенство, полицию – все проявления власти одних людей над другими. Гоголь же очень хорошо адаптировался к России, которая была у него перед глазами. Он не ставил себе целью создать в ней новый порядок, а только лишь обучить своих соотечественников лучшему средству – служить существующему порядку…Опираясь на Евангелие, он стремился призывать высоких и мелких чиновников к честности, светских людей к благотворительности, художников к здоровому пониманию искусства, крестьян к любви к труду

под разумным управлением помещика, собственностью которого они являются, и к земле, которую они обрабатывают. В идеальном православном государстве каждый будет выполнять свои обязанности с радостью, благодетель расцветет в самых сухих сердцах, административные механизмы будут работать как по маслу, но, парадоксально, все так же будет существовать полиция, судьи, тюрьмы, богачи, бедняки и крепостные, которых также будут продавать с землей. Николай I, должно быть, испытывал некоторое удовлетворение при чтении таких высказываний, вышедших из-под пера автора:

«Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера».[469]

Или же:

«Спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства… Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».[470]

Или такое высказывание:

«Чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно… Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник».[471] Ослепленный полубожественным совершенством императорского управления, Гоголь выказывал больше, чем уверенность, он делал указания, относящиеся к той или иной категории читателей. Ему было не достаточно быть для них только пророком, предсказывающим новую религиозную цивилизацию, но он еще утверждал, что способен решить их мелкие личные проблемы. То, что он прожил три четверти жизни вдалеке от России холостяком, нахлебником, перескакивая с места на место, выпрашивая деньги у друзей или великого князя, никогда напрямую не занимаясь ни своими мужиками, ни землями, не имея представления о внутренних экономических проблемах и высшей администрации, не было для него помехой для того, чтобы считать себя призванным втолковывать правила поведения супругам, светским дамам, губернаторам, помещикам, крестьянам, художникам, священникам, судьям. Его авторитет в этих областях исходил не из опыта, а из размышлений. Такому человеку, как он, вдохновленному Богом, нет необходимости чего-то изучать, чтобы знать, ни знать, чтобы чему-либо обучать. Чем дальше он стоял в стороне от

общества, тем легче он мог им управлять. Из его советов современникам вытекало, что тот, кто обогатит себя морально, мог быть почти увенным, что он обогатится и материально. Деньги были естественным вознаграждением за благочестие. Собственность не грех, а дорога, ведущая в рай. «И в какую бы деревню не заглянула истино христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро», – писал автор.[472]

И он приказывал помещику никогда не забывать, что он получил свою власть от Бога: «Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покориться той самой власти…

Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб».[473]

Если крепостной пьет или ленится, его хозяин не должен сам его наказывать, а поручить это «старосте». Можно также отчитать виновника перед крестьянами да «так, чтобы тут же обсмеял его весь народ». В этом случае лучше всего обозвать его прилюдно «невымытым рылом». Что же до народного образования, то более глупой затеи не придумаешь! «Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор».

Рекомендации замужней женщине, сознающей свои обязанности, были по меньшей мере странными. Он велит ей разделить семейные деньги «на семь почти равных куч», из первой кучи деньги идут на расходы по дому, а из седьмой на пожертвования. Но жажда к благотворительности не должна перевешивать мудрый расчет: «Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастия, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрагиваться до других куч».[474]

К жене губернатора предъявляются особые требования. Ее положение обязывает спасать души чиновников, которых выгнал ее муж: «Но не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш».[475]

Мимоходом автор воздал должное российскому дворянству, чьи достоинства можно было оценить наглядно во время войны 1812 года, пропел дифирамбы царю, воплощению Бога на земле, поставил православную Церковь выше любой другой, заявил, что Пушкин всегда почитал власть, выставил посмешищем своего друга Погодина, который «хлопочет, как муравей», смешал с грязью «массонские журналы, появившиеся в Европе», предал анафеме декабристов, что они двадцать лет назад осмелились восстать якобы во имя либеральных идей («Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство»),[476] и забывая о том, как он сам страдал от цензуры, провозгласил в письме, посвященном Карамзину: «Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно… И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды и что она у нас колет глаза!»[477]

Безусловно, в «Выбранных местах…» были и чудесные страницы о русской литературе. В них представлен глубочайший анализ произведений Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова. Но в книге доминирует тяжелый нравоучительный тон. Гоголь, когда писал ее, хотел быть абсолютно искренним. Он, человек замкнутый, притворщик и лгун, вывернул наизнанку все самые сокровенные мысли и чувства. Совершив над собой такое усилие, он был уверен, что современники, наконец познав его и себя, будут его благодарить за самопожертвование, которое он совершил ради их обучения и воспитания.

И в самом деле, на следующий день после публикации «Выбранных мест…» он получил несколько одобрительных писем.

«Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей, – писал ему Плетнев. – А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их

на свет… Что бы ни говорили другие, – иди своею дорогою… В этом маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний».[478]

А. О. Смирнова была вне себя от восторга, она купила двадцать экземпляров книги, чтобы раздать ближайшим помощникам мужа, и написала автору:

«Книга ваша („Переписка“) вышла под новый год, и вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы одарили этим сокровищем. Все, что вы писали доселе, ваши „Мертвые души“ даже, – все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика».[479]

Но очень скоро эти хвалебные отзывы потонули в море проклятий. Нападки на «Выбранные места…» шли одновременно отовсюду. Либералы обвиняли Гоголя за то, что он превозносил анахронический и жестокий абсолютизм, консерваторы за то, что он осмелился давать советы великим мира сего, как им лучше исполнять их обязанности, приверженцы умеренных взглядов за то, что он подхалимничал перед властями в надежде получить пансион от императора. Самые близкие друзья были потрясены. Либо он сошел с ума, либо вдруг резко поглупел, либо это какой-то лицемерный трюк. В салонах то и дело слышалось: «Это уже не Николай Васильевич, его следует теперь называть не иначе как Тартюф Васильевич».[480] Белинский сказал о нем: «Это Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал Бога, а при смерти надул сатану».[481]

Потрясенный Аксаков писал своему сыну:

«…Увы, она превзошла все радостные надежды врагов Гоголя и все горестные опасения его друзей! Самое лучшее, что можно сказать о ней, – назвать Гоголя сумасшедшим».

И еще:

«Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование его, чтобы, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, чтобы не ставили ему памятника, а чтобы каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправились о имени его».[482]

Несколько дней спустя, не имея больше сил сдерживать свою досаду, возмущение и расстройство, Аксаков обращается напрямую к Гоголю:

«Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтобы

высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачены… Но увы! Нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека… О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение… Не могу умолчать о том, что меня более всего оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы… позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который, точно, был вам друг, но по-своему. Погодин сначала был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал».[483]

Шевырев упрекал:

«Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В вере оно уродство».[484]

Даже священник Матвей Константиновский, ржевский протоиерей, духовник графа А. П. Толстого, который рекомендовал его Гоголю, обвинял автора в написании вредной книги, результатом которой станет удаление людей от Церкви и привлечение их к ложным удовольствиям, получаемым от театра и поэзии. Каждый день почта приносила автору или письмо возмущенного читателя, или опечаленного друга. И как обычно, чем больше сыпалось на него ударов, тем больше он их выпрашивал:

«Не позабудь передать мне все мненья…, как твои, так и других, – писал он Шевыреву. – Поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества. Не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим».[485]

Если говорить о его реакции на критику, то, как обычно, это была смесь смирения с самодовольством. Сначала он признавал, что выбрал ложный путь. Затем очень скоро оправдывал себя. Такой двойной маневр,

когда угодливое сожаление сменялось гордым выпадом, был для него настолько естественным, что он мог начать одно и то же письмо раскаянием, а закончить проповедью.

«Появление моей книги разразилось точно в виде какой-то оплеухи, – писал он Жуковскому. – Оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед…»

А уже на следующей строчке: «При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезли все экземпляры ее (хотя печатано было два завода)… Несмотря на то что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения».[486]

В тот же день он отвечал Аксакову на его резкие нападки:

«Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие».

И дальше:

«Замечу только…, что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все суждения и так умеет дорожить замечаниями умных людей даже тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в полном и совершенном самоослеплении».[487]

То же самое мнение он высказывает Анне Вильегорской, которая скрепя сердце передает ему некоторые толки и пересуды в Санкт-Петербурге, вызванные его «Выбранными местами…»:

«Я знаю, что в обществе раздаются мнения, невыгодные насчет меня самого, как то: о двусмысленности моего характера, о поддельности моих правил, о моем действовании из каких-то личных выгод и угождений некоторым лицам. Все это мне нужно знать, нужно знать даже и то, кто именно как обо мне выразился… Поверьте мне, что мои последующие сочинения произведут столько же *согласия* во мнениях, сколько нынешняя моя книга произвела разноголосицы, но для этого нужно *поумнеть*. Понимаете ли вы это? А для этого мне нужно было непременно выпустить эту книгу и выслушать толки о ней всех, особенно толки неблагоприятные,

жесткие, как справедливые, так и несправедливые».[488]

Князю Владимиру Владимировичу Львову, который написал писателю грустное письмо с упреками в «высокомерии», Гоголь попытался объяснить, откуда у него это самомнение и почему он одновременно чувствовал и гордость, и стыд, опубликовав свою книгу:

«Одно помышленье о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда. Стыд этот мне нужен. Не появись моя книга, мне бы не было и в половину известно мое душевное состояние. Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы передо мною в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с которыми я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве. Где же мне было добыть голос осуждения?»[489]

Позже он даст другую версию истории написания своей книги литературному критику Николаю Павлову:

«Возле меня не было в это время такого друга, который бы мог остановить меня; но я думаю, если бы даже в то время был около меня наиближайший друг, я бы не послушался. Я так был уверен, что я стал на верхушке своего развития и вижу здраво вещи. Я не показал даже некоторых писем Жуковскому, который мог мне сделать возраженье».[490]

Так, прогибаясь под потоком упреков, Гоголь остался при своем мнении в отношении трех вещей: во-первых, его книга, даже при всех ее несовершенствах, была полезна для других и для него самого; во-вторых, если он ее написал, значит, это было угодно Богу; в-третьих, его прошлый опыт, долгие размышления и природные способности к педагогике давали ему право учить ближних. То, что он не осмеливался сказать некоторым суровым судьям, он открывал А. О. Смирновой, восхищение у которой ему было заказано:

«Бог милостив. Не он ли сам внушил стремленье поработать и послужить ему? Кто же другой может внушить нам это стремленье, кроме его самого? Или я не должен ничего делать на прославленье имени его, когда всякая тварь его прославляет, когда и бессловесные слышат силу его? Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что не имею право на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге? Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право, все мы должны учить друг друга и наставлять друг друга,

как велит и Христос, и апостолы».[491]

Почта, прибывающая из России, приносила не только письма. Иногда в окошечке «до востребования» на почте Неаполя Гоголь находил газету, журнал с подчеркнутой карандашом статьей, касающейся его. За исключением нескольких снисходительных отзывов, общий тон статей оставался суровым. Глава западников Белинский бушевал в «Современнике»:

«Гоголь поучает, наставляет, клеймит, порицает, милует, воображая из себя некого сельского приходского священника, чуть ли не папу в своем небольшом католическом мирке».[492]

Совершенно очевидно, что Белинский тем более был обижен на Гоголя, что с давних пор считал его великим писателем-реалистом, призванным защищать бедняков. Для него эта высокопарная, раболепная и хвалебная книга была больше, чем провал, она была предательством. Уязвленный тем, что его так неправильно понял тот, кто раньше восторгался его талантом, Гоголь отвечал критику:

«Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в „Современнике“, – не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося… Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные – все огорчились… Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде… Поверьте, что не легко судить о книге, где замешалась собственная душевная история автора, скрытно и долго жившего в самом себе и страдавшего неуменьем выразиться… Пишите критики самые жестокие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, что унизить человека, способствуйте к осмеянию меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительных струн, может быть, нежнейшего сердца, – все это вынесет душа моя, хотя и не без боли, и не без скорбных потрясений; но мне тяжело, очень тяжело – говорю вам это искренно, когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, а вас я считал за доброго человека».[493]

Гоголь отправил письмо в Петербург, но Белинский, находившийся на лечении, получил его в Зальцбрунне (Силезия). Истощенный туберкулезом и сознавая свою скорую кончину,[494] он придавал большее значение, чем когда-либо, идеям, которые он отстаивал всю жизнь: ненависть к

деспотизму, недоверие к Церкви, вера в научный и социальный прогресс, который приведет к равенству всех граждан счастливой республики. Гоголевские эпистолярные оправдания разбудили в нем раздражение, которое он испытывал, читая книгу. Из-за цензуры он не мог сказать в своей статье и десятой части того, что он думал. Какая чудесная возможность наверстать упущенное! «А, он не понимает, за что люди на него сердятся, – говорит он Анненкову, который делил с ним квартиру, – надо растолковать ему это, я буду ему отвечать». Белинский был бледен, с ввалившимися щеками и взглядом, горящим ненавистью. Плед покрывал плечи. Тотчас он уселся за круглым столом и начал записывать мысли карандашом на клочках бумаги. Затем он перешел к редактированию письма в настоящем смысле слова. Он работал над ним три дня. Когда работа была кончена, он прочитал письмо Анненкову. Анненков, испугавшись резкого тона критики, попросил не посылать его. Но Белинский настаивал, говоря: «Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него».[495]

Письмо было отправлено: толстая пачка страниц, исписанных плотным почерком. Гоголь получил послание в Остенде, куда он отправился между делом, чтобы принять в качестве лечения морские ванны. С первых строк он почувствовал головокружение. От потрясения кровь отхлынула от лица. Читал сквозь пелену слез, перескакивая с фразы на фразу, чтобы побыстрее добраться до конца:

«Да, я любил вас со всею страстью, с какой человек, кровно связанный с своей страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса… Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах… Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге… Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть… Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе… Самые живые,

современные национальные вопросы теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть… И в это время великий писатель является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше… Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки… И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны – и вам надо спешить лечиться, или… не смею досказать своей мысли!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе под ноги, – ведь вы стоите над бездною… Неужели вы, автор „Ревизора“ и „Мертвых душ“, неужели вы искренно, от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического?.. Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Да простит вас ваш византийский Бог за эту византийскую мысль!.. Сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника… Можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и, еще более, как человека?.. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед… Публика видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги… Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною, порадуйтесь падению вашей книги!.. Молиться везде все равно, что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его… Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением своего человеческого достоинства… Человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, но человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение… Не истиной христианского учения, а болезненною боязнию смерти, черта и ада веет от вашей книги».[496]

В течение нескольких дней Гоголь пребывал в шоковом состоянии от полученной взбучки. Он-то думал, что жертвует собой во имя людей, говоря с ними от чистого сердца, а его подозревают в самых худших мерзостях. Его обожание царя, уважение к Церкви, нежность к народу, привязанность к традициям предков, любовь к русской земле, русской истории, стремление помогать людям – все это было понято превратно. Оплеванный с ног до головы, он не знал, какую занять позицию. Христианское смирение требовало принять все, как должное, но самолюбие автора восставало против такой несправедливости. Несколько раз он принимался за ответ Белинскому. Язвительные фразы слетали с пера: «Вы говорите, что вы в гневном расположении духа и этим извиняете себя?.. Но как же вы решаетесь говорить о таких важных предметах? Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах».

Нет, такие слова не были достойны благочестивого автора «Выбранных мест…». Наконец христианское смирение восторжествовало, и он написал с безмятежной грустью осмеянного пророка:

«Душа моя изнемогла, все во мне потрясено… Письмо ваше я прочел почти бесчувственно… Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги, ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных во мненьях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось только непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь… Наступающий век есть век разумного сознания… Поверьте мне, что и вы, и я виноваты равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я по крайней мере сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы?.. Как я уже слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует узнать хотя бы часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете».[497]

Это оправдание, которым он надеялся обезоружить Белинского, не удовлетворяло его самого. Тоска, отвращение, отчаяние давили на грудь. Несколько дней спустя после выхода «Выбранных мест…» Гоголь узнал о кончине Языкова.[498] Тогда он не почувствовал всей тяжести потери, а

теперь скорбь по другу добавляла траурную нотку в разочарование, причиной которого стал провал книги. В его письмах снова стали слышаться жалобы, монотонные, как озноб раненого.

«Как у меня еще совсем не закружилась голова, – писал он Аксакову, – как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, – этого я и сам не могу понять… Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил… Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться».[499]

Но Аксаков ему пишет: «По моему убеждению, вы книгой своей нанесли жестокое пораженье, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горькими упреками». К Гоголю на время вернулась его спесь и он ответил:

«В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся излишеству ее, тем более что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека… Да, эта книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля Божия… Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает… К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие?.. Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем, не мелким и пустым, но почувствовавшим и своего звания… Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем».[500]

Позже, чувствуя, что в нем растет злость против слишком откровенного и слишком требовательного друга, он захотел просвятить его о природе его расположения к нему. Когда он вызвал в памяти все отношения с остальным миром, он должен был признаться, что его интересовали только люди, которые оказывали ему или материальную, или моральную поддержку. Он и не подумал бы общаться с тем, кто не представляет никакой надобности в его жизни как человека или как писателя. Он любил людей не за них самих, а то, что они были для него, он видел в них прежде всего служителей его дела. Впрочем, было множество способов послужить ему: приглашая в гости, открывая свою душу, подсказывая сюжеты, выполняя его поручения, хваля его талант и даже

благоговейно критикуя его.

«Я вас любил гораздо меньше, чем вы меня любили, – писал он холодно Аксакову. – Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти; но любить кого-нибудь особенно, предпочтительно, я мог только из *интереса*,[501] если кто-нибудь доставил мне *существенную пользу*,[502] и через него обогатилась моя голова, если он подтолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, или над другими людьми, – словом, если через него как-нибудь раздвинулись мои познания, а уж того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что же делать! Вы видите, какое творение человек: у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать? Может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь для головы моей, положим, хоть бы написанием записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что же делать, если я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас».[503]

Такой обмен письмами привел к своего роду разрыву между ними. Но Гоголь не чувствовал сожаления по этому поводу. Да, он был неспособен любить Аксакова, несмотря на всю преданность, с которой он раньше относился к нему. Когда он обращался к своему прошлому, он обнаруживал, что в его жизни были только три страсти: к Пушкину, фениксу, поэзия которого приводила его в восторг, к Иванову, аскету, живописью которого он восхищался, и к Иосифу Вильегорскому, прекрасному юноше, молодости, не омраченной думами о смерти, которому он поклонялся. Аксаков, не написавший еще ничего выдающегося, не мог сравниться ни с одним из этих блистательных людей.[504] Он был для Гоголя славным парнем, образованным и гостеприимным. Отзывчивый человек. Льстец. Теперь этот льстец перешел в противоположный лагерь. Странные перестановки произошли вокруг него: прежние обличители приветствовали его возвращение к «здравым идеям», прежние поклонники кидались на него с упреками. Ответив каждому из его новых «врагов», он решает оправдаться перед публикой в «Авторской исповеди».[505] В этой защитительной речи он в очередной раз пытался снять с себя обвинения в раболепии перед властью и презрении к народу.

«Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу („Выбранные страницы…“) верным зеркалом человека, – писал он. – В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра…, сознание

искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении… Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия, и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе…»

Успокоив таким образом немного свое раздражение, Гоголь отложил рукопись в долгий ящик. Поразмыслив, он пришел к выводу, что не стоит печатать ее, чтобы не раздувать споры, мучительные для него. Мудрым решением было бы подождать, когда стихнут толки и пересуды. В то же самое время он написал «Размышления о Божественной Литургии», которые, по его замыслу, должны были помочь верующим разобраться в порядке проведения богослужения. И это сочинение он не стал публиковать.[506]

Он смутно понимал, что ему не следовало больше, по крайней мере сейчас, увлекаться дидактическими трудами. Русские читатели еще не доросли до понимания его умозаключений. Они не принимали абстракцию. Им нужны были, как детям, конкретные примеры, истории. Он не смог помочь им своими письмами, но следующий роман явится настоящим благом для всех. «Заговори (он) только с обществом, на место самых жарких рассуждений, встанут эти живые образы». Только эти «живые образы» должны были соответствовать, по Гоголю, российской действительности. А он покорно признал, что мало ее знал. Уже в предисловии ко второму изданию первой части «Мертвых душ» он обращается ко всем читателям с призывом поделиться с ним какими-нибудь заметками, впечатлениями, описаниями черт национального характера, событий, относящихся к русской жизни.

«Об одном прошу крепко того, кто захотел бы наделить меня своими замечаниями: не думать в то время, как он будет писать, что пишет он их для человека ему равного по образованию, который одинаковый с ним вкусов и мыслей и может уже многое смекнуть и сам без объяснения; но вместо того воображать себе, что перед ним стоит человек, несравненно его низший образованьем, ничему почти не учившийся».[507]

К его огромному удивлению, никто не ответил на его просьбу. Читающая публика отказалась помочь ему в исполнении его великого замысла. Тогда, когда ему больше, чем когда-либо требовались «эти детали

и незначительные подробности, подтверждающие, что этот рассматриваемый персонаж полезно прожил жизнь на этой земле». Решив вернуться к продолжению «поэмы», он снова собирает досье на своих персонажей. К друзьям – за информацией и анекдотами. Любой из его адресатов может посчитать за честь быть его анонимным помощником. Он не принимал отказов. Все за работу!

«Что вам стоит понемногу, – писал он Аркадию Россету, – в виде журнала, записывать всякий день, хотя, положим, в таких словах: „Сегодня я услышал мнение; говорил его вот какой человек; жизни он следующей, характера следующего“ (словом, в беглых чертах портрет его); если ж он незнакомец: то „жизни его я не знаю, но думаю, что он вот что, с вида же он казист и приличен (или неприличен); держит руку вот как; сморкается вот как; нюхает табак вот как“… Поверьте, что это будет совсем не скучно. Тут не нужно ни плана, ни порядка, просто две-три строчки перед тем, как идти умываться».

Смирновой, сестре Аркадия Россета, он давал еще более четкие инструкции. Если она верила его слову и в его талант, она должна была во всех письмах к нему набрасывать портрет человека из своего окружения:

«Например, выставьте сегодня заглавие *Городская львица* и, взявши одну из них, такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками, – и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову… Потом завтра выставьте заглавие: *Непонятная женщина* и опишите мне таким образом непонятную женщину. Потом: *Городская добродетельная женщина.* Потом: *Честный взяточник*; потом: *Губернский лев*. Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, которому он принадлежит… После вы увидите, какое христиански доброе дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей этого будете вы».[508]

В своей непосредственности он давал такое же задание жене Данилевского, которую никогда в жизни не видел:

«Вас прошу, если у вас будет свободное время, в вашем доме набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь, хотя в самых легких и беглых чертах. Не думайте, чтоб это было трудно. Для этого нужно только помнить человека и уметь его себе представить мысленно. Не рассердитесь на меня за то, что я, еще не успевши ничем заслужить вашего расположения, докучаю вам такою просьбою. Но мне теперь очень нужен русский человек везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые

наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в эту картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от природы. Если же вас Бог наградил замечательностью особенною и вы, бывая в обществе, умеете подмечать его смешные и скучные стороны, то вы можете составить для меня типы, то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия, или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которого он представитель, – хоть, например, под такими заглавиями: *Киевский лев; Губернская femme incomprise* (непонятая женщина); *Чиновник-европеец; Чиновник-старовер* и тому подобное. А если душа у вас сердобольная и состраждет к положенью других, опишите мне раны и болезни вашего общества. Вы сделаете этим подвиг христианский, потому что из всего этого, если Бог поможет, надеюсь сделать доброе дело. Моя поэма может быть очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповедь не в силах так подействовать, как ряд живых примеров, взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы…»[509]

Несмотря на настойчивые просьбы, с которыми он обращался к друзьям и знакомым почти в каждом своем письме в Россию, они, ленясь или не придавая этому значения, не спешили делиться с ним столь необходимыми ему наблюдениями. Там, похоже, никто не принимал его просьбы всерьез. Он же, лишенный сведений о жизни и людях в России, ничего не мог писать. По крайней мере это служило ему оправданием, почему он сидит сложа руки.

Надежда на возрождение прежних творческих сил после сожжения второго тома «Мертвых душ» недолго теплилась, и его снова охватила неуверенность в себе. Какая пустота в его утомленном мозгу! Сможет ли он заново завязать сюжет, управлять действиями персонажей? А вдруг его нерешительность является признаком того, что Бог отвернулся от него? Если это так, то не значит ли это, что он должен оставить литературу? Чтобы рассеять внутренние сомнения, он решил написать отцу Матвею Константиновскому:

«Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду… Его можно исполнять также и в званьи писателя. Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его в злое… Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изображают другие писатели?.. Примеры сильнее рассужденья; нужно только для этого

писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу… А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу…разве я не обязан изобразить с равною увлекательностию дюдей добрых, верующих и живущих в законе божием? Вот вам (скажу откровенно) причина моего писательства, а не деньги и не слава».[510]

И Жуковскому:

«Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо!.. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена… Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства…

Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании „Переписки“ поставить впереди книги на место „Завещания“, имеющего выброситься, а заглавье дать ему: „*Искусство есть примирение с жизнью*“».[511]

В его глазах художественное и нравственное совершенство стали неразделимы, и он вернулся к своей спасительной идее о поездке в Иерусалим. В начале Гоголь намеревался совершить паломничество, чтобы выразить благодарность Богу за успешное окончание второго тома «Мертвых душ». Теперь же, когда работа над вторым томом только начиналась, он думал отправиться к Гробу Господню в поисках вдохновения. Благодарственный молебен превращался в зов о помощи. Ему казалось, что это единственное спасение от сомнений. Если там Христос благословит его книгу, он будет спасен. Если же нет… Одна только мысль об этом холодила сердце. Он разрывался между желанием отправиться в путь и страхом не оправдать своих надежд. Ко всему прочему он еще не нашел себе попутчика. Говорили, что дорога может оказаться опасной. Он боялся моря, боялся всех этих грязных восточных городов, где, хочешь-не хочешь, но ему придется останавливаться, и, наконец, боялся остаться равнодушным перед Гробом Господнем. В 1846 году, когда он уже почти сел на пароход, он написал матери:

«Во времена, когда я буду в дороге, вы не выезжайте никуда и оставайтесь в Васильевке. Мне нужно именно, чтобы вы молились обо мне в Васильевке, а не в другом месте. Кто захочет вас видеть, может к вам приехать. Отвечайте всем, что находите неприличным в то время, когда сын ваш отправился на такое святое поклонение, разъезжать по гостям и

предаваться каким-нибудь развлечениям».[512]

Сейчас он еще больше волновался. Чтобы отложить отъезд, он приводил в качестве предлога плохое здоровье, нехватку денег, какие-то текущие работы. Затем он неожиданно ехал в Париж, Франкфурт, Эмс, Остенде, возвращался в Неаполь через Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим. Такими торопливыми лихорадочными скачками по городам он хотел заглушить тревогу от ожидания большого путешествия. Он проводил все время в молитвах. Но чем больше он молился, тем больше росло волнение. Как бы он ни стремился к совершенству, его душа отказывалась устремляться в небо.

«Но признаюсь вам, – писал он А. О. Смирновой, – молитвы мои так черствы! Я прежде думал, что я лучше молюсь, что почти умею молиться временами. Но теперь вижу, что если не захочет сам тот, которому молишься, никак нельзя помолиться. Но как бы то ни было, я произнесу мои слова, как бы ни были они бессильны, как бы ни было черство на душе и как бы ни был неповоротлив ленивый, грубый язык…»[513]

И Шевыреву:

«Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим?…Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильнее, и все бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на трудности пути. Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях».[514]

Графине Шереметевой:

«Я малодушнее, чем я думал; меня все страшит. Может быть, это происходит просто от нерв. Отправляться мне приходится совершенно одному; товарища и человека, который бы поддержал меня в минуты скорби, со мною нет… Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды; а я бываю сильно болен морскою болезнью и даже во время малейшего колебания. Все это часто смущает бедный дух мой, и смущает, разумеется, оттого, что бессильно мое рвенье и слаба моя вера…»[515]

Может, лучше не ехать? Ему иногда приходила эта мысль. Но он столько об этом говорил, столько людей знали о его планах, что ему уже нельзя было отступиться. И потом, простит ли ему Всевышний такое малодушие? С каждым днем он все больше чувствовал, что теряет благосклонность небесных сил. Как если бы Бог больше не доверял ему, так и он больше не мог доверять Богу. Как если бы в его отношениях с Богом произошел разрыв, как в его отношениях с людьми. Он молил

Провидение послать ему знак. Его одиночество было всеобъемлющим, непоправимым, пугающим. Один на один со светом, один на один с церковью. Он стал самому себе духовным отцом, не обращаясь ни к каким духовным наставникам. Он был самоучкой во всем и доходил до всего своим умом, читая разнообразные сборники и размышляя в одиночестве. Но вот неожиданно он чувствует необходимость опереться на совет духовника. Князь Толстой рекомендует ему ржевского протоиерея Матвея Константиновского. Малообразованный ограниченный аскет требовал от себя и от других непоколебимой веры. Гоголь знал его только по письмам, но его убежденность внушала ему уважение. Переживая период самых мучительных сомнений, он снова обращается к нему:

«Но, увы! молиться не легко. Как молиться, если Бог не захочет?.. О друг мой и самим Богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков… Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера… Вот все, но веры у меня нет. Хочу верить. И, несмотря на все это, я дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу. Этого мало: хочу молиться о всех и всем, что ни есть в русской земле и отечестве нашем. О, помолитесь обо мне, чтобы Бог не поразил меня за мое недостоинство и удостоил бы об этом помолиться!»[516]

Как ни странно, знаком свыше явились восстания в Италии. Почти во всех больших городах, словно по приказу, вспыхивали народные восстания. Вся часть полуострова, которая напрямую не подчинялась Австрии, требовала «конституцию». Это модное слово приводило Гоголя в крайнее раздражение. Даже в Неаполе ходить по улицам, казалось, уже небезопасно. У него не укладывалось в голове, что умами самого беспечного народа овладела политика. Взвесив сложившуюся ситуацию, Гоголь решил, людские бури более опасны, чем морские. Опасаясь новых беспорядков, он ускорил приготовления к отъезду. Перед тем как покинуть Италию, он сочинил молитву и послал ее матери и друзьям с просьбой читать ее самим и попросить священника читать ее во время службы, совершенной во имя его.

Приняв таким образом все меры предосторожности, больной от волнения и страха, он сел на маленький пароход «Капри», который должен был отвезти его на Мальту.

«Боже, соделай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным! восстанови тишину морей и укороти бурное дыхание ветров!

Тишину же души его исполни, благодатных мыслей во все время дороги его!

И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремленье сердец наших к прославленью святого имени Твоего!»

Глава III
Иерусалим

Несмотря на то, что море было немного беспокойным, монотонная качка судна прекратилась недомоганием Гоголя. Тошнота вывернула ему все внутренности. Пот градом катился по его лицу. «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость, сознаваясь, что не видывали, чтобы кто-то так страдал», – писал он графу Толстому,[517] описывая свое путешествие по прибытии в Мальту. Он едва переставлял свои ватные ноги, шагая по улице. Обессиленный, Гоголь запрятался в комнатушке, еще меньше и грязнее, чем была у него на Капри, и с ужасом ожидал возобновления морского путешествия, которое ему предстояло через пять дней на другом судне. В таком настроении он настрочил несколько писем, чтобы уведомить всех, что умирает, и попросил подобрать для него священников особенно ревностных для того, что совершить молебен о благополучном исходе путешествия.

27 января 1848 года он покинул Мальту, направляясь в Константинополь. В Константинополе он сел на австрийский пароход, принадлежавший компании Ллойда – «Истамбул», направляющийся в Смирну. В Смирне он пересел на новый пароход, той же компании, идущий в Бейрут. На этот раз море было до того спокойным, что Гоголь не испытал каких-либо неприятностей. На передней палубе толпились паломники всех национальностей, совершающих путешествие ко Гробу Господню. Среди них он встретил русского генерала Крутова, одетого в белый военный мундир с ремнем и красной феской на голове, а также скромного, небольшого роста священника с бородкой, отца Петра Соловьева. Сам Гоголь был облачен в белую поярковую шляпу с широкими полями и итальянский плащ.

«Маленький человечек, – отмечал священник Петр Соловьев, – с длинным носом, с черными жиденькими усами, с длинными волосами, причесанными a la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз».[518] Познакомившись со священником по пути между Неаполем и Мальтой, Гоголь показал ему небольшую иконку Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, которую он вез в своем багаже и которая неизменно находилась с ним. Она представляла собой копию в миниатюре со старинного образа епископа, хранящегося в Бари. Святитель Николай, –

сказал Гоголь, – сопутствует ему в путешествиях и одновременно является общим покровителем всех путешественников на земле и на море. Отец Петр выразил некоторое сомнение в верности копии этой иконы, потому что не видел до этого ее оригинала. Однако Гоголь полностью доверился чудотворной силе этого святого изображения, тем более что перед судном вскоре показались очертания Бейрута.

В Бейруте генеральным консулом России был не кто иной, как его одноклассник по Нежинской гимназии Константин Базили. Искусный дипломат, большой знаток Ближнего Востока, автор ряда исследовательских трудов по Турции и Греции, он оставался до конца преданным друзьям своей молодости. Он с радостью встретил того, кого его товарищи прозвали когда-то между собой «таинственный карла» и, оказав ему гостеприимство, предложил устроиться у себя. В течение нескольких дней Гоголь отдыхал от усталости и дороги, расположившись в консульстве. Затем он вновь продолжил свое путешествие в сопровождении Базили, который вызвался быть ему гидом в пути через пустыни Сирии по направлению к Иерусалиму. Этот путь, медленный и однообразный, усыплял его сознание. Его энтузиазм время от времени становился все более притупленным.

«Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю, – писал он В. А. Жуковскому. – Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей, в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по морскому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень – колодезь, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».[519]

Благодаря К. Базили, который в глазах арабов представлял власть «великого падишаха» России и в этой связи был вынужден играть роль полномочного вельможи, путешествие проходило относительно нормально. Но даже в лучших домах в диванах водятся клопы. Вокруг вились сотни москитов. Песчаный ветер иссушал гортань, забивал глаза. Гоголь пребывал не в лучшем настроении, и Базили просил его не

выказывать ему прилюдно своего раздражения. Они миновали выжженный солнцем Сидон, сонный Тир, который укрылся за своими средневековыми стенами, Святого Жан Дакра на людных базарах, десятки безымянных мертвых деревень. Их след растянулся по берегу моря. Повсюду простиралась безжизненная земля, камни, ослепительный свет и островки моха. Приближался Иерусалим. Гоголь ехал верхом на мулах и мысленно готовился к откровению. С высоты холма в прозрачной дымке появилась белесая раздробленная панорама святого города. Путешественники проехали через ворота Яффы и остановились в доме православного патриарха.

Утром следующего дня Гоголь отважился пройтись по узким извилистым улочкам, вдоль низеньких домов, соединяющихся сводами, посетил шумные рынки, смешался с плотной и медлительной толпой, которая осаждала лотки. В ней встречались и евреи, и турки, и армяне, и арабы, и греки. Возвращался с прогулки оторопевший от грязи, запущенности, беспорядка, который правил на этом месте, освященном памятью о Христе. Тот факт, что Иерусалим находился под османским гнетом, оскорбляло его память о Спасителе. Говея, он стал навещать Гроб Господень. Пять или шесть турецких охранников сидели, поджав ноги, среди подушек на площадке, покрытой ковром, курили и играли в шахматы, надзирая за входом. Массивные двери были распахнуты. Гоголь, перекрестясь, переступал через порог. Сначала он видел освященную лампами и свечами большую плиту из розового мрамора, именуемую «камнем помазания», на котором, согласно преданию, Христос был омыт благовониями после снятия с креста. Под центральной абсидой возвышалось святилище во всем окружающем его благоговении. Святая гробница была разделена на два отделения: первое представляет собой подобие вестибюля, который именуется приделом Ангела, благовестника радостного Воскресения Христова; во втором находится погребальное ложе, на которое было положено мертвое тело Господне. Последнее отделение имело такие низкие потолки, что приходилось нагибаться для того, чтобы туда войти, и было таким ограниченным, что там невозможно было находиться более трех посетителей. Его стены были облицованы белым мрамором. Погребальное ложе служит и престолом, и жертвенником. Сколько крипты в его строгой наготе, обнаженных скал, зияющее отверстие было более волнительно, чем пышное убранство и полированные стены. Гоголь полностью предался религиозной службе, проводимой православным священником.

«Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший

литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших „Господи, помилуй!“ и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молится; молиться же, собственно, я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщения меня, недостойного».[520]

Графу А. П. Толстому свои унылые чувства он описывал следующими словами:

«Удостоился говеть и приобщиться св. тайн у самого святого гроба. Все это свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно – не знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность».[521]

Он покинул Гроб Господень в состоянии полной прострации. Чувство ужасного недоразумения отягощало его сердце. Это он, кто прибыл так издалека в Иерусалим, он так и не нашел встречи, которую искал. Он едва передвигался по Масличной роще, за закрытыми стенами которой царили только холод и безмолвие. И несмотря на все усилия над собой, он так и не мог представить себе ни Христа, ни Апостолов в сени этой палевой листвы, которая колыхалась, обдуваемая ветром. Но в какое-то мгновение ему вдруг предвиделось, что он заметил оттиск на камне следа ступни Иисуса, устремленного взлететь в небо, а также дворец Пилата, переделанный в казарму, и домик Вероники. Митрополит подарил ему даже небольшой фрагмент надгробного камня и деревянный обломок двери церкви Воскресения, сгоревшей при пожаре в 1808 г. Эти святыни он принял с притворным чувством радости. Он говорил, он молился, он крестился, но внутри же его самого висело одиночество. Единственные эмоции, которые производили на него впечатление, исходили от местного пейзажа. Он любовался окрестным пейзажом и берегами Мертвого моря.

«Ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровное, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать, горы, внизу виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же

раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору… Не могу описать, как хорошо было это море при захождении солнца. Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая».[522]

По правде говоря, он и не ожидал ничего от своего паломничества. Время уже стерло следы шагов Спасителя на этой каменистой земле и выжгло солнцем. Его истинное существование осталось только в книгах, описавших о том, что он ходил и не по земле, но и по тропам животных. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Оливковая гора, Голгофа, Иордан и другие наименования, которые поражали воображение путешественника перед прибытием, а теперь их чудо развенчано, а глаза запеленал сумрак восточной нищеты.

«Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел *скорбный путь* Спасителя ко кресту, которые все теперь собраны под одну крышу храма, так что и св. гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, и жилище архиерея, к которому он был проводим, и место нахождения животворного креста – все очутилось вместе? Что могут все эти места, которые привыкли мы мерять расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя, если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами? Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Все это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля каменьев да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда? Представь же себе посреди такого опустения Иерусалим, Вифлеем и все восточные города, похожие на беспорядочно сложенные груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь себе посреди такого же опустения у ног Иерусалима долину Иосафатову с несколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом

звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах иерусалимских Страшный день крестной смерти при помраченье всего вокруг и землятрясеньи или Светлый день воскресенья, отблеска которого помрачится все окружающее, и нынешнее и минувшее?… Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции».[523]

Был ли он истинным христианином? Порой ему представлялось, что ясность его была дьявольской. Великий развратитель ступал по его следам. Это был Чичиков, посещавший Христа. Он страстно хотел вернуться назад, так же, как хотел избавиться от затруднительного недоразумения. Но К. Базили по своим делам должен был задержаться еще на несколько дней в Иерусалиме. Гоголь поехал один. По дороге он имел время обдумать свое разочарование. Сознание обиды терзало его до прибытия в Бейрут. Там жена Базили, желая растопить его замороженный вид, хотела познакомить его с элитой местного общества. Но он категорически отказался. Возможно ли было вести светские беседы после столь волнительного момента, который он пережил?

Немного погодя он сел на пароход, направляющийся в Константинополь. Одно лишь письмо от отца Матвея ожидало его в этом городе, в представительстве Российской миссии. Он ответил на него со всем своим чистосердечием.

«Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье – вот весь результат».[524]

Теперь он был уверен, что отец Матвей достоин быть его духовником. Священник меньшей душевной широты никогда бы не проявил такой заботы, как это сделал он, послав Гоголю свое послание в Константинополь. Преисполненный благодарности Гоголь написал графу Толстому:

«Что вам сказать о нем (об о. Матвее)? По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, следствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду входить больше в их силу».[525]

Пароход-фрегат «Херсонес» стоял на рейде Константинополя и должен был вскоре отплыть в Одессу. Гоголь поднялся на судно с таким

чувством, что настоящая Святой землей для него могла быть прежде всего только Россия.

Глава IV
Последнее путешествие

Родина встретила нелюбезно: все пассажиры, прибывшие из Константинополя и сошедшие с парохода, должны были пройти двухнедельный карантин в Одессе. Сквозь двойное заграждение друзья Гоголя с трудом смогли заметить его. Он выглядел бодрым, улыбался из-за ограждений, перебирая в руках четки. После карантина он нанес визит нескольким своим знакомым: княжне В. Н. Репниной, старому А. С. Стурдзе, Л. С. Пушкину, младшему брату поэта, А. А. Трощинскому и только затем вновь отправился в путь. Уехав 7 мая 1848 года, он надеялся отметить 9 мая свои именины в родном доме в Васильевке. Предвкушение того, что он увидит места, где он мечтал о славе, сладко волновало его сердце. Вот уже двадцать лет прошло с тех пор, как он покинул мать и своих сестер, в надежде реализовать в столице свои амбиции. Двадцать лет борьбы, разочарований, бедности и странствий. Двадцать лет, в течение которых он так и не сумел разобраться: то ли приблизили они его, то ли отдалили от цели. Он как степная трава тянулся к ласковому ветру. Его кони неслись веселым аллюром. Ему повезло, и он поспевал вовремя к поздравлениям. Он заранее предупредил близких о своем приезде к этому знаменательному дню. Все должно быть готово – пирожные, цветы, шампанское… Солнце клонилось к закату, когда показался дом родителей. Гоголь приказал кучеру остановиться, спрыгнул на землю и пошел пешком. Он любил пройтись этой тропинкой, которая огибала церковь, и очутиться в чаще деревьев. Некоторые из них выросли до такой степени, что стали неузнаваемы. Другие были уже срублены. Возвращение к старым местам вызывало наплыв ностальгии по старым временам, возвратить которые было уже невозможно. «Ты спрашиваешь меня о впечатлениях, какие произвел во мне вид давно покинутых мест. Было несколько грустно, вот и все».[526]

«Мать ожидала его на пороге. Она, плача, обняла сына. Как он изменился с тех пор, когда она встречалась с ним в последний раз в Москве! Он стал таким худым, таким смуглым, таким важным! Она же, напротив, казалась несколько помолодевшей. Ни одного седого волоса, розовые щеки, округлые черты, живой взгляд, едва заметный пушок на припухлой губе. Гоголь сделал матери комплимент относительно ее

внешнего вида и принялся рассматривать своих сестер, совсем уже взрослых и немного скованных в общении, с провинциальной манерой держаться и ускользающим взглядом. Они поочередно приблизились к нему и поцеловали его в руку. Затем все расположились за столом. На обед были приглашены также несколько соседей. Разговор, однако, клеился плохо. На вопросы, которые задавались ему относительно Иерусалима, путешественник отвечал неохотно и сухо. „В святых местах перебывало так много разных путешественников и в разное время, и так много о них написано, что я ничего не могу сказать вам нового“, – был таков ответ Гоголя».[527]

По единодушному мнению, праздник не удался. Этим же вечером одна из сестер Гоголя, Елизавета, напишет в своем дневнике: «Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам. Как мне это было больно».

И затем дальше:

«10 мая. – Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет, и не сидит с нами. После обеда были гости.

11 мая. – Утром созвали людей из деревни; угощали, пили за здоровье брата. Меня очень тронуло, что они были так рады его видеть. Пели и танцевали во дворе и были все пьяны.

13 мая. – У нас каждый день гости. Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется, однако сегодня больше разговаривал».[528]

Чтобы укрепиться в своем одиночестве, Гоголь устроился в небольшом павильончике, расположенном с правой стороны дома. Комната, которая служила ему рабочим кабинетом, была меблирована одной кроватью, несколькими стульями, там же находилась высокая конторка из грушевого дерева, на котором он по своей привычке писал стоя. Между окнами висело зеркало. На игральном столике лежали горы книг. Гоголь подымался рано, немного работал, затем совершал прогулку по саду и приходил на завтрак, который проходил под уважительные взгляды матери и сестер. После этого он возвращался в салон и там, в кругу семьи, изрекал евангельские истины и рисовал на религиозные сюжеты. Его сестре Ольге было поручено распространять эти изображения среди мужиков, разъясняя им смысл изображенных сцен, и раздавать это им в качестве моральной поддержки. Затем вновь прогулка для содействия пищеварению и размышлениям. И конечно – вечерний чай. После него таинственный брат ретировался в свой павильон, где его ожидали герои второго тома «Мертвых душ». Для того чтобы угодить ему, сестры

готовили его любимые блюда.[529]

«Всякий раз, когда увидит, что я любимое его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он перед обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила; всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится».

«Немного тяготясь затянувшимся пребыванием в этой атмосфере тихого преклонения, Гоголь собрался на несколько дней в Киев, где жил Данилевский. Однако встреча двух друзей была для него разочаровывающей. Стояла сильная жара, и Данилевский к тому же был очень занят. В его честь был устроен вечер встречи с писателем у вице-куратора Киевского университета. Все молодые профессора Киевского университета, облаченные в новые униформы, взволнованно ожидали прибытия автора „Мертвых душ“. Он наконец появился, одетый в пиджак гранатового цвета и в бархатную темно-зеленую жилетку в красных и желтых крапинках, похожую на кожу лягушки. Длинный нос, приглаженные волосы, непроницаемые глаза. Гоголь выслушивал присутствующих и, скучая, покачивал головой. Комплименты, которые застенчиво высказывали ему приглашенные, оставляли его совершенно равнодушным. Он чувствовал себя так же неуютно, как спящий, который попадает под яркий свет, или как неопытный вор, который попался на глаза хозяину дома. Гоголь даже никого не поблагодарил. Ему предложили чай, угощение, но он отказался даже приблизиться к столу. Все собравшиеся находились в стеснительной ситуации и чувствовали себя неловко. Вдруг этот великий человек обратился к Михольскому, одному из присутствовавших преподавателей, глядя ему прямо под нос: „Да, я вас где-то встречал, – утвердительно произнес Гоголь. – Не скажу, чтобы ваша физиономия была мне очень памятна, но тем не менее я вас встречал, – повторил Гоголь. – Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире и вы там ели луковый суп“. Михольский поклонился. Гоголь погрузился в молчание, задумчиво глядя на жилетку Михольского. Вдруг он подал руку хозяину, сделал общий поклон его гостям и направился к выходу. Юзефович не смел его удерживать. Все молчали, глядя, как уходит писатель, странно передвигая, с каким-то едва уловимым оттенком паралича, свои ноги, обтянутые узкими серыми брюками на широких штрипках».[530]

По возвращении в Васильевку Гоголь застал семью в сильной обеспокоенности. Эпидемия холеры свирепствовала в их округе. В деревне

уже умерло пять мужиков. Уже служили молебны. Ужасная жара ниспадала с непреклонно белесого неба. Даже ночи были знойными. Земля иссохла и потрескалась, посевы не всходили, урожай был под угрозой. Страдающие от жажды и тревоги люди и животные медленно передвигались по проклятой светом и зноем земле.

«Пишу тебе больной, едва оправившийся от изнурительного поноса, который в три дня оставил от меня одну тень… писал Голголь Плетневу. – Впрочем, это, слава Богу, еще не холера, а просто понос от нестерпимых жаров, томительнее которых, я думаю, не бывает в самой Африке. Никакого освежения даже по ночам».[531]

И Аксакову:

«Какое убийственно нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух!.. Беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками… Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска еще более оттого, что никакое умственное занятие не идет в голову: даже читать самого легкого чтения не в силах».[532]

Теперь он больше не занимался распространением среди мужиков своих назидательных рисунков, призванных привить им любовь к работе в поле. Гоголь решил нанести им визит, чтобы «наконец увидеть, как они живут». Он отправился с этим намерением в сопровождении своей сестры Ольги. В первой избе, куда они вошли, молодуха предложила им присесть, приготовила им яичницу. Гоголи не посмели отказаться, чтобы не обидеть хозяйку, и попробовали немного. Это гостеприимство, проявленное по отношению к ним, как думал Гоголь, является выражением покорной благодарной признательности, которая должна характеризовать отношения между прилежным слугой и его господином. В нескольких шагах от этой избы была другая, они вошли в нее; и их внимание привлекло то, что там все было чисто и аккуратно. Гоголь поприветствовал хозяина дома и похвалил его, сказав: «Видно, что трудящиеся люди». В третьей избе было, напротив, тускло и грязно. В этой хате Гоголь сказал хозяину: «Надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было». После этого он решил, что наступило время возвращаться и что «трех хат достаточно, чтобы увидеть, как мужики живут», – отметила его сестра с восхищением в своих воспоминаниях.

На следующий день они вместе с сестрой собрались в поле, чтобы понаблюдать за тем, как трудятся крестьяне на сельскохозяйственных работах. Урожай в то время был плохой и хлеб такой низкий, что нельзя

было жать, мужикам и бабам приходилось руками вырывать стебли с корнями. Гоголь слез с коляски, улыбаясь, подошел к жнецам, трудившимся под палящим солнцем, и ободряющим тоном сказал им: «Тяжелее рвать, как жать?» – «Жать легче, а рвать на ладони мозоли понабилися». Мужики показали ему свои черные, в мозолях руки и ответили, что и в самом деле труд их весьма не простой. Гоголь в утешение им добавил: «Трудитеся, чтобы заслужить царство небесное».[533]

Эти впечатления отразились в «Выбранных страницах…», в главе, озаглавленной «Русский помещик». Да, его касалось все: и сельскохозяйственные работы, и крепостничество, и Священное Писание. А целью этого его эксперимента являлось определение будущего для частной собственности и благосостояния для мужика. Гоголь также желал помочь и своей матери, которая не умела рационально распоряжаться своим хозяйством.

Она чуть ли не каждый год влезала в долги, но тем не менее отказывалась изменить что-либо в методах хозяйствования. Он всем сердцем любил ее, однако все-таки устал от ее постоянных сетований. В конце концов он имел другое назначение в своей жизни, нежели только заниматься приведением в порядок бухгалтерии личного хозяйства. То же самое касалось и воспитания сестер: он занимался этим только тогда, когда они были на глазах. А они же, со своей стороны, чувствовали себя неловко, не желая выглядеть перед ним совсем идиотками. Он раздражался из-за их робости и перешептывания между собой. Мелочные разговоры, легкий шелест платьев, провинциальные сплетни, чопорные визиты соседей – все это также раздражало его. Он с ностальгией вспоминал своих московских друзей, думал об оставшемся до конца ему преданном С. П. Шевыреве и о тех, к кому он уже охладел: М. П. Погодине и С. Т. Аксакове. В их среде он находил потребность и вкус к работе. В конце августа он объявил своим родным, что не может более оставаться в Васильевке.

«Все плакали, – вспоминает Елизавета в своем дневнике 22 августа. – Ужасная грусть. Как я его люблю! Хотя и он бывал частенько неприветливым, но я люблю его как отца».[534]

12 сентября 1848 года Гоголь прибыл в Москву и прежде всего направился к С. Т. Аксакову, с которым он по истечении некоторого времени помирился в процессе переписки. Они обнялись, радуясь встрече и позабыв былые обиды. Время размолвки, придирок, эпистолярной дуэли закончилось, и путешественник отправляется в Санкт-Петербург. Там он остановился у Вильегорских, поговорил накоротке с Плетневым, который

передал ему деньги за продажу «Мертвых душ», встретился с несколькими друзьями, среди которых был и Анненков, незадолго до этого приехавший из Франции.

Последний в момент июньских смут 1848 года находился в Париже. Он во всех подробностях рассказал Гоголю об уличных баталиях на баррикадах. Это ужасно, когда в порохе, грязи и крови провозглашается постыдная республика, подумал Гоголь. Вся Европа, пьяная от свободы, разброда, бряцала оружием и размахивала воззваниями. Ах, какую гордость испытал он оттого, что был русским и не имел отношения к этому разложению западных наций!

«В Петербурге я успел увидеть Прокоповича и Анненкова, приехавшего на днях из-за границы. Все, что рассказывает он как очевидец о парижских происшествиях, просто страх: совершенное разложение общества, – пишет он Данилевскому. – Тем более и это безотрадно, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто в силах вынесть страшной тоски этого рокового переходного времени, и почти у всякого ночь и тьма вокруг. А между тем слово „молитва“ до сих пор еще не раздавалось ни на чьих устах».[535]

И Жуковскому:

«Как ни возмутительны совершающиеся вокруг нас события (*повсеместные революционные движения в Западной Европе*), как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; а о прочем позаботится Бог».[536]

Более того, он осудил европейские волнения и советовал европейцам восстановить интеллектуальную жизнь своих стран. Он обратился к профессору Александру Комарову, другу покойного Белинского, с тем, чтобы тот собрал нескольких новых писателей, с которыми Гоголь имел намерение познакомиться. Польщенный Комаров организовал ужин, на который пригласил весь цвет молодой литературной России. В девять часов вечера все были в сборе: массивный и медлительный Гончаров – автор «Простой истории», элегантный журналист Панаев, молодой поэт Некрасов, любезный Григорович, носивший завитые волосы. Его «Деревня» и «Антон Горемыка» вызывали сочувствие к крепостным крестьянам у многих читателей. Среди приглашенных был и критик Дружинин. К десяти часам главное приглашенное лицо еще не появилось, и гости сели к чайному столу без него. Через чуть более получаса Гоголь появился. Сначала так же, как и перед профессорами Киевского

университета, он повел себя со своими молодыми собратьями по перу несколько принужденно. С пренебреженьем отказавшись от предложенного ему чая, Гоголь устроился на диване, расположенном напротив стола. Его окружили со всех сторон. Но он не знал, о чем говорить с присутствующими. Его почитатели также пребывали в почтительном молчании. В один из моментов Гоголь с усилием оживился и заговорил с гостями об их произведениях, «хотя было очень заметно, что не читал». Затем, опасаясь нападков по поводу «Выбранных страниц…», принялся утверждать, что написал их в «болезненном состоянии» и что он сожалеет о том, что опубликовал их. «Он как будто оправдывался перед нами». Комаров предложил взять паузу в беседе, объявив, что ужин уже готов.

К всеобщему удивлению, Гоголь отказался что-либо попробовать. И даже от глоточка вина. «Чем же вас угощать, Николай Васильевич?» – сказал, наконец, в отчаянии хозяин дома. – «Ничем, – отвечал Гоголь, потирая подбородок, – впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги». Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты. Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги. Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой. «Сейчас подадут малагу, – сказал хозяин дома, погодите немного!» – «Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно». Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы. Не знаю, как другим, – мне стало как-то легче дышать после его отъезда. [537]

Без сомнения, покидая своих изумленных собратьев, Гоголь и сам вздохнул более свободно. Как же он мог захотеть сблизиться с этими писателями, которые не имели ничего общего с ним? Его дорога не была их путем. Они не искали ничего, кроме одобрения толпы, его же интересовало только одобрение Бога. Их интересовал вопрос, как преумножить число своих читателей, его – как спасти души. Сколько же из них он провел за эти годы сквозь сплетения сетей и окунул в созидание мира. Наиболее непростой пример тому являла Смирнова, которая все больше и больше ускользала из-под его влияния, занятая карьерой своего мужа. И напротив, совсем юная Анна Вильегорская сблизилась с ним, пленив своей потрясающей доверительностью.

Подле этой молодой девушки, чистой, правдивой, простой и порывистой, он испытывал сложное чувство нежности и господства.

Находил ли он в ней привлекательность ее брата Иосифа, за которым он некогда наблюдал в Риме в его последние дни жизни? Иной раз, глядя на нее, ему казалось, что он видит, как из-под ее прекрасной оболочки проступает любезное его сердцу лицо покойника. Он вспоминал, как иной раз у изголовья больного юноши терялся перед нежностью его вопросительного взгляда. Какую же власть имели все-таки над ним члены семьи Вильегорских! Желание сопровождать этого покорного ребенка пропечаталось на его душе, как на глине, пьяня голову. Порой он пребывал то в сомнениях, то в ностальгии, был озабочен то слабым здоровьем Анны Вильегорской, то переживал из-за присущей ее возрасту идеи – влюбиться. Он советовал ей быть как можно более непривлекательной, чтобы никто не стремился сделать ей предложение. И в то же время перед грацией ее движений он закладывал фундамент своего будущего. Каким же образом проникнуть в ее доверие, чтобы она открывалась никому другому, кроме него?

«Ради Бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать. Старайтесь всеми мерами ложиться спать не позже 11 часов. Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движения, нужного телу, не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы, ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение; видно, черты лица вашего затем уже устроены, чтобы выражать благородство душевное; как скоро же нет у вас этого выражения, вы становитесь дурны. Вы видите, что свет вам ничего не доставил… Сохраняйте простоту дитяти – это лучше всего».[538]

Эти советы Гоголь расточал своей любимой ученице в основном посредством писем. Удивленная строгости нравоучения, она трепетала от восхищения и страха перед этим великим человеком, который снизошел до того, чтобы заниматься ею, к тому же она совершенно ничего не сделала, чтобы заслужить его внимание. Она воспринимала его уверенным в себе, жестким, несчастным, беззащитным, больным, одиноким, эгоистом и излучающим святость человеком. Она его уважала и доверялась. Он для нее был неким существом, воплощающим в себе одновременно и врача, и священника. По его рекомендации она читала религиозные книги: «Историю Церкви», произведения Филарета Рижского. Однажды она выразила пожелание забыть свое европейское воспитание, для того чтобы стать более глубоко православной, русской.

«Русская я не только в моей душе, – утверждала она, – но и через

знание языка и страны». Ее зять граф Соллогуб решил посвятить ее в богатство культуры своего отечества, читая ей лекции по современной литературе. Гоголь немедленно предложил сделать то же. Но, по его разумению, эта манера «русификации» может быть только поверхностной.

«Легче сделаться русскою языком и познаньем России, чем русской *душой.* Теперь в моде слова: *народность и национальность*, но это покуда еще одни крики, которые кружат головы и ослепляют глаза. Что такое значит сделаться *русским* на самом деле?…Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена небесного сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи – в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвертые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Это добрая почва – русская восприимчивая природа. Хорошо возлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть в русском характере. Итак, для того, дабы сделаться русским, нужно обратиться к источнику, прибегнуть к средству, без которого русский не станет русским в значенье высшем этого слова». [539]

Очевидно, что лучший способ для молодой девушки возвысить душу до русской это, – говорил он, – читать то, что написал он сам на эту тему:

«…мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом „Мертвых душ“. После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом».[540]

Родители Анны не беспокоились по поводу этих писем и их общения. Они не подвергали сомнению чистоту намерений Гоголя, но в то же время стали полагать, что его ухаживание за молодой девушкой может, несмотря на разницу в возрасте, дать повод для нежелательных толков. Их отношение к нему стало сдержанным. Они не настаивали больше на продолжении его пребывания. В салоне, за столом, разговор больше не клеился. Анна по настоянию своей матери все время находилась в своей комнате. Гоголь с досадой задавался вопросом, за что же он удостоился такой немилости. Но он не посмел потребовать от них каких-либо объяснений. Раздосадованный, он уехал в Москву.

Там ему еще предстояло решить проблему с жильем. У кого пристроиться, чтобы провести приближающуюся зиму? Не обращаться же к своему старому другу Погодину, которого он в своих письмах осуждал, высмеивал, критиковал его гостеприимство, называя его

«заинтересованным»; Гоголь дошел даже до того, что выбрал его публичной мишенью в главе IV своих «Выбранных страниц…» «…он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего не набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом – выказывал перед читателем себя всего во всем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто?»

Экземпляр «Выбранных страниц…», который он отправил Погодину, был дописан в конце следующим посвящением:

«Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверующему, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек так же грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого».

Погодин вырезал это посвящение и приклеил его на страничку своего личного дневника. После столь сурового осуждения дело казалось решенным, размолвка окончательной. Но все это из уважения к Гоголю осталось в прошлом. Этот дом был самым комфортным для него. Необходимо было туда вернуться. Хотя бы ценой примирения.

Россия любит открывать свои двери, расширять семейный круг, делить свое добро с другими. И для нее одно прегрешение никогда не было окончательным приговором; виновник всегда может искупить свой грех, сердце настроено на здравый смысл, простодушие и милосердие являются парой друг другу. Погодин – «эгоист», «ворчун», но он не был злопамятным. В своих письмах он договорился с Гоголем забыть их размолвку. Гоголь приехал и расположился в тех же комнатах, что и всегда, на первом этаже во флигеле. Но очень скоро неделикатность гостя подействовала на старые раны его хозяина. Определенно неисправимый, Гоголь не вел себя так, как ему следовало бы. Все друзья были его слугами, а их дома – его гостиницей.

«1 ноября. – Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился, только ряса подчас другая. Люди ему нипочем.

2 ноября. – Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?»[541]

Молодой поэт Н. В. Берг, познакомившись с Гоголем на одной из вечеринок у Шевырева, отметил в своих воспоминаниях: «Трудно представить себе более избалованного литератора и с большими

претензиями, чем был в то время Гоголь. Московские друзья Гоголя, точнее сказать – приближенные (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них, во всякий свой приезд в Москву, все, что нужно, для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он больше всего любил; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтоб она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны; отнюдь не делала ему никаких вопросов; не подглядывала (сохрани Бог!) за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями. Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если неравно с ним встретятся и заговорят. Им сообщалось, между прочим, что Гоголь терпеть не может говорить о литературе, в особенности о своих произведениях, а потому никоим образом нельзя обременять его вопросами: „что он теперь пишет?“ – а равно: „куда поедет?“ или: „откуда приехал?“ И этого он также не любил. Да и вообще, мол, подобные вопросы в разговоре с ним не ведут ни к чему: он ответит уклончиво или ничего не ответит. Едет в Малороссию – скажет: в Рим; едет в Рим – скажет: в деревню к такому-то. Стало быть, зачем понапрасну беспокоить!»

И Берг описывает портрет Гоголя, выхваченный из жизни:

«Ходил только один, небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженный в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми и проницательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу». [542]

Обычно в течение этих собраний – полулитературных, полусветских – Гоголь казался малоактивным участником. Он был или неразговорчивым, или же предпочитал говорить банальности, небылицы, настолько очевидные, что его близким становилось неудобно за него. Напротив, в узком кругу он представлялся все больше и больше пророком,

вдохновленным самим Богом. 19 ноября он заказал отслужить молебен в своих комнатах на первом этаже. Запах ладана плыл по всем комнатам. Раздраженный этим проявлением набожности Погодин записал в своем дневнике: «19 ноября. – Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, – неужели для восшествия на престол?

20 ноября. – Гоголь ныне приобщался. Вот почему вчера он служил всенощную».[543]

Через некоторое время Гоголь нанес визит своему духовнику отцу Матвею Константиновскому, находившемуся проездом в Москве. Чувства, которые породила эта их первая встреча, сохранялись Гоголем на протяжении всего его жизненного пути. Чернила и бумага, которые были прежде единственной возможностью их общения до сих пор, вдруг обратились в плоть: в мужчину шестидесяти лет, среднего телосложения, немного сутулого, с бородой и рыжеволосого с проседью, широким носом, маленькими серыми глазами, с манерами и видом крестьянина, несмотря на рясу и блестящий священнический крест.[544] С первых слов Гоголь был обольщен ярким красноречием своего собеседника. Для отца Матвея все, что не было православным вероучением, относилось им к дьявольскому искушению. Необходимо, говорил он, – следовать учению Христа слово в слово, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Искусство в его глазах также было подозрительным явлением. В Ржеве и его окрестностях он преследовал все формы лжеучений. И мужик, и помещик его побаивались. Время от времени он наведывался в Москву, чтобы исповедоваться и выразить свое глубокое восхищение графу Толстому. Гоголь подтвердил священнику, что решил весь свой талант посвятить служению Церкви и что второй том «Мертвых душ» будет гимном России, православию, что он желает быть лучшим, чтобы стать достойным той задачи, которую ему Господь определил на земле. И поцеловал отцу Матвею руку, которой тот его благословил. Отец Матвей пообещал еще приехать вновь.

Когда он уехал, Гоголь вопрошал себя: должен ли он радоваться или ужасаться тому мрачному покровительству, на которое он согласился, чтобы спасти свою душу. В то же время он также встретился с архимандритом Феодором. Гоголь подтвердил перед ним решение, которое он принял, – положить свое искусство на служение Богу. Со своей стороны, архимандрит спросил Гоголя, «чем именно должны закончиться „Мертвые души“. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил,

что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько раз распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. „А прочие спутники Чичикова в „Мертвых душах“? – спросил я Гоголя. – И они тоже воскреснут“? – „Если захотят“, – ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми, и проч., и проч.».[545]

М. П. Погодин сильно страдал оттого, что Гоголь попал в руки священников, и порой говорил ему об этом без всяких обиняков. Атмосфера между двумя друзьями накалилась снова. Пока еще не взорвалась, но была в напряжении, изнуряющем нервы. К тому же занимаемое Гоголем помещение было недостаточно отапливаемым. С наступлением сильных холодов он уже не мог более оставаться на этом месте. К его счастью, граф Толстой предложил ему свое радушное гостеприимство с предоставлением всего желаемого комфорта и образцовой набожной среды. Гоголь ни минуту не колебался. И под Новый год перевез все свои пожитки и бумаги в дом графа. Толстые в то время сняли двухэтажный дом на Никитском бульваре, недалеко от Арбата.[546]

Это было вместительное здание, построенное в стиле ампир, в начале века. Граф и графиня занимали второй этаж. Гоголь обустроился на первом, в двух комнатах, расположенных справа от входа. Одна из этих комнат служила спальней, другая – рабочим кабинетом. В этой последней комнате преобладал зеленый цвет, который всюду бросался в глаза. Зеленый ковер на полу, экран из зеленой тафты перед печью, облицованной фаянсом, зеленой тканью были драпированы два стола, заваленные книгами. Два канапе, выставленные вдоль стен, завершали меблировку этого помещения. В углу комнаты висела освещенная пламенем лампадки поблескивающая икона.

У Толстых, согласно Аксакову, царствовала атмосфера «попов, монахов, ханжества, суеверия и мистицизма». Посты, молитвы, домашнее богослужение каждую субботу, частые визиты священников, чтение духовных книг, обсуждения за столом. Гоголь, пожелавший окунуться в религиозное существование, без сомнения, на себе испытал удушающее и гнетущее воздействие чрезмерного пристрастия к внешнему проявлению веры. Но, по крайней мере, он не имел более материальных забот. Жилье, питание, стирка осуществлялись за счет средств графа. Он наконец уже мог

не думать о проблемах с деньгами. Ничто не отвлекало его отныне: ни управление его авторскими правами, которое осуществлялось Плетневым в Санкт-Петербурге и Шевыревым в Москве, ни исключительно привычное наставление своей матери, ни поддержка фонда оказания помощи студентам. Его мечта реализовалась: он стал великодушным благодаря великодушности других. Тем не менее никогда еще он не чувствовал такого малого настроя к работе. Пораженный интеллектуальным онемением, он зевал перед листом чистой бумаги.

«Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем, – писал он Жуковскому. – Та же недвижность и в моих литературных занятиях».[547]

Странная вещь: в ответ на этот внезапный упадок созидательных способностей произошло явное улучшение состояния здоровья. Он хорошо спал и меньше жаловался на неприятности в желудке. Пожимая ему руку, Аксаков отметил, что его рукопожатие стало более энергичным.

9 мая 1849 года в день своих именин Гоголь организовал, как обычно, обед в саду у Погодина. Но друзья, которые были приглашены им, состояли в ссоре между собой. Тот, кто был когда-то вместе, сегодня находились по разную сторону. С постаревшими лицами и душами, они уже представляли собой карикатуру на самих себя.

«Много воды утекло в эти годы. Он позвал всех, кто только были у него в то время. Люди эти теперь почти все перессорились, стоят на разных сторонах, уже высказались в разных обстоятельствах жизни; многие не выдержали испытания и пали… Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же, по милости вина, обед оживился, то многие перебранились так, как и ожидать нельзя было».[548]

Эта встреча с фантомами его молодости навеяла на Гоголя ощущение быстротечности жизни.

«Время летит так, что не успеешь оглянуться, – и все еще почти ничего не сделано. Меньше, чем когда-либо прежде, я развлечен; более, чем когда-либо, веду жизнь уединенную, и при всем том никогда еще так мало не делал, как теперь».[549]

Он снова задумался: не прибегнуть ли к испытанному методу – к путешествию. Но на этот раз он и не помышлял отправиться за границу. Он хотел обследовать Россию, для того чтобы лучше все рассмотреть, лучше ее понять и изобразить. Проезжая через Москву, А. О. Смирнова представила Гоголю своего единоутробного брата, молодого Льва

Арнольди, и пригласила их обоих собраться в июле в ее владении близ Калуги. После отъезда своей подруги Гоголь был удивлен, что не может больше думать о ней с грустью. Как она постарела! Высохнув и ссутулившись, она сохранила молодость только в блеске своих черных очей. Ее единоутробный брат Лев Арнольди был симпатичным молодым человеком. Проникнувшись уважением к автору «Мертвых душ», он сумел, тем не менее, не досаждать ему неуместными комплиментами или бестактными вопросами. Вместе они стали готовиться к предстоящей поездке. Однажды вечером Арнольди сопроводил своего будущего спутника до дома Толстых, они пересекли Никитский бульвар, прошли мимо блуждающих проституток, выставивших свои округлые бедра и провокационно бросавших на них свои взгляды. Гоголь схватил руку молодого человека и пробормотал:

«Знаете ли, что на днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку в отдаленной части города; из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешаны легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидал страшное зрелище. Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности усердно молились Богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна… На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, – продолжал Гоголь. – Эта комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскрашенные, развратные куклы, это толстая старуха и тут же образа, священник, Евангелие и духовное пение. Не правда ли, что все это очень страшно?»[550]

Это кошмарное видение – это тоже, конечно, Россия. Но Гоголь не говорит об этой России во втором томе «Мертвых душ». Его Россия будет состоять из добродетели, надежды, труда, дисциплины и веры. Гоголь, в отличие от других писателей, был свободен в том, чтобы эксплуатировать тщетность низменных чувств и возвеличивать христианское смирение. Достоевский, например, тоже на свой манер писал в подобном стиле. Но он, к сожалению, был арестован в апреле месяце за участие в политическом

заговоре и заключен с десятками других заговорщиков в Петропавловскую крепость. Комиссия по расследованию изучила дело этих жалких людишек, которые под руководством некого Петрашевского поддались заразе европейских революционеров. Поговаривали, что они будут осуждены на каторгу. Царь усматривал в них духовных преемников декабристов, которых он поверг двадцать пять лет назад. Наверно, он хотел, наказав их, преподнести пример всему опасному духу, который под предлогом свободы помышляет ниспровергнуть имперский режим. И с этой точки зрения Гоголь не мог представить большего. Он пенял на молодых людей, ставших жертвами своих идей, среди которых был и многообещающий писатель Достоевский; но репрессии в стране бывают иногда необходимыми, считал он, для защиты монолитности и благополучия великой русской семьи. Говорили немного об этом деле и в кругах, которые он посещал. Разделенность общества была такова, что жизнь продолжалась для некоторых ежедневно и спокойно, тогда как другие в двух шагах от них познавали тревогу.

В то время как Достоевский томился в своем карцере в Санкт-Петербурге, Гоголь готовился покинуть Москву, изнывающую от жары. 6 июля 1849 года он прибыл к Арнольди с маленьким складным чемоданом в руках и огромным кожаным портфелем, в котором находилась рукопись второго тома «Мертвых душ». «Этот портфель Гоголь не покидал всю дорогу, – вспоминал Арнольди. – На станциях он брал его в комнаты, а в тарантасе ставил всегда подле себя и опирался на него рукой». Тарантас катился быстро с резкими толчками отдачи от дороги. Содрогаясь от каждого толчка, Гоголь, тем не менее, проявил веселый юмор, говорил о литературе, вспоминал своих друзей или рассказывал непристойные анекдоты, которые доводили до слез его попутчиков. Однако уже на подъезде к Малоярославцу приключилась досадная поломка тарантаса. К счастью, в это время мимо них проезжал городничий, который дал распоряжение, чтобы колесо было отремонтировано как можно быстрее. Заметив, что одним из пассажиров был сам Гоголь, он мог бы обидеться за имена всех своих коллег по несчастью в пьесе «Ревизор», и в особенности за фамилию городничего Сквозник-Духановский. Но произошло обратное, он поздравил писателя с тем, что тот метко подметил административные изъяны и неприглядность жизни в удаленной провинции. Приободренный таким пониманием со стороны чиновника, Гоголь досконально расспрашивал его о коллегах, о торговцах, о местных помещиках, выведывая у него самые мельчайшие подробности. Гоголь впился в своего собеседника как пиявка, заглатывая его кровь маленькими глотками,

расспрашивал его обо всем, что его интересовало. Он мог еще часами опорожнять городничего, разговаривая об его делах, но в это время тарантас был отремонтирован и необходимо было вновь отправляться в путь. На следующей станции его любопытство возгорелось с новой силой. Гоголь стал расспрашивать полового и других прислуг трактира, как только что это проделывал с городничим. Его интересовали обитатели здешних мест, их кулинарные пристрастия, их отношения с администрацией, последние скандалы, о которых говорилось в здешней округе, что хорошего и что плохого происходит по соседству. С тетрадью в руке он записывал всю эту информацию с голодным ликованием. Так этап за этапом они добрались до Бегичева, владения Смирновых. Белокаменное здание, парк, пруд и улыбающаяся Александра Осиповна Смирнова. После четырех дней, проведенных в прогулках, семья в полном составе покинула загородное имение и переехала в Калугу. Дом губернатора находился немного вне города, близ соснового леса, на берегу речки Яченка. Гоголь и Арнольди устроились в павильоне дома, где в их распоряжение были отданы две сообщающиеся комнаты.

По утрам Гоголь запирался у себя, чтобы писать, затем он прогуливался по парку и появлялся перед хозяевами ко времени завтрака, одетый в экстравагантные шаровары из китайки и в короткую турецкую голубую жилетку. За столом он охотно разглагольствовал на темы, в которых был совершенно некомпетентен, свысока, вмешиваясь во все темы. Даже когда говорилось об охоте, которой он никогда не занимался, он позволял себе противоречить Смирнову, владельцу своры борзых и гончих, известных во всей России. Заводилась ли речь о сельском хозяйстве, и тут Гоголь, который никогда не утруждал себя заниматься этим делом, претендовал дать советы хозяину дома, владевшему пятью тысячами душ, проживающих на огромной территории в шести губерниях.

«…Говорил свысока, каким-то диктаторским тоном, одни общие места, и не выслушивал опровержений, и вообще показался мне самолюбивым, самонадеянным, гордым и даже неумным человеком. И тогда, и после так же, как и в этот раз, я замечал в Гоголе странную претензию знать все лучше других. Он иногда, правда, расспрашивал специалистов, но расспрашивал их таким образом, что клонил все подробности и объяснения в ту сторону, куда ему хотелось, чтобы набрать еще более подтверждений той мысли или тому понятию, которые он себе составил уже заранее о предметах… Учиться у других он не любил…»[551]

Даже госпожа Смирнова, которая всегда безмерно восхищалась Гоголем, тем не менее отмечала со своей стороны:

«Познакомившись и заинтересовавшись человеком, Гоголь или внимательно слушал его, или обучал иногда самым элементарным истинам или просто вопросам практической жизни. Толкуя их по-своему и придавая им особое значение, он смущал этим людей, а натуры обыденные, любящие говорить свысока самые банальные истины, приводил в негодование. Они не на шутку сердились на расточавшего непрошеные поучения».[552]

По воскресеньям он любил наблюдать за собравшимися за столом – губернатором, высокими сановниками, приглашенными их начальником, совсем напряженными, чопорными, – следя за их разговором. Это давало ему целостное представление об административной иерархии и о прочности российской власти. Сам он по этому поводу облачался во все свежее: черный сюртук, белоснежную рубашку с массивной золотой цепью, свисающей по жилетке.

«…В праздники все должно отличаться от буднишнего: сливки в кофе должны быть особенно густы, обед очень хороший, за обедом должны быть председатели, прокуроры и всякие эдакие важные люди, и самое выражение лиц должно быть особенно торжественно».[553]

Утреннее время он посвящал чтению первой части второго тома «Мертвых душ» А. О. Смирновой и Арнольди. По окончании чтения оба слушателя находились в глубоком потрясении. Однажды Арнольди захотел узнать у автора, почему его персонаж, молодая девушка Уленька, выглядит несколько условной.

«Что-то Уленька кажется мне лицом немного идеальным, бледным, неоконченным… Гоголь немного задумался и прибавил: „Может быть и так. Впрочем, в последующих главах она выйдет у меня рельефнее“.[554]

Гоголь убеждал А. О. Смирнову, что „Мертвые души“ будут для него повеленьем Божьим.

„Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню на что я призван в свет“.[555]

Слушая его, то смиренно, то горделиво наставляющего других тому, чему он и сам должен был научиться, жалующегося на козни соседа от лица тысяч живущих, взывающего к Богу и считающего себя центром мира, выражающего множество гениальных идей и обычную глупость, у Арнольди складывалось впечатление, что он находится перед десятью личностями, собранными в ограниченном пространстве одного.

„…Брат мой сделал замечание, которое поразило тогда своею верностью и меня, и графа Толстого. Он нашел большое сходство между Гоголем и Жан-Жаком Руссо“.[556]

*

Под конец июля Гоголь проявил непоседливость. Узнав, что князь Оболенский возвращается в Москву, он выразил пожелание отправиться с ним. Однажды, уже проехавшись в княжеском „дормезе“, он удостоверился, что нашел надежное место для своего драгоценного кожаного портфеля, в котором хранил свою рукопись. И на этот раз он был спокоен. Позевывая, он лишь дотрагивался до портфеля носком своей туфли. На рассвете они остановились на станции, чтобы выпить чайку. Выходя из кареты, Гоголь захватил свой портфель. Он находился в превосходном расположении духа и был очень голоден. Князь показал ему в станционной книге жалоб достаточно забавную запись незнакомца. Во взоре Гоголя тут же блеснула злая усмешка: „А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?“ – „Право не знаю“, – отвечал я. „А вот я вам расскажу“. И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне все. Его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Я хохотал как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно».[557]

Прибыв в Москву, Гоголь решил, что не может оставаться в городе во время палящей жары. Но какую крышу выбрать теперь? Приютиться у других стало для него таким же естественным, как и писать, навешивая заботы на Анну Вильегорскую:

«За содержание свое и житие не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду и к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки».[558]

Пока еще не устроившись у Вильегорских, Гоголь отправился за город к Шевыреву, затем в Абрамцево, находившееся в шестидесяти верстах от Москвы и являющееся владением Аксаковых. Полуслепой Сергей Тимофеевич Аксаков находился там, чтобы вдали от городского шума продолжить написание своих «Записок ружейного охотника». Вся семья встретила приглашенного с выражением радости и предложила ему устроиться в комнате, которая была специально зарезервирована для него,

просторной и светлой, на втором этаже, окна которой выходили в сад. Работа, прогулки в чаще высоких деревьев, собирание грибов, долгие разговоры при лампе или чтение вслух древних авторов – так быстро проходило время. Гоголь даже поздравил себя с удачно выбранной летней резиденцией. 18 августа Гоголь предложил своим хозяевам прочитать им главу из «Мертвых душ». Полагая, что он будет читать первый том, Константин, старший сын Аксакова, поднялся, чтобы найти этот том в своей библиотеке. Но Гоголь преподнес всем сюрприз: он прочел начало второго тома, чтобы вызвать интерес к этому чтению.

«Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся».[559]

Гоголь вытащил большую тетрадь из своего кармана, все образовали вокруг него круг, и Чичиков пустился в пляс. С первых слов, по выражению Аксакова, все расцвело. Мистические размышления автора не загасили в нем его талант. В ряде мест этой первой главы его воодушевление разыгралось, как и в дни его созидательной молодости. Получив сполна поздравления и поцелуи, Гоголь категорически отказался продолжить чтение, сказав, что пока у него нет ни строчки, и на следующий день укатил в Москву, пообещав вернуться.

И он сдержал свое слово. В начале января 1850 года семья Аксаковых собралась послушать второе прочтение переработанной первой главы. Конечно, на этот раз уже не было прошлого сюрприза, но впечатление было еще лучшим, чем в ее первое представление. Воодушевленный результатом, Гоголь заявил: «Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено – и все выходит другое. Тогда надо печатать, когда все главы будут так отделаны».[560]

Несколько дней спустя он попросил Аксакова прочитать ему одну страницу из его «Записок ружейного охотника». Удивленный таким интересом к своему произведению Аксаков, ничего не подозревая, попросил своего сына Константина сделать это вместо себя. Пока Константин мучился, Гоголь сидел на краю стула, плохо скрывая свое нетерпение. Ему был зачитан лист о главном городе российского округа. Гоголь слушал явно рассеянно. Затем он с загадочным взглядом вытащил из кармана свою тетрадь, и едва Константин закончил, сказал: «Ну, а теперь я вам прочту». И все, конечно, поняли его уловку: Гоголь не столько хотел послушать «Записки ружейного охотника», сколько лучше

подготовить аудиторию к прослушиванию продолжения «Мертвых душ». Аксаков очень им восхищался, чтобы скрыть свое разочарование его мелким плутовством. Вторая глава «Мертвых душ» ему действительно показалась еще лучше первой.

«Раза три я не мог удержаться от слез… Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону – нигде нельзя найти, кроме Гомера… Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе». Приняв поздравления своего старого друга, Гоголь сделал вдохновенное лицо и произнес, как будто бы говорил о другом: «Дай, дай только Бог здоровья и сил! Благо должно произойти из этого, ибо человек не может видеть себя без помощи другого».[561]

Он выразил пожелание прочитать и третью главу, однако силы его иссякли, и он уже совсем потерял голос. Несмотря на воодушевление его друзей, его работа по написанию продолжения продвигалась достаточно медленно. На следующий день после своего триумфа у Аксакова он написал Плетневу:

«Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, – и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы – уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться… Конец делу еще не скоро, то есть разумею конец „Мертвых душ“. Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как *набросаны*; собственно написанных две-три и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведение».[562]

И он также анализирует, что для него означает затягивание процесса созидания:

«Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова

забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее – новые заметки на полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час, – вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина».[563]

Он повторил последнюю фразу для того, чтобы оправдать застой в создании своего произведения. Время от времени он, может быть, и мог бы ссылаться на сложности материальных условий в своей работе. Но в доме графа Толстого, где он обустроился на зиму, все казалось обеспечено ему для спокойного творчества и благословления его души. Набожная атмосфера, приличная кухня, теплые печи, удобный рабочий кабинет, многочисленная прислуга – что еще необходимо для высиживания своих идей? «Здесь, – рассказывал Н. В. Берг, – за Гоголем ухаживали, как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома служил ему в его комнатах собственный его человек, из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смиренный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате, из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно… Когда

писание утомляло или надоедало, Гоголь поднимался наверх, к хозяину, то – надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару».[564]

В это время у него появилась странная идея: не станет ли его произведение еще лучше, если он женится? Поначалу это предположение казалось абсурдным, но он его обдумывал неоднократно, но пришел к выводу, что пока еще оно необоснованно. Любимая супруга, тихий христианский очаг, нежность супружеских привычек – вот что ему недоставало на протяжении всей его жизни для того, чтобы творить свои произведения. Он бросался в дорогу, преодолевал расстояния, пересекал границы, тогда как решение, возможно, заключалось лишь в этом – в нежности лица, освещенного пламенем осени. Ах, он не имел никакого чувственного обоснования для своего внезапно возникшего желания соединить себя брачными узами! Его возраст (сорок один год) вполне позволял ему предаваться отвратительным радостям плоти. Если он и мечтал о возможном сближении с существом противоположного пола, то в этом усматривал исключительно душевную связь. Так же как он некогда проникся симпатией к Иосифу Вильегорскому, он полюбил и его сестру Анну Вильегорскую. Он понимал, что между ним и этой очень молодой девушкой никогда не будет ни малейшей физической близости, ни единого темного пятнышка. В силу того, что он ей писал, наставляя ее в жизни, и он не мог позволить другого отношения с ней кроме как в той роли, которую ему уготовил Бог. Эта связь, которая существовала между ними, была для небес и никак не должна была проявляться на земле. Конечно, маленькая Анна могла бы стать его невестой, конечно, он не имеет достаточно денег, конечно, он не имеет дворянского титула, в то время как Вильегорские относятся к высшей российской аристократии, но ведь счастливое бракосочетание не зиждется на благоразумии человеческих резонов. Решение принимается Всевышним, благодаря недоступным нам мотивам. Встречи же непорочны и бессмысленны, необъяснимы и молниеносны, как и значительные естественные феномены. Гоголь размышлял некоторое время о своем замысле со смешанным чувством счастья и страха, и только лишь потом он решился поведать о нем А. В. Веневитинову, мужу старшей дочери Вильегорских. Последний, зная взгляды родителей жены, их мнение о писателе и его увлечении, проявляемом к их младшей дочери, категорически отказался выполнить эту просьбу, сочтя ее достаточно неуместной и, понимая, что это предложение не может иметь успеха. Чтобы оправдать свой грубый отказ, он сослался именно на то, что и Гоголь сам понимал: это и разница в

возрасте и, особенно, разница в их социальном положении. Гоголю передали, что граф и графиня Вильегорские просили его не наносить им более визитов и прекратить всякую переписку с их дочерью.

Что же должно было произойти, чтобы граф и графиня сказали «да»? Безусловно, обезумев от своей неудачи и утеряв свой шанс, Гоголь порывался выброситься из окна, как Подколесин в «Женитьбе». Но Небо наблюдало за ним. После этого неожиданного отказа он мог со всем спокойствием быть несчастным. Какая жалость! Как могли эти люди, которые принимали его у себя с такой любезностью, захлопнуть двери перед его носом из-за того, что он любит их дочь? Определенно, думал он, кастовые предрассудки имеют большую силу, чем христианский дух в великосветских русских семьях. Пожелав взять Анну в супруги, он переступил дозволенное и стал кающимся грешником. Будет ли она грустить в связи с этим разрывом их отношений. Она еще так молода, так уязвима, так благоговейно повинуется своим родителям! Она его забудет! В полном смятении он направляет ей прощальное письмо, которое, как он считает, прояснит и отразит крайнюю запутанность его чувств:

«Мне казалось необходимым написать вам, хотя бы часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил Бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать Богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое *очень важное* взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей

деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! Я бы к вам приехал также. Мы бы все вместе принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмысленная жизнь на дачах. А если бы при этом каждый помолился покрепче богу о том, чтобы помог ему исполнить долг свой – мы бы, верно, все стали через несколько времени в такие отношенья друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека, от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорченья хотело бы выговорить оскорбленное сердце».[565]

Глубоко задетый этой размолвкой с семьей Вильегорских, Гоголь находился в упадке сил, когда узнал 11 мая о смерти госпожи Шереметевой. Больше всего его потрясло в этой потере то, что старая дама, которая жила с постоянной мыслью о своей скорой кончине, однажды неожиданно пришла его навестить, и не застав его дома, она засобиралась уходить, сказав его домочадцам три слова:

«Скажите Николаю Васильевичу, что я приехала с ним проститься», – поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил перед смертью страданья. «Ее смерть, сказал Гоголь, – оставляет большой пробел в моей жизни».[566]

Удар за ударом: два существа – одна очень молодая, другая очень старая – удалились от него навсегда. Почему Бог нанес ему двойной удар? Если он преуспел в творческом плане, то явно проиграл в своей личной жизни. Господь, к которому он взывал, прося содействия в осуществлении своего труда, больше не помогал ему находить нужные слова. В своем душевном разладе он искал себе заступника перед Всевышним. И такового он видел в лице отца Матвея, который, однако, неприязненно относился ко всем видам литературного творчества. Вместо того, чтобы избавиться от этого полуфанатика, которому поэзия представлялась ловушкой бесов, Гоголь униженно старался привлечь его на свою сторону. Ему казалось, что если он сумеет убедить отца Матвея, то источники вдохновения,

застывшие чудесным образом, снова хлынут на его голову.

«Никогда еще не чувствовал так бессилия своего и немощи. Так много есть, о чем сказать, а примешься за перо, – не подымается. Жду как манны орошающего освежения свыше. Видит Бог, ничего бы не хотелось сказать. Кроме того, что служит к прославлению Его святого имени. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире и играющей жизнью, как игрушкою, что жизнь не шутка. И все, кажется, обдумано и готово, но перо не подымается. Нужной свежести для работы нет, и (не скрою перед вами) это бывает предметом тайных страданий, чем-то вроде креста. Впрочем, может быть, все это происходит от изнуренья телесного. Силы физические мои ослабели. Я всю зиму был болен. Не уживается с нашим холодным климатом мой холоднокровный, несогревающийся темперамент. Ему нужен Юг».[567]

Его снова обуревают планы совершить путешествие: сначала в Васильевку, затем в Одессу, Грецию, возможно в Константинополь. Что касается российской части своего турне, то он надеется, что наиболее разумным будет следовать по второстепенным дорогам, останавливаясь в монастырях, и заодно получше познакомиться со страной. Филолог и этнограф Максимович согласился его сопровождать. Они выехали 13 июня 1850 года, позавтракав у Аксаковых. Гоголь заказал себе меню, написав предварительно записку:

«Мы с Максимовичем заедем к вам по дороге, то есть перед самым отъездом часу во втором, стало быть во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем».[568]

После остановок в Подольске, Малоярославце, в Калуге у госпожи Смирновой, путешественники добрались 19 июня в знаменитую Оптину пустынь.

Растроганный приближением к святому месту, Гоголь слез с коляски и вместе с Максимовичем остаток пути прошел пешком. На дороге они встретили девчушку с мисочкой земляники и хотели купить у нее эти ягоды; но девочка, видя, что они люди странствующие, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, сказав, что «как можно брать с странних людей деньги?» – «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – заметил Гоголь, умиленный этим, конечно, редким явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».[569]

Монастырь с его белыми стенами, с часовнями в позолоченных куполах стоял на краю леса. Вокруг простирались луга, усеянные цветами,

речушка, перезвон колоколов, – все это представлялось игрушечным царством. С первых шагов у вновь прибывших складывалось впечатление, что заботы мирской жизни спадали с плеч и что время перестало течь. На некотором расстоянии от основного здания расположились затерявшиеся среди деревьев кельи старцев, мудрых из мудрых, рядом с которыми тоскующие души находили и совет, и утешение. Наиболее примечательным из всех этих исключительных личностей был старец Макарий, благородного происхождения, исключительно образованный, источающий смирение, терпение и кротость. День и ночь от небольшого лесного поселения до изгороди, украшенной иконами, словно дым, воспарялись молитвы. Посетитель, даже самый очерствевший, должен был признать, что над этим местом царило умиротворение. Как если бы силой разумения дух доминировал над материальной сущностью. От общения с некоторыми из постояльцев Гоголь испытал ощущение, что они находятся между небом и землей.

«Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше[570]».

И в тот же вечер, после посещения Оптиной пустыни, он сказал себе, что, если монашеская братия согласится помолиться за него, их соборные молитвы будут достаточны для того, чтобы быть услышанными Им. Даже в самом безутешном случае, каковой был у него, необходимо мобилизовать все набожные души, которые бы, подняв сильный шум, смогут *раздуть* волну молитвы.

Устроившись в имении своего друга славянофила И. В. Кириевского в Долбине, недалеко от монастыря, он написал отцу Филарету, иеромонаху Оптиной пустыни:

«Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше.

Говорю вам об этом неложно. Покажите эту записку мою отцу игумену и умолите его вознести свою мольбу обо мне, грешном. Чтобы удостоил Бог меня, недостойного, поведать славу имени Его. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу, и на всяком месте своего странствования быть в Оптиной пустыни».[571]

Позже, меньше чем через две недели, Гоголь доберется до Васильевки и напишет 18 июля другому монаху Оптиной пустыни Петру Григорову (иеромонаху Порфирию), вложив десять рублей серебром, «на молебствие о благополучном моем путешествии и о благополучном окончании сочинения моего, на истинную пользу другим и на спасение собственной души моей».

Дома он возобновил свой обычный уклад жизни: работа и отдых. Он писал по утрам, рисовал, занимался садом, читал религиозные книги, мечтал, купался, просил свою сестру Ольгу сыграть ему на пианино украинские песни. В один из дней он собрал в своей комнате нищенствующих странников и с восторгом послушал народные напевы. Россия, которую он раскрывал для себя с запозданием, становилась все ближе и ближе его сердцу. Он видел в ней противоположность ревнивой любви Бога.

«…Да и вообще Россия все мне становится все ближе и ближе; кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней вредоносно для моего здоровья».[572]

Поскольку осень уже была не за горами, он начал подумывать о своих планах по отъезду в теплые края. По совету госпожи Смирновой он даже написал письмо шефу жандармов, графу Орлову, о том, чтобы ходатайствовать одновременно о паспорте и о деньгах. Его здоровье и в большей степени его работа требуют, писал он, того, чтобы провести зимние месяцы в одной из южных стран. Эта работа будет значимой для России, поскольку речь идет о продолжении «Мертвых душ», в которых «выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной свой природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных».

«О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности, – продолжал Гоголь. – Поэтому мне кажется, что я имею некоторое право поберечь себя и позаботиться о своем самосохранении. Принужденный поневоле наблюдать за своим здоровьем, я уже заметил, что тот год для меня лучше, когда лето случалось провести

на Севере, а зиму на Юге. Летнее путешествие по России мне необходимо потому, что на многое следует взглянуть лично и собственными глазами. Зимнее пребывание в некотором отдалении от России, на Юге, тоже необходимо (не говоря уже о потребности для здоровья). Писателю бывает необходимо временное отдаление от предмета, который он видел вблизи, затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза. Присоветуйте, придумайте, как поступить мне, чтобы получить беспошлинный паспорт и некоторые средства для проезда. Состоянья у меня нет никого, жалованья не получаю ниоткуда, небольшой пенсион, пожалованный мне великодушным государем на время пребывания моего за границей для излечения, прекратился по моем возвращении в Россию… Если необыкновенность просьбы моей затруднит вас дать совет мне, тогда поступите так, как, может быть, и без меня научит вас благородное сердце. Представьте это письмо, прямо как оно есть, на суд его императорского величества. Что угодно будет Богу внушить его монаршей воле, то, верно, будет самое законное решение».

Чтобы закончить убеждение своего именитого корреспондента, Гоголь к аргументам, касающимся необходимости завершения второго тома «Мертвых душ», привел еще один – свое намерение написать географию России, «выразительную и живую», предназначенную для обучения детей с юного возраста, которая бы могла продемонстрировать им красоту земли русской и «основные качества русского народа».[573]

То же самое он написал наследнику престола и графу Олсуфьеву, однако так и неизвестно, дошли ли эти письма до адресатов. Во всяком случае, он не получил никакой субсидии и никакого паспорта, о которых ходатайствовал. Ему ничего не оставалось, кроме как согласиться поехать в южные провинции России. И он решил провести зиму в Одессе. Где-то к середине октября он отправился в дорогу.

Нескончаемое путешествие, под изнуряющим водопадом неба.

«С большим трудом добрался я, или, лучше сказать, доплыл до Одессы. Проливной дождь сопровождал меня всю дорогу. Дорога невыносимая. Ровно неделю я тащился, придерживая одной рукой разбухнувшие дверцы коляски, а другой расстегиваемый ветром плащ. Климат здешний, как я вижу, суров и с непривычки кажется суровей московского».[574]

Немного спустя после его прибытия погода установилась. Прямые улицы, широкие бульвары, засаженные деревьями, порт, бурлящий людьми, солнце, голубое море примирили его с Одессой. Вопрос с

квартированием как всегда решался по его усмотрению. Можно было подумать, что во всех городах на земле возникал, как по волшебству, дом, готовый его встретить. На этот раз он устроился на проживание у своих дальних родственников Трощинских, дом которых располагался за Сабанеевым мостом. Самих хозяев в это время в Одессе не было. Таким образом, он жил один в павильоне, который был отведен в его распоряжение. Для того чтобы прокормиться, он ежедневно ездил к князю Репнину. Князь также с щедрой любезностью отвел ему рабочий кабинет, где стоял высокий пюпитр для работы стоя. Другим удобством было то, что старая княгиня Репнина (мать князя) имела домовую часовню, в которой Гоголь любил присутствовать на службе. Домочадцы говорили меж собой, что он молится «как маленький мужик», кладет земные поклоны и, выпрямляясь, «встряхивает своими волосами». Он всегда носил темно-каштановый пиджак и однотонную жилетку с цветными разводами. Шею он заматывал, выходя на улицу, ярким шарфом или платком из черного шелка, концы которого он прикалывал булавкой крестом на груди. Осенью он носил элегантное марроновое пальто с бархатным воротником, а в сильные холода он укутывался в шубу из выдры. Высокий цилиндр и черные перчатки довершали его манеру одеваться.

Один из студентов лицея Ришелье, встретив Гоголя в первый раз, так описал его внешний вид: «…худой, бледный, с длинным, выдающимся и острым, словно птичьим, носом, Гоголь своею оригинальною наружностью, эксцентрическими манерами производил весьма странное впечатление какого-то „буки“».[575]

Среди своих одесских друзей Гоголь виделся в основном с Репниными, А. С. Стурдзой, реакционным пиетистом, братом поэта, Львом Пушкиным, с симпатичным, легкомысленным кутилой, офицером, князем Гагариным, с братьями Орлаями, с Титовыми, Тройницким и другими.

Гоголь, конечно же, был связан с актерами местной театральной труппы, которая приглашала его отобедать во французский ресторан к Сезару Антуану, иногда посещаемый Пушкиным. В каждый его визит хозяин ресторана толстяк Сезар Антуан, носивший белый колпак на голове, старался непременно угостить его изысканными блюдами, но Гоголь неизменно заказывал свое собственное меню – крепкое, простое, в основе которого было мясо. Перед едой он выпивал рюмочку водки, во время еды бокал хереса, после еды немного шампанского. Затем актеры просили его приготовить пунш по его рецепту. Гоголь священнодействовал с выражением чародея, склонившись над голубым пламенем спирта. Беседа оживлялась. Согретый атмосферой небольшой труппы, Гоголь позволял

себе иногда пойти на откровенность. И хотя он отказывался говорить о современной литературе, он соглашался признать, что некто Иван Тургенев, автор нескольких рассказов, опубликованных в «Современнике», имеет многообещающий талант. Он давал советы по оживлению текста, особенно комедийным исполнителям. Впечатленные его компетентным мнением, они просили его прочесть им перевод на русский язык отрывков из «Школы женщин» Мольера, репетиция постановки пьесы которой должна была начаться вскоре. Гоголь проделывал это с таким остроумием и простотой, что даже те, кто считал, что уже проникся в свою роль, вдруг находили для себя возможности ее углубления. «Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство это было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого в театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и хотя порою, особенно в больших монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя, и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров».[576]

Уступая просьбам актеров, он соглашался присутствовать на репетициях пьесы. Там он также критиковал, советовал, умышленно куражился. Однако всегда отказывался приходить на ее премьеру. Сказывалась его извечная боязнь толпы!

Если он умел выглядеть бриллиантом среди комедиантов, то на глазах публики почти всегда был насупленным. Его оцепенелый вид и банальность, иногда даже вздор того, о чем он говорил, сокрушали впечатление о нем. Так, беседуя после обеда на тему о недавних открытиях в области науки, он выразил сожаление по поводу использования масляных ламп. Одной из его одесских поклонниц, которая только проронила несколько слов: «А сколько нововведений на моей памяти! Шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип».

Гоголь заявил: «И на что все это надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!»

Я: «Я рада была стеарину, чтоб не снимать со свечи, из лени».

Он: «Да».

Опрашиваемый той же дамой о его вкусах в области искусства, он заявил:

«Я прежде любил краски, когда очень молод был».

Я: «Да, вы могли быть живописцем. А прежде что любили?»

Гоголь: «А прежде, маленьким, еще карты».

Я: «Это значит – деятельность духа».

Гоголь: «Какая деятельность духа! Пол-России только и делает. Это – бездействие духа».

М-м Гойер выехала с вопросом: «Скоро ли выйдет окончание „Мертвых душ“?

Гоголь: „Я думаю, – через год“.

Она: „Так они не сожжены?“

Он: „Да-а-а… Ведь это только нача-а-ло было…“ Он был сонный в этот день от русского обеда».[577]

Однако причиной этой сонливости было вовсе не пищеварение. Даже на пустой желудок все чаще и чаще казалось, что Гоголь пребывал не в духе.

Какой-то туман заполонял его мозг и окрашивал все серыми тонами. Туман враждебности, скудости и нерадения. Повернуть голову налево и направо. Для чего все это делать? Его воодушевление упало до нуля. Творчество не доставляло ему больше свободы, а одни обязанности – последствие взятых некогда обязательств перед Богом. Со временем он должен был отдать свою работу тому, кто ее ожидал. С остервенением он перечеркивал написанные страницы. Главы все прибавлялись, одна за другой. С точки зрения количества у него не было основания сетовать на себя. Но вот качество? Нестерпимое сомнение раздирает его сердце. Немного погодя он вновь расправляет грудь: его страхи оказались пустыми; Бог за руку подводит его к бумаге, он даст России шедевр, который она ждет от него.

«Милосердный Бог меня еще хранит, силы еще не слабеют, несмотря на слабость здоровья; работа идет с прежним постоянством, и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанью. Что ж делать? Покуда человек молод, он – поэт, даже и тогда, когда не писатель; когда же он созреет, он должен вспомнить, что он – человек, даже и тогда, когда писатель… А что человеку, его значенье высоко: ему определено стать выше ангела небесного, любовью пострадавшего за нас Христа. Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображенье подталкивает его беспрерывно. Он творит, строит очаровательные воздушные в себе замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть покуда в немногих избранных и лучших, тут воображенье

немного подвигнет писателя; нужно добывать с боя всякую черту».[578]

И живописцу Иванову:

«Хорошо бы было, если бы и ваша картина („Явление Христа народу“), и моя поэма явились вместе».[579]

А госпоже Смирновой:

«О себе скажу, что бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное создание и в слове то же, что и в живописи, то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нарушается ли нестройным криком всеобщего согласия. Зима здесь в этом году особенно благоприятна. Временами солнце глянет так радостно, так по-южному! Так вдруг и напомнится кусочек Ниццы».[580]

Весной он решил вернуться в Васильевку, чтобы там с семьей отпраздновать Пасху. Перед отъездом друзья предложили ему прощальный обед у Сезара Антуана, а другие повели в ресторан Маттео. Выпили шампанского за здоровье писателя и успешное довершение его произведения. Это шумное отдание дани уважения не повлияло на его настроение. Он отправился в путь 27 марта 1851 года, сожалея, как если бы какая-то сверхъестественная сила противодействовала ему покидать этот город.

*

Первое время пребывания в Васильевке было скрашено присутствием А. Данилевского и его жены, ожидавшей в скором времени ребенка. Приглашенные гости гостевали в том же флигеле, что и Гоголь, с правой стороны дома. В одну из ночей он был разбужен ужасным криком. Это был душераздирающий крик госпожи Данилевской, которая произвела на свет мальчика. Как и следовало ожидать, его назвали Николаем. Крестины состоялись в деревенской церкви. Во время этого таинства хмельной священник с трудом произносил слова молитв. Смущенная Мария Ивановна прошептала своему сыну:

«Николенька, можно ли допустить, чтобы священник совершал таинство в таком виде?» – Гоголь, ласково смеясь, ответил на это:

«Маменька, странно было бы требовать, чтобы священник был трезв в воскресенье. Надо это извинить ему».

После отъезда Данилевского он вновь впал в тяжелую депрессию. К тому же он стал немного туг на ухо. Он постоянно тяжело вздыхал и разговаривал сам с собой: «Нет, все это абсурд! Все это никуда не годится!» Окружение его разочаровывало. Следуя его советам, мать и сестры вынуждены были вести идеально христианский образ жизни. Однако в Васильевке это был глас вопиющего в пустыне. Его выслушивали уважительно, с ним вежливо соглашались, но стоило ему отвернуться, как тут же все возвращалось на круги своя. Мария Ивановна продолжала жаловаться по всякому поводу, игнорировала управление хозяйством, занимала деньги у соседей и не могла представить себе, как же она сможет вернуть им свои долги. У ее дочерей в головах были только побрякушки и капризы. Они шушукались, спорили, мечтали о туалетах, о «свиданиях», осаждали торговцев, проезжающих на своих двуколках, нагруженных «замечательными тканями почти задаром». Гоголь пытался заинтересовать их полезной работой, такой, как садоводство или ткачество ковров. Он даже изготовил рисунки для освоения этой профессии. Он попросил сестер записывать для него украинские песни, которые они слышали в исполнении крестьян. Они записали в его тетрадь двести двадцать восемь песен. Это было единственное совместное творчество, которое они совершили вместе с братом, отмечал Кулиш.

Светлое время дня Гоголь проводил в своем рабочем кабинете перед пюпитром, под изображением святого лика Спасителя, которое он привез из Италии. Мухи, одуревшие от жары, с надоедливым гудением влетали через открытое окно. Приторный аромат сада обаял его ноздри. Он чувствовал себя бодро, но фразы плохо выходили из-под его пера. В растерянности он черкал поля рукописи, изображая церковные колокола. Иногда, напротив, волна идей как будто подхватывала его и он мог одним махом написать несколько страниц. В такие минуты он выглядел за семейным столом повеселевшим. Он улыбался своим сестрам и ласково разговаривал с матерью. Но даже в такие моменты он выглядел несколько отсутствующим. Все больше и больше он отдалялся от материальных проблем. Среди четырех женщин, занятых своими каждодневными заботами, он предавался безмятежности апостола, занимаясь единственно только главным. «Часто, – рассказывала Ольга Васильевна, – приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями; когда ему не писалось, он обыкновенно царапал пером различные фигуры, но чаще всего – какие-то церкви и колокольни. Прежде, бывало, приезжая в

деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясень, берест; часто он изменял расписание рабочего времени для крепостных, пробовал их пищу, помогал им устраивать свое хозяйство, давая им советы. А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и, когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы».[581]

Нет, только не в Васильевке он мог найти себе прибежище. Оставаться там на все лето было свыше его сил. Он любил только тех женщин, которые соглашались быть его ученицами в религиозных вопросах. Ни его мать, ни сестры не были, по его мнению, по-настоящему набожными. Ах, как он сожалел о сладостной податливости Анны Вильегорской! Он несколько раз порывался уехать, но мать вся в слезах умоляла его отложить отъезд. «Останься еще! Бог знает, когда увидимся!»[582]

И, наконец, 22 мая 1851 года, он набрался смелости упаковать чемоданы. Мать и младшая сестра сопроводили его до Полтавы. Там они остановились у его друга Скалона.

Пока они занимались багажом, отправленным из Васильевки срочным курьером, им пришло три письма: первое от некого Владимира Ивановича Быкова, саперного капитана, который просил руки Елизаветы, второе от Елизаветы, подтверждавшей свою радость по поводу этого предложения, и третье от Анны, которая давала согласие своей сестре. Со всей очевидностью, о внимании Быкова молодые девушки знали давно, но хранили эту тайну в секрете от брата, пока тот находился в Васильевке, опасаясь, что он будет против. Возможно, сама Мария Ивановна, которая перед сыном продемонстрировала, что эта новость была для нее большим сюрпризом, была в курсе событий относительно закулисных приготовлений к бракосочетанию. Как же остерегались его в семье! Врагом веселья – вот кем он был для своих близких. Конечно же, он не мог помешать сестре выйти замуж. Тем более что Елизавете к этому времени исполнилось двадцать восемь лет. Но этот капитан, не увезет ли он ее с собой в походную жизнь? Вояка, без будущего, без надежд! Какая необходимость вынуждает всех этих женщин бросаться в руки подобного мужчины? Две сестры, каждая за свое, заслуживали его взбучки. Сначала Анна, поддержавшая Елизавету. Гоголь в гневе пишет ей:

«…не знаю, правы ли были вы вместе с сестрой, уладивши это дело в секрете, без предварительного совещанья с матерью или хоть даже и со

мною. Уверенность в благоразумии своих поступков вредит нам много даже и в малых вещах, а дело нынешнее очень важно, так что признаюсь, я и не могу понять, отчего ты предалась такому восторгу. Я здесь не вижу, чему еще радоваться: ни он, ни она не имеют ничего. Конечно, бедность еще бы не беда, если бы сестра моя Елисавета была приучена к деятельной, трудолюбивой жизни, если бы она умела терпеть, переносить, если бы наконец имела ту безоблачную, ясную ровность характера, с которою человек счастлив везде, куда бы его ни бросала судьба, но при неименьи этого… что ни говори – страшно. Конечно, я могу утешаться тем, что ни в счастьи, ни в несчастьи сестры я не виноват: совета моего не спрашивали, но, тем не менее, сердце мое болит, я не могу предаться радости, не видя залогов будущего счастья. Он всем нам мало известен. В два-три раза, которые я его видел, я могу только сказать, что не заметил в нем ничего дурного; вы не судьи: какой же жених не будет стараться показаться своей хорошей стороной тем, у которых заискивает? – Итак, в будущем покуда потьма и неизвестность!.. отправляйтесь пешком теперь же в Диканьку испросить, вымолить у Бога, чтобы супружество это было счастливо. Чтобы во всю дорогу на устах ваших была одна молитва и никаких пустых речей или спора, чтобы только одно стремленье к Богу было в сердцах ваших».[583]

Другое письмо было предназначено главной заинтересованной участнице, Елизавете:

«Шаг твой страшен: он ведет тебя либо к счастью, либо в пропасть. Впереди все неизвестно; известно только то, что половина несчастья от нас самих. Молись, отправься пешком к Николаю Чудотворцу, припади к стопам угодника, моли его о предстательстве, сама взывай ото всех сил ко Христу, Спасителю нашему, чтобы супружество это, замышленное без совещания с матерью, без помышленья о будущем и о всей важности такого поступка, было счастливо. Одна мысль о том, как тебе трудно сделаться хорошей женой, которая вся должна быть одно послушанье и небесная кротость, вводит страх неизъяснимый в мою душу, особенно когда помыслю о том, что тебе даже неизвестна эта добродетель, что ты не слушала меня ни в чем, что я тебе советовал для твоей же пользы, и что в то время, когда сестры твои по мере сил старались исполнить хотя десятую долю моих советов, тебя никакими убежденьями и просьбами нельзя было заставить даже попробовать своих сил».[584]

Несколько недель спустя он сочтет своим долгом указать Быкову, своему будущему зятю, как себя вести в семейном положении:

«В письме своем к моей матушке пишете вы, что узнали нужду и уже привыкли к неприхотливой жизни. Ради Бога, не оставляйте такой жизни никогда, но, напротив, полюбите более, чем когда-либо прежде, бедность и поведите жену свою таким же образом с первых же дней замужества. Ковать железо нужно, покуда горячо: жена в первый год замужества – гибкий воск, с которым можно сделать все. Пропустите – будет поздно! Счастлив тот, кто с первых же дней после бракосочетания установит у себя в доме правильное распределение времени и часов и для себя, и для жены, так, чтобы и минуты не оставалось пропадающей даром, и чтобы таким образом ко времени, когда им сходиться друг с другом, накопилось бы у обоих о чем пересказать другому, и предмет для разговора никогда бы не истощевался».[585]

Наверное, этот военный и без него сумел бы приручить Елизавету, как она того заслуживала? Эта мысль примирила окончательно Гоголя с фактом замужества сестры. Он упросил мать и сестру, которые возвращались в Васильевку, отпустить его съездить в Москву. Опять были слезы, объятия, благословения до самой двери. Он спешил убежать из этой сентиментальной трясины. Свою настоящую семью он не отпускал от себя никогда, он хранил ее у себя в портфеле.

Глава VII
Конец «Мертвых душ»

Сразу по приезде в Москву Гоголь получил письмо от Елизаветы, в котором она приглашала его на свою свадьбу, намеченную на конец сентября – начало октября, и просила купить для нее экипаж типа coach, то есть с запряжкой четверкой или шестеркой лошадей: он ей очень нужен, – писала она, – чтобы сопровождать мужа, которому приходится много ездить. Эта просьба изумила Гоголя – она показалась ему чрезмерной. Ему представилась карета из волшебных сказок. Как сестра осмеливается давать ему такое поручение, не подумав о расходах?

«Но войди в мое положение, – написал он Елизавете в сердцах, – говорю тебе, что если я умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня, вот какого рода мои обстоятельства… Видно, Богу угодно, чтобы мы оставались в бедности. Да и признаюсь, полная бедность гораздо лучше средственного состояния. В средственном состоянии приходят на ум всякие замарашки свыше состояния: и кочь-карета, и досада на то, что не в силах ее сделать, и мало ли чего на каждом шагу. А когда беден, тогда говоришь: „я этого не могу“ – и спокоен. Милая сестра моя, люби бедность. Тайна великая скрыта в этом слове. Кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат».[586]

Что же до свадьбы, то он советовал отметить ее скромно, в узком кругу, чтобы избежать больших расходов. О приданом нечего и думать. Елизавета, как будущая жена офицера, не должна интересоваться нарядами, обязана, по возможности, урезать свой багаж и должна быть готова жить где угодно. «Я видел и графинь, выходивших замуж за военных и у которых, кроме узелка и небольшой шкутулки, ничего не было», – утверждал он в своем письме. Сестра не получит от него ни копейки.

Но в тот же день, когда он отправил ей это суровое поучение относительно необходимости экономить на всем, он выслал двадцать пять рублей серебром[587] архимандриту Оптиной пустыни, с просьбой использовать их на благоустройство святых келий монахов. «Усердно прошу молитв ваших о мне грешном»![588] Лучше уж направить деньги на богоугодное дело, чем потратить их на экипаж. Четыре колеса не могут унести тебя так далеко, как молитвы.

В Москве стояла изнуряющая жара, было пыльно. Все, кто мог, уезжали из города в деревню в поисках прохлады и свежего воздуха. Гоголь принял приглашение А. О. Смирновой приехать в ее подмосковное имение Спасское, расположенное в семидесяти верстах от города на берегу Москвы-реки. Барский дом с прозрачными, свежевымытыми окнами, с легкою колоннадой стоял на вершине горы; два флигеля соединялись с домом галереей, терраса была украшена статуями из мрамора – все это напоминало небольшой дворец. Справа расстилался сад, разбитый во французском стиле, с боскетами и партерами правильной геометрической формы; слева – пейзажный английский сад с живописной композицией, наподобие естественного ландшафта, с ручьями, гротами и искусственными руинами; а дальше тянулись поля, засеянные зерновыми, деревушки – тихий и скромный мир трудолюбивых крестьян. На этом счастливом фоне Гоголя ожидала А. О. Смирнова, похожая на тень: постаревшая, костлявая, с пожелтевшим лицом, испуганным взглядом – она казалась не совсем здоровой: нервы – бессонница, волнения. «Ну, я опять вожусь с нервами!» – «Что делать! – отвечал Гоголь. – Я сам с нервами вожусь».

Она ему рассказала о серьезных неприятностях, которые пережил ее муж, о сплетнях, которые ходили на его счет, о том, как ему пришлось явиться в сенатскую комиссию по расследованию деятельности местного государственного аппарата, о том, что ему пришлось недавно подать в отставку с должности губернатора Калужской губернии. Гоголь делал вид, что сочувствует стольким невзгодам, но в глубине души думал, что его собственные мучения достойны не меньшего интереса. А. О. Смирнова выделила ему две комнатки во флигеле (в одной он спал, в другой работал). Прислуживали ему крепостные, но умывался и одевался он сам, без их помощи. Вставал он на рассвете и шел с молитвенником в руках в английский сад. После прогулки пил кофе и работал до одиннадцати часов, стоя у небольшого пюпитра, к которому пришлось подложить доски, чтобы сделать его повыше. Когда А. О. Смирнова навещала его, он покрывал свою рукопись платком, чтобы она случайно не подглядела, поскольку не любил показывать текст до окончательной его отделки.

Ежедневно пытался ее наставлять, читая житие святого на этот день из Четьи минеи. После обеда они ездили кататься в ее коляске, неспешно, в сосновую или еловую рощу, уныло обмениваясь воспоминаниями о Пушкине, о Риме, о Ницце… Такое великолепие осталось позади; после такой блестящей жизни можно ли еще надеяться на капельку счастья в будущем? А. О. Смирнова на это не рассчитывала. А Гоголь, хоть и спорил

с ней, в глубине души тоже ни на что не надеялся. Иногда, устав от жары, он велел остановить коляску у реки напротив купальни. Войдя в воду, он уморительно плясал в воде и делал разные гимнастические упражнения, находя это полезным для здоровья. После прогулок любил смотреть, как на закате загоняют скот в туче пыли, что напоминало ему родную Украину. Все чаще и чаще он бывал полностью погружен в себя. А. О. Смирнова иногда заставала его на диване, где он лежал, ничего не замечая вокруг, а на коленях лежали Четьи минеи: «Николай Васильевич, что вы тут делаете?» Как будто проснулся. «Ничего. Житие (в июле) такого-то». Что-то приятное: молился он, что ли, – в экстазе. Чуть ли не Косьме и Дамиану…[589]

Однажды вечером он предложил ей прочесть несколько глав из второго тома «Мертвых душ». Она так устала, что отказалась. Он немного обиделся, но поборол свое дурное настроение. Сидя друг против друга, они заговорили о своих недомоганиях. «Он жаловался на расстройство нервов, на медленность пульса, на недеятельность желудка… Шутливость его и затейливость в словах исчезли. Он весь был погружен в себя». Внезапно он ее спросил: «Думаете ли вы о смерти?» Она ему ответила утвердительно. Он был удовлетворен и благословил ее образом. Но этого благословения оказалось недостаточно для ее утешения. Несмотря на горячие молитвы, она чувствовала себя все слабее и слабее. В конце июля она решила вернуться в Москву, чтобы начать серьезное лечение.

Гоголю тоже пришлось уехать из деревни. Но ненадолго. Шевыревы как раз проводили лето на даче в двадцати верстах от Москвы. Без всякого предупреждения (чего церемониться – все свои) Гоголь нанял карету и отправился в путь. Его неожиданное прибытие всех удивило. На нем была серая шляпа и несколько запыленный испанский плащ. С. П. Шевырев тут же попросил молодого поэта Н. В. Берга уступить флигель, в котором он жил, и перебраться в дом. Слугам запретили ходить туда без зову и вообще не вертеться без толку около флигеля. Все семейство, из уважения к таланту, отказалось от беззаботного отдыха и старалось приспособиться к требованиям писателя.

Он работал во флигеле, окруженном старыми темными соснами. По вечерам Шевырев проскальзывал, словно тень, в приотворенную дверь, и Гоголь, убедившись, что никого постороннего нет, читал ему вслух то, что он написал. «Это делалось с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под сенью старых сосен, сходятся заговорщики и варят всякие зелья революции». Так Гоголь прочел Шевыреву полностью семь глав, некоторые из которых были еще не до конца отделаны. И

каждый раз он говорил своему восхищенному слушателю: «Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случились истории. Очень рад, что две последние главы, кроме тебя, никому не известны. Ради бога никому».[590] Растроганный таким доверием, Шевырев обещал, что скорее проглотит язык, чем выдаст секрет; второй том был, по его мнению, несравненно выше первого; он не понимал сомнений автора и очень хотел снова вернуть его к радостям жизни. Но даже за столом среди гостей Гоголь был каким-то вялым и говорил неохотно. Он почти не дотрагивался ни до одного блюда, глотал какие-то пилюльки, пил одну воду. «Он страдал тогда расстройством желудка; был постоянно скучен и вял в движениях, но нисколько не худ на лицо. Говорил немного и тоже как-то вяло и неохотно. Улыбка редко мелькала на его устах. Взор потерял прежний огонь и быстроту. Словом, это были уже развалины Гоголя, а не Гоголь».[591]

С большим трудом, словно вытягивая из себя клещами фразу за фразой, писал он продолжение «Мертвых душ» и при этом еще готовил переиздание своего «Собрания сочинений». Чтобы сэкономить время, он поручил печатание каждого тома разным типографиям. А книгопродавцы распространяли тем временем слухи, что роман скоро будет запрещен, и продавали на черном рынке те немногие экземпляры, что у них еще оставались от издания 1842 года по сто рублей за каждый. И, как нарочно, московская цензура медлила с разрешением на переиздание. В полном отчаянии Гоголь умолял П. А. Плетнева пожертвовать своим экземпляром «Собрания сочинений» и устроить так, чтобы было получено разрешение хотя бы от цензуры в Петербурге.

«Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены, но теперь не хочу: пусть все остается в том виде, как было в том издании. Еще пойдет новая возня с цензорами».[592]

Гостеприимство Шевыревых было безупречным, но стремление к перемене мест было в Гоголе настолько сильным, что он не мог продолжительное время видеть одни и те же лица. Внезапно он разволновался, засуетился – куда поехать, чтобы увидеть нечто новенькое? По правде говоря, он затруднялся только из-за большого выбора. Несколько дней он провел на даче актера М. С. Щепкина, несколько дней в Абрамцево, у Аксаковых, а как только начались дожди, вернулся в дом Толстых.

Именно там он получил письмо от своего друга из Петербурга, М. С. Скурдина, который сообщал ему о критических замечаниях, высказанных в

его адрес публицистом в изгнании А. И. Герценом, в брошюре, вышедшей на французском языке «О развитии революционных идей в России». Хоть Гоголь и привык к нападкам либеральной печати, его тем не менее потрясли обвинения этого чрезвычайно умного человека, который упрекал его в том, что в «Избранных местах из переписки с друзьями» он отрекся от благородных идеалов своей молодости. Он смутно чувствовал, что какая-то часть его читателей от него ускользает, в то время, как он хотел бы всех привлечь на свою сторону. Если он проповедует всеобщую любовь, то как он может являться для кого-то объектом ненависти?

Его абсолютная искренность должна бы, как ему казалось, обезоружить критиков.

Когда П. В. Анненков навестил его, он увидел, что Гоголь обеспокоен тем, как будет принята его книга, и в то же время абсолютно утерял ощущение политической реальности происходящего. «Он почти ничего не знал или не хотел знать о происходящем вокруг него, а о ссылках и других мерах отзывался даже, как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим осужденным… Провожая меня из своей квартиры, Гоголь, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: „Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас; я дорожу их мнением“».[593]

А между тем в Васильевке Мария Ивановна с дочками активно готовились к свадьбе. Гоголь обещал быть, но тянул с отъездом. Принятие любого решения казалось ему мучительным испытанием. Он прекрасно себя чувствовал лишь тогда, когда он колебался, когда его раздирали противоречия, когда ему надо было спасаться бегством. К тому же он боялся, что не вынесет глупых претензий своей сестры Елизаветы. Из чувства мужской солидарности со своим будущим зятем он написал ему письмо с очередным предостережением:

«Матушка и сестры мечутся теперь всюду, как угорелые кошки, чтобы накупить поболее для невесты всякого белья и тряпья. На это они усадят много денег, если только их где-нибудь достанут, а вам с этим тряпьем будет только возня. Пожалуйста, уверьте, что ваша жизнь бивуачная и что вам некуда девать этот сор, а что лучше, если они могут это исполнить потом. Не торопясь, они изготовят это постепенно к какому-нибудь другому времени».[594]

После чего Гоголь получил письмо от матери, которая писала, что болеет, и умоляла его приехать в Васильевку, чтобы увидеться с ней и благословить сестру на пороге новой жизни. Он не мог дольше колебаться.

«Я решился ехать; но вы никак не останавливайтесь с днем свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расколебались от нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет нескорая; даже опасаюсь, чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я на вас только взгляну, и поскорее в Крым, а потому вы, пожалуйста, меня не удерживайте. В Малороссии остаться зиму для меня еще тяжелей, чем в Москве. Я захандрю и впаду в ипохондрию. Мне необходим такой климат, где бы я мог всякий день прогуливаться. В Москве, по крайней мере, теплы и велики дома, есть тротуары и улицы».[595]

Выехав из Москвы 22 сентября 1851 года, он пережил в Калуге новый приступ сомнений. Следует ли ему продолжать путь или повернуть назад? Любовь братская и любовь сыновняя боролись в нем с отвращением, которое вызывали в нем все эти семейные истории. То он говорил себе, что рискует своим душевным покоем, отправляясь в эту ненужную поездку, то думал о матери и сестрах, которые с нетерпением ждали его в Васильевке, и повторял себе, что не имеет права их разочаровывать. Чувствуя полное замешательство, упадок духа и воли, он отправился в Оптину пустынь, чтобы посоветоваться со старцем. Игумен Макарий выслушал его благожелательно и посоветовал ему продолжать путь. Не до конца убежденный, все еще испытывая смятение в душе, Гоголь вернулся на следующий день, чтобы объяснить ему, какие у него есть мотивы, чтобы все же вернуться в Москву. Бросив проницательный взгляд на своего собеседника, иеромонах Макарий признал, что, может быть, действительно, так будет лучше. Эти мирные слова, вместо того, чтобы успокоить Гоголя, усилили его мучения. На третий день он явился к старцу снова и рассказал, как горько будет его семье, если он откажется от поездки. Потеряв терпение, монах принял его сухо, посоветовал ехать на свадьбу и прекратил разговор. Тотчас Гоголь написал ему письмо, говоря о своей нерешимости и волнении при мысли о поездке:

«…нервы мои взволнованны; в таком случае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутиться больным посреди далекой дороги – меня несколько страшит. Особенно когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили в хандре».[596]

Старец Макарий написал ответ на обороте его письма:

«Мне очень жаль вас, что вы находитесь в такой нерешимости и волнении. Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. Вчерашнее слово о мире при взгляде на Москву было мне по сердцу, и я мирно вам сказал о обращении туда, но как вы паки

волновались, то уж и недоумевал о сем. Теперь вы должны сами решить свой вояж, при мысле о возвращении в Москву, когда ощутите спокойствие, то будет знаком воли Божей на сие».[597]

И он подарил ему образок угодника Божия Сергия. Молясь перед ним, Гоголь пришел к убеждению, что он действительно должен вернуться. Все же, прежде чем исполнить свое решение, он запаниковал и снова бросился к монаху за советом, но тот велел ему остаться при внушении, посланном от Бога, и отослал его.

Со смешанным чувством смирения и облегчения, несколько утешенный, но все еще смущенный, Гоголь вернулся в Москву, но тут же оттуда уехал к Аксаковым в Абрамцево. Там, рядом со своим седобородым другом, он снова переживал угрызения совести, оттого что обманул ожидания своей семьи. Чтобы облегчить душу, 1 октября, в день рождения своей матери, он отправился помолиться в Троице-Сергиеву лавру. Наставник студентов духовной академии неожиданно представил его своим духовным воспитанникам. Увидев этих молодых людей в рясах, которые смотрели на него с восхищением, Гоголь смутился. Наконец он произнес: «Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, служим одному Хозяину».

Через день, 3 октября, он снова был в Москве у графа А. П. Толстого. На этот день была назначена свадьба его сестры Елизаветы. Он написал письмо матери, объясняя ей причины своего отсутствия:

«…добравшись до Калуги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и колебаний дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредоносна. Видно, уж так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму остался я в Москве… Жаль мне, что я не в таких теперь обстоятельствах, чтобы прислать подарочек на новое хозяйство».[598]

Несколько дней спустя, а именно 10 октября, цензура разрешила переиздание без всяких изменений «Собрания сочинений». Ободренный этой доброй вестью, Гоголь согласился поехать с Л. И. Арнольди 13 октября в театр, где давали «Ревизора» с Шумским в роли Хлестакова и Щепкиным в роли губернатора. Сидя в ложе бельэтажа, вытянув шею, с нервическим беспокойством со стеснением в груди, он следил за игрой актеров. В целом, Шумский ему показался приемлемым Хлестаковым. Но другие артисты еще плохо поняли свои роли. Темп был замедлен. Публика смеялась слишком часто и не там, где нужно. Гоголь раздраженно ерзал в своем кресле. Многие зрители его узнали и уже направляли на него свои

лорнеты. Опасаясь аплодисментов, вызова на сцену, он тихонько выскользнул из ложи. Арнольди застал его у А. О. Смирновой, распивающим, чтобы успокоиться, теплую воду с сахаром и подогретым вином.

Через неделю после этого представления М. С. Щепкин пришел к Гоголю вместе с молодым писателем, который страстно желал с ним познакомиться, Иваном Сергеевичем Тургеневым.

«Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо… Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны… Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Елагиной. В то время он смотрелся приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивалось к постоянно-проницательному выражению его лица… Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: „Нам давно следовало быть знакомыми“. Мы сели. Я – рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович – на креслах, возле него. Я пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости. Но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась временами веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы, под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское, – что-то, напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. „Какое ты умное, и странное, и больное существо!“ – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове… Вся Москва была о нем такого мнения… Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не

словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно, отталкивая и отчеканивая каждое слово, – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность… Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это – языком оригинальным – и, сколь я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у „знаменитостей“».[599]

Все же восторги Тургенева поутихли, когда Гоголь с воодушевлением принялся защищать необходимость цензуры, которая, как он утверждал, заставляла писателя ясно выражать свои идеи, взвешивать каждое слово, короче, помогала писателю выявить свои самые лучшие качества.

«В подобных измышлениях и рассудительствах, – напишет Тургенев, – Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть „Переписки“: оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру (Герцену); о первом из них об его письме к нему – он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась – в одном заграничном издании – статья Искандера, в которой он по поводу пресловутой „Переписки“ упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти… мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его „Переписки“… и мы с покойным М. С. Щепкиным были свидетелями в день нашего посещения, до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас внезапно изменившимся, торопливым голосом, что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал и в доказательство того готов нам указать на некоторые места в одной своей уже давно напечатанной книге… Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской

живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семенович только брови возвел горе – и указательный палец поднял… „Никогда таким его не видал“, – шепнул он мне… Гоголь вернулся с томом „Арабесок“ в руках и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. „Вот видите, – твердил Гоголь. – Я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь… С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве?… Меня?!“ И это говорил автор „Ревизора“, одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене!»

После этой вспышки протеста Гоголь, словно устав защищаться, еще пробормотал: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня в иностранных журналах?» Затем он признал, что «Избранные места…» – неудачная книга. «Тут только я понял, – рассказывал Щепкин, – почему Гоголю так хотелось видеться с Тургеневым». Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою „Переписку с друзьями“. Я бы сжег ее». Тургенев и Щепкин смущенно молчали. Тогда, сменив тему, Гоголь заговорил о последнем представлении «Ревизора» и объявил, что недоволен игрой актеров, что они «тон потеряли». Щепкин убедил его прочесть им пьесу с начала до конца, чтобы прояснить особенности характера действующих лиц.

Это чтение состоялось две недели спустя, 5 ноября 1851 года, и Тургенев тут присутствовал. К своему великому удивлению, он увидел, что некоторые актеры, обидевшись на то, что их словно хотят учить, не явились по приглашению автора. Что же до актрис, то ни одна из них не сочла для себя полезным приехать. Слушатели расположились вокруг стола, Гоголь – на диване. На его лице застыло угрюмое выражение. Но, как только он начал читать, в глазах его загорелся огонек, щеки покрылись легкой краской, словно он выпил глоток вина. «Читал Гоголь превосходно, – напишет Тургенев. – Я слушал его тогда в первый и в последний раз. Гоголь поразил меня чрезвычайно простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет. Для него самого вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный, особенно в комических, юмористических

местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом…»[600]

Другой молодой писатель, Григорий Данилевский, видевший Гоголя примерно в это же время, был поражен его сходством с аистами, которые на Украине, стоя на одной ноге на кровле, смотрят на тебя «с внимательно-задумчивым видом». Гоголь жаловался в его присутствии на то, что работа над «Мертвыми душами» почти не продвигается. «Иное слово вытягиваешь клещами!» – вздыхал он. Супруге Аксакова он заявил, что считает эту вторую часть своего произведения хуже первой, никуда не годной, что все надо переделать, или вообще отказаться от ее написания. Но другим он говорил, что его работа продвигается – уже закончены одиннадцать глав – и что он, вероятно, сможет ее напечатать к лету 1852 года, может быть, даже в начале весны.

Часто, запершись в своем рабочем кабинете, он перечитывал свою рукопись вслух, для себя одного. Иногда он сомневался, действительно ли это вторая часть его «Мертвых душ» – настолько изменился характер действующих лиц, получивших новое воплощение.

*

Черновые отрывки из второй части поэмы, дошедшие до нас, свидетельствуют о безуспешных попытках Гоголя разрешить возникшее противоречие между замыслом и его осуществлением, между его талантом и его мировоззрением. Убежденный в том, что настоящее произведение искусства имеет воспитательное значение, он полагал, что его долг – использовать весь свой талант для того, чтобы вывести несколько прекрасных характеров. Чтобы быть достойным той задачи, которую на него возложил Бог при рождении, наделив его писательским даром, следовало, по его мнению, добродетель показать привлекательной, а порок отвратительным. Но, если ему легко было отобразить безобразие физическое или духовное, то талант его подводил, когда он старался создать светлую личность. Обладая чудесным даром улавливать человеческие недостатки, превращать лица в рожи, а обычные поступки – в нелепые телодвижения, он чувствовал свою беспомощность, когда брался за изображение людей нового типа, справедливых, активных, которые собирались «спасти Россию». Ему не хватало воображения, когда он пытался воплотить мечту о совершенстве, об идеале; его рука, искусная в наброске грубой и жирной черты карикатурного характера, неловко

дергалась, когда он делал попытку нарисовать портрет приятного человека. В борьбе с природой собственного таланта он мучился, выбивался из сил, просил Бога о помощи, но из-под его пера выходили одни только слащавые банальности. Ему хотелось бы стать Рафаэлем, но он был – Иеронимом Босхом.

Разумеется, во втором томе «Мертвых душ» появляются еще какие-то комические персонажи, подобные тем, которых мы видели в первом томе, но это уже не тот масштаб, да и краски бледнее. Это – лежебока, увалень, слабовольный Тентетников, помещик с сумбурными идеями, прозябающий в бездействии, коптящий небо; это – генерал Бетрищев, честолюбивый, с величавой осанкой, который «любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом»; это – радушный Петух, целиком поглощенный чревоугодием; это – Кошкарев, глупец, какого от роду никто не видел, полагающий, что достаточно было бы всех русских мужиков «одеть так, как ходят в Германии, и все пойдет как по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России»; это – Хлобуев – живое воплощение русского беспорядка и беспутства, который, не имея куска хлеба, угощал и хлебосольничал, который молился вместо того, чтобы работать, и без зазрения совести жил на подачки своих друзей… Наряду с этими заурядными, сомнительными личностями мы встречаем ряд прекрасных характеров. Вероятно, это – кандидаты для отправки в Чистилище (том 2), и их характеры не столь высоки и прекрасны, как характеры обитателей Рая (том 3), но они играют важную роль. Иными словами, по мнению Гоголя, они обнаруживают «высокое благородство нашей породы», то есть русского народа. Во главе этих счастливых смертных стоит фигура Костанжогло, землевладельца и промышленника, обладающего практической хваткой и христолюбием; он объясняет Чичикову, каким образом можно быстро разбогатеть, исполняя при этом свой христианский долг.

Короче говоря, тому, что Гоголь теоретически изложил в «Выбранных местах из переписки с друзьями», он дает «живое изображение» в продолжении «Мертвых душ», а именно: что честность дает доход и ведет к довольству, а соблюдение библейских заповедей вознаграждается счетом в банке. Если бы образ Костанжогло оказался недостаточно убедительным, в назидание нам имеется еще один персонаж – Муразов, почтенный и щедрый купец, откупщик, виноторговец, начавший с нуля и заработавший миллионы, без греха, а «самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами»; и приращенье доходов продолжается, поскольку, решая свои дела, он не забывает о Боге. Третий герой,

предложенный русскому читателю в качестве примера, это – генерал-губернатор, к которому обращаются «Ваше превосходительство», и этот титул он носит по заслугам: он действительно превосходит всех окружающих его людей своей неподкупностью, цельностью натуры, твердостью характера и прозорливостью. Рядом с ним блещет молодой чиновник по особым порученьям, который с любовью занимается делопроизводством. «Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь». Заслуживает внимания и очаровательная Улинька, идеал обольстительной русской девушки, своенравной, столь искренней и чистой, что в ее присутствии «как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем».[601]

Эти действующие лица оказывают на Чичикова самое благотворное влияние: словно солнечные лучи проникают в душу его, и он осознает всю мерзость своих поступков. Речи таких людей, как Муразов, Костанжогло и особенно генерал-губернатор, всю душу ему переворачивают. Наказание, которое ему грозит, является прелюдией к его моральному возрождению, что, по мнению автора, и являлось бы путем к Богу, оправдывая написание этой книги.

К несчастью, положительные герои, выведенные здесь Гоголем, настолько схематичны, что вместо того, чтобы внушить нам любовь к добродетели, пробуждают в нас тоску по пороку. Да, именно кривляки и уроды из первого тома книги, со всеми своими человеческими недостатками, и кажутся нам живыми душами, в то время как почтенные чучела второго тома воспринимаются читателем как мертвые души. От всей великой авторской задумки осталось лишь несколько жалких отрывков. Но то, что нам известно о плане произведения в целом, позволяет предположить, что чистилище и рай трилогии были бы всего лишь бледными ремесленными поделками по сравнению с великолепным адом, который нам остался.

*****

Гоголь осознавал свое поражение, но отказывался с ним смириться. Его друзья, которым он читал время от времени какую-нибудь главу, подбадривали его, говоря, что нужно продолжать работу. По правде

говоря, им казалось, что эти чистые образы не должны находиться в смехотворном и пагубном мирке Чичикова; что добродетельный помещик, добронравный откупщик, ангелоподобная девушка, генерал-губернатор, справедливый, словно сам Господь Бог, попали в эту книгу по ошибке; но они полагались на гений автора, на его чутье, надеялись, что он исправит эти погрешности, что он добавит изюминку в текст. А некоторым даже казалось, что этот второй том, когда он будет закончен, вообще затмит первый. Одновременно с этой работой Гоголь заканчивал редактировать свои «Размышления о Божественной литургии», правил корректуру своего «Собрания сочинений».

В конце января 1852 года его навестил один из его украинских друзей, профессор истории и литературы О. М. Бодянский. Он застал его за столом, на котором были разложены бумаги и корректурные листы, и спросил его:

«Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?» – заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два починенных пера, из которых одно было в чернильнице. «Да вот мараю все свое, – отвечал Гоголь, – да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь». – «Все ли будет издано?» – «Ну, нет: кое-что из своих юных произведений выпущу». – «Что же именно?» – «Да „Вечера“! – „Как! – вскричал, вскочив со стула, гость. – Вы хотите посягнуть на одну из самых свежих произведений своих?“ – „Много в нем незрелого, – отвечал спокойно Гоголь. – Мне бы хотелось дать публике такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен. А после, пожалуй, кто хочет, может из них (то есть „Вечеров на хуторе“) составить еще новый томик“. Бодянский вооружился против поэта всем своим красноречием, говоря, что еще не настало время разбирать Гоголя как лицо, мертвое для русской литературы, и что публике хотелось бы иметь все то, что он написал, и притом в порядке хронологическом, из рук самого сочинителя. Но Гоголь на все убеждения отвечал: „По смерти моей, как хотите, так и распоряжайтесь“.[602]

Он произнес эти последние слова с каким-то мрачным отрешенным видом и добавил, покачав головой: „Право, скучно, как посмотришь кругом на этом свете. Знаете ли вы? Жуковский пишет мне, что он ослеп?“ – „Как! – воскликнул Бодянский. – Слепой пишет вам, что он ослеп?“ – „Да; немцы ухитрились устроить ему какую-то штучку… Семен! – закричал Гоголь своему слуге по-малороссийски: – Ходы сюды“. Он велел спросить у графа Толстого, в квартире которого он жил, письмо Жуковского. Но графа не было дома». Лицо Гоголя как-то застыло при этой мысли. Потом

он снова оживился и предложил Бодянскому отвезти его в следующее воскресенье к Аксаковым на музыкальный вечер, чтобы послушать песни Малороссии. Кажется, только мысль о его Украине, ее песнях, обычаях, кухне и могла еще его развеселить.

Но вечер у Аксаковых не состоялся, поскольку 26 января 1852 года после кратковременной болезни умерла Екатерина Михайловна Хомякова, сестра поэта Н. М. Языкова. Гоголь любил эту живую и изящную молодую женщину, которая напоминала ему о друге и наперснике, умершем шесть лет назад. Получив известие о ее внезапной кончине, он почувствовал себя глубоко уязвленным. Уже не впервые он испытывал впечатление, что его тащат за рукав к бездне, находящейся рядом. Однако никогда еще до этого дня зов смерти не казался ему столь властным. Внезапно он почувствовал, что получил не просто предупреждение, но услышал зов. Леденящее душу предчувствие парализовало его тело и анестезировало мозг. Увидев усопшую в гробу, он прошептал: «Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна. Если бы не было смерти». На панихиде в доме покойной он потрясенно сказал: «Все для меня кончено». Словно одурманенный от усталости и горя, он с большим трудом выстоял до конца церемонии.

На следующий день, 30 января, он был не в состоянии пойти на похороны Е. М. Хомяковой, но служил один панихиду в домашней церкви графа А. К. Толстого. В тот же вечер он заявил у Аксаковых: «Страшна минута смерти». – «Почему же страшна? – сказал кто-то из нас. – Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти». – «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», – сказал Гоголь с раздражением.[603]

Под впечатлением всего происшедшего он удвоил внимание к своему здоровью и придумал каждое утро обвертываться мокрой простыней, чтобы укрепить организм и чувствовать себя бодрее. Такое лечение не пошло ему на пользу. С каждым днем он все больше худел и уже был похож на живой труп. Знаменитый московский врач, Овер, встретив его случайно у Аксаковых, подошел к Вере Сергеевне и сказал ей: «Несчастный!» – «Кто несчастный? – спросила я, не понимая. – Да ведь это Гоголь!» – «Да, вот несчастный!» – «Отчего же несчастный?» – «Ипохондрик. Не приведи Бог его лечить, это ужасно!» – «У него есть утешение, – сказала я, – он истинно верующий человек». – «Все же несчастный», – сказал доктор Овер, завершая разговор, и направился к двери.

Вернувшись в гостиную, Вера Сергеевна предложила Гоголю

позавтракать. Он отказался. Лицо его было светло и безмятежно. Холодное зимнее солнце освещало комнату. «Вы сегодня не работали?» – «Нет». – «Ну, – сказала я, – вы погуляли, теперь вам надобно поработать». Он так светло улыбнулся на эти слова. «Да, надобно бы, но не знаю, как удастся, моя работа такого рода, – продолжал он говорить, уходя и надевая шубу, – что не всегда дается, когда хочешь».[604]

Он надел шубу и вышел на пустынную улицу, занесенную снегом. Худой, сутулый, сгорбленный, он шел, увязая в снегу, и был похож на черного ворона. Вера Сергеевна смотрела, как он удаляется, и у нее сжималось сердце.

«Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна, – писал он на следующий день В. А. Жуковскому, – чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной».[605]

Чтобы возвыситься душой и стать «достойным», он читал все больше и больше литературы религиозного содержания, молился, постился и носил при себе в потайном кармане, как реликвию, последние письма отца Матвея.

«Благодарю вас много и много за то, что содержите меня в памяти вашей, – писал он духовнику. – Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, уже поселяет в душу надежду, что Бог удостоит меня поработать ему лучше, чем как работал доселе, немощный, ленивый и бессильный. Ваши два последние письма держу при себе неотлучно. Всякий раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в них, прежде незамеченное, указание и напутствие и всякий раз благодарю Бога, помогшего вам написать их. Не забывайте меня, добрая душа, в молитвах ваших».[606]

Письма отца Матвея к Гоголю не сохранились, но можно представить себе их стиль, их тональность по его письмам к другим кающимся грешникам.

«Не променяй Бога на диавола, а мир сей на царство небесное. Миг один здесь повеселишься, а вовеки будешь плакать. Не спорь с Богом, не женись… Видишь ли, что сам Господь хочет, чтобы ты боролся с плотью. Двух жен взял у тебя; это значит, что он хочет, чтобы ты жил чисто и достигал своего назначения… Ходи почаще на кладбище к женам и спрашивай у праха их: что, пользовали ли их удовольствия телесные? Не скажут ли и тебе: „Ты будешь то же самое, что и мы теперь“. Так помни смерть; легче жить будет. А смерть свою забудешь – и Бога забудешь… Если здесь украсишь душу свою чистотою и говением, и там она явится чистою. Тебе также и то известно, что умерщвляет страсти: поменьше да

пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебцем; меньше спи, меньше говори, а больше трудись».[607]

Эти суровые правила отец Матвей применял и к себе: ни вина, ни мяса; никакого чтения, кроме духовной литературы, необходимой для поддержания веры; крайняя бедность; неприятие развлечений и удовольствий; в деревнях, находящихся под его священнической властью, он, говорят, до такой степени затерроризировал прихожан своими проповедями и пророчествами, что они и дома не смели веселиться, как того требует природа. Ни смеха, ни песен. Даже дети ходили с грустными личиками. Следуя указаниям своего пастыря, родители позволяли им играть только при условии, что они одновременно будут распевать псалмы.[608]

Некий помещик Марков, который хорошо знал отца Матвея, решил предостеречь Гоголя от влияния протоирея из Ржева и написал ему следующее:

«Как человек, он действительно заслуживает уважения; как проповедник, он замечателен – и весьма; но как богослов – он слаб, ибо не получил никакого образования. С этой стороны я не думаю, чтобы он мог разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ваши вопросы, если они имеют предметом не чистую философию, а богословские тонкости… О. Матвей сможет говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактовать о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить двенадцати догматов наших, то есть членов Символа веры, а в истинном понятии их и заключается христианство, ибо добродетель была проповедуема всеми народами».[609]

Несмотря на это здравое мнение, Гоголь отказался порвать со своим духовником. Ему казалось, что суровость и простота отца Матвея способствовали его внутреннему очищению, что помогало его душе возвыситься. Теперь речь шла только об этом: возвыситься душой так, чтобы новое произведение было достойно не только автора, творца земного, но и самого Создателя, Отца Небесного. Не столько творца с маленькой буквы, сколько Творца с большой буквы. Забыть о телесных нуждах. Умерщвлять плоть постом. С огромной надеждой и радостью он узнал о приезде в Москву отца Матвея, приглашенного графом Толстым. Наконец он сможет излить душу и укрепить дух в беседе с божьим человеком.

Он вручил священнику несколько глав второго тома «Мертвых душ». Тот, просмотрев их, сказал, что они его разочаровали, и посоветовал Гоголю не публиковать те главы, где был описан «священник с католическими оттенками, не вполне православный», и «губернатор, каких не бывает». За такие портреты осмеют еще больше, говорил он, чем за «Выбранные места из переписки с друзьями». Как человек, стремящийся к близости к Христу, может тратить время на подобное бумагомараканье? Нужно думать о своей внутренней жизни, а не о писательстве. Гоголь, пришедший в замешательство, видел перед собой священника с рыжеватой бородкой, довольно широким носом, серыми, стальными глазами, который вещал громким голосом, словно в церкви. «Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему, неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более?.. Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы?

Много званых, но мало избранных».[610]

Поскольку Гоголь пытался доказать своему собеседнику, что закон Христов можно исполнять также и в звании писателя, тот в порыве горячности потребовал от него отречения от Пушкина, которым Гоголь так восхищался. «Отрекись от Пушкина! – кричал он ему. – Он был грешник и язычник!» И он стал рисовать кающемуся грешнику простершимся ниц и рыдающим ужасающую картину Страшного суда. Еще в детстве мать так разительно и страшно описала ему вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило в нем всю чувствительность. На этот раз от ужаса он, не владея собой, простонал: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!»[611] Он попросил отца Матвея удалиться. Священник, оскорбленный, ушел. На следующий день, 5 февраля 1852 года, он уехал в свой Ржев. Гоголь, полный раскаяния, проводил его до железнодорожной станции. Расстались они очень сухо, но тотчас после этого, страдая от угрызений совести, Гоголь написал своему духовному отцу:

«Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извиненья в том, что оскорбил вас. Но вдруг милость божия чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердого, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко, но об этом что говорить? Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом весь ваш Николай».[612]

Получив это письмо, отец Матвей мог сказать себе, что благодаря

своему красноречию он одержал окончательную победу. Россия, может быть, и потеряла великого писателя, но Небо, без сомнения, приобрело прекрасную душу. Несколько лет спустя, отвечая на вопросы публициста Т. И. Филиппова о его последней беседе с Гоголем, протоиерей из Ржева так объяснил свое поведение:

«Он искал умиротворения и внутреннего очищения» – «От чего же очищения?» – спросил Т. И. Филиппов. – «В нем была внутренняя нечистота». – «Какая же?» – «Нечистота была, и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином», – сказал о. Матвей… «Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином?» – «Вас обвиняют в том, что, как духовный отец Гоголя, вы запретили писать ему светские творения». – «Неправда. Художественный талант есть дар Божий. Запрещения на дар Божий положить нельзя; несмотря на все запрещения, он проявится, и в Гоголе временно он проявлялся, но не в такой силе, как прежде. Правда, я советовал ему написать что-нибудь о людях добрых, то есть изобразить людей положительных типов, а не отрицательных, которых он так талантливо изображал. Он взялся за это дело, но неудачно». – Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ?» – «Неправда, и неправда… Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде». И, раздраженный настойчивостью всех этих литераторов, обвиняющих его в мракобесии, священник ворчливо добавил: «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства».[613]

А между тем Гоголь с трудом приходил в себя от беседы с отцом Матвеем. Пока он был здоров, он относился к дьяволу, как к какому-то комичному щелкоперу, второсортному фигляру из разряда хлестаковых и чичиковых, над которым достаточно посмеяться, чтобы его укротить. Теперь же, когда силы его угасали, а в голове царил мрак, ему казалось, что дух тьмы не довольствуется тем, что вводит во искушение беззащитные слабые души, но что дела человеческие, с виду величественные, как, например, работа над произведением искусства и его завершение, могут быть внушены духом Зла. Может быть, полагая, что он работает во славу Божию, он в течение всей жизни работал на искусителя? Может быть, именно это отец Матвей и хотел ему сказать, призывая его отказаться от художественного творчества и отречься от Пушкина? Может быть, в его распоряжении всего несколько дней, чтобы исправить ошибку всей его жизни?

Утром на масленице он приехал к одному священнику, жившему в

отдаленной части города, и спросил его, когда можно будет приобщиться Святых Христовых Тайн? Тот посоветовал было дождаться первой недели поста, потом, увидев его смятение, согласился исповедовать его в церкви в четверг.

Тем временем Гоголь отказался от всякой литературной деятельности. Погруженный в книги исключительно духовного содержания, он решил назначить себе аскезу, еще более строгую, чем предписывает церковный устав. Даже Масленицу он посвятил говению. Борясь с неприятными ощущениями в желудке, он ел все меньше и меньше: несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола, кусочек просфоры, стакан воды. Его уже шатало от изнеможения, а он все еще считал себя обжорою. Ночью он старался спать как можно меньше, чтобы не поддаться дьявольскому искушению снов. Он написал письмо матери, умоляя ее молиться за него: «Мне так всегда бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне молитесь! О, как много делает молитва матери!»[614]

В четверг, 7 февраля, он явился в церковь еще до заутрени, исповедался, причастился, пал ниц и много плакал. С. П. Шевыреву, навестившему его в тот же самый день, Гоголь показался столь изнуренным и мрачным, что он умолял его на коленях принять хоть какую-нибудь пищу, но Гоголь утверждал, что не голоден. Потом, словно под каким-то внушением, он поехал на извозчике в Преображенскую больницу, чтобы навестить там юродивого, «божьего человека» Ивана Яковлевича Корейшу, который пользовался в обществе известностью и доверием. Подъехав к воротам больницы, он не вошел в них, а принялся ходить взад и вперед по снегу, долго стоял на одном месте на ветру, опять сел в сани и велел ехать домой. Что ожидал он услышать из уст ясновидца? Подтверждение требований отца Матвея? Или, наоборот, опровержения, которое, освободив его от всяких оков, вернуло бы его к жизни и литературному творчеству?

По возвращении у него был такой потерянный вид, что граф Толстой уговорил его посоветоваться с его домашним врачом, доктором Иноземцевым. Тот, несколько озадаченный, в конце концов нашел, что у него катар кишок, и посоветовал ему спиртные натирания живота, лавровишневую воду и ревенные пилюли по случаю долго продолжавшегося запора. Не доверяя столь грубым материальным средствам, Гоголь предпочел лечиться молитвами перед иконами на коленях, а образов в доме графа Толстого было достаточно.

В ночь с пятницы 8-го на субботу 9 февраля он, изнеможенный, без сил, дремал на диване, когда услышал какой-то загробный голос. Лежа в

полутьме с широко открытыми глазами, он испытал такое чувство, словно он уже умер, страшно закричал, разбудил слугу и послал его за священником. Когда явился заспанный приходской священник, Гоголь ему объяснил, что он страдает той же болезнью, что и его отец, что он почитает себя уже умирающим, и что он просит снова его причастить, потому что недавнее причащение не принесло мира его душе. Священник, видя, что мнимый умирающий сумел подняться, чтобы его принять, заверил его, что он напрасно так чрезмерно беспокоится, что не настал еще для него час думать о кончине. Поддавшись на время уговорам, Гоголь решил снова лечь и задремать. Но в воскресенье, 10 февраля, он призвал к себе графа А. П. Толстого и попросил его отдать некоторые свои сочинения, после своей смерти, митрополиту московскому Филарету (Дроздову), с тем, чтобы столь высокая духовная особа решила, что должно быть напечатано, а что нет: «Пусть он зачеркнет без всякой жалости то, что ему покажется ненужным!» Граф отказался от этого поручения, чтобы он не счел себя серьезно больным, чтобы отклонить от него всякую мысль о смерти.

За весь следующий день Гоголь проглотил только несколько капель воды с красным вином. Это была первая неделя Великого поста. Для всего города наступил период говения и подчеркнуто строгого образа жизни. Колокола церквей звонили лишь через длительные промежутки времени, и звук был заунывный и печальный. Священники совершали богослужения в траурных ризах. Двери императорских театров закрылись. На базарах тоже царил пост – продавались лишь сушеные грибы, соленые огурцы, квашеная капуста да маринады. Некоторые набожные семьи покрывали мебель в домах чехлами и занавешивали картины светского содержания. Даже не покидая своей комнаты, Гоголь физически ощущал этот порыв к покаянию, охвативший весь город. Он чувствовал его сквозь стены, и его мысли, и так блуждающие во мраке, совпадали с важностью и мрачностью периода, переживаемого христианскими народами. Его близкие друзья беспокоились, они навестили его: М. П. Погодин, С. П. Шевырев, М. С. Щепкин. Он принял их без каких-либо проявлений радости, лежа на диване, выслушал их, ничего не ответил и через минуту прошептал: «Извините, дремлется что-то».

«В положении его, – напишет Шевырев, выйдя от него, – мне казалось более хандры, нежели действительной болезни».

В понедельник вечером, 11 февраля, у графа Толстого в домовой церкви служили всенощную. Гоголь едва смог дойти туда, останавливаясь на ступенях, присаживаясь на стуле, однако, сделав огромное усилие, простоял, шатаясь, всю всенощную, и со слезами на глазах молился.

Ночью на вторник (с 11 на 12 февраля) он долго молился один в своей комнате перед образами. Он так и не сомкнул глаз. В три часа ночи он позвал своего мальчика, малороссиянина, который спал, свернувшись калачиком за стенкой, и спросил, тепло ли в другой половине его покоев.

«Свежо», – ответил тот.

«Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться».

И он пошел, со свечой в руках, сгорбившись, неуверенным шагом. Тихонько, словно тать, проскользнул он в соседнюю комнату.

На каждом шагу он крестился. Его горбатая тень двигалась по потолку, разбиваясь в углах. Когда они дошли до печки, он велел мальчику открыть трубу, как можно тише, чтобы никого не разбудить, и подать из шкафа портфель. Из портфеля он вынул связку тетрадей, перевязанных тесемкой: рукопись второго тома «Мертвых душ», несколько глав третьего тома, кое-какие еще работы. Эти бумаги тяготили его. Тяготили, словно непрощенные грехи. Необходимо было от них избавиться как можно скорее. Чтобы предстать перед Господом чистым. Он положил все эти бумаги в печь и поднес к ним свечу. Огонек загорелся, обгорели края одного листка, потом вспыхнуло все ясным пламенем, наглым и победительным.

«Барин! Что это вы? – закричал мальчик. – Перестаньте! Эти бумаги еще пригодятся!..»

«Не твое дело, – ответил Гоголь. – Молись!»

Догадавшись о трагедии, мальчик расплакался и снова стал умолять своего хозяина вынуть бумаги из огня. Гоголь не обращал на него внимания. Может быть, он думал в эти минуты о том далеком времени, когда он сжег все экземпляры «Ганца Кюхельгартена»? Что лучше огня может уничтожить следы грехов? Но на этот раз листы лежали слишком плотно. Огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Неудовлетворенный, Гоголь извлек из печи полуобгорелую связку и, обжигаясь искрами, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Потом снова зажег свечой свои рукописи. Наконец пламя их охватило.

Яркий свет ослепил Гоголя. Сидя перед открытой печкой, он смотрел, как извиваются и тускнеют строки, написанные его рукой. Чичиков возвращался в ад, откуда ему уж не суждено, видимо, выйти. Но сколько лет труда уничтожено за несколько минут! Что ж, так повелел Бог. А что, если дьявол? Глубоко задумавшись, он долго сидел неподвижно на стуле, как загипнотизированный глядя в пространство, повесив голову, сложив руки на коленях, подобно птице со сложенными крыльями, и ждал, когда

все сгорит и истлеет. Тогда, перекрестясь, он поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал.[615] Некоторое время спустя он велел позвать графа Толстого и сказал ему прерывающимся голосом, указывая на кучку пепла:

«Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него смогли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях… А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». – «Это хороший признак, – прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью… ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу; у меня все это в голове».[616]

Он прекратил лить слезы. Черты его лица оживились, он укрепился душой. Зачем он солгал графу, сказав, что сжег рукописи по ошибке? Он прекрасно знал, что именно было в тех тетрадях, что он бросил в огонь.

Но он всегда скрывал свои истинные намерения и любил неверно объяснять свои поступки. Каждый раз, как он изрекал какую-нибудь неправдоподобную ложь, ему казалось, что он защищает себя от обольстительной, хотя и очевидной истины, помрачающей зрение.

Во всяком случае, после этого искупительного жертвоприношения проблема, которая его мучила, осталась нерешенной. В то время, как он думал, что порывает все узы, связывающие его с людьми, те же сомнения терзали его мозг: уничтожая эту ненужную писанину, кому же он повиновался – Богу или дьяволу, который, лишив человечество его произведения (пусть и несовершенного), лишил его современников ступени к христианству, то есть возможности избавиться от каких-то дурных инстинктов? А не оскорбляет ли он Всевышнего, отказываясь принять мир таким, каким он его создал, одновременно белоснежным и черным от грязи? Художник должен сначала сам обратиться к Христу, а потом с помощью посланного ему Богом таланта привести к нему и других. Имел ли он право отречься от этого Божественного дара, стремясь достичь нравственного совершенства и общения с Богом? Кто сумел бы ответить на эти вопросы: ни отец Матвей, ни митрополит Филарет, ни старцы из Оптиной пустыни не могли понять мятущуюся душу Гоголя и не могли бы его просветить. Раздираемый противоречивыми чувствами, будучи не в состоянии осознать, чего же именно Бог ожидает от него, он не видел больше причин влачить свое существование среди людей. Смерть и

привлекала его, и в то же время пугала. Как и в детстве, ему случалось слышать голос, который доносился откуда-то издалека и называл его по имени.

В последующие дни он впал в прострацию. Сидя в кресле, протянув ноги на другой стул, прикрыв глаза, он не реагировал на суету и беспокойство его друзей, которые пытались его утешить. «Надобно же умирать, а я уже готов, и умру», – сказал он однажды вечером Хомякову. А когда граф Толстой, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, заговорил с ним о матери и сестрах, он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Потом он распорядился своими карманными деньгами, отдав одну часть на бедных, а другую – на церковные свечи.

Поскольку врач Иноземцев заболел, граф Толстой позвал вместо него доктора Алексея Терентьевича Тарасенкова, человека мягкосердечного, почтительного и образованного, к которому Гоголь испытывал симпатию. «Увидев его, я ужаснулся, – напишет Тарасенков. – Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но не долго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием… Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно».

Хотя и с неохотой, Гоголь согласился все же ответить на несколько вопросов интимного порядка, которые задал ему врач. «Сношений с женщинами он давно не имел, – писал Тарасенков, – и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании также не был подвержен».[617] Но можно ли верить такого рода признаниям со стороны человека, столь скрытного, как Гоголь? После беседы он позволил пощупать пульс и посмотреть язык, выслушал мольбы Тарасенкова, который заклинал его пить бульон и молоко для поддержания сил, но внезапно, почувствовав переутомление, склонил голову на грудь.

В это же время митрополит Филарет, который сам был болен, велел передать Гоголю, что он просит его беспрекословно исполнять все назначения врачей, поскольку «спасение не в посте, а в послушании».

Гоголь ответил, что вручает себя Божьей воле. Он на самом деле решил прекратить сопротивление. Дрожащей рукой он вывел черновик завещания:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрам. Советую им жить в любви совокупно в деревне и, помня, что отдав себя крестьянам и всем людям, помнить изреченье Спасителя: „Паси овцы Моя!“ Господь да внушит все, что должны они сделать. Служивших мне людей наградить. Якима отпустить на волю. Семена также, если он прослужит лет десять графу.

Мне бы хотелось, чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц, которые бы отдали себя на воспитание сироток, дочерей бедных, неимущих родителей. Воспитанье самое простое: Закон Божий да беспрерывное упражнение в труде на воздухе около сада или огорода… Я бы хотел, чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей… Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались… Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник».

Потом на длинных полосах бумаги он написал еще:

«А еще не будете малы, яко дети, не внидите в Царствие Небесное.

Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого креста.

Как поступать, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок».

В его окоченевших пальцах не было больше сил удержать гусиное перо. Он оттолкнул чернильницу. Теперь ему было ясно, что никогда больше он не сможет заниматься литературной работой. Но это его уже не волновало. Реальный, видимый мир потерял, наконец, всякое значение. Он повторял тихо и кротко: «Оставьте меня; мне хорошо». Он сидел в халате, не умывался, не расчесывал своих длинных волос, которые косо спадали ему на лоб, не подстригал своих усов. Чтобы убедить его принимать пищу, приходский священник являлся к нему ежедневно и нарочно первый начинал есть чернослив, кашу, убеждая его присоединиться к нему и есть вместе с ним. Больной неохотно, немного, но ел эту пищу; тут же он своей иссохшей рукой отталкивал тарелку. «Какие молитвы вам читать?» – спрашивал священник. «Все хорошо; читайте, читайте», – отвечал Гоголь еле слышно. В воскресенье приходский священник убедил его принять ложку клещевинного масла. Проглотив ее, Гоголь сморщился и заявил, что больше уже не будет принимать никакой пищи. Все окружающие были

подавлены, им казалось, что это неестественная смерть, что они присутствуют при медленном самоубийстве. С точки зрения религии самоубийство является преступлением, а больной совершал это медленное самоубийство, якобы подчиняясь Божьей воле.

В понедельник на второй неделе поста духовник предложил ему приобщиться и собороваться маслом. Он с радостью согласился и выслушал все Евангелие в полной памяти. Он держал в руках зажженную свечу, и крупные слезы текли из его глаз. Вечером его попросили принять лекарство. «Оставьте меня! Не мучьте меня!» – закричал он. Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, просил только по временам переворачивать его или подавать ему пить. Он старался оставаться в креслах. При том, что он желал смерти, он боялся лечь в постель, так как был убежден, что постель будет для него смертным одром. Однако силы его угасали, и он согласился наконец лечь на широкий диван. «Ежели будет угодно Богу, чтобы я жил еще, буду жив!» – пробормотал он, опуская голову на подушку.

Во вторник 19 февраля граф Толстой решил, что в борьбе со странной болезнью Гоголя первенство теперь будет принадлежать врачам, а не священникам. Теперь злых духов будут изгонять не с помощью веры, но с помощью методов современной науки; от идеализма перешли к позитивизму, от молитв – к микстурам. Явившись в дом графа Толстого, доктор Тарасенков увидел в передней комнате толпу почитателей таланта Гоголя, стоящих со скорбными лицами. «Что Гоголь?» – спросил он. – «Плохо, – сказал граф. – Ступайте к нему, теперь можно входить».

Гоголь лежал на диване в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. В руках он держал четки. Против его лица стоял образ Богоматери. Когда доктор Тарасенков взял его руку, чтобы пощупать пульс, больной произнес: «Не трогайте меня, пожалуйста!» Пульс был слабый, скорый, руки холодноваты, дыхание ровное. Вскоре к доктору Тарасенкову присоединились врачи Альфонский и Овер. По общему согласию решили, что необходим гипноз, чтобы покорить его волю и заставить принимать пищу. В тот же вечер известный гипнотизер, доктор Сокологорский, великолепный в своей спесивой самоуверенности, появился у изголовья умирающего. Он возложил ему одну руку на лоб, другую на живот под ложечкой, нахмурил брови, но флюиды не действовали. Почувствовав раздражение от таинственных пассов гипнотизера, Гоголь сделал движение телом и простонал: «Оставьте меня!» Оскорбленный доктор Сокологорский отказался продолжать эксперимент и уступил место коллеге, известному своей настойчивостью доктору

Клименкову. Будучи сторонником решительных действий, он стал кричать с ним, как с глухим:

– Не болит ли голова? – Нет. – Под ложечкой? – Нет…

Расспросы не дали результата. Однако, врачам удалось заставить больного выпить чашку бульона и вложить ему, невзирая на его крики и стоны, суппозиторий из мыла.

На следующий день, 20 февраля, около полудня собрался консилиум врачей в доме графа Толстого: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский, Тарасенков, Ворвинский. Шесть знаменитых врачей, светила медицинского мира, обсудив причины упадка сил и угнетенного состояния больного (напряженная умственная работа, совершенное воздержание от пищи, упорный отказ от лечения), пришли к выводу, что его сознание не находится в натуральном положении. Доктор Овер прямо поставил вопрос: «Оставить больного без пособий, или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Доктор Эвениус тут же ответил: «Да, надобно его кормить насильно» После этих слов все врачи вошли к больному в комнату. Склонившись над Гоголем, они по очереди его расспрашивали и осматривали. «Его живот был так мягок и пуст, – напишет Тарасенков, – что через него легко можно было ощупать позвонки». Когда на все части его тела с силой давили, одолевали его нескромными вопросами, буравили проницательными взглядами, несчастный кричал и вырывался: «Не тревожьте меня, ради Бога!» Врачи, ставя диагноз, изъяснялись по-латыни: *mania religiosa, gastro enteritis ex inanitione…* Кто-то произнес даже слово «тиф». Доктора нахмурили брови. Звучали замысловатые ученые термины. Став мастером в искусстве доводить уродство до фантастических размеров, Гоголь с ужасом и отвращением видел себя жертвой этой бессмысленной суеты врачей у его постели. Мог ли он только представить себе в то далекое время, когда писал «Записки сумасшедшего», что на закате жизни будет испытывать те же муки, что и его несчастный и жалкий герой? «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею».[618]

Словно повинуясь указаниям автора, доктор Овер после консультации с другими врачами прописал поставить пиявки и сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Затем врачи степенно разъехались, оставив самого решительного среди них, доктора Клименкова, проследить за строгим выполнением всех назначений. Гоголя схватили в охапку и

поместили в ванну с горячей водой, в то время как слуга лил ему на голову холодную воду. После чего его положили в постель без белья, и доктор Клименков поставил ему к носу штук шесть пиявок. Вот и нос, о котором писатель столько говорил в своих книгах, стал поводом новых страданий. Жирные пиявки, висевшие у самых ноздрей, упивались его кровью. Извиваясь, они касались его губы. Гоголь твердил: «Не надо! Снимите пиявки, поднимите ото рта пиявки!..» Но никто его не слушал. Его руки держали силой, чтобы не дать ему снять с носа эту гроздь прожорливых червей с присосками.

К семи часам вечера доктор Овер вернулся к больному и решил, с согласия доктора Клименкова, поставить ему горчичники на конечности, мушку на затылок, лед к голове, а внутрь дать отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Доктор Тарасенков, который был свидетелем мучений страдальца, был поражен неумолимостью и грубостью своих коллег.

«Обращение их было неумолимое; они распоряжались, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: „Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!“, но тот стонал и не отвечал».[619]

Наконец, врачи Овер и Клименков уехали, оставив доктора Тарасенкова одного у постели умирающего. Пульс Гоголя явственно упал, дыхание было затруднено. Лежа на боку, он был не в состоянии сам поворачиваться и только жалобно стонал от жжения горчичников. По вставлении нового суппозитория вскрикнул громко от боли. Потом он попросил пить. Глоток бульона. Он уже не мог сам приподнять голову, уже явно стал забываться, терять память. Часу в одиннадцатом вечера он закричал громко: «Лестницу, поскорее давай лестницу!»

В последней главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь написал: «Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней».

Эту лестницу, эту руку, их-то он и искал с тоской и ужасом при дрожащем свете ночника. Но он видел только очки человека, склонившегося над ним, золотой оклад иконы, пузырьки с лекарствами на столе. Раз лестница к нему не спускалась, он сам должен был идти к ней. Сделав мучительное усилие, он попытался встать, но ноги его больше не держали, голова кружилась. Доктор Тарасенков со слугой посадили его в

кресло. Голова его уже не могла держаться на шее и падала машинально, «как у новорожденного ребенка», – скажет Тарасенков. Его опять уложили в постель, надели рубашку. Он потерял сознание. Потом обморок кончился, но он уже лежал с закрытыми глазами. Ноги его стали холодеть. Тарасенков положил ему в постель кувшин с горячей водой. Напрасно: он весь дрожал от холода. Его изможденное лицо покрылось холодной испариной. Под глазами появились синие круги. В полночь доктор Клименков сменил Тарасенкова. Чтобы облегчить страдания больного, он давал ему каломель и обкладывал все тело горячим хлебом. При этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Всю ночь он тихонько бредил. «Давай бочонок! Давай, давай! Ну, что же!» Потом он еще больше ослаб, щеки его ввалились, лицо почернело, дыхание делалось реже и реже. Казалось, он обрел спокойствие, или, по крайней мере, не чувствовал своих страданий. 21 января 1852 года в восемь часов утра Гоголя не стало. Ему было сорок три года.[620]

*

Когда явились первые посетители, тело Гоголя лежало уже на столе, умерший был обряжен в сюртук; на его лице, похудевшем от перенесенных мучений, выделялся нос, словно лезвие ножа; усы спокойно прикрывали рот; веки, припухшие и потемневшие, закрывали глаза, словно он спал здоровым сном; на голове, на его длинных волосах, был лавровый венок. Священник служил панихиду, скульптор снимал маску с лица. Позднее художник Мамонов изобразил этот иссохший, изнуренный трупик в гробу.

Увидев его, Сергей Тимофеевич Аксаков напишет:

«Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь!»[621]

Что почувствовал отец Матвей, узнав о смерти Гоголя? Пожалел ли он в мыслях своих этого мученика, разрывавшегося между искусством и верой? Упрекнул ли он себя за то, что слишком резко осудил его земное призвание? Или же он успокоился мыслью о том, что он, без сомнения, снова выполнил свой долг?

Как и следовало ожидать, до последней минуты Гоголю суждено было

служить причиной раздора между его друзьями. Собравшись у графа Толстого, славянофилы, во главе с Аксаковым, настаивали на том, чтобы Гоголя отпевали в приходской церкви, которую он любил посещать; профессор Грановский, будучи западником, напротив, требовал, чтобы отпевание происходило в университетской церкви, поскольку усопший в некотором роде принадлежит к великой семье университетских преподавателей. «К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому, как человек народный, и должен быть отпеваем в церкви приходской, в которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей не будут пускать».[622]

Поскольку спор разгорался в двух шагах от гроба, московский генерал-губернатор, граф А. А. Закревский, приказал непременно отпевать тело в университетской церкви, в которую велено было пускать всех без исключения. Славянофилы в гневе решили бойкотировать церемонию. 22 февраля открытый, по обычаю, гроб отнесли на руках в университетскую церковь. Несли его писатели, в том числе А. Н. Островский. В течение двух дней экипажи с трудом могли проехать по Никитской улице, заполненной толпой желающих проститься с бренными останками великого писателя. Представители всех сословий пришли поклониться этому человеку с восковым лицом в лавровом венке, который когда-то их так смешил. Жандармы и полицейские в штатском следили за порядком: о чем бы ни писал сочинитель, никогда не знаешь, нет ли чего подозрительного в поклонении толпы.

В воскресенье 24 февраля граф А. А. Закревский, московский генерал-губернатор, в полном мундире присутствовал при отпевании. Гроб был усыпан камелиями. В руках усопший держал огромный букет из иммортелей. Ни мать, ни сестры Гоголя, слишком поздно извещенные в своей далекой Украине, не успели приехать в Москву на похороны. Но в церкви стечение народа было так велико, что в момент прощания толпа почитателей едва не опрокинула катафалк. Всякий хотел поклониться покойнику, поцеловать руку его, взять хоть стебель цветов, покрывавших его изголовье. Чтобы прекратить это излияние чувств, организаторы похорон силой закрыли крышку гроба, скрыв от толпы неподвижное лицо умершего. Из церкви профессора Анке, Морошкин, Соловьев, Грановский, Кудрявцев вынесли гроб на руках. На улице студенты приняли гроб из их рук и понесли его. Несметное число лиц всех сословий шло по заснеженной улице. Все университетские чины и знаменитости шли пешком, дамы ехали в экипажах. Погребение состоялось на кладбище

Свято-Данилова монастыря. Погода была прекрасной, было холодно, снег сверкал на солнце. Могила была вырыта недалеко от захоронений Языкова и госпожи Хомяковой, умершей две недели тому назад.[623]

*

Согласно описи имущества Гоголя, составленной после его смерти, у него оказались золотые часы, когда-то принадлежавшие А. С. Пушкину, черное драповое пальто с бархатным воротником, два старых сюртука из черного сукна, трое поношенных полотняных брюк, четыре старенких галстука (два из тафты и два шелковых), двое кальсон и три носовых платка… Никаких денег, драгоценностей, важных бумаг. Скарб нищего. Но остались его произведения!

Как следовало относиться к его творчеству с официальной точки зрения? Без сомнения, автор никогда не допускал прямых выпадов ни против власти, ни против Церкви в своих произведениях. Но он высмеивал государственных чиновников, помещиков, мелких и крупных служителей государственного строя. Известно, что литературное произведение, с виду самое беззубое и безобидное, на самом деле является бульоном, в котором часто плавают такие приправы, которые пахнут подрывной деятельностью против существующего строя. Осторожность требовала приглушить стенания интеллектуальной элиты. После того, как в «Москвитянине» была напечатана статья о кончине Гоголя, окаймленная траурной рамкой, в журнале «Северная пчела» появилась резкая заметка журналиста Ф. В. Булгарина, платного агента тайной полиции: «Все самомалейшие подробности болезни человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества».

Несмотря на это предупреждение, вскоре после похорон И. С. Тургенев написал об умершем несколько взволнованных строк, полных скорби и любви, и представил статью на рассмотрение петербургской цензуры, которая ее не пропустила. Не смущаясь этим фактом, он послал ее в «Московские ведомости», и московский цензор по небрежности дал свое разрешение.

«Гоголь умер! – писал И. С. Тургенев. – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла та роковая

весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших. Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников…»[624]

Появление этой статьи в печати вызвало гнев шефа жандармов. Уподоблять Гоголя Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, – это могло лишь сделать его еще более подозрительным в глазах властей. Один чиновник Третьего отделения составил отчет о происках литераторов, которые, по его мнению, являлись активными пособниками всех беспорядков, происходящих в стране. Предлагалось вызвать Тургенева для внушения в полицейский участок и учредить над ним полицейский надзор. Это предложение показалось Николаю I слишком мягким. Ведь это – тот самый Тургенев, который осмелился выразить сочувствие судьбе крепостных в ряде рассказов, опубликованных в «Современнике».[625] Он заслуживал хорошего урока. Твердой рукой царь начертал на полях отчета: «Полагаю этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр…» Приговор обжалованию не подлежал: немедленно Тургенев был посажен под арест, а потом отправлен на жительство в деревню, в свое имение Спасское-Лутовиново.

Теперь перед царскими чиновниками встала другая проблема. Нужно ли разрешать публикацию уже находящегося в печати «Собрания сочинений» этого писателя, слишком любимого публикой? Нет, лучше подождать с таким выражением чувств, отложить эту дань уважения. Цензоры получили приказ безжалостно преграждать путь любой странице с подписью покойного. При жизни он льстил власти, а после смерти стал подозрителен как раз тем, кому он курил фимиам. В докладе по этому «делу» начальник штаба Отделения корпуса жандармов Дубельт уточнял, что цензура обнаружила в напечатанных произведениях и еще не напечатанных рукописях, почти на каждой странице, большое количество различных пассажей, которые если сами по себе и не несут опасных идей, то могут быть неверно истолкованы. Друзьям Гоголя понадобилось не меньше трех с половиной лет борьбы, чтобы добиться разрешения цензуры.[626]

*

Но напрасно газеты и журналы хранили обет молчания – по мере того, как шло время, образ Гоголя отнюдь не забывался, он приобретал такие масштабы, каких не могли ожидать даже его друзья. Его имя и творчество приобретали все большую известность, в то время как его тело разлагалось в могиле.

Реализм Пушкина поэтичен, прозрачен, сдержан; реализм Гоголя сумрачен, фантастичен, он искажает личность. Являясь не только удивительным автором «Ревизора» и «Мертвых душ», он навечно привил свою манеру, свое направление литературе своей страны. Да, у истоков великолепного, изумительного расцвета искусства романа в России XIX века мы различаем светлую линию – действительность и высмеиваем ее. Пушкин, с его чувством меры; Гоголь, с его излишествами. Все русские писатели последующих поколений будут сочетать в разных пропорциях эти два исконных элемента. Их самые смелые вымыслы можно найти в зародыше у этих двух великих предшественников. В то самое время, когда им будет казаться, что они привносят что-то новое, на самом деле они будут черпать, порою неосознанно, в одном из этих двух обширных хранилищ идей, образов и характеров. От Гоголя идет это чувство сострадания и жалости к бедным, скромным людям, которое мы находим во всех произведениях Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого; от Пушкина идет эта тональность прямого объективного повествования, которая характерна для лучших страниц «Войны и мира». Тентетников из второй части «Мертвых душ» породит Левина из «Анны Карениной». Подколесин из «Женитьбы» узнаваем в «Обломове» И. А. Гончарова. Герои И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, М. Горького, А. М. Ремизова и стольких других составят знаменитое потомство действующих лиц «Ревизора» и «Шинели». Задолго до того, как книги этих писателей увидели свет, читатели, в силу таинственного предчувствия, уже были благодарны Гоголю за ту революцию, которая, благодаря ему, произойдет в русской словесности. А он-то жаловался, что его так мало любят при жизни! Зато после смерти он стал вдвойне дорог своим соотечественникам – его полюбили за то, что он сам написал, и за то, что напишут впоследствии другие, которых он вдохновил.

*

В мае 1852 года, через два с половиной месяца после смерти Гоголя, молодой Григорий Петрович Данилевский[627] отправился в дальнее

путешествие – в Васильевку. Не доезжая несколько верст до деревни, он велел остановить экипаж, чтобы спросить дорогу у какой-то крестьянки с ребенком на руках, которая приветливо разговорилась с ним. Когда речь зашла об их соседе, Гоголе-Яновском, она сказала:

«То неправда, что толкуют, будто он умер. Похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда».[628]

Г. П. Данилевский снова сел в карету. Вскоре со щемящим сердцем он увидел между двух холмов церквушку с зеленым куполом, белые мазанки и, наконец, родительский дом автора «Мертвых душ», низенький, деревянный, с красной крышей. Справа – флигель, слева – хозяйственные постройки. Кругом – старые деревья, сад, пруды. За домом, до самого горизонта, тянулась украинская степь.

Внезапно три женщины, одетые в черное, появились перед ним: мать Гоголя и две его сестры, Анна и Ольга. Третья сестра, Елизавета, вышедшая замуж за Быкова, жила в Киеве. Григорий Данилевский был поражен тем, как молодо выглядит Мария Ивановна Гоголь: крепкая, дородная, розовощекая, ни морщинки; волевое выражение лица, белый чепец. Горе заставило дрожать ее губы с неприметным пушком. Проведя гостя в гостиную, она заговорила с ним о своем сыне, которого она боготворила, с восторженным почтением. «Моего сына, – сказала она, отирая слезы, – знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не послужил родине!

– Ваш сын долго отсутствовал за границей?

– Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине».

Григорию Данилевскому показали рабочий кабинет покойного во флигеле, столик из грушевого дерева на длинных ножках, за которым он работал стоя, его кровать, его иконы, его книги в шкафу; его провели по саду за церковью, по берегу пруда, по тем самым местам, где когда-то Гоголь видел действующих лиц своих произведений только еще в своем воображении.

Траурные платья трех женщин цеплялись за зубчатую траву, Мария Ивановна вздыхала, плакала. Но в то же время у нее был такой счастливый вид оттого, что она может поговорить о своем сыне с господином, приехавшим издалека, что Григорий Данилевский никак не мог решиться с ней распрощаться.[629]

Приложения

Краткая биография

1809

20 марта: рождение Николая Гоголя, сына Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и Марии Ивановны, урожденной Косяровской.

1811

Рождение его сестры Марии.

1812

Рождение его брата Ивана.

1819

Николай Гоголь направлен в первый класс высшего отделения Полтавского уездного училища. Смерть брата Ивана.

1821

Николай принят в Нежинскую гимназию высших наук князя Безбородко. Рождение его сестры Анны.

1823

Рождение его сестры Елизаветы.

1825

Смерть Василия Афанасьевича Гоголя. Рождение его сестры Ольги.

1827

Административное дело против четырех преподавателей Нежинского лицея, обвиненных в пособничестве «вольнодумству».

1828

Окончание обучения в Нежинском лицее, отдых в родовом имении в Васильевке. Отъезд в Санкт-Петербург.

1829

июнь: анонимная публикация его первого произведения «Ганс Кюхельгартен»;

июль: поездка в Любек;
сентябрь: возвращение в Санкт-Петербург;
ноябрь: зачисление на испытание в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел.

1830
Зачисление канцелярским чиновником в Департамент уделов.

1831
январь: первая публикация в «Литературной газете», подписанная своей фамилией;
февраль: зачисление младшим преподавателем истории в Патриотический институт;
май: первое знакомство с Пушкиным;
сентябрь: издание первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

1832
март: издание второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки»;
июнь: поездка в Москву и в Васильевку.

1834
июль: назначение в Петербургский университет адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории;
сентябрь: чтение первой лекции в Петербургском университете.

1835
январь: издание сборника «Арабески»;
март: издание «Миргорода» в двух томах;
сентябрь: восстановление в должности в Патриотическом институте; увольнение из Санкт-Петербургского университета; Предоставление А. С. Пушкиным Н. В. Гоголю сюжета о «Мертвых душах»;
октябрь: начало написания «Мертвых душ»;
декабрь: завершение редакции «Ревизора», сюжет которого также был дан ему Пушкиным.

1836
19 *апреля*: первое представление «Ревизора» в Александринском театре в Санкт-Петербурге;
25 *мая*: премьера «Ревизора» на сцене Малого театра;

июнь: отъезд Гоголя за границу. Путешествие в Германию и Швейцарию;
ноябрь: прибытие в Париж.

1837
февраль: известие о гибели А. С. Пушкина;
март: отъезд из Парижа и направление в Рим.

1838
Пребывание в Риме. Общение с художниками. Попытки З. А. Волконской обратить Н. Гоголя в католичество. Установление дружбы с графом И. М. Вильегорским.

1839
21 *мая*: смерть графа И. М. Вильегорского;
июнь – сентябрь: путешествие Гоголя во Францию и в Германию;
сентябрь: отъезд в Россию;
конец октября: после пребывания в Москве Гоголь приезжает в Санкт-Петербург;
декабрь: возвращение в Москву.

1840
май: отъезд из Москвы в сопровождении В. Панова и возвращение в Рим;
сентябрь: посещение Вены, Венеции и возвращение в Рим через Флоренцию.

1841
август: завершение работы над первым томом «Мертвых душ». Возвращение в Россию;
декабрь: запрещение цензурой публикации «Мертвых душ».

1842
апрель: разрешение цензурой Санкт-Петербурга публикации «Мертвых душ»;
май: поступление в продажу «Мертвых душ». Возвращение в Рим и остановка в Гастейне;
сентябрь: прибытие в Рим;
9 *декабря*: премьера «Женитьбы» в Санкт-Петербурге.

1843

февраль: первая постановка «Женитьбы» и «Игроков». Выход из печати «Сочинений» Гоголя в четырех томах;

май – декабрь: пребывание Гоголя в Германии, затем в Ницце по приглашению А. О. Смирновой;

ноябрь: завершение работы над первым вариантом продолжения «Мертвых душ».

1844

март: посещение Жуковского во Франкфурте. Смерть сестры Марии.

1845

январь: поездка в Париж;

февраль: возвращение во Франкфурт;

июль: сожжение нового варианта второго тома «Мертвых душ». Публикация переводов Луи Виардо во Франции;

октябрь: возвращение в Рим.

1846

июль: направление в Санкт-Петербург шести первых глав «Выбранных мест из переписки с друзьями»;

октябрь: возвращение во Франкфурт;

ноябрь: возвращение в Италию.

1847

Публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями». Начало отношений, продолжавшихся шесть лет, со своим «духовником», отцом Матвеем Константиновским, с которым познакомился по рекомендации графа А. П. Толстого

1848

январь: отъезд в Иерусалим;

апрель – май: короткое пребывание на Святой земле и возвращение домой в Васильевку;

сентябрь: отъезд в Санкт-Петербург;

октябрь: пребывание в Москве.

1849

июль: поездка по России, возвращение в Москву, проживание у графа Толстого, работа над вторым томом «Мертвых душ».

1850

июнь: отъезд в Васильевку;

октябрь: посещение Одессы.

1851

зима: пребывание в Одессе;

март: возвращение в Васильевку;

май: отъезд в Москву;

3 *октября*: бракосочетание сестры Елизаветы;

10 октября: получение разрешения цензуры на переиздание «Сочинений» Гоголя.

1852

4 *февраля*: последний визит отца Матвея;

11 февраля: сожжение третьего варианта второго тома «Мертвых душ»; 21 *февраля*: смерть Н. В. Гоголя; 24 *февраля*: похороны Н. В. Гоголя в Москве.

Биографический список

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – выдающийся русский художник-маринист.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1879) – в молодости поэт, критик, переводчик Буало и Мольера, в полуослепшем состоянии напишет: «Записки об уженье рыбы» (1847); «Записки ружейного охотника» (1855); «Семейную хронику» (1856) с ее продолжением «Детские годы Багрова-внука» (1858). Его книги отличает обращение к русской природе, описание жизни помещиков. Они сделали его классиком русской литературы. Его воспоминания о Гоголе являются наиболее ценными материалами. Сам он был крупным помещиком, приверженцем традиционного уклада.

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – старший сын С. Т. Аксакова: один из основоположников русского славянофильства, поэт, историк, филолог, критик.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – младший сын С. Т. Аксакова, в молодости хороший поэт, впоследствии выдающийся публицист-славянофил, издатель еженедельной газеты «Русь».

Аксакова Ольга Семеновна (1793–1879) – жена С. Т. Аксакова.

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864) – дочь С. Т. Аксакова.

Аксакова Надежда Сергеевна (1829–1869) – дочь С. Т. Аксакова.

Анненков Павел Васильевич (1812–1887) – литературный критик и литературовед, издатель сочинений Пушкина, автор ценных биографических трудов о Пушкине, Станкевиче и не менее ценных воспоминаний о Белинском, Гоголе и др. В Риме выполнял обязанности секретаря Гоголя. Был «западником», принадлежал к кружку Белинского.

Апраксина Софья Петровна (1802–1886) – урожденная графиня Толстая, сестра друга Гоголя графа А. П. Толстого.

Армфельд Александр Осипович (1806–1868) – профессор судебной медицины и истории медицины в Московском университете.

Арнольди Лев Иванович (1822–1860) – единоутробный брат А. О. Смирновой. В сороковых годах был чиновником особых поручений при калужском губернаторе Н. М. Смирнове.

Балабина Варвара Осиповна– француженка по происхождению, супруга отставного генерала Петра Ивановича Балабина. Была женщиной образованной и начитанной, дружила с Гоголем.

Балабина Марья Петровна – дочь Балабиных, была ученицей Гоголя.

Балабина Елизавета Петровна – старшая дочь Балабиных, вышла замуж за князя В. Н. Репнина.

Базили Константин Михайлович (1809–1884) – по происхождению албанский грек, товарищ Гоголя по Нежинской гимназии. Служил по министерству иностранных дел, с 1844 по 1833 г. был русским генеральным консулом в Сирии и Палестине. Автор ряда трудов о Турции и Греции.

Белинский Виссарион Григорьевич (1810–1848). Знаменитый литературный критик. Стал известен своими публикациями в «Отечественных записках» и «Современнике». Выступал за реализм в литературе. Имел политические воззрения социалиста-утописта. Его идеи имели глубокое влияние на русскую мысль XIX века.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844). С 1826 года – шеф жандармов, управляющий III отделением собственной Его величества канцелярии. Ввел в России полицейский режим. В 1832 году получил титул графа.

Берг Николай Васильевич (1824–1884) – поэт и переводчик «Пана Тадеуша» Мицкевича. Член так называемой молодой редакции «Москвитянина». Славянофил.

Бодянский Осип Максимович (1808–1877) – профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете.

Боткин Николай Петрович (1813–1869) – из знаменитой московской купеческой семьи Боткиных. Всю жизнь много помогал за границей русским художникам и студентам.

Булгарин Фаддей Бенедиктович (1789–1859) – публицист, литературный критик, беллетрист, редактор рептильной газеты «Северная пчела», шпион и доносчик, находившийся в тесной связи с III отделением.

Быков Владимир Иванович (?—1862) – офицер (сапер), муж сестры Гоголя Елизаветы.

Волконская Зинаида Александровна (урожденная княжна Белосельская-Белозерская) (1792–1862) – поэтесса, композитор, певица. Блистала на международных конгрессах, посвященных восстановлению Европы после низвержения Наполеона: пользовалась высокой благосклонностью императора Александра I. В ее салоне собирался цвет интеллигенции, жившей в Москве: Пушкин, Мицкевич, кн. Вяземский, Веневитинов, Чаадаев, Хомяков, Шевырев, Погодин и др. В 1829 г. она уехала из Москвы в Италию, чтобы принять там католичество. Проживала в Риме. Была фанатичной католичкой. Умерла в нужде.

Высоцкий Герасим Иванович – товарищ Гоголя по Нежинской

гимназии, кончил курс в 1826 г., двумя годами раньше Гоголя, и поступил на службу в Санкт-Петербурге. Впоследствии жил в своем поместье в Полтавской губернии, пользовался среди соседей славою большого остряка и насмешника. Умер в начале 1870 г.

Вильегорский Михаил Юрьевич (1787–1836) – граф, богатый и знатный царедворец. В сороковых годах его дом в Петербурге был средоточием столичной аристократической жизни: местные и приезжие артисты находили здесь самый радушный прием. Вильегорский сам был хороший музыкант и композитор, романсы его пользовались популярностью. Вильегорский был в близких отношениях и с рядом выдающихся писателей – Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем. «Ревизор» попал на сцену главным образом благодаря Вильегорскому. Он хлопотал также о разрешении к печати «Мертвых душ».

Вильегорская Луиза Карловна (урожденная принцесса Бирон) (1791–1833) – жена графа Вильегорского. Была горда, очень разборчива на знакомства, но к Гоголю благоволила и была с ним в дружеской переписке, видела в Гоголе учителя жизни и охотно подчинялась его руководству.

Вильегорский Иосиф Михайлович (1816–1839) – талантливый, много обещавший юноша. Воспитывался вместе с царским наследником Александром, будущим императором Александром II. Умер от чахотки в Риме на руках Гоголя.

Вильегорская Аполлинария Михайловна – была замужем за А. В. Веневитиновым, братом поэта.

Вильегорская Софья Михайловна (1820–1878) – с 1840 г. замужем за писателем, графом В. А. Соллогубом, автором «Тарантаса», кроткая и милая, но, вследствие беспутства мужа, была несчастна в браке. Как и младшая сестра ее, жадно внимала поучениям Гоголя и была с ним в постоянной переписке.

Вильегорская Анна Михайловна (Анолина; Нози). По словам В. Соллогуба, «кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь». Ее, по словам И. С. Аксакова, Гоголь пытался изобразить в Уленьке из второй части «Мертвых душ». Впоследствии была замужем за князем А. И. Шаховским.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – князь, поэт и критик, друг Пушкина и почитатель Гоголя. Но написал две статьи – одну в защиту «Ревизора», другую – в защиту «Переписки с друзьями». В молодости проповедовал идеи либерализма, с возрастом примкнул к реакционным кругам, став яростным противником Белинского и западников.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – человек большой эрудиции

и универсальной культуры, большого литературного таланта, философ и критик, русский революционер и публицист. В 1847 г. выехал за границу, посетил Париж, Лондон и Женеву. Основатель Вольной русской типографии в Лондоне, издатель еженедельной газеты «Колокол» (с 1857 г.) и «Полярной звезды», страстно боровшийся с российским самодержавием. Опубликовал ряд произведений, наиболее значимое их которых является «Былое и думы».

Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич (1777–1825) – отец Николая Гоголя.

Гоголь-Яновская Мария Ивановна (урожденная Косьяровская) (1791–1868) – мать Николая Гоголя.

Гоголь Мария Васильевна (1811–1844) – старшая из сестер Гоголя, с 1832 по 1836 г. замужем за землемером П. О. Трушковским.

Гоголь Анна Васильевна (1821–1893) – сестра Гоголя.

Гоголь Елизавета Васильевна (1823–1864) – сестра Гоголя, с 1851 г. в замужестве за саперным офицером Вл. Ив. Быковым; овдовела в 1862 г. Умерла в 1864 г. Старший ее сын, Николай Владимирович Быков, был женат на внучке Пушкина, Марии Александровне.

Гоголь Ольга Васильевна (1825–1907) – младшая сестра Гоголя. Вышла замуж за отставного майора Головню.

Гоголь Иван Васильевич (1812–1819) – брат Николая Гоголя. Умер в семилетнем возрасте.

Гончаров Иван Александрович (1812–1891). Великий русский романист. Дебютировал в 1847 г. коротким психологическим романом «Обыкновенная история». Побывал в Японии. В 1859 году написал свое произведение «Обломов». Через десять лет опубликовал «Обрыв». Гоголь познакомился с ним в 1848 г. в Санкт-Петербурге. В своей стране признан мэтром реалистического романа.

Греч Николай Иванович (1787–1867) – журналист, беллетрист, составитель руководства по русской грамматике, издатель журнала «Сын отечества» и соиздатель (с Булгариным) рептильной газеты «Северная пчела».

Данилевский Александр Семенович (1809–1888) – один из ближайших друзей детства Гоголя, товарищ его по Нежинской гимназии. Вместе окончили курс гимназии в июне 1828 г. и вместе поехали в Петербург в декабре того же года для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков. В 1831 г. уехал на Кавказ, откуда воротился в Петербург в 1834 г., поступил на службу в канцелярию министерства внутренних дел. В 1836 г. вместе с Гоголем поехал за границу. Там они путешествовали

вместе, разъезжались по разным маршрутам и съезжались вновь. В мае 1838 г., когда Данилевский жил в Париже, умерла в России его мать, материальные обстоятельства изменились, и ему пришлось проститься с беззаботной жизнью и ехать в Россию. В конце 1843 года Данилевский получил место инспектора благородного пансиона при одной из киевских гимназий. Во второй половине 1844 г. женился на Ульяне Григорьевне Похвисневой. С 1848 г. хозяйничал в своем имении Дубровном. В 1856 г. получил место директора училищ Полтавской губ. Конец жизни провел в селе Анненское Харьковской губ., где и умер (в середине 80-х годов). Дружеские его отношения с Гоголем продолжались до самой смерти Гоголя, но до самого конца ему приходилось давать энергичный отпор стремлению Гоголя наставлять его.

Данилевский Григорий Петрович (1829–1890) – в свое время известный историк-романист. В пятидесятых годах был чиновником особых поручений при министре народного просвещения. В конце жизни редактировал «Правительственный вестник» и был членом совета Главного управления по делам печати.

Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) – известный поэт, друг Пушкина, издатель альманахов «Северные цветы» и «Литературная газета».

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) – поэт, баснописец, автор сентиментальных романсов и известной сатиры «Чужой толк», друг Карамзина. С 1810 по 1814 г. – министр юстиции. Гоголь познакомился с ним в1832 году в Москве.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – рано потерял отца, который был убит мужиком. Учился в школе одаренных детей в Санкт-Петербурге. В 1845 году пришел огромный успех в связи с выходом его романа «Бедные люди». С этого периода он вошел в группу молодых либералов, которые объединяются вокруг Петрашевского, которая критикует царский режим и крепостное право. Арестован в 1849 г. по доносу агента полиции. Затем приговорен к смертной казни, замененной четырьмя годами каторжных работ в Сибири. Там он пережил первый эпилептический приступ. Только в 1859 г. получил право возвратиться домой. Опубликовал «Униженные и оскобленные», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание», «Игрок». Уехав со второй женой за границу, написал там свой удивительный шедевр «Идиот». Вернувшись в Россию в пятьдесят лет, издает «Дневник писателя», «Братьев Карамазовых» и другие произведения.

Елагина Авдотья Петровна (урожденная Юшкова) (1789–1877) – по

первому мужу Киреевская, мать известных славянофилов и фольклористов братьев Киреевских, племянница поэта Жуковского. Очень умная и образованная женщина. В салоне ее собирались самые лучшие представители московской интеллигенции, преимущественно славянофильского направления.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – поэт и переводчик. В 1817 г. был назначен преподавателем русского языка к великой княгине Александре Федоровне (жене будущего императора Николая I), в 1823 г. стал воспитателем наследника (будущего императора Александра II) и жил в Зимнем дворце. В таком звании оставался до 1841 г. В 1842 г. он в возрасте 58 лет женился на 18-летней дочери своего друга Рейтерна и с тех пор до самой смерти жил в Германии – сначала в Дюссельдорфе, потом во Франкфурте-на-Майне. К Гоголю относился с неизменною ласковостью и заботливостью, не раз выхлопатывал ему денежные пособия от разных особ царской фамилии и даже помогал тайно из собственных средств. Гоголь не раз живал у него в Дюссельдорфе и во Франкфурте. В последние годы своей жизни он заинтересовался мистицизмом. Он умер немного спустя после смерти Гоголя и был похоронен в Санкт-Петербурге с большими почестями. Его переводы Шиллера, Байрона и других поэтов познакомили соотечественников с европейской литературой. На родине он признан «отцом русского романтизма».

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) – художник, друг Гоголя. По окончании Санкт-Петербургской академии художеств был послан Обществом поощрения художеств за границу на средства Общества. С 1833 года Иванов все силы отдал грандиозной картине «Явление Христа народу», над которою работал с лишком двадцать лет, в сомнениях и колебаниях, в постоянных хлопотах о продлении пенсии. В 1837 году начал ее писать. Гоголь познакомился с художником в Риме, очень высоко ценил Иванова и его картину, хлопотал, у кого мог, о продлении для него возможности спокойно и не торопясь работать над картиной. Гоголь отмечал, что «Явление Христа народу» и «Мертвые души» – это два произведения, стремящиеся к одной цели. В 1858 г. Иванов приехал с готовой картиной в Петербург. Картина имела огромный успех. Еще продолжалась выставка, как Иванов умер от холеры. Картина в настоящее время находится в Государственной Третьяковской галерее. Гоголь изображен на ней среди персонажей картины.

Владыко Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич) (1800–1857) – русский богослов и церковный проповедник, с 1841 г. – епархиальный архиерей в Харькове. С 1848 г. – архиепископ Херсонский и Таврический.

Иноземцев Федор Иванович (1802–1869) – профессор Московского университета по кафедре хирургии, один из популярнейших в свое время врачей-практиков.

Иордан Федор Иванович (1800–1883) – русский гравер. По окончании курса в Академии художеств был в 1829 г. командирован за границу. В 1834 г. обосновался в Риме и занялся воспроизведением в гравюре картины Рафаэля «Преображение». Над этой гравюрой огромного размера он работал двенадцать лет. Она получила очень высокую оценку и со стороны заграничных художников. Впоследствии профессор и ректор Петербургской академии художеств. Друг Гоголя.

Карамзин Андрей Николаевич (1814–1854) – сын историка, служил в конной артиллерии. В 1834 г., в чине полковника, убит в стычке с турками под Каракалом в Румынии.

Каратыгин Петр Андреевич (1803–1879) – известный актер, комик и водевилист Александринского театра в Санкт-Петербурге. Всегда отрицательно относился к Гоголю.

Киреевский Иван Васильевич (1806–1836) – критик и публицист. Познакомился с Гоголем в 1832 г. Вместе с Хомяковым, братьями Аксаковыми являлся одним из основоположников славянофильства.

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) – брат И. В. Киреевского, участник кружка славянофилов. Всю жизнь занимался собирательством народных песен и былин.

Константиновский Матвей Александрович (1791–1857) – протоиерей Матвей. Был познакомлен с Гоголем по рекомендации графа А. П. Толстого. Был духовником Гоголя.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – один из самых великих поэтов России. Был сослан на Кавказ за участие в дуэли. В 1837 году написал стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели Пушкина. В 1840 году стрелялся на дуэли с сыном французского посла Эрнестом Барантом, год спустя был убит на дуэли неким Мартыновым. Является автором ряда поэм и романа в прозе «Герой нашего времени».

Любич-Романович Василий Игнатьевич (1803–1888) – товарищ Гоголя по гимназии. Поэт, переводчик (Мицкевича, Байрона), историк.

Максимович Михаил Александрович (1804–1873) – ботаник, выдающийся этнограф и историк. С 1833 г. – профессор ботаники в Московском университете, вскоре перешел в только что открывшийся Киевский университет на кафедру русской словесности. В 1843 г. прекратил чтение лекций и поселился в своей усадьбе на берегу Днепра, в Полтавской губернии, изредка посещая Москву для свидания с

Погодиным, Гоголем и другими друзьями. До конца жизни продолжал работать на научном поприще. Выпустил ряд очень ценных собраний украинских песен, исторических, археологических и филологических исследований, касающихся Украины и ее языка. С Гоголем познакомился в 1832 г. и был с ним в дружественных отношениях до самой смерти Гоголя.

Мицкевич Адам (1798–1855) – величайший польский поэт, автор поэм «Деды», «Конрад Валленрод», «Пан Тадеуш». В 1819 г. окончил Виленский университет, в 1823 г. был арестован за участие в польской студенческой организации и выслан в Россию. Жил в Москве и Петербурге, сошелся с Пушкиным и другими выдающимися русскими писателями. В 1829 г. выехал за границу, в 1839 г. получил кафедру латинской словесности в Лозанне, в 1840 г. занял кафедру славянских литератур в Париже, в College de France. Мицкевич всю жизнь пламенно мечтал о политическом восстановлении Польши и постепенно пришел к уверенности, что поляки – богоизбранный народ, призванный обновить и возродить мир. Под влиянием философии Андрея Товянского он все больше впадал в мистицизм. Умер от холеры в Константинополе. Гоголь восхищался Мицкевичем, хотя не разделял его националистических идей.

Моллер Федор Антонович (1812–1873) – исторический живописец и портретист. В конце 30-х годов уехал в Рим, где прожил очень долго. Лучшая его картина – «Поцелуй» (1840 г.). Являлся другом Гоголя и нарисовал его портрет.

Нащокин Павел Воинович (1800–1874) – один из ближайших друзей Пушкина, человек умный и образованный, но очень безалаберный. Спустил за свою жизнь несколько крупных состояний, полученных по наследству, и умер в бедности. Его Гоголь изобразил под именем Хлобуева во второй части «Мертвых душ».

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – журналист, критик, издатель журналов «Телескоп» и «Реноме», профессор Московского университета.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) – великий поэт, пламенный публицист. В 1846 году он выкупил журнал «Современник», основанный Пушкиным и Плетневым в 1836 г. С помощью Ивана Панаева возобновил периодическое издание первого литературного обозрения в России, пропагандировавшего прогрессивные и либеральные тенденции. В 1866 г. власти наложили запрет на его издание. В своих произведениях он воспевал идеи упразднения крепостного права.

Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) – писатель и цензор. С 1834 г. – профессор русской словесности в Петербургском университете.

Автор ценных воспоминаний «Моя повесть о самом себе».

Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) – писатель, автор фантастических рассказов в манере Гофмана, журналист, знаток музыки, друг Пушкина, Вяземского, А. Тургенева; был председателем одного из петербургских литературных кружков. Этот кружок в 30-х годах посещал Гоголь.

Орлов Алексей Федорович (1787–1862) – с 1844 г. после смерти Бенкендорфа – шеф жандармов и главный начальник III отделения собственной Его величества канцелярии. В 1851 г. произведен в князья и назначен председателем государственного совета и комитета министров.

Островский Александр Николаевич (1823–1886) – автор-драматург. Написал более пятидесяти пьес.

Овер Александр Иванович (1804–1864) – московский врач.

Панаев Иван Иванович (1812–1862) – журналист и беллетрист, принадлежал к кружку Белинского. В 1847 г. вместе с Некрасовым стал издателем журнала «Современник», занявшего руководящую роль в журналистике 50—60-х годов.

Панаева-Головачева Авдотья Яковлевна (урожденная Брянская) (1820–1893) – жена Панаева, затем – «гражданская» жена Некрасова. В сотрудничестве с Некрасовым написала несколько больших романов. В известных ее «Воспоминаниях» много интересных сведений о современных ей литературных деятелях.

Панов Василий Алексеевич (1819–1849) – спутник Гоголя по заграничной поездке 1840 г. Член московского славянофильского кружка, впоследствии редактор славянофильского «Московского сборника».

Пащенко Иван Григорьевич (1812–1862) – товарищ Гоголя по Нежинской гимназии, выпуска 1830 г. Служил в министерстве юстиции.

Плетнев Петр Александрович (1792–1862) – критик и поэт. Будучи инспектором Патриотического института, устроил в него Гоголя преподавателем. С 1832 г. профессор русской словесности в Петербургском университете, в котором с 1840 по 1861 г. состоял и ректором: преподавал русский язык и словесность наследнику и другим царским особам. Был в дружбе с Пушкиным и Гоголем. Аккуратный и исполнительный, добросовестно исполнявший поручения, касавшиеся их литературных и материальных дел. Заведовал делами «Современника» после смерти Пушкина.

Погодин Михаил Петрович (1800–1873) – историк, археолог, журналист. Профессор Московского университета по кафедре истории. Издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830) и «Москвитянин»

(1841–1856). Был представителем теории официальной народности, защитником авторитаризма, русского национализма и патриархальных традиций. С Гоголем близко сошелся с первого же знакомства в 1832 г., оказал ему много услуг – добывал деньги, содержал его и его родных в своем доме на Девичьем поле во время пребывания Гоголя и Москве. Ждал и от Гоголя услуг для своего журнала – просил его, например, перед выходом в свет «Мертвых душ» разрешить напечатать несколько глав в «Москвитянине». На этой почве произошло их взаимное охлаждение, дошедшее до того, что, живя в одном доме, они не разговаривали, а когда являлась надобность, переписывались друг с другом, что, впрочем, не мешало Гоголю продолжать жить в доме Погодина. В «Переписке» Гоголь поместил очень резкий отзыв о Погодине, возмутивший всех его друзей. Позднее помирились, и отношения их не прекращались до самой смерти Гоголя.

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – журналист и критик, издатель «Московского телеграфа» (1825–1834), одного из лучших русских журналов по самостоятельности суждений и разносторонности. Журнал был закрыт за отрицательную рецензию о патриотической драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», получившей одобрение императора. После этого Полевой повернул фронт и из передового литературного бойца превратился в единомышленника прежних своих врагов – Булгарина, Греча и Сенковского.

Прокопович Николай Яковлевич (1810–1857) – гимназический товарищ Гоголя. Поэт, преподаватель русского языка и словесности в петербургских кадетских корпусах. Был в дружеских отношениях с Гоголем, исполнял его поручения. В 1842 г. Гоголь поручил ему издание своих сочинений. Вследствие неопытности Прокоповича в издательских делах и мошенничества типографии издание обошлось непомерно дорого: на этой почве между друзьями произошло охлаждение.

Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852) – брат поэта, беспутный кутила и мот, лихой боевой кавказский офицер. Последние десять лет жизни провел в Одессе, занимая должность члена таможни. В Одессе с ним и виделся Гоголь.

Репнина Варвара Николаевна (1809–1891), княжна – познакомилась с Гоголем в Бадене в 1836 г., всю жизнь была горячей почитательницей Гоголя. Оставила о нем отрывочные воспоминания.

Россет Аркадий Осипович (1811–1881) – брат А. О. Смирновой, друг Гоголя, воспитывался в Пажеском корпусе, служил в гвардейской артиллерии, впоследствии был виленским губернатором, товарищем

министра государственных имуществ и сенатором. Содействовал Гоголю по переизданию «Ревизора» и изданию «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – выдающийся славянофил и общественный деятель. Познакомился с Гоголем в сороковых годах в Москве. Гоголь к нему относился очень дружественно.

Сенковский Осип Иванович (1800–1858) – фельетонист, критик, беллетрист, ученый-ориенталист, профессор восточных языков в Петербургском университете, редактор журнала «Библиотека для чтения», член беспринципного триумвирата (Булгарин, Греч, Сенковский), царившего в русской журналистике 30—40-х годов.

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) – петербургский книгопродавец-издатель.

Смирнов Николай Михайлович (1807–1870) – муж А. О. Смирновой. Сначала состоял при иностранных русских посольствах, с 1843 по 1871 г. был калужским губернатором, с 1855 по 1861 г. – петербургским.

Смирнова Александра Осиповна (урожденная Россет) (1809–1882) – с 1826 г. была фрейлиной сначала императрицы Марии Федоровны, после ее смерти – императрицы Александры Федоровны. Блестящая красавица, живая, умная и образованная, она дружила с Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым, кн. Вяземским; многие поэты, начиная с Пушкина и Лермонтова, воспевали ее. В 1832 г. Смирнова без любви вышла замуж за Н. М. Смирнова, богатого молодого дипломата. К мужу она была равнодушна, в посмертной автобиографии сознается: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев». С Гоголем более близко познакомилась в Париже в 1837 г., но настоящими друзьями стали они во время совместного проживания в Ницце зимою 1842/43 г. Проповеди Гоголя об отказе от мирских радостей, о необходимости бесстрастия в жизни в Боге давали Смирновой большое утешение, и она стала ревностной его ученицей, благоговейно отдавшейся его руководству. В 1845 г. муж ее был назначен калужским губернатором, и она переселилась из Петербурга в Калугу. Гоголь не раз гостил у нее в Калуге и в смирновских поместьях Калужской и Московской губ.

Соллогуб Владимир Александрович (1814–1882) – граф, известный в свое время беллетрист, автор «Истории двух калош» и «Тарантаса» – см. Вильегорские.

Сомов Орест Михайлович (1793–1833) – журналист, ближайший сотрудник Дельвига по изданию «Северных цветов» и «Литературной газеты».

Сосницкий Иван Иванович (1794–1877) – комический актер петербургской сцены, создавший в «Ревизоре» роль городничего, которой Гоголь был очень доволен.

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) – политический и религиозный писатель, крайний реакционер и пиетист. Для Аахенского конгресса, по поручению Александра I, написал доклад о германских университетах, которые, вместо того чтобы строить ковчег христианского государства, являются, по мнению Стурдзы, рассадниками революционного духа и атеизма. До 1819 г. служил по министерству иностранных дел. В 1819 г. вышел в отставку и жил в Одессе, где Гоголь очень с ним сошелся и часто посещал его.

Тарасенков Алексей Терентьевич (1813–1873) – популярный в свое время московский врач-писатель. Напечатал ряд научных работ по медицине и очерк «Последние дни жизни Гоголя».

Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) – дальний родственник Гоголя. Принадлежал к дворянскому роду, прадед его был племянником гетмана Мазепы. Окончил курс в Киевской духовной академии. При Павле I – сенатор, при Александре I – член государственного совета и главный директор почт, с 1802 по 1806 г. – министр уделов. В 1806 г. вышел в отставку и поселился в своем имении Кибенцы Миргородского уезда Полтавской губ. Полтавское дворянство выбрало его губернским маршалом (предводителем). С 1814 по 1817 г. – министр юстиции. Последние годы жизни провел в Кибенцах. Гоголи часто навещали его и были ему многим обязаны.

Трощинский Андрей Андреевич (1774–1852) – племянник и наследник Дмитрия Прокофьевича, с 1811 г. – генерал-майор в отставке. (Был сыном Анны Матвеевны, урожд. Косяровской, родной тетки Марии Ивановны Гоголь, матери писателя.)

Толстой Александр Петрович (1801–1873) – граф, один из близких друзей Гоголя в последние годы его жизни. В молодости служил в военной службе. В 1834 г. назначен губернатором в Тверь, в 1837 г. переведен военным губернатором в Одессу. С 1840 по 1873 г. оставался в стороне от всякой общественной деятельности и жил в Москве. В 1836 г. назначен обер-прокурором синода, каковым состоял до 1862 г.

Толстой Федор Иванович (1782–1846) – граф, известный игрок, бретер и кутила по прозванию Американец.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883).

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – один из наиболее ярких приверженцев славянофильства, разрабатывавший преимущественно

религиозно-богословскую сторону его. Человек исключительно образованный, блестящий спорщик.

Хомякова Екатерина Михайловна (1817–1852) – жена Хомякова, сестра поэта Н. Языкова. Смерть госпожи Хомяковой 26 января 1852 очень сильно повлияла на Гоголя, который воспринял это как знак приближения собственной смерти.

Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – историк литературы и критик, славянофил. С 1837 г. – профессор русской словесности в Московском университете, впоследствии академик. Ближайший друг Погодина и помощник его по изданию «Москвитянина», где много писал в отделе критики. Как и Погодин, был проповедником теории «народности» казенного образца, писал о «гниении» Запада и т. п. Белинский дал ему убийственную характеристику в памфлете «Педант». С Гоголем был очень близок: точный и исполнительный, старательно исполнял поручения Гоголя по изданию его сочинений и по всяким другим его делам.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – артист московского театра, один из величайших русских актеров-комиков.

Шереметева Надежда Николаевна (урожденная Тютчева) (1775–1850) – тетка поэта Тютчева. Набожная женщина, друг Н. Гоголя, которую он признавал за свою «духовную мать». Гоголь с ней постоянно переписывался. Ее смерть потрясла Гоголя, поскольку в этот момент он задумывался о собственной смерти.

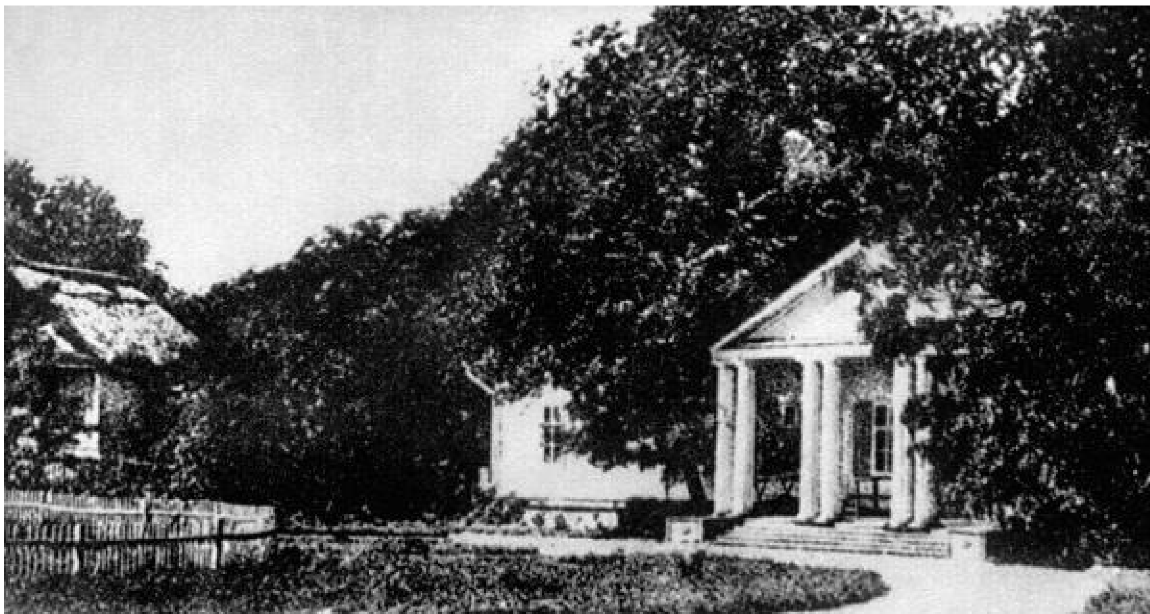
В глазах западного читателя двумя столпами русской литературы являются Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой; в глазах российского читателя оба они находятся в тени невысокого роста человека с длинным носом, птичьим взглядом и саркастической улыбкой. Этот человек является, возможно, самым экстраординарным, гением-самородком, которого когда-либо знал мир. Среди писателей своего времени он предстает как уникальный феномен, который, очень быстро избавившись от влияния других, увлекает своих почитателей в мир фантасмагорий, в котором сосуществуют смешное и ужасное.

Вся его жизнь была ожесточенной борьбой со снедавшими его противоречиями. Его истинное лицо скрывается за десятком масок. Мифотворец, терзающийся желанием быть чистосердечным; эгоист с благородными устремлениями; гурман, мечтающий об аскетизме; гордец, понуждающий себя к смирению; мужчина, равнодушный к женщинам, проповедовавший им добропорядочность; мистик, привязанный к благам сего мира, – вот таким предстает передо мною Н. В. Гоголь, и таким я

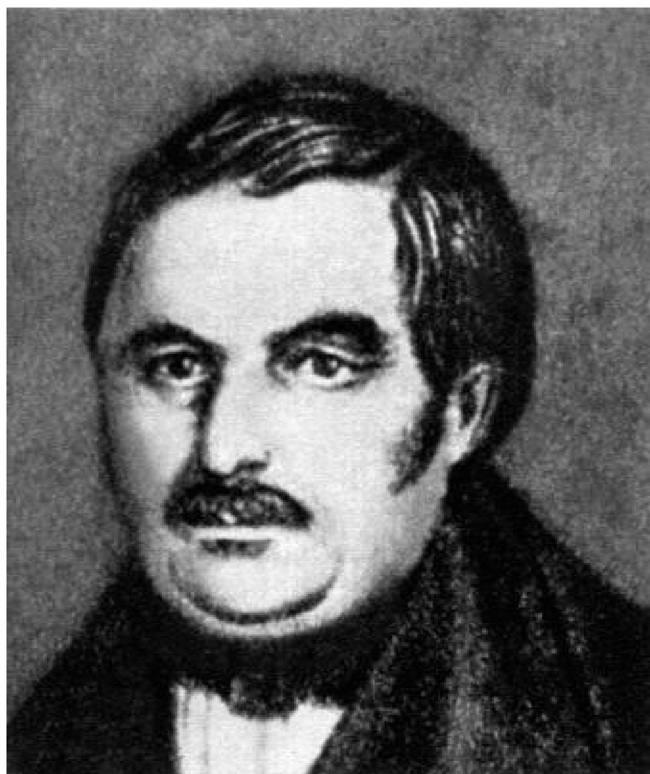
пытался его нарисовать. Вокруг него я стремился воссоздать Россию его времени, говорящую и осязаемую. Я старался как можно лучше представить его друзей, врагов, салоны, деревню, немецкие водолечебницы, где он лечился от своей ипохондрии; Париж 1836 года, где он написал столько страниц «Мертвых душ»; Рим, который стал его второй родиной. И неожиданно у меня сложилось такое впечатление, что Гоголь является не кем иным, как персонажем, который сошел со страниц его же собственного произведения.

Анри Труайя

Фото



Усадьба семьи Гоголя в Васильевке

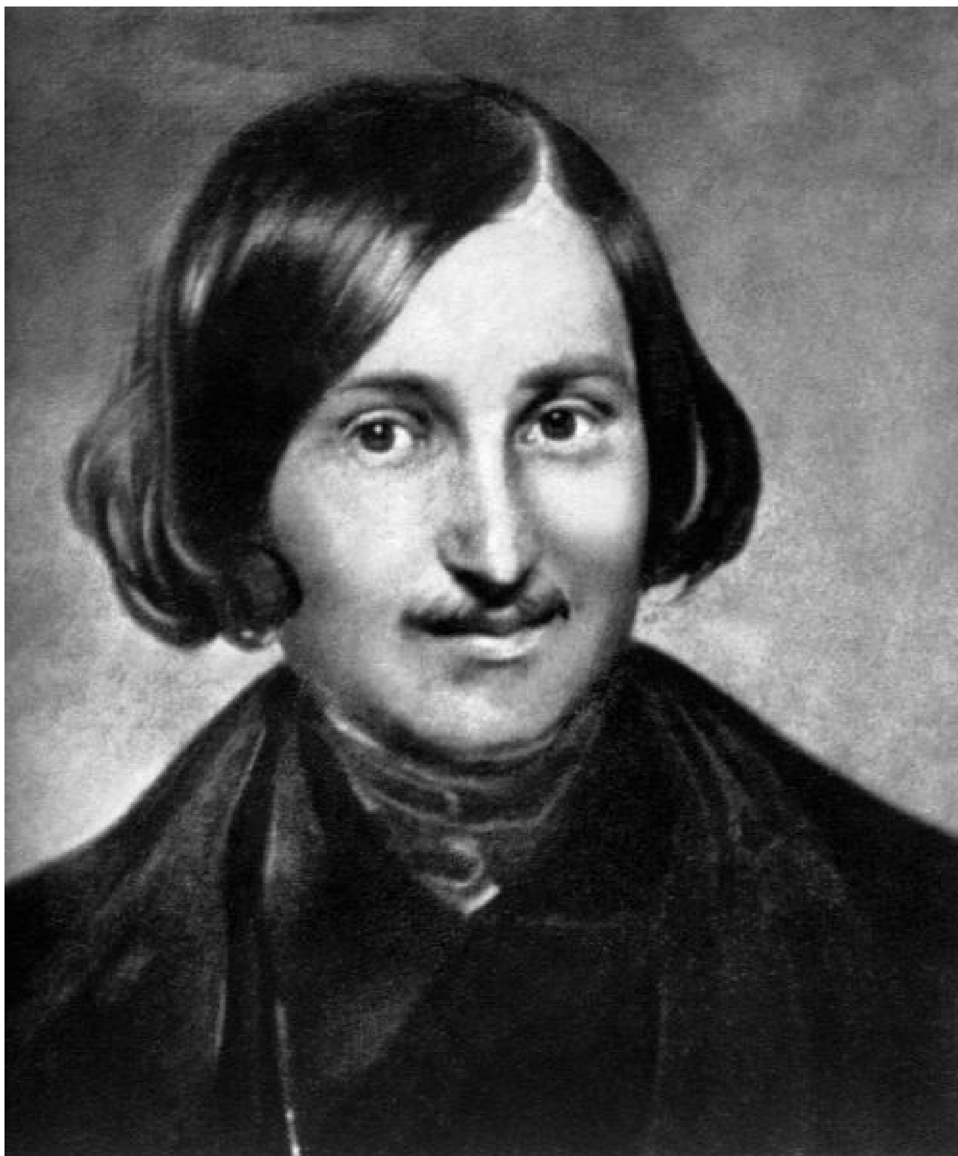


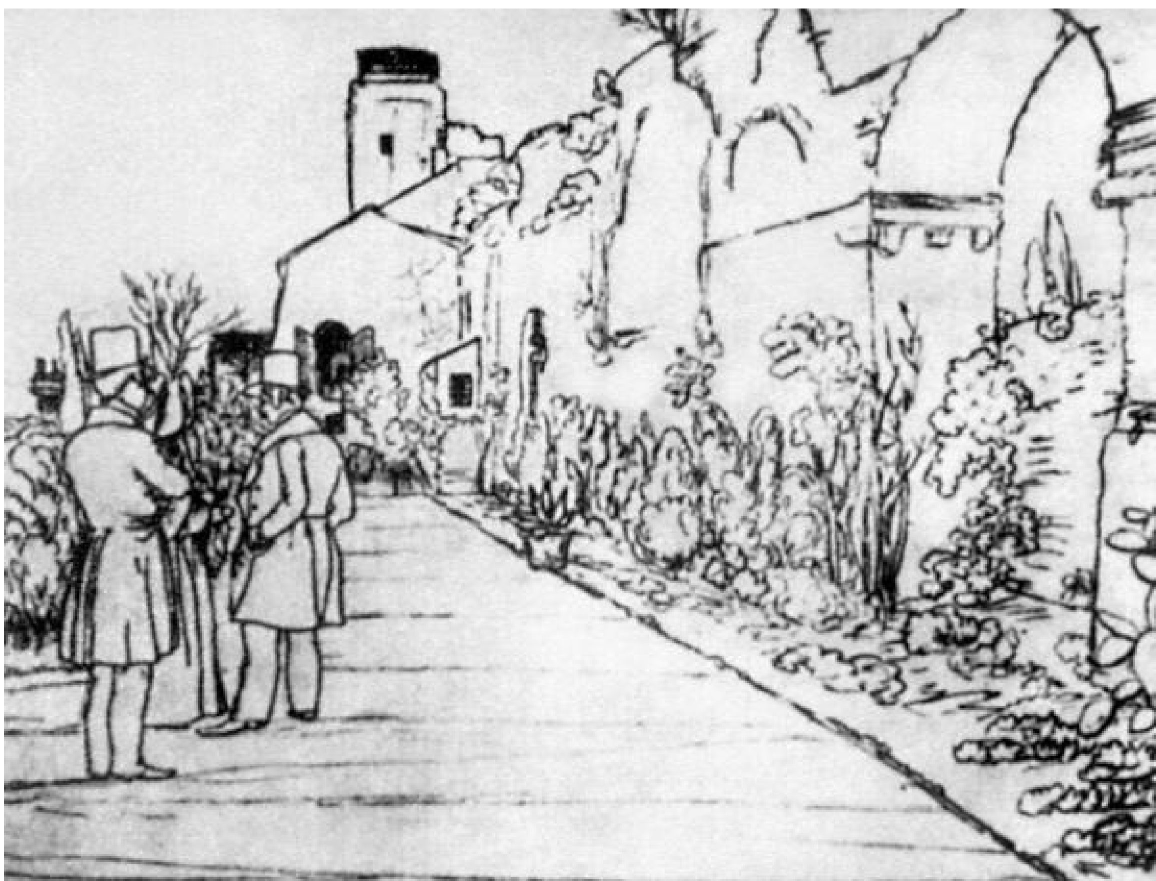
Отец Гоголя

Мать Гоголя

Гоголь за кулисами во время репетиции «Ревизора»

Гоголь, 1834 г.


Гоголь, 1841 г.

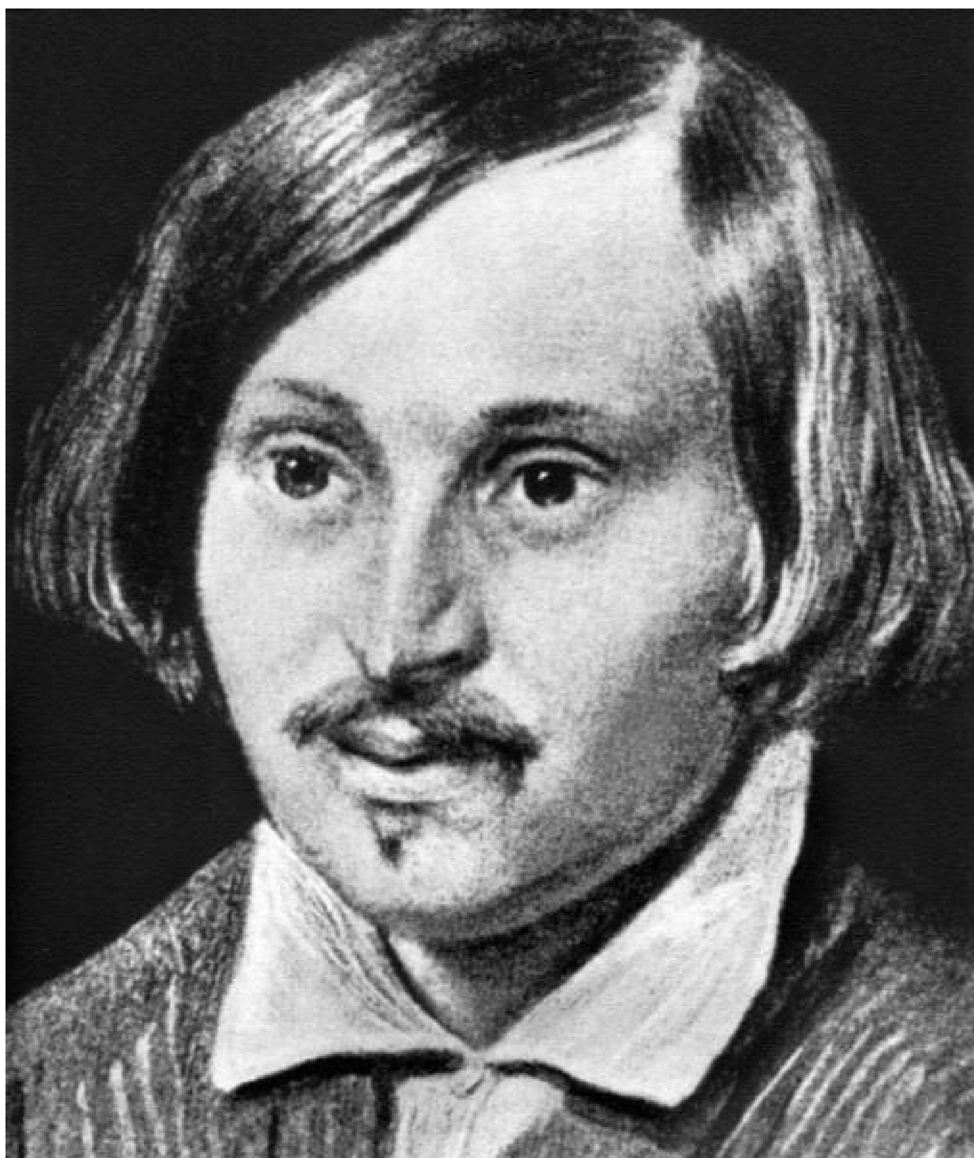


Гоголь и Жуковский в Риме

Погодин

Портрет Смирновой

Портрет княгини Волконской



Гоголь, 1841 г. (худ. Иванов)

Автограф Гоголя на «Мертвых душах»

Обложка первого издания «Мертвых душ»

Гоголь с томиком «Мертвых душ»

Гоголь, 1840 г.

Гоголь на смертном одре, 1852 г.

---

notes

Примечания

1

Имение стало называться Васильевкой только после рождения сына Афанасия Демьяновича – Василия, а до этого называлось Яновщина.

2

М. И. *Гоголь*. Воспоминания. В. И. Шенрок. Материалы.

З

М. И. Гоголь. Автобиографические записки.

4

М. И. *Гоголь*. Автобиографические записки. Русский архив, 1902 г.

5

Что касается самого Николая Гоголя, то он всегда отмечал свой день рождения 19 марта.

6

Гоголь – матери, 2 окт. 1833 г. Письма, I, 260.

7

Гоголь – матери, 2 окт. 1833 г. Письма, I, 260.

8

Там же.

9

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Русская старина, 1902 г., сентябрь. С. 487.

10

Комедия Василия Афанасьевича Гоголя была озаглавлена: «Простак, или Как хитрющая женщина была перехитрена москалем».

11

Описание жизни в Кибинцах. В. И. Шенрок. Материалы. Т. Г. Пащенко и М. И. Гоголь – С. Т. Аксакову. Современник, 1913 г.

12

М. И. Гоголь – С. Т. Аксакову. Письмо от 3 апреля 1856 г. Современник, 1913 г.

13

Письмо Н. Гоголя – родителям, 1820 г., из Полтавы.

14

В первой половине XIX века серебряный рубль стоил 3,90 франка, более распространенный в обращении бумажный рубль стоил 1, 13 франка. Стоимость франка снизилась в 390–400 раз с того времени. Один бумажный рубль времен Гоголя соответствовал примерно 452 франкам. В 1962 году – 4,52 современного франка.

15

Н. Гоголь – родителям, 6 сент. 1821 г. Письма, I, 11.

16

Длительное господство Польши на Украине, многочисленные контакты привели к проникновению в украинский язык некоторого количества искаженных польских слов.

17

Н. Гоголь – матери, 26 февраля 1827 г., из Нежина. Письма, I, 58.

18

Н. Гоголь – Г. И. Высоцкому, 26 июня 1827 г. Письма, I, 74–80.

19

Н. Гоголь – матери. Письмо от 26 мая 1825 г.

20

Н. Гоголь – матери, 3 июня 1825 г., Письма, I, 31.

21

Впоследствии стал автором патриотических трагедий.

22

Впоследствии стал поэтом, писавшим на малороссийском языке.

23

Впоследствии сделал дипломатическую карьеру и стал автором ряда трудов по Турции и Греции.

24

Впоследствии стал педагогом и поэтом.

25

Впоследствии стал поэтом, историком, переводчиком Мицкевича и Байрона.

26

Н. Гоголь – матери, 6 апреля. 1827 г., из Нежина. Письма I, 69.

27

Исторические ведомости. 1892, № 12.

28

В. И. Любич-Романович по записи М. В. Шевлякова. Исторический вестник. 1892, декабрь. С. 695.

29

Гоголь не сохранил ничего из всех своих ранних, выше упоминавшихся произведений, названия которых приводились со ссылкой на воспоминания современников.

30

Н. Гоголь – матери. Письмо от 22 января 1824 г. из Нежина. Письма, I, 19.

31

Н. Гоголь – Г. И. Высоцкому, 19 марта 1827 г., из Нежина. Письма, I, 61.

32

Шапалинский, Ландражин, Зингер и Белоусов были впоследствии исключены из лицея. Постановлением Николая I, датированным 6 октября 1830 года, предписывалось, чтобы обвиняемые профессора из России были вызваны в судебные органы, находящиеся по их месту рождения, а не российские – должны были быть отправлены по странам их происхождения.

33

И. Г. Кулжинский. Воспоминания учителя. Москвитянин, 1854, № 21, кн. I. Смесь. С. 5–6.

34

И. Г. Кулжинский. Автобиография.

35

Н. Гоголь – матери, 20 августа 1826 г. из Нежина. Письма, I. С. 45.

36

Н. Гоголь – матери, 10 сентября 1826 г. из Нежина. Письма, I.

37

Н. Гоголь – матери, 15 окт. 1826 г. из Нежина. Письма, I.

38

Н. Гоголь – матери. Письмо от 2 октября 1827 г.

39

Эта иерархическая табель о рангах была введена в 1722 году как для военных, так и для гражданских лиц. Он подразделялся на четырнадцать классов или чинов, которые царские подданные получали за заслуги по службе, начиная с пятнадцатилетнего возраста, и присваивались пожизненно.

40

И. Г. *Кулжинский*. Воспоминания учителя. Москвитянин, 1854, № 21, с. 5.

41

Н. Гоголь – матери. Письмо от 30 апреля 1829 года.

42

Н. Гоголь – матери. Письмо от 22 мая 1829 года.

43

Н. Гоголь – матери. Письмо от 30 апреля 1829 г.

44

Там же.

45

Н. Гоголь – матери. Письмо от 22 мая 1829 г.

46

Н. Гоголь – матери. Письмо от 30 апреля 1829 г.

47

Н. Гоголь – матери. Письмо от 24 сентября 1829 г.

48

Детали этой сцены приводятся со слов секретаря Гагарина, Н. П. Мундта. Санкт-петербургские новости, 1861 год, № 235.

49

Н. Гоголь – матери. Письмо от 2 апреля 1830 г.

50

Н. Гоголь – матери. Письмо от 3 июня 1830 г.

51

Перевод Н. Гоголя с французского для «Северного архива» статьи «О торговле русских в конце XVI и начале XVII».

52

Эта повесть, основательно переделанная, будет использована Николаем Гоголем в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

53

Этот роман был начат Гоголем еще во время учебы в Нежинской гимназии, но большая часть его была уничтожена автором, недовольным своим произведением.

54

Н. Гоголь – В. А. Жуковскому. Письмо от 10 января 1848 г.

55

Статья Гоголя «Женщина» будет опубликована в номере от 16 января 1831 года в «Литературной газете» два дня спустя после кончины А. А. Дельвига.

56

Н. Гоголь – матери. Письмо от 16 апреля 1831 года.

57

П. А. Плетнев – А. С. Пушкину. Письмо от 22 февраля 1831 года.

58

М. Н. Лонгинов. Воспоминания о Гоголе. Сочинения М. Н. Лонгинова. Том I. М., 1915. С. 4.

59

Н. Гоголь – матери. Письмо от 24 июля 1831 г.

60

А. А. Васильчиков по записи А. Милорадович. Русский Архив, 1909 г.

61

Н. Гоголь – А. С. Пушкину. Письмо от 20 августа 1831 г.

62

Н. Гоголь – матери. Письмо от 19 сентября 1831 г.

63

Там же.

64

Н. Гоголь – матери. Письмо от 17 октября 1831 г.

65

Н. Гоголь – матери. Письмо от 30 октября 1831 г.

66

Н. Гоголь – А. Данилевскому. Письмо от 10 марта 1832 г.

67

В. Г. Белинский. «Литературные мечтания», 1834 г. Соч., т. I, М., 1953, с. 97.

68

«Майская ночь, или Утопленница». Т. 1–2, с. 58.

69

Там же, т. 1–2, с. 56.

70

«Сорочинская ярмарка», т. 1–2, с. 17.

71

«Страшная месть», т. 1–2, с. 152.

72

«Вечер накануне Ивана Купалы», т. 1–2, с. 43.

73

«Сорочинская ярмарка». Т. 1–2, с. 23.

74

Лобанов, «Ужин со Смирдиным (Пушкин и его современники)» и Терпигорев «Заметки к сюжету о Пушкине» (Русская старина, 1870).

75

В противоположность тому, что Гоголь утверждает в своем письме к матери от 6 февраля 1832 г., все же были люди, которые знали его как Гоголя-Яновского.

76

А. В. Никитенко. Записки и дневник. Т. I, 222.

77

А. Данилевский отправился на Кавказ, чтобы подлечиться (отбыл из Санкт-Петербурга 19 апреля 1831 года).

78

Письмо от 30 марта 1832 года.

79

Письмо от 20 декабря 1832 года. Отметим, что здесь Николай Гоголь противоречит сам себе в истории о своей безумной любви к прекрасной незнакомке, о которой он рассказывает в письме своей матери от 24 июля 1829 г.

80

Письмо от 25 марта 1832 года.

81

Письмо от 10 марта 1832 года.

82

Письмо от 4 января 1832 года.

83

Гораздо позже С. Т. Аксаков опубликует свои произведения: «Записки ружейного охотника», «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», в которых он проявил проницательные качества своей натуры.

84

С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. С. 5.

85

Там же.

86

Н. Гоголь – И. И. Дмитриеву. Письмо 20 июля 1832.

87

Письмо от 2 сентября 1832 г.

88

Письмо от 20 июля 1832 г.

89

Елизавета Васильевна Гоголь. Записки. Русь, 1885, № 26.

90

Анна Васильевна Гоголь по записи Н. П. Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 6.

91

Н. Гоголь – И. И. Дмитриеву. Письмо от 23 сентября 1832 г.

92

Н. Гоголь – И. И. Дмитриеву. Письмо от 20 июля 1832 г.

93

Письмо от 9 октября 1832 г.

94

Н. Гоголь – матери. Письмо от 10 октября 1832 г.

95

Н. Гоголь – матери. Письмо от 22 ноября 1832 г.

96

Первая фраза «Невского проспекта».

97

Письмо от 1 февраля 1833 г.

98

Письмо Погодину от 25 ноября 1832 г.

99

Письмо матери от 8 февраля 1833 г.

100

Письмо Максимовичу от 2 июля 1833 г.

101

Письмо матери от 9 августа 1833 г.

102

Он должен был переработать их и опубликовать позже, изменить имена героев и поменять фрагменты. Это были: «Утро деятельного человека», «Процесс», «Передняя/Прихожая».

103

Письмо от 20 февраля 1833 г.

104

Письмо от 6 марта 1834 г.

105

Эта статья будет опубликована позднее в «Арабесках».

106

Письмо от декабря 1833 года.

107

Ни в 1830, ни в 1831 годах никто ему подобной кафедры не предлагал.

108

Письмо от 23 декабря 1833 г.

109

Письмо от 12 февраля 1834 г.

110

Письмо от 13 мая 1834 г.

111

Письмо от 9 марта 1834 г.

112

Письмо от 10 июля 1834 г.

113

Письмо от 23 июля 1834 г.

114

Письмо от 1 августа 1834 г.

115

Письмо от 14 августа 1834 г.

116

Письмо от 27 июня 1834 г.

117

Текст этой первой лекции должен был быть опубликован в «Арабесках» («О средних веках»)

118

Н. И. Иваницкий. Отечественные записки. 1853 г., Смесь, с. 119.

119

Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания. Русская старина, 1891 г.

120

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания.

121

В. В. Григорьев. Воспоминания. Русская беседа, 1856 г.

122

Публикация «Носа» в «Современнике» состоится только в октябре 1836 года.

123

Письмо от 12 апреля 1835 года.

124

Письмо от 20 июля 1835 года.

125

Письмо от 15 июля 1835 года.

126

В. А. Нащокина. Воспоминания о Пушкине и Гоголе. Новое время, 1898 г.

127

Письмо от 6 декабря 1835 года.

128

Драма осталась неоконченной.

129

Даль и сам использовал этот сюжет в рассказе «Вах Сидоров Чайкин», который был опубликован после «Мертвых душ», но написан, без сомнения, раньше.

130

Николай Гоголь. Авторская исповедь.

131

А. О. Смирнова. Автобиография.

132

Письмо от 22 января 1835 года.

133

«Современник», октябрь, 1836.

134

Поэт и критик, друг Пушкина; он представлял значимую фигуру в литературном мире.

135

Богатый придворный и уважаемое лицо, музыкант-любитель, друг артистов и писателей.

136

Каратыгин. Исторический вестник, 1883 г.

137

Николай Гоголь. Авторская исповедь.

138

Эта реплика была первоначально вычеркнута цензурой.

139

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

140

Считается, что это письмо предназначалось Пушкину. Гоголь хранил его в своем ящике стола и опубликовал в 1841 году под заголовком «Письмо к одному литератору».

141

М. С. Щепкин – Гоголю 7 мая 1836 год.

142

Письмо от 15 мая 1836 года.

143

Письмо от 10 мая 1836 года.

144

М. П. Погодин – Гоголю, из Москвы. Барсуков, IV, 337.

145

Письмо М. П. Погодину от 15 мая 1836 года.

146

Граф Михаил Вильегорский, известный своей любовью к искусству и своей неисцелимой рассеянностью, однажды пригласил к себе весь дипломатический корпус, но забыл о своем приглашении и провел весь вечер в своем клубе.

147

В. В. Стасов. Училище правоведения в 1836–1842 гг.

148

Н. Гоголь. Избранные места из переписки с друзьями, глава XVIII, 3. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ».

149

28–16 июня 1836 г. Письма, I, 383. Письма Николая Гоголя, написанные за границей, помечаются двумя датами: григорианского календаря, который использовали в Западной Европе, и юлианского календаря, бывшего в употреблении в России: между двумя календарями существовала в XIX веке разница в двенадцать дней. Эта разница увеличилась до тринадцати дней в XX веке. В 1918 Россия, в свою очередь, приняла григорианский календарь.

150

Письмо от 17—5 июля 1836 г.

151

И. Ф. Золотарев по записи К. Ободоевского. Исторический вестник., 1893, № 1.

152

Письмо от 17—5 июля 1836 г.

153

Письмо от 26–14 июля 1836 г.

154

Письмо от 14—2 июля – августа 1836 г.

155

Письмо от 27 августа – 15 сентября 1836 г.

156

Письмо от 6 октября – 24 сентября 1836 г.

157

Письмо от 27 августа – 15 сентября 1836 г.

158

Письмо от 22 августа – 10 сентября 1836 г.

159

Письмо от 21 августа по 10 сентября 1836 г.

160

Письмо от 21 сентября 1836 г.

161

Мария, старшая сестра Гоголя, имела от Трушковского сына, 1833 года рождения.

162

Письмо от 14 декабря – 2 января 1837 г.

163

Письмо от 27 августа – 31 сентября 1836 г.

164

Письмо от 12 ноября – 31 октября 1836 г.

165

Ботанический сад. – *Примеч. перев.*

166

См. автобиографическую повесть «Рим», где Николай Гоголь описывает свои впечатления о Париже.

167

Письмо от 25 января 1837 г.

168

Там же.

169

Письмо от 25 января 1837 г.

Шенрок В. И. Материалы. Том III.

171

Письмо от 28–16 марта 1837 года.

172

Там же.

173

Письмо от 30–18 марта 1837 года.

174

Письмо от 30–18 марта 1837 г.

175

Письмо от 30–18 марта 1837 г.

176

Письмо Н. Я. Прокоповичу 30–18 марта 1837 г.

177

Письмо Н. Я. Прокоповичу 30–18 марта 1837 г.

178

Письмо А. С. Данилевскому 5–3 апреля 1837 г.

179

Письмо Варваре Балабиной от 16—4 июля 1837 г.

180

Письмо В. А. Жуковскому от 30–18 октября 1837 г.

181

Письмо Плетневу 2 ноября – 21 октября 1837 г.

182

Письмо Марии Балабиной, апрель 1838 г.

183

Письмо Марии Балабиной, апрель 1838 г.

184

Письмо 15—3 апреля 1837 г.

185

См. повесть «Рим».

186

Там же.

187

Там же.

188

Письмо. Апрель 1838 г.

189

На фасаде дома прикреплена мраморная доска к дому, который навсегда обозначен № 126, с надписью о том, что здесь проживал Н. Гоголь.

190

Письмо апреля 1838 г.

191

Письмо от 22–10 декабря 1837 г.

192

Письмо Богдану Яньскому от 17 марта 1838 г.

193

Письмо Семаненко – Богдану Яньскому от 22 апреля 1838 г.

194

Там же.

195

Описание мастерской Иванова см. у М. П. Погодина «Год в чужих краях». М., 1844 г.

196

Выбранные места из переписки с друзьями. Гл. XXIII.

197

Письмо от 18—6 апреля 1837 г.

198

Письмо от 30 октября 1837 г.

199

Письмо от 20 августа 1838 г.

200

Письмо от 1 декабря 1838 г.

201

Письмо от 19—7 сентября 1837 г.

202

Письмо от 16—4 мая 1838 г.

203

Письмо от 25–13 июня 1838 г.

204

Письмо от 31–19 декабря 1838 г.

205

И. Ф. Золоторев по записи К. Ободоевского. Исторический вестник. 1893 г.

206

Письмо матери от 24 ноября 1837 г.

207

Автобиографическая повесть «Рим».

208

Письмо матери от 30 июля 1838 г.

209

Из воспоминаний Н. В. Берга «Русская старина», 1872 г.

210

Письмо, датированное второй половиной октября 1838 г.

211

Письмо от 12 февраля 1839 г.

212

М. П. Погодин. Отрывок из записок. Русский Архив, 1865 г.

213

Письмо Данилевскому от 14 апреля 1839 г.

214

Письмо от 5 мая – 23 апреля 1839 г.

215

Письмо от 30–18 мая 1839 г.

216

А. О. Смирнова. Записки, 315.

217

Княжна В. Н. Репнина по записи Шенрока. Материалы. III, 190.

218

Письмо 5 июня – 24 мая 1839 г.

219

Сент-Бев. Revue des Deux Mondes, 1845, XII. Цит. по: В. Гиппиус. «Гоголь», изд. Федерации, М., 1931. С. 177.

220

Письмо Сент-Бев от 16 марта 1857, также цитируемая Софи Лаффитт, в Oxford Slavonic Papers (Оксфордские славянские записки), том 11, 1964 г.

221

Николай Гоголь, вероятно, был вдохновлен личностью Д. Е. Бенардаки для создания образа Костанжогло во втором томе «Мертвых душ».

222

Письмо от 5 сентября – 24 августа к Марии Балабиной.

223

Там же.

224

Письмо от 10 сентября – 29 августа к Шевыреву.

225

Письмо от 10 сентября – 29 августа к Шевыреву.

226

Письмо от 22 декабря 1837 г.

227

Письмо от 24 января – 5 февраля 1838 г.

228

Письмо от 5 февраля – 24 января 1838 г.

229

Письмо от 15—3 сентября 1839 г.

230

Письмо от 29 ноября по 11 декабря 1838 г.

231

Письмо от июня 1839 г.

232

Письмо от 12 марта 1839 г.

233

Письмо июнь 1839 г.

234

Или 10 сентября по юлианскому календарю.

235

Письмо от 28–16 сентября 1839 г.

236

Гоголь – матери, 26 сентября 1839 г. Письма, II, 7.

237

Письмо от 26 октября 1839 г.

238

Письмо от 27 сентября 1839 г.

239

Д. М. Погодин (сын М. П. Погодина). Воспоминания. Исторический вестник, 1892, апрель, 42–44. Пребывание Гоголя в доме моего отца. (Гоголь в воспоминаниях современников.)

240

С. Т. Аксаков. Знакомство с Гоголем. Собр. соч., 1909. Т. II, стр. 341–343.

241

Авдотья Яковлевна Панаева-Головачева – жена предыдущего, затем – «гражданская» жена Некрасова; автор романов и интересных сведений о современных ей литературных деятелях.

242

А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания.

243

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Панаев был журналистом, принадлежавшим к кружку Белинского. 130–131.

244

Там же.

245

Подробности этой сцены описаны И. И. Панаевым в «Литературных воспоминаниях».

246

Там же.

247

Гоголь познакомился с Чертковыми в Риме. Чертков был известным археологом.

248

И. И. Панаев. «Литературные воспоминания» и *С. Т. Аксаков*. «История знакомства».

249

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, с. 7.

250

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 28.

251

Н. Гоголь – М. П. Погодину, 27 ноября 1839 г. Письма, II, 20.

252

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 29–31.

253

А. С. Хомяков был одним из видных вождей славянофильства; Киреевский, критик-славянофил; госпожа Елагина, мать Киреевского, племянница В. А. Жуковского, содержала литературный салон в Москве.

254

Н. Гоголь – Данилевскому, 29 декабря 1839 г. Письма, II, 21.

255

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 29–31.

256

Н. Гоголь – М. П. Погодину, 25 январь 1840 г. Письма, II, 32.

257

В. А. Жуковский – наследнику (будущему императору Александру II), в начале 1840 г. Русский Архив, 1883, XXXIX.

258

Письмо В. А. Жуковского – А. Елагиной от 26 февраля 1840 г.

259

Н. Гоголь – Жуковскому, 3 мая 1840 г., Письма, I, 40.

260

Мещерский. Воспоминания.

261

См.: *Анри Труайа*. Загадочная судьба Лермонтова.

262

С. Т. Аксаков. История знакомства.

263

Письмо от 7 июля – 25 июня 1840 г.

264

Письмо Н. Гоголя – Погодину от 17—5 октября 1840 г.

265

Письмо Е. В. Гоголь 10 августа – 29 июля 1840 г.

266

Письмо А. В. Гоголь от 13—1 октября 1840 г.

267

Письмо Н. Гоголя – М. П. Погодину от 17—5 октября 1840 г.

268

Письмо Н. Гоголя – М. П. Балабиной от 17 февраля 1842 г.

269

Письмо Н. Гоголя Погодину от 17—5 октября 1840 г.

270

Согласно юлианскому календарю, эта дата соответствует 21 августа.

271

В. А. Панов – С. Т. Аксакову. Гоголь. Письма, II, 89, 88.

272

Письмо П. А. Погодину от 25 июня 1840 г.

273

Письмо М. П. Погодину от 17 октября 1840 г.

274

«Мертвые души». Первая часть. Глава XI.

275

Письмо Н. Гоголя – М. П. Погодину от 17 октября 1840 г.

276

Письмо Н. Гоголя – Е. В. Погодиной от 17 октября 1840 г.

277

Письмо Н. Гоголя – М. П. Погодину от 28 декабря 1840 г.

278

Письмо Н. Гоголя – С. Т. Аксакову от 28декабря 1840 г.

279

Письмо Н. Гоголя – С. Т. Аксакову от 5 марта 1841 г.

280

Там же.

281

Письмо Н. Гоголя С. Т. Аксакову от 13—1 марта 1841 г.

282

Письмо Н. Гоголя – М. П. Погодину от 15—3 мая 1841 г.

283

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

285

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

286

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

287

Нашим бедным больным *(итал.)*.

288

Картина Иванова была начата в 1837 году и закончена в 1856 году, в настоящее время находится в Третьяковской галерее в Москве.

289

Письмо Н. Гоголя – Иванову от 10 января 1844 г.

290

Старинная серебряная монета в Италии.

291

Ф. И. Иордан. Воспоминания.

292

Письмо Н. Гоголя – А. С. Данилевскому от 7 августа – 26 июля 1841 г.

293

Письмо Н. Гоголя – Н. М. Языкову от 27–15 сентября 1841 г.

294

Письмо Н. Гоголя – А. А. Иванову от 25 декабря 1841 г.

295

Михаил Лермонтов был убит на дуэли 15 июля 1841 года неким Мартыновым в то время, когда находился на Кавказе.

296

В. А. Жуковский по записи Ф. В. Чижова и А. В. Никитенко.

297

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 26 июня 1842 г.

298

Н. М. Языков в письме к брату (сентябрь 1841 г.) из Ганау. Шенрок. Материалы, IV, 43.

299

«Мертвые души». Первая часть. Глава XI. С. 221–222.

300

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 51.

301

Западники полагали, что Россия для выполнения своей исторической миссии должна вначале поучиться у Запада. Речь шла не о рабском копировании западноевропейского пути развития, но о заимствовании самого лучшего: система управления, социальные реформы, отделение церкви от государства. Напротив, славянофилы считали, что все беды страны объясняются тем, что она отвергла свои исконные духовные корни. Патриархальность, консерватизм, православие должны были, по их мнению, обеспечить самобытность России и ее превосходство над Западной Европой.

302

Эта сцена приведена слово в слово по письму Николая Гоголя П. А. Плетневу 7 января 1842 года.

303

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 7 января 1842 г.

304

Письмо В. Г. Белинского – Гоголю, 20 апреля 1842 г. из Петербурга. Письма Белинского, II, 308.

305

Письмо Н. Гоголя – В. Ф. Одоевскому (между 1 и 7 января 1842 г.).

306

Письмо Н. Гоголя – В. Ф. Одоевскому от 24 января 1842 г.

307

Письмо Н. Гоголя – С. С. Уварову от 24 февраля – 4 марта 1842 г.

308

Письмо графа С. Г. Строганова графу А. Х. Бенкендорфу, 29 января 1842 г.

309

В своем докладе А. Х. Бенкендорф писал «Гогель».

310

Что составляет приблизительно 1660 рублей ассигнациями.

311

Записка от 24 февраля 1842 г. Речь идет о рождении третьего сына Погодина, Ивана.

312

«Русская старина», август 1889 г.

313

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 10 апреля 1842 г.

314

Письмо П. А. Плетнева, адресованное А. В. Никитенко, от 12 апреля 1842 г.

315

«Русская старина», 1889 г., книга 9, и «Гоголь в Москве» Земенкова.

316

Разумеется, в последующих изданиях «Мертвых душ» был восстановлен первоначальный вариант.

317

В современных изданиях сохраняется двойное название.

318

Намек на хвалебную статью о селе Поречье, владении С. С. Уварова.

319

Письмо В. Г. Белинского – Гоголю от 20 апреля 1842 г.

320

Письмо Н. Гоголя – Н. Я. Прокоповичу от 11 мая 1842 г.

321

Записка от начала апреля 1842 г.

322

Записка Н. Гоголя – М. П. Погодину. Вторая половина апреля 1842 г.

323

Записка Н. Гоголя – М. П. Погодину от 30 апреля 1842 г.

324

П. И. Бартенев по записи В. И. Шенрока. Материалы. IV, 757.

325

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 54–58.

326

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 54–58.

327

Письмо Н. Гоголя – М. П. Балабиной. Январь 1842 г.

328

Письмо Н. Гоголя – Н. М. Языкову от 10 февраля 1842 г.

329

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г.

330

Анна Васильевна Гоголь. По записи Шенрок. Материалы. IV. 127.

331

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г.

332

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 59.

333

Н. Гоголь – А. О. Смирновой. См. В. Вересаев. «Гоголь в жизни». С. 329–330.

334

Письмо Н. Гоголя – матери от 22 марта 1842 г.

335

Николай Трощинский, сын Марии Васильевны, старшей сестры Н. В. Гоголя.

336

Письмо Н. Гоголя – Н. Я. Прокоповичу от 15 мая 1842 г.

337

Земенков. Гоголь в Москве. С. 67.

338

Письмо Гоголя – владыке Иннокентию (И. А. Борисову) от 22 мая 1842 г.

339

Письмо М. П. Погодина – Н. В. Гоголю, в сентябре 1843 г. См. В. Вересаева, «Гоголь в жизни».

340

Письмо Н. Гоголя – М. П. Плетневу от 8 июля 1847 г.

341

С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 64.

342

Там же.

343

Письмо Н. Гоголя – Е. В. Погодиной от 4 июня 1842 г.

344

Письмо Н. Гоголя – С. Т. Аксакову от 4 июня 1842 г.

345

Письмо Н. Гоголя – С. П. Шевыреву от 27 апреля 1847 г.

346

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава I.

347

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава XI.

348

Там же.

349

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава XI.

350

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава VI.

351

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава VII.

352

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава I.

353

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава V.

354

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава IX.

355

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава VI.

356

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава II.

357

Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава IX.

358

Письмо от 26–14 июня 1842 года.

359

Письмо В. А. Жуковскому от 20 июля 1842 г.

360

Письмо Н. Я. Прокоповичу от 10 сентября – 29 августа 1842 г.

361

Письмо М. Балабиной от 2 ноября – 21 октября 1842 г.

362

Письмо С. П. Шевыреву от 12 ноября – 31 декабря 1842 г.

363

Письмо Д. Е. Бенардаки. Около 20 июля 1842 г.

364

Письмо С. Т. Аксакову от 18—6 августа 1842 г.

365

Ф. В. Чижов. Мемуары. Кулиш, I.

366

Ф. В. Чижов. Мемуары. Кулиш, I.

367

Письмо Гоголя – С. П. Шевыреву от 28 февраля 1843 г.

368

Н. М. Языков. 9 января 1843—28 декабря 1842 г.

369

Письмо С. Т. Аксакову от 18—6 марта 1843 г.

370

«Игроки».

371

См. здесь. Часть I, глава VI.

372

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. Записки о жизни Гоголя.

373

Там же.

374

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. Записки о жизни Гоголя.

375

А. О. Смирнова. Кулиш. Записки.

376

С. Т. Аксакову, 18—6 августа 1842 г.

377

Письмо Н. Я. Прокоповичу, 28 мая 1843 г.

378

Письмо А. С. Данилевскому от 20—8 июня 1843 г.

379

Письмо А. С. Данилевскому от 13 апреля 1844 г.

380

Письмо А. С. Данилевскому от 20 июня 1843 г.

381

Письмо С. П. Шевыреву от 20—8 сентября 1843 г.

382

Письмо М. И. Гоголь – вторая половина марта – апрель 1843 г.

383

Письмо М. И. Гоголь от 1 октября 1843 г.

384

Ницца была окончательно присоединена к Франции только в 1860 г.

385

Письмо от 2 декабря – 20 ноября 1843 г.

386

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Русская старина, 1902 г.

387

Письмо Н. М. Языкову от 2 января 1844 – 21 декабря 1843 г.

388

Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания, 189.

389

С. Т. Аксаков. История знакомства.

390

Письмо Н. М. Языкову от 5 июня – 24 мая 1845 г.

391

Письмо от 25 июня 1845 г.

392

С. Т. Аксаков. История знакомства.

393

Письмо А. С. Данилевскому от 13 апреля – 1 апреля 1844 г.

394

Н. Н. Шереметева – Гоголю. Шенрок, т. IV

395

Н. Гоголь – С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву, январь 1844 г.

396

Письмо от апреля 1844 г.

397

Рукопись была обнаружена и опубликована только в 1965 г.

398

В настоящее время – набережная Соединенных Штатов Америки.

399

В настоящее время – место гулянья англичан.

400

Графине Л. К. Вильегорской, письмо от 26–14 марта 1844 г.

401

Письмо А. О. Смирновой от 7 апреля – 26 марта 1844 г.

402

Письмо А. О. Смирновой от 20—8 апреля 1844 г.

403

Письмо А. О. Смирновой от 16—4 мая 1844 г.

404

Фраза процитирована из письма Гоголя от 16—4 мая 1844 г.

405

А. О. Смирнова – Гоголю, 26 ноября 1844 г.

406

А. О. Смирнова – Гоголю, 12 декабря 1844 г.

407

Письмо Н. Гоголя – М. И. Гоголь от 12 июня 1844 г.

408

Николай Трушковский (1833–1865) станет первым издателем полного собрания сочинений Николая Гоголя после его смерти.

409

Письмо Н. Гоголя – Н. М. Языкову, 1844 г.

410

Письмо С. Т. Аксакову от 16—4 мая 1844 г.

411

Письмо от 12 июня – 31 мая 1844 г.

412

Письмо С. П. Шевыреву от 12 марта 1844 г.

413

Письмо от 27 октября 1844 г.

414

Письмо от 14—2 декабря 1844 г.

415

Письмо от 14—2 декабря 1844 г.

416

Письмо А. О. Смирновой от 24–12 декабря 1844 г.

417

Письмо А. О. Смирновой от 18 декабря 1844 г.

418

Письмо А. О. Смирновой от 28–16 декабря 1844 г.

419

Письмо Н. М. Языкову от 26–14 октября 1844 г.

420

Письмо С. П. Шевыреву от 14—2 декабря 1844 г.

421

Письмо А. О. Смирновой от 24–12 февраля 1845 г.

422

Письмо Н. М. Языкову от 12 февраля – 31 января 1845 г.

423

В настоящее время дом 12, улица де Берри. С 1820 года это место, где находилась русская часовня, которая в 1881 году была заменена русской церковью на улице Дарю.

424

Издание включало повести: «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики», «Вий». Оно вышло в печать летом 1845 г.

425

Письмо от 5 марта – 21 февраля 1845 г.

426

Сцена, описанная Смирновой в своем «Дневнике» (11 марта 1845 года), в «Автобиографии» и в «Записках» Н. И. Лорер.

427

Письмо Н. Гоголя – С. С. Уварову, конец апреля 1845 г.

428

А. В. Никитенко. Записки, I, 361. 8 мая 1845 г.

429

Письмо Н. Гоголя – А. О. Смирновой от 15—3 марта 1845 г.

430

Письмо Н. Гоголя – А. П. Толстому, написанное между 20 и 28 марта 1845 г.

431

Письмо Н. Гоголя – А. П. Толстому от 28–16 марта 1845 г.

432

Письмо Н. Гоголя – А. О. Смирновой от 2 апреля – 21 марта 1845 г.

433

Письмо А. О. Смирновой от 11 мая – 29 апреля 1845 г.

434

Гоголь поместит это завещание в главе «Выбранных мест из переписки с друзьями».

435

Письмо С. Т. Аксакову от 2 мая – 20 апреля 1845 г.

436

Письмо Н. Н. Шереметевой от 5 июня – 24 мая 1845 г.

437

Письмо Н. М. Языкову от 5 июня 1845 г.

438

«Выбранные места из переписки с друзьями». XVIII.

439

Письмо Гоголя – А. О. Смирновой от 2 апреля 1845 года.

440

Письмо А. О. Смирновой от 28–16 июля 1845 г.

441

Письмо Н. Гоголя – Жуковскому от 12 сентября – 31 августа 1845 г.

442

Конкордат, основы которого были заложены в декабре 1845 года, был подписан 3 августа 1847 года и денонсирован в 1866 году.

443

Письмо матери от 8 декабря 1845 г.

444

Письмо С. Т. Аксакову от 25–13 ноября 1845 г.

445

В конце концов Шевырев займется этим делом в Москве, Плетнев – в Санкт-Петербурге.

446

Письмо С. Т. Аксакову от 25 ноября 1845 г.

447

Письмо В. А. Жуковскому от 28–16 ноября 1845 г.

448

Письмо Плетневу от 28–16 ноября 1845 г.

449

Письмо Н. Гоголя – А. О. Смирновой от 25–13 июля 1845 г.

450

Письмо Н. Гоголя – Языкову от 8 января 1846 г. – 27 декабря 1845 г.

451

Письмо Н. Гоголя – Н. М. Языкову от 21—9 апреля 1846 г.

452

Письмо Н. М. Языкова – Н. Гоголю от 18 февраля 1846 г.

453

Письмо П. А. Плетнева – Н. Гоголю от 4 марта 1846 г.

454

Письмо Н. Гоголя – А. Вильегорской от 14—2 мая 1846 г.

455

П. В. Анненков. Гоголь в Риме.

456

П. В. Анненков. Гоголь в Риме.

457

18 июля по юлианскому календарю.

458

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 30–18 июля 1846 г.

459

Письмо Н. Гоголя – А. В. Никитенко от 1 августа – 21 июля 1846 г.

460

Письмо Н. Гоголя – П. А. Плетневу от 20—8 октября 1846 г.

461

Письмо С. Т. Аксакова – Н. В. Гоголю от 9 декабря 1846 г.

462

Письмо А. М. Гедеонова – П. А. Плетневу в первой половине ноября 1846 г.

463

Письмо М. Щепкина – Н. В. Гоголю от 22 мая 1847 г.

464

Письмо Н. Гоголя – А. Вильегорской от 8 декабря – 26 ноября 1846 г.

465

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 24–12 ноября 1846 г.

466

Письмо Н. Гоголя – А. О. Смирновой от 24–12 ноября 1846 г.

467

Письмо от 30–18 января 1846 г.

468

Письмо Плетнева от 17 января 1847 г.

Глава X.

Глава XXVI.

Глава XXVIII.

Глава XXII.

473

Глава XXII.

Глава XXIV.

475

Глава XXI.

Глава XXVIII.

477

Глава XIII.

478

Письмо П. А. Плетнева – Н. В. Гоголю от 13—1 января 1847 г.

479

Письмо А. О. Смирновой – Н. В. Гоголю от 11 января 1847 г.

480

Письмо Д. Н. Свербеева – С. Т. Аксакову от 16 февраля 1847 г.

481

Письмо В. Г. Белинского – Н. П. Боткину от 28 февраля 1847 г.

482

Письмо С. Т. Аксакова – сыну И. С. Аксакову от 16 января 1847 г.

483

Письмо С. Т. Аксакова – Н. В. Гоголю от 27 января 1847 г.

484

Письмо С. П. Шевырева – Н. В. Гоголю от 22 марта 1847 г.

485

Письмо Н. В. Гоголя – С. П. Шевыреву от 11 февраля – 30 января 1847 г.

486

Письмо Н. В. Гоголя – В. А. Жуковскому от 6 марта – 22 февраля 1847 г.

487

Письмо Н. В. Гоголя – С. Т. Аксакову от 6 марта – 22 февраля 1847 г.

488

Письмо Н. Гоголя – А. М. Вильегорской от 16 марта 1847 г.

489

Письмо Н. Гоголя – В. В. Львову от 20—8 марта 1847 г.

490

Письмо Н. Гоголя – Н. Ф. Павлову, август 1848 г.

491

Письмо Н. В. Гоголя – А. О. Смирновой от 20—8 апреля 1847 г.

492

Текст источника написан на французском языке.

493

Письмо Н. В. Гоголя – В. Г. Белинскому от 20—8 июня 1847 г.

494

Белинский умрет год спустя.

495

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания.

496

Письмо В. Г. Белинского – Н. В. Гоголю от 15—3 июля 1847 года. Рукописные копии этого письма быстро разошлись по Москве и Санкт-Петербургу. Передавали его друг другу втайне. Оно стало чем-то вроде либерального молитвенника. Когда правительство узнало о его существовании, был издан указ не только о запрете публикации, но и аресте всякого, кто его распространяет. Должны были пройти еще двадцать пять лет до того, как русский журнал «Европейский вестник» получил разрешение напечатать отрывки из него. Только после 1905 года было напечатано все письмо целиком. Герцен, однако, опубликовал его в 1855 году в журнале «Полярная звезда», выходившем в Лондоне.

497

Письмо Н. В. Гоголя – В. Г. Белинскому от 10 августа – 29 июля 1847 г.

498

Н. М. Языков умер 7 января 1847 года.

499

Письмо Н. В. Гоголя – С. Т. Аксакову от 10 июля – 28 июня 1847 г.

500

Письмо Н. Гоголя – С. Т. Аксакову от 28–16 августа 1847 г.

501

Курсив автора письма.

502

Курсив автора письма.

503

Письмо Н. Гоголя – С. Т. Аксакову от 18—6 декабря 1847 г.

504

Позже, после смерти Гоголя, Аксаков напишет самые значительные свои произведения.

505

«Авторская исповедь», название которой не принадлежит Гоголю, была найдена в бумагах писателя после его смерти.

506

Как «Авторская исповедь», так и «Размышления о Божественной Литургии» были напечатаны после смерти писателя, в 1857 году.

507

Н. В. Гоголь. «Авторская исповедь».

508

Письмо Н. Гоголя – А. Россету от 15—3 апреля 1847 г.

509

Письмо Н. Гоголя – А. С. и У. Г. Данилевским от 18—6 марта 1847 г.

510

Письмо Н. Гоголя – М. Константиновскому от 24–12 сентября 1847 г.

511

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 10 января 1848—29 декабря 1847 года. Любопытно, что Гоголь высказал эту мысль почти в тех же выражениях 5 лет назад во второй версии «Портрета» (1842 г.): «Ибо для успокоения и примирения всех не сходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу».

512

Н. Гоголь – матери, письмо от 14—2 ноября 1846 г.

513

Н. Гоголь – А. О. Смирновой, письмо от 20—8 ноября 1847 г.

514

Н. Гоголь – С. П. Шевыреву, письмо от 2 декабря – 20 ноября 1847 г.

515

Н. Гоголь – Н. Н. Шереметевой, письмо, конец ноября – начало декабря 1846 г.

516

Н. Гоголь – М. А. Константиновскому, письмо от 12 января 1848 – 31 декабря 1847 г.

517

Письмо Н. Гоголя – графу А. П. Толстому от 22 января 1848 г.

518

Священник Петр Соловьев. Встреча с Гоголем. (Русская старина, 1883 г.).

519

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 г.

520

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 6 апреля – 24 марта 1848 г.

521

Письмо Н. Гоголя – графу А. П. Толстому от 25–13 апреля 1848 г.

522

Гоголь по записи Л. И. Арнольди (Русский вестник, 1862 г.).

523

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 28–16 февраля 1850 г.

524

Письмо Н. Гоголя – М. А. Константиновскому от 21 апреля 1848 г.

525

Письмо графу А. П. Толстому от 25–13 апреля 1848 г.

526

Н. Гоголь – А. С. Данилевскому. Письмо от 16 мая 1848 г.

527

Т. Г Пащенко по записи В. Пашкова (опубликовано в: «Берег», 1880 г., № 268).

528

Е. В. Гоголь. Дневник. *Шенрок*. Материалы, том IV.

529

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Мошина. Белоусов. «Дорогие места».

530

И. И. Ясинский со слов Михольского. Анекдот о Гоголе. Исторический вестник, 1891, июнь.

531

Письмо Н. Гоголя – А. П. Плетневу от 7 июля 1848 г.

532

Н. Гоголь – С. Т. Аксакову от 12 июля 1848 г.

533

Е. В. Гоголь. Дневник. Шенрок. Материалы IV.

534

В. Вересаев. Пересказ воспоминаний О. В. Гоголь. С. 97—431.

535

Н. Гоголь – А. С. Данилевскому. Письмо от 24 сентября 1848 г.

536

Н. Гоголь – В. А. Жуковскому. Письмо от 15 июня 1848 г.

537

И. И. Панаев. Воспоминания о Белинском. Полн. собр. соч., VI, 309.

538

Н. Гоголь – А. М. Вильегорской. Письмо от 29 октября 1848 г.

539

Н. Гоголь – А. М. Вильегорской. Письмо от 30 марта 1849 г.

540

Н. Гоголь – А. М. Вильегорской. Письмо от 29 октября 1848 г.

541

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, IX.

542

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Русская старина. Январь, 1872 г.

543

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, IX.

544

Н. Барсуков. Жизнь и творчество Погодина.

545

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). Три письма к Гоголю, писанные в 1848 г. Санкт-Петербург, 1861 г.

546

В настоящее время бульвар Суворова, 7.

547

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 3 апреля 1849.

548

Письмо Аксакова – А. О. Смирновой от 16 мая 1849 г.

549

Н. Гоголь – А. С. Данилевскому. Письмо от 1 июня 1849 г.

550

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Русский вестник. 1862, т. XXXVII.

551

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем.

552

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Русская старина, 1902, сентябрь.

553

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. «Записки о жизни Гоголя».

554

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем.

555

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Русская старина, 1902, сентябрь.

556

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем.

557

Князь Д. А. Оболенский. О первом издании посмертных сочинений Гоголя. Русская старина. 1873, декабрь.

558

Н. Гоголь – А. М. Вильегорской. Письмо от 30 июля 1849 г.

559

С. Т. Аксаков. Записки.

560

Там же.

561

С. Т. Аксаков – И. С. Аксакову. Письмо от 20 января 1850 г.

562

Н. Гоголь – Плетневу. Письмо от 21 января 1850 г.

563

Н. В. Герг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Русская старина. 1872, январь.

564

Там же.

565

Н. Гоголь – А. М. Вильегорской, весна 1850 г.

А. О. Смирнова. Воспоминания о Гоголе. Автобиография.

567

Н. Гоголь – о. Матвею. Письмо от 1850 г.

568

Н. Гоголь – С. Т. Аксакову. Письмо от 13 июня 1850 г.

569

М. А. Максимович по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II.

570

Н. Гоголь – гр. А. П. Толстому, 10 июля 1850.

571

Н. Гоголь – иеромонаху Оптиной пустыни Филарету.

572

Н. Гоголь – А. С. Стурдзе. Письмо от 15 сентября 1850 г.

573

Н. Гоголь – шефу жандармов, графу А. Ф. Орлову. Вторая половина 1850 г.

574

Н. Гоголь – матери. Письмо от 28 октября 1850 г.

575

Н. О. Лернер со слов А. Л. Деменитру. Русская старина, 1901, ноябрь.

576

А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. Из прошлого Одессы. С. 109–113.

577

Неизвестная. Дневник. Русский архив 1902 г., I.

578

Н. Гоголь – В. А. Жуковскому 16 декабря 1850 г.

579

Н. Гоголь – А. А. Иванову. Письмо от 16 декабря 1850 г.

580

Н. Гоголь – А. О. Смирновой, 23 декабря 1850 г.

581

О. В. Гоголь-Головня.

В. И. Шенрок. Материалы.

583

Письмо А. В. Гоголь после 22 мая 1851 г.

584

Письмо Е. В. Гоголь после 22 мая 1851 г.

585

Письмо Н. Гоголя – В. И. Быкову от 14 июля 1851 г.

586

Письмо Е. В. Гоголь от 14 июля 1851 г.

587

Иными словами, 83,25 рубля ассигнациями.

588

Письмо от середины июля 1851 г.

589

А. О. Смирнова. «Записки из жизни Гоголя».

590

Н. Гоголь – С. П. Шевыреву, конец июля 1851 г.

591

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Русская старина. 1872, январь.

592

Н. Гоголь – П. А. Плетневу от 15 июля 1851 г.

593

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания.

594

Письмо Н. Гоголя – В. И. Быкову от 2—18 сентября 1851 г.

595

Н. Гоголь – матери, 22 сентября 1851 г.

596

Н. Гоголь – иеромонаху Макарию, 25 сентября 1851 г.

597

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, со слов А. О. Смирновой, 24 февраля 1852 г.

598

Н. Гоголь – М. И., А. В. и Е. В. Гоголь от 3 октября 1851 г.

599

М. С. Щепкин по записи А. М. Щепкина «М. С. Щепкин», 14.

601

Не исключено, что прототипом этой идеальной девушки послужила Анна Михайловна Вильегорская, на которой одно время Гоголь собирался жениться.

602

П. А. Кулиш со слов О. М. Бодянского. Записки о жизни Гоголя, Т. II.

603

В. С. Аксакова. Из записной книжки. Дневник В. С. Аксаковой.

604

Там же.

605

Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 2 февраля 1852 г.

606

Письмо Н. Гоголя – А. М. Константиновскому от 28 ноября 1851 г.

607

Письма О. Матвея Константиновского. См.: В. Вересаев. Гоголь в жизни.

608

Н. Грешищев. Очерк жизни в бозе почившего ржевского протоиерея Матвея Константиновского.

609

К. И. Марков – Н. Гоголю в 1849–1851. Шенрок. Материалы, т. IV.

610

А. Т. Тарасенков. «Последние дни жизни Гоголя».

611

Там же.

612

Письмо Н. Гоголя – А. М. Константиновскому от 6 февраля 1852 г.

613

Протоиерей Ф. И. Образцов. Отец Матвей Константиновский по моим воспоминаниям. В. Вересаев, с. 553.

614

Н. Гоголь – матери. Письмо около 10 февраля 1852 г.

615

В пересказе М. П. Погодина – «Москвитянин», № 5, 1852 г. Вторая часть «Мертвых душ» известна лишь в нескольких сохранившихся отрывках, черновиках, набросках плана, найденных С. П. Шевыревым в бумагах Гоголя, и через свидетельства немногих друзей, которым он в свое время читал отрывки из своего произведения.

616

А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя.

617

А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, 18 Шенрок, IV.

618

«Записки сумасшедшего».

619

А. Т. Тарасенков. Последние дни.

620

Объясняя смерть Гоголя, врачи ссылались на катар кишечника, тиф, гастроэнтерит… На самом деле он всегда был субъектом с прирожденной невропатической конституцией. Недоедание во время поста и острое малокровие мозга привели его организм в состояние полного истощения. По мнению доктора Н. Н. Баженова, «следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, – т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению, и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора». Н. Н. Баженов: Болезнь и смерть Гоголя. Москва, 1902 г.

621

С. Т. Аксаков. Письмо к сыновьям, 23 февраля 1852 г.

622

Граф А. А. Закревский, московский генерал-губернатор, – графу А. Ф. Орлову, шефу жандармов, 29 февраля 1852 г.

623

Могила Н. В. Гоголя была перенесена в Новодевичий монастырь 31 мая 1931 года.

624

Намек на Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, которые тоже трагически погибли в молодом возрасте.

625

Эти рассказы были объединены в один цикл и изданы в том же году под заголовком «Записки охотника».

626

Племянник Гоголя, Трушковский, переиздал Полное собрание сочинений в 1855–1856 гг. Первые четыре тома (1855 г.) воспроизводили издание 1842 года, в двух следующих содержались более поздние сочинения.

627

Не путать с Александром Семеновичем Данилевским, другом детства Николая Гоголя.

628

Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем.

629

Мать Гоголя, Мария Ивановна, умерла в 1868 г. в Васильевке; ей было семьдесят семь лет. Ее младшая дочь, Ольга (1825–1907), в свое время вышла замуж за майора в отставке, Головню. В замужестве имела двух сыновей и дочь. Анна (1821–1893) не состояла в браке. Трушковский, сын старшей сестры Гоголя, Марии (умершей в 1844 г.), взял на себя труд издания Полного собрания сочинений своего дяди (1855–1856 гг.); он умер умалишенным в 1862 г. Что же до другого племянника Гоголя, сына Елизаветы (бывшей замужем за Быковым, овдовевшей в 1862 г., скончавшейся в 1864 г.), то он, по странному стечению обстоятельств, женился на внучке поэта А. С. Пушкина, Марии Александровне.